Покровский Михаил Николаевич

Русская история с древнейших времен

Часть 1

Содержание:

Глава I

Следы древнейшего общественного строя

С чего началась Древняя Русь - Взгляды Шторха. Славянофилы и западники - Скудость летописных данных - Лингвистические данные. Славяне как лесной народ - Славяне как автохтоны Восточной Европы. Вопрос о прародине славянского племени - Культура Российской равнины по Геродоту - Культура праславян по данным лингвистики - Старая схема экономического развития, ее ошибочность - Мотыжное земледелие - Древнейшие тексты: наказания арабов - Древнейшая общественная организация - Дворище и печище - Следы матриархата - Экономические основы древнеславянской семьи - Семья - государство - Власть отца - Племя. Происхождение князей; условия их появления - Следы власти отца в княжеском правлении

Еще писатели XVIII века никак не могли помириться на том, с чего началась Древняя Русь. В то время как пессимисты, вроде кн. Щербатова или Шлецера,

готовы были рисовать наших предков X столетия красками, заимствованными с палитры современных этим авторам путешественников, создавших классический тип "дикаря", чуть не бегавшего на четвереньках, находились исследователи, которым те же самые предки казались почти просвещенными европейцами в стиле того же XVIII века. Щербатов объявил древних жителей России прямо "кочевым народом". "Хотя в России прежде ее крещения, - говорил он, - и были грады, но оные были яко пристанища, а в протчем народ, а особливо знатнейшие люди, упражнялся в войне и в набегах, по большей части в полях, переходя с места на место, жил". "Конечно, люди тут были, - солидно рассуждал Шлецер, - Бог знает, с которых пор и откуда, но люди, без правления жившие подобно зверям и птицам, которые наполняли их леса". Древние русские славяне были столь подобны зверям и птицам, что торговые договоры, будто бы заключенные ими с греками, казались Шлецеру одной из самых наивных подделок, с какими только приходится иметь дело историку. "Неправда, - возражали Щербатову и Шлецеру оптимисты вроде Болтина, - руссы жили в обществе, имели города, правление, промыслы, торговлю, сообщение с соседними народами, письмо и законы". А известный экономист начала XIX века Шторх не только признает за русскими славянами времен Рюрика торговлю, но и объясняет из этой торговли и созданного ею политического порядка возникновение самого Русского государства. "Первым благодетельным последствием" ее было "построение городов, обязанных, может быть, исключительно ей и своим возникновением и своим процветанием". "Киев и Новгород скоро сделались складочными местами для левантской торговли; в обоих уже с древнейших времен их существования поселились иностранные купцы". Эта же торговля вызвала второй, несравненно более важный переворот, благодаря которому Россия получила прочную политическую организацию. "Предприимчивый дух норманнов, их торговые связи со славянами и частые поездки через Россию положили основание знаменитому союзу, подчинившему великий многочисленный народ кучке чужеземцев". И дальнейшую историю Киевской Руси, и походы князей к Царьграду, и борьбу их со степью Шторх объясняет теми же экономическими мотивами, цитируя и так хорошо известный всем теперь, благодаря курсу проф. Ключевского, рассказ Константина Багрянородного о торговых караванах, ежегодно направлявшихся из Киева в Константинополь.

Заново обоснованные и тонко аргументированные взгляды Шторха получили большую популярность в наши дни, но они нисколько не убедили современников-пессимистов. Шлецер объявил теорию Шторха "не только не ученой, но и уродливой мыслью", и согласился сделать разве ту маленькую уступку, что начал сравнивать русских славян не со зверями и птицами, а с американскими краснокожими, "ирокезами и алгонкинцами". Спор так и перешел нерешенным к последующему поколению, где оптимистическую партию взяли на себя славянофилы, а продолжателями Шлецера и Щербатова явились западники. "По свидетельству всех писателей, отечественных и иностранных, русские издревле были народом земледельческим и оседлым, - говорит Беляев. - По словам Нестора, они и дань давали от дыма и рала, т.е. со двора, с оседлости и с сохи, с земледельческого орудия". Западники не доходили, правда, ни до признания русских славян кочевниками, ни до сравнений с американскими краснокожими. Но

нельзя не заметить, с каким явным сочувствием Соловьев приводит летописную характеристику восточнославянских племен. "Исключая полян, - говорит Соловьев, - имевших обычаи кроткие и тихие... нравы остальных племен описаны у него (летописца) черными красками: древляне жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, и брака у них не было, а похищение девиц. Радимичи, вятичи и северяне имели одинакий обычай: жили в лесу, как звери, ели все нечистое, срамословили перед отцами и перед снохами, браков у них не было, но игрища между селами, где молодые люди, сговорившись с девицами, похищали их". Сам Соловьев прекрасно понимал, по-видимому, что это не объективное изображение быта древлян и северян, а злая сатира монаха-летописца на язычников и полянина - на враждебных полянам соседей: что начальная летопись недалеко ушла в этом случае по своей исторической точности от щедринской "Истории одного города". Но он не мог воздержаться от искушения повторить эту обличительную характеристику: слишком уж она хорошо согласовалась с тем представлением о славянах, какое сложилось у самого Соловьева. "Городов (у русских славян), как видно, было немного, - говорит он в другом месте уже от себя: - знаем, что славяне любили жить рассеянными, по родам, которым леса и болота служили вместо городов; на всем пути от Новгорода до Киева, по течению большой реки, Олег нашел только два города - Смоленск и Любеч. В средней полосе у радимичей, дреговичей и вятичей не встречается упоминаний о городах".

Если какой-нибудь спор долго длится, не находя себе разрешения, то обыкновенно виноваты здесь бывают не одни спорящие, а и самый предмет спора. И в пользу сравнительно высокого уровня экономической - а с нею и всякой другой - культуры славян в древнейшую эпоху, и в пользу низкого уровня этой культуры источники давали достаточно доказательств; из одной и той же летописи мы узнаем и о дикости вятичей с братнею, и о торговых договорах Древней Руси с греками. Что считать правилом для Древней Руси, что исключением? Что было частным случаем, индивидуальной особенностью одного племени, и что общим достоянием всех славянских племен? Ответить на это можно, лишь отступив несколько назад от тех аргументов, которыми обменивались стороны в приведенных выше выписках. "Нестор", или, как бы его ни звали, начальный летописец, застал славян уже разделенными, и начинает свой рассказ с перечисления разошедшихся в разные стороны, но еще не позабывших друг друга славянских племен. Если бы мы могли составить себе хотя какое-нибудь представление об экономической культуре славян до этого разделения, когда они еще жили вместе и говорили одним языком, мы получили бы некоторый minimum, общий, конечно, и всем русским славянам: перед нами был бы тот основной фон, на котором вышивали столь разноцветные узоры греческие и скандинавские влияния, христианская проповедь и левантская торговля. Этот фон до некоторой степени мы можем восстановить по данным лингвистики: общие всем славянским наречиям культурные термины намечают их общее культурное наследство, дают понятие об их быте не только "до прибытия Рюрика", но и до того времени, как "волохи", т.е. римляне, нашли славян сидящими по Дунаю и вытеснили их оттуда.

Лингвистические данные намечают прежде всего одну характерную черту этого архаического быта: славяне исстари были народом промысловым, и промыслы их были преимущественно, если не исключительно, лесные. Во всех славянских

языках одинаково звучат название пчелы, меда и улья: бортничество является, по-видимому, коренным славянским занятием. Косвенно это указывает и на первоначальное местожительство славян: бортничество мыслимо только в лесной стороне. Это лесное происхождение наших предков вполне согласно с другими лингвистическими же указаниями. Славянское название жилья - дом, несомненно, в родстве, хотя и дальнем, с средневековым верхненемецким Zimber - "строевой лес" и обозначает, конечно, деревянную постройку. Напротив, каменная кладка, кажется, вовсе не была известна славянам до разделения: все относящиеся сюда термины - заимствованные. Нашекмриич есть турецкое слово kerpidz, древнейшее славянское плинфа - греческое, точно так же, как и название известки, древнейшее вапъно (от греческого [...]) и новейшее известь (от греческого [...] - негашеный). И в то время как южные и западные европейцы имеют особое слово для обозначения каменной стены (латинское murus, откуда немецкое Mauer), в славянских языках особого термина для этой цели и доныне не существует.

Археологи, на основании своих соображений, склоняются к мысли, что славяне были автохтонами Восточной Европы, исстари жили на тех местах, где застала их история. Лингвистика в этом случае подтверждает археологию: северная, большая половина Восточно-Европейской низменности, и теперь лесная страна по преимуществу как нельзя лучше отвечает по своей природе такой лесной культуре, какую мы находим у славян. На основании данных общеславянского словаря, с одной стороны, географической номенклатуры - с другой, издавна делались попытки установить "прародину славянского племени" и более детально. Уже Надеждин в 30-х годах прошлого столетия находил "первоначальное гнездо славян" в нынешних Волынской и Подольской губерниях, захватывая и ближайшие австрийские области к западу, до северного подножия Карпат. Новейший исследователь вопроса, проф. А. Погодин, также считает славянской родиной "страну гористую и обильную болотами, как Волынь", ссылаясь на общность таких терминов, как холм, скала, гора, яр (узкая долина), юдоль, дебрь (заросшая лесом долина), яруга (болотистая долина) и т.п.* Этот пример показывает, между прочим, как опасна подобная детализация: скалистой, с точки зрения жителей, и гористой, обильной болотами является и Финляндия не в меньшей степени, чем Волынская губерния: весь приведенный словарь отлично мог бы быть приурочен и туда", не знай мы из других источников, что славяне там никогда не жили. С другой стороны, лесную культуру, аналогичную праславянской, как рисует ее нам лингвистика, можно найти на Восточно-Европейской равнине по всему ее протяжению много ранее того хронологического предела, до которого решается выслеживать славян современная наука. Еще Геродот в V в. до Р. Х. указывает в этих местах "многочисленный народ" гелонов и будинов, причем последние со своими "светло-голубыми" глазами и рыжими волосами отвечают, если угодно, и антропологическому типу древних славян, как известно, гораздо более белокурых, чем современные**. У этих народов были города, дома, храмы и идолы - все деревянное. Они занимали, по Геродоту, огромное пространство от озерной области на северо-западе до нынешней Саратовской губернии на юго-востоке. Часть их, именно будины, жили лесными промыслами: били пушного зверя и питались, между прочим, "еловыми шишками", т.е. кедровыми орехами. Другие, гелоны, были земледельцами, употребляли в пищу хлеб, занимались и

садоводством. "Эллины, - говорит Геродот, - часто смешивают будинов и гелонов, - но это два разных народа". Из его описания скорее можно понять, однако, что это два культурных слоя одного и того же народа - один отчасти эллинизованный, другой - вовсе не тронутый эллинским влиянием. Особенную этнографическую окраску гелонам давало именно греческое влияние: "Первоначально гелоны были те же эллины, удалившиеся из торговых городов и поселившиеся среди будинов"; некоторые из этих греческих колонистов сохранили, по словам Геродота, и свой язык. Так за 400 лет до Р. Х. культура приходила к народам Северо-Восточной Европы тем самым путем, по которому она шла в VIII веке по Р. Х., и уже при Геродоте здесь были торговые города со смешанным полуэллинским, полуварварским населением и эллинистической культурой - далекие предшественники "матери городов русских".

** Из истории славянских передвижений, с. 90.*

*** Подробнее о древних славянах см.: Нидэрле. Словенские древности, т. 1, с. 14 и др.*

Итак, на Восточно-Европейской равнине, в нынешней Московской или Владимирской губерниях, существовало земледелие с незапамятных времен, а славяне были на этой равнине автохтонами.

Вывод, который отсюда можно сделать, вполне благоприятен Беляеву: a priori как нельзя более вероятно, что и славяне, - допустив даже, что будины Геродота не стоят с ними ни в какой генетической связи, - были земледельцами уже до разделения. Лингвистика и это подтверждает: земледельческие термины - пахать (орати), жать, косить, названия плуга и бороны, главнейших видов хлеба, знакомых нашим широтам, - овес, ячмень, рожь и пшеница - общие у всех славянских племен. Общее у них и название хлеба, как предмета питания, - жито, и всего характернее, что это название (одного корня с жизнью) употребляется и для обозначения всей пищи вообще: значит, хлеб не только ели, но, как и у теперешнего русского крестьянина, он составлял основу древнеславянского питания, был пищей по преимуществу. Если бы мы остановились на этом, то и вопрос о древнеславянской культуре должен был бы, по-видимому, решиться в оптимистическом направлении. Но та же лингвистика безжалостно разрушает приятную иллюзию: просвещенные земледельцы-славяне жили, по всей видимости, в каменном веке. Все названия металлов у славян или описательные (руда - нечто красное, отсюда это слово обозначает одновременно и кровь, и красный железняк-гематит; злато - нечто желтое и блестящее и т.п.), или заимствованные, как и название каменной стройки: серебро от древнего северогерманского silfr (теперешнее немецкое [...]), медь - средневековое верхненемецкое Smide (металлическое украшение) и т.д. Древнейшие славянские погребения в Галиция - все с каменными орудиями; металлы встречаются лишь в позднейших.

Со старой точки зрения мы и тут наталкиваемся на непримиримое противоречие: земледелие, по старому взгляду, - одна из высших ступеней экономической культуры; оно предполагает уже две пройденные ступени: охоту и скотоводство. Как могли славяне проделать эту длинную эволюцию, не изменив самого первобытного способа изготовления орудий - из камня? Новейшая экономическая

археология и этнология дают нам, однако, возможность устранить это кажущееся противоречие очень легко. Наблюдения над современными дикарями показали весьма убедительно всю фальшивость старой схемы хозяйственного развития: охота - скотоводство - земледелие. Эта старая схема отправляется от совершенно правильного общего положения, что человек начинает с таких форм хозяйственной деятельности, которые требуют от него наименьшей затраты энергии, и постепенно переходит к все более и более трудным. Но создатели этой схемы не имели представления о каких-либо иных способах охоты, скотоводства и земледелия, кроме тех, какие встречаются у так называемых "исторических", т.е. более или менее культурных, народов. От того, что легко или трудно для культурного человека, заключали, что легко или трудно для человека первобытного, т.е. для дикаря. Но дикарь, несомненно, начал с таких способов добывания пищи, которые легче самого легкого из наших: он начал с того, что собирал даровые продукты природы, не требующие вовсе труда для своего приобретения, - начал с собирания дикорастущих плодов, кореньев и т.п. Как и высшие обезьяны, человек сначала был животным "плодоядным". Его животная пища первоначально, вероятно, состояла из раковин, улиток и тому подобных, тоже без труда достающихся пищевых средств. Некоторые очень низко стоящие племена Бразилии и до сих пор не пошли дальше этого "собирания". Единственные следы деятельности прибрежных племен Южной Бразилии представляют огромные кучи пустых морских раковин, длинными рядами тянущиеся вдоль морского берега. После отлива туземцы выходят на обсохший песчаный берег, собирают принесенные приливом раковины и успокаиваются до следующего отлива. В этом - вся их "охота". По количеству затрачиваемого труда этот способ добывания пищи не идет ни в какое сравнение с настоящей охотой за зверем или птицей или с рыбной ловлей при помощи сетей, удочек и т.п. Настоящие охотники и звероловы отнюдь не принадлежат к "низшим" племенам: краснокожие Северной Америки додумались до зачатков письма и не чужды художественной деятельности, а они живут исключительно только охотой. Обитатели Западной Европы каменного века, по-видимому, тоже были охотниками, а найденные при раскопках орудия их поражают совершенством и даже изяществом отделки: изображения головы лося, табуна лошадей на одном жезле или вырезанное на кости изображение мамонта сделали бы честь и не дикарю. Охота, несомненно, проще нашего земледелия, с применением животного труда, - лошади или быка; но эта форма земледелия далеко не единственно возможная и даже наименее распространенная. Среди некультурных племен гораздо употребительнее другая форма хлебопашества, которую немецкие исследователи окрестили Hackbau, что по-русски переводят как "мотыжное земледелие". Его отличительная особенность состоит в том, что оно ведется исключительно человеческими руками и почти без всяких инструментов, потому что первобытная мотыга не что иное, как развилистый сук, которым разрыхляют землю перед тем, как бросить туда семена. Такой инструмент куда проще лука и стрел или пращи и, вероятно, был самым ранним изобретением человека в области техники. И масса энергии, которая требуется для мотыжного земледелия на девственной почве, конечно, значительно меньше того количества силы, которое нужно затратить, чтобы справиться с крупным зверем. Мотыжное земледелие легче охоты, и есть все основания думать, что оно было самым ранним

из правильных способов добывания пищи. Оно вовсе не связано с оседлостью, напротив, обязательно предполагает бродячий образ жизни: так как верхний слой почвы, единственно доступный такой обработке, должен быстро истощаться, то культура носит поэтому очень экстенсивный характер и требует сравнительно огромной площади земли. Охота является, вероятно, на первых порах, подспорьем мотыжному земледелию: человеческий организм нуждается в известном количестве соли, а дикарь не имеет часто средств достать ее иначе, как в мясе, - сыром мясе с кровью. Весьма возможно, что так как человеческое мясо всего легче добыть, то человек и начал свой мясной стол с антропофагии и уже потом перешел к мясу животных. Географическая обстановка решала дальнейшее: племена, попавшие в районы, обильные дичью или рыбой, скоро стали смотреть на охоту или рыболовство как на основное занятие, а на земледелие - как на подсобное. Там, где был богатый запас растительной пищи, развивалось земледелие. Нет, однако, народа, который питался бы исключительно животной пищей. Без растительной приправы к столу жить нельзя, тогда как вполне возможно обойтись одной растительной пищей. В этом случае сравнительная этнология вполне на стороне вегетарианства. Напротив, совершенно неверен взгляд, в силу которого скотоводство развилось из охоты и служило первоначально средством иметь под руками постоянно запас мяса. Э. Ган блестяще доказал, что приручение самого крупного и ценного вида скота связано не с охотой, а именно с земледелием, и что бык служил сначала не как мясной, а как рабочий скот. Приручившие быка патриархи земледелия даже и не ели говядины, как не едят ее до сих пор самые старинные земледельческие народы - индусы и китайцы.

Если мы от этих аналогий и косвенных указаний лингвистики обратимся к древнейшим письменным свидетельствам о восточных славянах, к древнейшим текстам, мы найдем в них полное подтверждение приведенной выше характеристики этих славян как народа земледельческого, но стоящего в то же время на очень невысокой ступени культуры.

Ранее всего, из более или менее цивилизованных людей, столкнулись с нашими предками арабы, успевшие побывать в России ранее даже греков: по крайней мере, первые показания очевидцев о славянских быте и культуре принадлежат именно арабским путешественникам и встречаются у компилировавших рассказы этих последних, арабских географов. Одно из наиболее важных показаний этого рода мы находим в "Книге драгоценных сокровищ" компилятора Ибн-Даста, писавшего в первой половине X века, но источники его значительно старше. Ввиду важности этого текста мы приведем оттуда целиком то, что относится к экономической культуре восточных славян; что речь идет именно о них, доказывает название их столицы - по Ибн-Даста "Куяба", т.е. Киев. "Страна славян - страна ровная и лесистая; в лесах они и живут. Они не имеют ни виноградников, ни пашен. Из дерева выделывают они род кувшинов, в которых находятся у них и ульи для пчел и мед пчелиный сберегается. Это называется у них сидж, и один кувшин заключает в себе около 10 кружек его. Они пасут свиней наподобие овец..." (Дальше идет рассказ о погребальных обычаях славян, который будет рассмотрен в другом месте.) "...Более всего сеют они просо...", "...Рабочего скота у них мало, а верховых лошадей имеет только один упомянутый человек" (свият-царь). "Холод в их стране бывает до того силен, что каждый из них выкапывает себе в земле род погреба, к

которому приделывает деревянную остроконечную крышу, наподобие (крыши) христианской церкви, и на крышу накладывает земли. В такие погреба переселяются со всем семейством и, взяв несколько дров и камней, зажигают огонь и раскаляют камня на огне докрасна. Когда же раскалятся камни до высшей степени, поливают их водой, от чего распространяется пар, нагревающий жилье до того, что снимают уже одежду"*.

** Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских, с. 264 - 267.*

Кое-что в этом рассказе о вещах, которые самому автору, видимо, рисовались довольно смутно, можно отнести на счет простого недоразумения: так, в литературе уже давно отмечено, что славянскому меду Ибн-Даста дает название, какое носил этот напиток у волжских болгар, ближайших посредников для арабов в сношениях с восточными славянами. Совершенно очевидно также, в последних строках, смешение славянского жилья - землянки - с баней, хорошо известной нам для той эпохи и из других описаний. С первого взгляда может показаться, что и резким противоречием двух фраз: "пашен у них нет" и "сеют они просо" - мы обязаны такому же недоразумению. Но упомянув рядом с пашнями виноградники, Ибн-Даста ясно показал, что, с его точки зрения, тут никакого недоразумения не было: под пашнями арабский писатель разумел то, что зовется так в культурных странах, - поля, на которых год из году занимаются земледелием, как в виноградниках год из году культивируют виноградную лозу. Таких постоянных пашен он и не находил у славян, живших в лесу и сеявших свое просо каждый год на новом месте. С этой стадией земледельческой культуры отлично вяжется и другое показание нашего автора о слабом развитии скотоводства у славян. Оно уже было, но в зачаточном состоянии; расцвет его лежат впереди - для XII века мы имеем уже несомненные свидетельства того, что пахота с помощью лошади была общераспространенным явлением в Южной Руси. Эта новизна скотоводства и связанная с нею дороговизна скота оставили любопытный след в древнерусских юридических памятниках. В некоторых статьях "Русской правды" слово "скот" употребляется в смысле "денег" (аналогично в этом случае с древнеримским pecunia); но мы знаем, что деньгами, единицей мены, становятся обыкновенно такие предметы, на которые есть большой спрос, но которые существуют в то же время лишь в ограниченном количестве. Благодаря этому в Древней Греции первой монетой и стал железный прут ("обол") - представитель еще редкого и ценного в то время металла. Рабочий скот в России IX - X веков был еще так же редок и ценен, как в гомеровской Греции, оттого там и тут вычисляли цену других предметов на скот. Оттого "Русская правда" и занимается так тщательно вопросом о возможном приплоде скота (в так называемом "Карамзинском" списке этому отведено не менее 8 отдельных статей), причем отводит видное место и упоминаемым Ибн-Даста свиньям (3 статьи из 8).

Характер славян, как лесного народа, живущего, между прочим, и даже на первом месте, бортничеством, также выступает у арабского географа очень выпукло, но любопытно, что Ибн-Даста ни словом не упоминает о другом промысле, казалось бы, столь естественном в "лесистой" стране, - об охоте. Чтобы русские славяне до

начала X века не охотились вовсе, это, конечно, трудно себе представить, но очевидно, что бортничество, свиноводство и кочевое земледелие настолько составляли основу их хозяйства, что охота, как промысел, не бросалась в глаза, как это было по отношению к соседним болгарам, о которых арабский писатель отметил, что "главное богатство составляет у них куний мех". Болгары тогда уже больше всех втянулись в оборот восточной торговли и меха были главным предметом их отпуска; едва ли не в связи с тою же восточной торговлей охота приобрела серьезное экономическое значение и у восточных славян. Во всяком случае, базировать все их хозяйство на охоте, как это делают в последнее время некоторые авторы, было бы неосторожно ввиду прямых указаний на противоположное со стороны как лингвистики, так и арабских писателей, ранее всех систематизировавших сведения о наших предках.

Древнейшая общественная организация стоит в тесной связи со способами добывания пищи. Знаменитая характеристика этой организации в начальной летописи: "живяху кождо с родом своим на своих местех, володеющие кождо родом своим", послужила исходной точкой для множества более или менее фантастических гипотез о первоначальном общественном строе русских славян. Нетрудно было понять, что здесь речь идет о каком-то союзе родственников, но что связывало между собой этих последних, помимо кровных отношений, которые сами по себе нисколько не мешают людям жить врозь и заниматься различными делами, это не так легко было себе представить. В особенности мешала русским историкам составить себе конкретное и отчетливое представление об этом роде начальной летописи их идеалистическая точка зрения - привычка все исторические перемены объяснять переменами в мыслях и чувствах исторических деятелей. У такого умного историка, как Соловьев, например, можно найти длинные рассуждения о том, какую роль играло в первобытном обществе родственное чувство, как оно постепенно ослабевало и что из этого вышло. Неудовлетворительность подобных объяснений слишком била в глаза, и "теория родового быта" уступала место другим гипотезам, - "вотчинной", "общинной", "задружной" и т.п., ценность которых, однако, отнюдь не была выше первой. Но уже раньше, чем в общественных науках, взяла верх материалистическая точка зрения, та самая историческая аналогия, образчик которой мы видели выше, дала возможность представить себе все дело гораздо нагляднее. В некоторых местах Русской равнины географическая обстановка IX - X веков сохранилась почти в полной неприкосновенности до очень позднего, сравнительно, времени: таковы были великорусский север, нынешняя Архангельская губерния до XVII и западнорусское Полесье приблизительно до XVI века. Характерно, что в этих двух весьма удаленных друг от друга и никогда не сообщавшихся местностях мы встречаем совершенно одинаковую основную клеточку хозяйственной и вообще социальной организации: на севере она носит название печища, на западе - дворища.

"Дворище", как и "печище" являются прежде всего формами коллективного землевладения, но весьма похожими на знакомые нам образчики последнего, например, на великорусскую сельскую общину. Коллективизм последней, как она существовала до начала XX столетия, был юридически финансовый: крестьяне общинники сообща владели землей и сообща отвечали за лежавшие на ней подати

и повинности, но хозяйство они вели каждый отдельно. Считать такую организацию зародышем или остатком первобытного коммунизма можно было опять-таки лишь с той идеалистической точки зрения, для которой юридическая оболочка была гораздо важнее экономического содержания, право важнее того факта, благодаря которому это право только и могло возникнуть. В дворищном землевладении мы имеем перед собой остаток подлинного коммунизма: первоначально все обитатели северно-русского "дворища", иногда несколько десятков работников обоего пола, и жили вместе под одной кровлей, в той громадной друхэтажной избе, какие и теперь еще встречаются на севере, в Олонецкой или Архангельской губерниях, - "настоящем дворце сравнительно с южнорусскими хатами", по отзыву исследовательницы, которой русская наука обязана первым точным описанием древнейшей формы русского землевладения*. Позже они могли расселиться по нескольким избам, но экономическая сущность организации от этого не менялась: все "дворище" по-прежнему сообща обрабатывало всю захваченную ими землю общим инвентарем, и продуктами пользовались все работники сообща. Хозяйство было не только земледельческое. Документы, сохранившие нам юридическую форму древнейшего землевладения (ко времени составления этих документов обыкновенно уже распадавшегося), изображают эту "землю" как совокупность целого ряда промыслов, входивших в состав дворищного хозяйства; "дворище" всегда является "с полями, сеножатьми и з лесы и боры, и з деревом бортным, з реками и озера, и з гати и з езы, и з ловы рыбными и пташими..." Все, что нужно было для жизни, не только хлеб, добывалось общим трудом; но наиболее прочной спайкой, связывавшей воедино все население "дворища", являлось, несомненно, все-таки земледелие. Ибо для всей группы не могло быть более трудного дела, чем выкорчевать из-под леса участок земли под пашню - в историческую эпоху пашню уже обычного типа, обрабатывавшуюся не виловатым суком, а сохой; и не одним ручным трудом, а с помощью лошади. Ни "рыбный и пташий лов", ни бортничество сами по себе коммунизма не требовали и не могли создать: он мог "ложиться только параллельно с земледелием" и становился тем прочнее, чем сложнее и труднее становилось это последнее. Бродячие охотники, какими иногда представляют себе русских славян, несомненно, оказались бы большими индивидуалистами.

** Ефименко А. Я. Южная Русь, т. 1, с. 372.*

Как возник этот первобытный коммунизм и на чем он держался? На первый вопрос едва ли можно дать какой-нибудь ответ в пределах не только русской, но и истории славянской вообще, потому что описанная форма землевладения составляет не только русскую, а общеславянскую особенность: сербо-хорватская "задруга", или "велика куча", представляет собою полную параллель нашему архангельскому "печищу" или полесскому "дворищу". Форма недифференцированного стада, жившего простым "собиранием" готовых продуктов, была, очевидно, пройдена славянами ранее, чем они выделились из общеарийской массы. Даже на первоначальную ступень "мотыжного" земледелия сохранились в исторических памятниках лишь слабые намеки. Главнейшим из них является то относительно самостоятельное положение женщины у славян,

сравнительно, например, с германцами, которым так гордились в свое время славянофилы. В древнеславянском праве так называемая "половая опека" выражена гораздо менее резко, чем можно было бы ожидать. Тут особенно приходится отметить два момента: самостоятельное положение женщины на суде, доходившее до того, что женщина иногда могла являться участницей судебного поединка, и широкий объем имущественных прав женщины, которая могла распоряжаться своим имением без согласия мужа, тогда как последний не мог распорядиться имуществом жены, даже приданым, без ее согласия*. Любопытную черту к этому дает первая статья "Русской правды". В числе возможных мстителей за кровь она указывает, и на одном из первых мест при том, - "сына сестры" убитого, т.е. ведет счет родства и по женской линии, не только по мужской. Подобное явление никоим образом не могло возникнуть в исторически нам знакомой патриархальной семье, во главе которой стоит мужчина - отец, и где счет родства всегда ведется по мужской линии. Поэтому его приходится рассматривать как остаток материнского праваматриархальной семьи, где счет родства всегда велся по женской линии, и брат матери считался одним из ближайших родственников, наравне с отцом, если не выше его. Самостоятельное положение женщины, имущественное и правовое, вполне вяжется с этим, точно так же, как и то, что мы знаем об экономической культуре первобытных славян. Первичное, "мотыжное" земледелие всюду было и есть, где оно еще сохранилось, в руках женщин; весьма возможно, что женщина, связанная детьми и поневоле более оседлая, менее свободно передвигавшаяся в поисках за даровой пищей, была даже изобретательницей земледелия. Но первая овладевшая правильным способом добывания пищи женщина экономически эмансипировалась от мужской опеки, семья стала концентрироваться около матери, а не около отца. Оттого у племен с преобладанием земледелия - у древних культурных народов Америки, например, - мы всюду встречаем материнское право или следы его, тогда как у скотоводов или охотников, в той же Америке, этих следов вовсе нет.

---

* *Шпилевский. Семейные власти у древних славян и германцев, с. 74 и 86 - 87.*

Таким образом, то, что в глазах славянофильской публицистики было печатью особого призванья, свойственного славянскому племени, на деле является просто одним из признаков большей архаичности славянского права*. К началу исторической жизни славян отцовское право, однако, уже решительно восторжествовало вместе с земледелием нового типа, обусловленного развитием скотоводства. Охарактеризованное выше "печище", или "дворище" (задруга южных славян), построено уже по типу патриархальной Семьи: составлявшая ее группа работников - обыкновенно дед с сыновьями я внучатами, дядя с племянниками, братья родные или двоюродные - по отцу. Но мы очень ошиблись бы, если бы придали этой кровной связи первенствующее значение: она обыкновенна, но вовсе не безусловно обязательна. Подобное же коллективное хозяйство на севере вели, сплошь и рядом, совсем посторонние друг другу люди, соединявшиеся по договору "складства": они образовывали такое же точно "печище", но не навсегда, а на известный срок, например, на 10 лет. В эти десять лет у складников все общее: движимое и недвижимое имение, инвентарь, рабочий скот, все доходы и расходы, -

это, что называется, "одна семья". Через десять лет, если они не захотят возобновить договоры "складства", они делят все общее достояние на равные доли и расходятся - они опять чужие. Точно так же и для того, чтобы быть членами южнославянской "великой кучи", нет необходимости принадлежать к ней по крови, по происхождению: в семью может быть принят и совершенно чужой человек, и пока он принимает участие в общей работе, он пользуется одинаковыми правами со всеми другими членами "задруги". И здесь, значит, связь экономическая идет впереди кровной, "родственной" в нашем смысле.

** Остатки "материнского права" встречаются и у древних германцев, но на хронологически более ранней ступени.*

На основе общего хозяйственного интереса вырастает вся первобытная общественная организация. Было бы очень наивно представлять себе первобытных людей в образе мирных тружеников, благоговейно относящихся к плодам чужого труда. Продукты этого последнего были обеспечены для семьи лишь постольку, поскольку она силой могла отстоять их от покушений соседей: отношения между соседями были "международными", употребляя теперешнее выражение. То, что монархист-летописец изображает как результат отсутствия государственной власти, когда говорит о положении славян перед призванием князей, - "и не бе в них правды и вста род на род, и быша усобицы в них, и воевати самя на ся почаша" - на самом деле было нормой междусемейных отношений и при наличности князей, пока не явились экономические интересы, более широкие, чем семейные, и на их основе не сложилась более широкая организация. "Русская правда" приписывала отмену кровной мести сыновьям Ярослава Владимировича: значит, при Ярославе, т.е. до половины XI столетия допускалось кровомщение, иными словами, допускалась частная война между семьями. При Ярославе, однако же, как видно из той же "Правды", эта частая война была уже поставлена в довольно узкие пределы: в первой статье устанавливается, кто мог ее начать, и требуется определенный, можно бы сказать, "законный" повод: "аще убьет муж мужа". Семья могла начать войну только в том случае, если один из членов ее будет убит, другими словами, допускалась война только оборонительная. Но летопись сохраняла живое воспоминание о той поре, когда право частной войны понималось гораздо шире. После крещения Владимира епископы, рассказывает летопись, стали говорить князю: "Зачем ты не казнишь разбойников?" - "Боюсь греха", - отвечал будто бы Владимир. Монах-летописец понял этот ответ как выражение страха Божьего, как опасение согрешить, убив, т.е. казнив, разбойника. Но князь, вероятно, видел "грех" в нарушении дедовского обычая, допускавшего разбой, т.е. частную войну во всей ее широте. Этот дедовский обычай, в конце концов, и восторжествовал: "и живяше Володимерь по устроенью огню и дедьню", - заканчивает литописец свой рассказ о совещании князя с епископами и старцами. Ограничить же право частной войны удалось только Ярославу Владимировичу. Итак, хозяйственная организация семьи необходимо предполагала военную организацию для охраны продуктов хозяйства. Остатки этой военно-семейной организации тоже ясно видны в летописи: вместе отбиваясь от соседних "родов", "род" вместе ходил на войну и против общего, племенного врага. Рассказав о том, как Святослав победил греков и

взял с них дань, летописец замечает: "брал он дань и на убитых, говоря: это возьмет их род".

Если прибавить к этому, что, кроме врагов видимых и осязаемых, первобытному человеку за каждым враждебным его хозяйству явлением чудились враги невидимые, "сила нездешняя", то мы сможем себе представить довольно ясно, что такое была первобытная большая семья, "дворище" или "печище" на заре исторической эпохи. Члены такой семьи - работники в одном хозяйстве, солдаты одного отряда, наконец, поклонники одних и тех же семейных богов - участники общего культа. Это дает нам возможность понять положение отца такой семьи. Всего меньше он "отец" в нашем смысле этого слова. Руководство всем семейным хозяйством и военная дисциплина, необходимая для обороны этого хозяйства, дают в его руки громадную власть. К этой реальной силе его положение, как жреца семейного культа, прибавляет всю силу первобытного суеверия: отец один водится с богами, т.е. духами предков, его "здешняя" власть увеличивается на всю громадную силу этих "нездешних" членов семьи. О сопротивлении домовладыке не может быть и речи: господин-отец - самодержец в широчайшем значении этого слова, Он распоряжается всеми членами семьи, как своею собственностью. Он может убить или продать сына или дочь, как продают свинью или козу. Отсюда в первобытной семье нет возможности провести демаркационную черту между членами семейства и рабами - и название для тех и других было общее. Древнеримское familia, которое переводят обыкновенно как "семейство", в сущности означало "рабов одного господина"; древнерусская дворня называлась челядью, чадами своего барина; и теперь еще в слове домочадцы объединяются не только родственники хозяина дома, но и его прислуга. Крепостные крестьяне называли своего помещика батюшкой, а сын в древнерусской семье величал своего отца государем-батюшкой, как величал своего хозяина "государем" и древнерусский холоп. И барин был, действительно, для него государем в наше"! смысле этого слова: он судил своего холопа и наказывал не только за проступки и неисправность в барском хозяйстве, но и за преступления общественного характера. "А старосте ни холопа, ни рабы без господаря не судити" - говорит новгородское право. Представитель общественной власти не мог произнести приговора над холопом, не спросясь его господина-государя. Зато в приговор, произнесенный этим последним над своим холопом, общественная власть не считала себя вправе вмешаться. "А кто осподарь огрешится, ударит своего холопа или рабу и случится смерть, в том наместници не судят, ни вины не емлют", - говорит уставная двинская грамота (XIV век). По отношению к детям следы таких же прав отца писаный закон сохранил до Петра Великого: его воинский артикул не считает убийством засечение своего ребенка до смерти. Народные воззрения еще архаичнее писаного права: между сибирскими крестьянами еще в середине XIX века господствовало убеждение, что за убийство сына или дочери родители подлежат только церковному покаянию. Тарас Бульба, собственноручно казнивший сына за измену, был вполне верен старому народному представлению об отцовской власти.

Древнейший тип государственной власти развился непосредственно из власти отцовской. Разрастаясь естественным путем, семья могла при благоприятных обстоятельствах сохранить свое хозяйственное единство или, по крайней мере,

прежнюю военную и религиозную организацию. Так образовывалось племя, члены которого были связаны общим родством, а, стало быть, и общей властью. У южных славян племенная организация сохранилась до нашего времени: в 60-х годах XIX века вся Черногория состояла из 7 племен; самое многочисленное из них, белопавличи, считало до 3000 "ружей", т.е. взрослых, способных к бою мужчин. Естественному процессу нарастания судьба часто помогала искусственно: при постоянных стычках одна семья могла покорить одну или несколько других. Если победа была полная, решительная, побежденные просто-напросто обращались в рабов; но если они сохраняли некоторую способность сопротивления, победители шли на уступку: побежденная семья сохраняла свою организацию, но становилась в подчиненные отношения к победительнице, была облагаема известными, повинностями - данью - и превращалась в подданных победителей. Подобные же отношения могли, конечно, образоваться таким же точно путем и между двумя племенами. В этом случае власть господина-отца победившего племени распространялась и на членов племени побежденного.

В Древней Руси мы имеем обе эти формы разрастания патриархальной власти. Начальная летопись еще помнит то время, когда русские славяне, как теперешние черногорцы, делились на племена, и каждое племя имело свое княжение: "по смерти Кия с братиями начал род их княжить у полян, а у древлян были свои князья, у дреговичей свои, свои у новгородских и у полоцких славян". Свои племенные князья у древлян были еще в X веке - летопись называет по имени одного из них, Мала, который так неудачно сватался за Ольгу. Туземцы называли их "добрыми князьями, которые распасли древлянскую землю", противополагая их тем самым киевским князьям, завоевателям, которые древлянскую землю только грабили. В более глухих местах такие племенные старшины дожили до XII века, и еще Мономаху приходилось иметь дело с Ходотой и сыном его, туземными царьками самого отсталого из русских племен - вятичей. Но Ходоту уже не называют князем: этот титул оставался за членами рода, сидевшего в Киеве. Настоящие князья XII века - не потомки местных патриархальных владык, а люди пришлые. Откуда они пришли - это достаточно показывают их имена: в Рюрике, Игоре, Олеге летописи нетрудно признать древнескандинавских Ререка, Ингвара и Хелега (Helgi). Еще в X веке они говорили на особом от туземного населения языке, который они называли "русским". Константин Багрянородный приводит целый ряд таких "русских" названий днепровских порогов: все они происходят из шведского языка*. Скандинавское происхождение Руси настолько удовлетворительно доказывается этими лингвистическими данными, что прибегать к более нежели сомнительным свидетельствам средневековых хронистов, как это часто делалось в пылу полемики, совершенно лишнее.

** Томсен. Начало Русского государства.*

После всех споров о происхождении Рюриковой династии пришлось, таким образом, присоединиться к мнению автора начальной летописи, который очень определенно указывал местожительство Руси "за морем", т.е. по ту сторону Балтийского моря, и считал ее ближайшей родней норманнов (урмане) - в частности шведов (свее). В вопросе о том, как появилась эта династия среди

восточных славян, всего безопаснее держаться того же летописного текста. Отношения "Руси" к славянам, по летописи, начались с того, что варяги, приходя из-за моря, брали дань с северо-западных племен, славянских и финских. Население сначала терпело, потом, собравшись с силами, прогнало норманнов, но, очевидно, не чувствовало себя сильным достаточно, чтобы отделаться от них навсегда. Оставалось одно - принять к себе на известных условиях одного из варяжских конунгов с его шайкой, с тем, чтобы он оборонял зато славян от прочих норманнских шаек. "Поймем себе князя, который бы владел нами... по ряду", - говорили будто бы собравшиеся на совещание чудь, славяне, кривичи и весь. Но "володеть" на языке летописи вовсе не значит только "господствовать", "быть государем", - а значит прежде всего "брать дань". Рассказывая о том, как хазары пришли брать дань с полян и получили в виде дани меч, летописец приводит предсказание, сделанное будто бы хазарскими "старцами": "Нехорошая эта дань! Мы ее получили саблей - оружием с одним острием; а у этих оружие обоюдоострое - меч: будут они брать дань на нас и на других странах". "Так и случилось, - прибавляет летописец, - володеют хазарами русские князья до нынешнего дня".

Так, "владеть" и "брать дань" для летописца одно и то же. После этого нам становится понятно, что значит "владеть по ряду": новгородские славяне просто-напросто откупились от грабежей норманнов Рюрикова племени, пообещав им платить ежегодно определенную сумму, которую дальше летопись и называет. До смерти Ярослава новгородцы платили варягам 500 гривен в год "ради мира"; с этой целью - купить мир - и был заключен ряд с Рюриком и братьями.

То, что произошло в этом случае, нельзя охарактеризовать иначе, как завоеванием, в его более мягкой форме, когда побежденное племя не истреблялось, а превращалось в "подданных". Стоит припомнить рассказ о том, как Игорь собирал дань с древлян, чтобы у вас не осталось никакого сомнения в характере его "владения". "Посмотри, князь, - говорила дружина Игорю, - какая богатая одежда и оружие у Свенельдовых людей. Пойдем с нами за данью: и ты добудешь, и мы". Значит, идти по дань можно во всякое время, - как только тот, кто берет дань, почувствует пустоту в своем кармане. Аппетит приходит во время еды: собрав обычную дань, Игорю не хотелось уходить. "Ступайте вы домой, - сказал он дружине, - а я пойду, похожу еще". Меркой дани в этом случае было терпение местных жителей, и оно на этот раз не выдержало: "Повадится волк к овцам, - сказали древляне, - выносит все стадо, если не убить его: так и этот, если его не убить, то всех нас погубит". И послали ему сказать: "Зачем ты опять идешь? Ведь ты всю дань взял?" Игорь не послушал предостережения и был убит. Его вдова жестоко отомстила за его смерть, но не решилась продолжать его политику. Завоевав снова древлянскую землю, она "установила уставы и уроки": древлянская дань была нормирована в половине X века, как сто лет раньше была нормирована новгородская дань.

История Игоря чрезвычайно ярко рисует нам "властвование" древнерусского князя над его "подданными". Мы видим, что ни о каких "началах государственности", якобы занесенных к нам князьями из-за моря, не может быть и речи. Русские князья у себя за морем были такими же патриархальными владыками, как и их славянские современники: их скандинавское название "конунги", Running, именно и означает "отец большой семьи" - от Клише - семья. И

пришли они к славянам "с родом своим": это было переселение целого небольшого племени. Совершенно естественно, что власть этих пришлых князей носит на себе яркий патриархальный отпечаток, удержавшийся не только в киевскую эпоху, но и гораздо позже. В царе Московской Руси XVI - XVII веков много черт такого же "господина-отца", каким был впервые призванный "править Русью" варяжский конунг.

Роли князя в племенном культе мы касаться здесь не будем. Нет надобности распространяться о военном значении древнерусского князя, как позже московского царя, - эта сторона в элементарных учебниках выступает даже чересчур ясно. Стоит отметить, ради характеристики консервативности древнего обычая, те случаи, где предводительство князя на войне было, в сущности, явно нецелесообразно. В том же описании похода Ольги против древлян мы встречаем очень любопытный образчик этого обычая. Хотя сын Игоря, Святослав, был еще очень мал, он, однако же, находился при войске и даже принимал участие в битве; дружина дожидалась, пока князь начнет бой. Когда Святослав бросил своей детской ручонкой копье, которое тут же и упало у самых ног его лошади, только тогда настоящий предводитель Свенельд дал команду двигаться вперед: "Князь уже начал: пойдем, дружина, за князем!" В 1541 году напали на Москву крымские татары. Никоновская летопись рассказывает по этому случаю о распоряжениях, которые делал великий князь: как он приказал расставить артиллерию, каких он назначил воевод, какие дал этим воеводам инструкции и т.д. При некоторой невнимательности к хронологии все это можно понять совершенно буквально, но надо вспомнить, что в 1541 году Ивану Васильевичу было всего 11 лет. Очевидно, распоряжалась всем боярская дума, правившая тогда страной от его имени: но обычная форма строго соблюдалась, и на словах главнокомандующим считался все-таки маленький великий князь.

Гораздо важнее и характернее для древнерусского государственного права та его особенность, в силу которой князь, позже государь московский, был собственником всего своего государства на частном праве, как отец патриархальной семьи был собственником самой семьи и всего ей принадлежащего. В духовных грамотах князей XIV - XV веков эта черта выступает так ясно, что ее нельзя было не заметить, - и мы давно знаем, что Иван Калита не делал различия между своею столицею Москвою и своим столовым сервизом*. Но было бы большой ошибкой считать это последствием какого-то упадка "государственного значения" княжеской власти в глухую пору удельного периода: юридически в течение всей древней русской истории дело не обстояло иначе. Прежде всего, Древняя Русь не знала двух разных слов для обозначения политической единицы, во главе которой стоял князь, и личного имения этого последнего. И то, и другое обозначалось одним словом: волость. На страницах летописи это слово нередко, совсем рядом, употребляется в обоих значениях: то в одном, то в другом, и летописец, очевидно, не находит тут повода к какому-нибудь недоумению. Сама государственная власть выражалась тем же термином "волость"; описывая, как неудачного киевского князя Игоря Ольговича схватили в болоте, куда он попал во время бегства, и привели к его счастливому сопернику, Изяславу Мстиславичу, летописец заключает: "и тако скончалась волость Игорева". Совершенно естественно, что и имения частных лиц и учреждений тоже

назывались "волостями": были волости Пресвятой Богородицы, т.е. Печерского монастыря, а в XV веке у Ивана III было длинное пререкание с новгородским владыкою из-за "волостей", принадлежавших этому последнему, которые великий князь хотел присвоить себе. Но еще любопытнее, что пригороды рассматривались как частная собственность главного города области. Не один раз князья ходили на несчастный Торжок и жгли его "за новгородскую неправду" с тем, очевидно, чтобы истреблением новгородской собственности отомстить непослушному городу за его упрямство. Здесь права отца-господина перешли, таким образом, к собирательному целому, к городской общине, которая и явилась коллективным патриархом.

** См. напечатанную в 50-х годах XIX века статью Чичерина "Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей".*

Из этого смешения частного и государственного права прежде всего вытекало то последствие, что князь был собственником на частном праве всей территории своего княжества. Пока князья постоянно передвигались с одного места на другое, они мало обращали внимание на эту сторону своих прав. Но когда они прочно уселись на местах в Северо-Восточной Руси, это право нашло себе тотчас же вполне реальное осуществление. Когда московского крестьянина XV - XVI веков спрашивали, на чьей земле он живет, обыкновенно получался ответ: "Та земля государя великого князя, а моего владения" или "Земля божья да государева, а роспаши и ржи наши". Частное лицо могло быть лишь временным владельцем земли - собственником ее был князь. Он мог уступать это право собственности другому лицу, особенно лицу, для него нужному, но это была уже привилегия, которую последующие князья могли и отнять. Такой привилегией пользовались обыкновенно бояре, ближайшие сотрудники князя, потому особенно ему нужные люди. Затем той же привилегией частной земельной собственности пользовались и монастыри: первый, по времени, пример пожалованья земли в вотчину мы встречаем именно в рассказе о построении Киево-Печерского монастыря (начальная летопись 1051 года). Монастырь был основан на совсем пустом месте: "бе бо лес тут велик". Тем не менее братия предусмотрительно запаслась разрешением князя Изяслава, без чего князь всегда мог согнать монастырь с занятой им земли.

Не только князь был собственником всего недвижимого имущества своих подданных - он распоряжался и недвижимостью по своему усмотрению. При Василии Ивановиче, отце Грозного, ездили в посольство в Испанию - к императору Карлу V - кн. Иван Ярославский и дьяк Трофимов. "Кесарь" щедро их одарил серебряными и золотыми сосудами, блюдами, цепями, монетами и т.п. Все это очень понравилось великому князю, и он велел снести подарки, данные его послам, в свою собственную великокняжескую кладовую. Герберштейн, рассказавший этот случай, был очень изумлен таким бесцеремонным обращением с чужой собственностью, но московское общество приняло дело совершенно хладнокровно. "Что же, - говорили Герберштейну его русские приятели, - государь иным чем пожалует".

Глава II

Феодальные отношения в Древней Руси

Что такое феодализм - Крупное землевладение в Древней Руси - Совпадало ля крупное землевладение с крупным хозяйством? - Вотчинное хозяйство: натуральный оброк - Появление денежного оброка т барщины - Связь вотчины с нечищем; процесс феодализации - Вопрос об оседлости древнерусского крестьянства; "старожильцы" - Вопрос об общине - Эволюция древнерусской деревни - Как возникла крупное землевладение - Пожалование. Захват - Задолженность мелкого землевладения: черносошное крестьянство севера России в XVI веке - Закуп "Русской правды" и изорники Псковской грамоты - Размеры земельной мобилизации в XVI веке Соединение политической власти с землей - Вотчинное право как пережиток патриархального - Вотчинный суд; вотчинные таможня - Барские дружины - Вассалитет: феодальная лестница в Московская Русь - Феодальная курия и боярская дума - Охрана нрава в Древней Руси - Можно ли рассматривать феодализм как юридическую систему

Первобытный общественный строй, который мы рассматривали в I главе, уже для Древней Руси стал прошлым. От него сохранялись только переживания, правда, довольно упрямые и цепкие, по глухим углам продержавшиеся почти до наших дней. Но то, что было настоящим для Древней Руси, ее повседневная действительность, принадлежало к позднейшей стадии общественного развития. Эту позднейшую стадию, возникшую непосредственно из тех отношений, которые мы условились называть первобытными, западноевропейские историки и социологи давно назвали феодализмом. Националистическая историография, усиливавшаяся доказать, что в истории России все было "своеобычно", оригинально и непохоже на историю других народов, отрицала существование феодализма в России. Она успела не одному поколению читающей публики внушить знаменитое, ставшее классическим, противоположение каменной, гористой, изрезанной горами и морями на множество клочков Европы, в каждом уголке которой сидел свой "феодальный хищник", упрямо и удачно сопротивлявшийся всем попыткам централизации, и деревянной, ровной, однообразной на всем своем протяжении России, не знавшей феодальных замков, как не знает она ни морей, ни гор - и самой природой, казалось, предназначенной для образования единого государства. Это противоположение, исходившее от наблюдений не столько над социальным строем, сколько над пейзажем, как он рисуется нам, когда мы глядим из окошка железнодорожного вагона, несомненно страдало некоторым перевесом наглядности над научностью. Стоило несколько строже поставить вопрос о том, что же такое феодализм и в чем состоят его отличительные признаки, чтобы выразительная, на первый взгляд, параллель каменного замка западноевропейского барона и деревянной усадьбы русского вотчинника утратила всю свою убедительность. В современной исторической науке ни материал построек, ни наличность или отсутствие в ландшафте горного хребта при определении основных признаков феодализма в расчет вовсе не принимаются. Эта современная наука присваивает феодализму, главным образом,

три основных признака. Это, во-первых, господство крупного землевладения, во-вторых, связь с землевладением политической власти, - связь настолько прочная, что в феодальном обществе нельзя себе представить землевладельца, который не был бы в той или другой степени государем, и государя, который не был бы крупным землевладельцем, и, наконец, в-третьих, те своеобразные отношения, которые существовали между этими землевладельцами-государями: наличность известной иерархии землевладельцев, так что от самых крупных зависели более мелкие, от тех - еще более мелкие и так далее, и вся система в целом представляла собою нечто вроде лестницы. Вопрос о том, существовал ли феодализм в России, и сводится к вопросу, имелись ли налицо в древнерусском обществе эти три основных признака. Если да, то можно сколько угодно толковать о своеобразии русского исторического процесса, но наличность феодализма в России признать придется.

Крупное землевладение в России мы встречаем уже в очень раннюю эпоху. Более полная редакция "Русской правды" (представляемая так называемыми списками - Карамзинским, Троицким, Синодальным и другими) в основном своем содержании никак не моложе XIII века, а отдельные ее статьи и гораздо старше. А в ней мы уже находим крупную боярскую вотчину с ее необходимыми атрибутами; приказчиком, дворовой челядью и крестьянами, обязанными за долг работать на барской земле ("закупами)"). "Боярин" "Русской правды", прежде всего, крупный землевладелец. Косвенные указания "Правды" находят себе и прямое подтверждение в отдельных документах: в конце XII столетия один благочестивый новгородец жертвует монастырю св. Спаса целых два села "с челядью и со скотиною", с живым инвентарем, как четвероногим, так и двуногим. Для более поздних веков указания на существование больших имений становятся так многочисленны, что доказывать наличность этого явления не приходится. Стоит отметить, ради наглядности, лишь размеры тогдашней крупной собственности да указать ее характерные, сравнительно с нашим временем, особенности. В новгородских писцовых книгах XV века мы встречаем владельцев 600, 900 и даже 1500 десятин одной пахотной земли, не считая угодьев - луга, леса и т.д. Если принять в расчет, что леса тогда часто мерялись даже и не десятинами, а прямо верстами, и что пашня составляла лишь небольшую часть общей площади, то мы должны прийти к заключению, что имения в десятки тысяч десятин не были в древнем Новгороде редкостью. В половине следующего XVI века Троице-Сергиеву монастырю в одном только месте, в Ярославском уезде, в волости Черемхе, принадлежало 1111 четвертей (555'/2 десятин) пашни, что при трехпольной системе, тогда уже общераспространенной в Средней России, составляло более 1600 десятин всего; к этому были луга, дававшие ежегодно до 900 копен сена, и "лесу поверстного, в длину на 9 верст, а в ширину на 6 верст"*. Это отнюдь не было главное из земельных владений монастыря, напротив, это была лишь небольшая их часть: в соседнем Ростовском уезде у той же Троице-Сергиевой лавры, тоже в одном только имении, селе Новом, было до 5000 десятин одной пашни да 165 квадратных верст леса. В то же время в Тверском уезде мы встречаем помещика, значит, не наследственного, а вновь возникшего собственника, князя Семена Ивановича Глинского, владевшего, кроме того села, где была его усадьба, 65 деревнями и 61 починком, в которых было в общей сложности 273 крестьянских двора, а при них

более полуторы тысячи десятин пашни и луга, дававшие до десяти тысяч копен сена. Глинский был важный барин, родственник самого великого князя, но у его соседей, носивших совершенно негромкие имена, один - Ломакова, а другой - Спячева, было у первого 22 деревни, а у второго - 26 деревень да 6 починков. А в Ростовском уезде, в селе Поникарове, мы найдем даже и не дворянина, а простого дьяка (дьяки были "чин худой", по понятиям московской аристократии), владевшего 55 крестьянскими и бобыльскими дворами, которые пахали все вместе до 500 десятин земли.

---

* *Писцовые книги. - Изд. Калачева, т. 1, отд. 3, с. 6.*

Мы недаром перешли от количества десятин к количеству дворов и деревень, принадлежавших тому или другому барину: без этого сопоставление не было бы достаточно наглядным. Дело в том, что мы очень ошиблись, если бы предположили, что все эти сотни и тысячи десятин, принадлежавших одному собственнику, пахались этим последним на себя и составляли одно или несколько крупных хозяйств. Ничего подобного: каждая отдельная деревня, каждый отдельный крестьянский двор ("двор" и "деревня" тогда часто совпадали, однодверная деревня была даже типичной) пахали свой отдельный участок земли, а сам вотчинник со своими холопами довольствовался одной "деревней" или немногим больше. Самый богатый землевладелец, какого мы только находим в новгородских писцовых книгах, имел собственное хозяйство только в том селе, где стояла его усадьба и где всей обработанной земли было от 20 до 30 десятин. В том имении, где Троицкому монастырю принадлежало до 5000 десятин, собственно монастырская пашня составляла менее 200 десятин, а монастыри вели еще, по-тогдашнему, весьма интенсивное хозяйство и шли впереди всех других земельных собственников. Тут мы подходим к основному признаку феодального крупного землевладения: это было сочетание крупной собственности с мелким хозяйством. Доход тогдашнего богатого барина состоял, главным образом, не в продуктах его собственной пашни, а в том, что доставляли ему крестьяне, ведшие, каждый на своем участке, свое самостоятельное хозяйство. Писцовые книги, в особенности новгородские, дают нам чрезвычайно выразительную картину этого собирания по крохам тогдашнего крупного дохода. Один землевладелец Деревской пятины получал с одного из своих дворов: "из хлеба четверть, метку ячменя, четку овса, 1/2 барана, 1 сыр, 2 горсти льна, 10 яиц". Другой, принадлежавший к уже более прогрессивному типу, брал с такого же крестьянского двора "4 1/2 деньги или хлеба пятину, сыр, баранью лопатку, 1/2 овчины, 3 1/2 горсти льну"*. Не только продукты сельского хозяйства в прямом смысле получались таким способом владельцем земли, но и продукты, по-нашему, обрабатывающей промышленности: дворы кузнецов платили топорами, косами, сошниками, сковородами. Еще характернее, что таким же путем приобретались и личные услуги: в писцовых книгах мы найдем не только целые слободы конюхов и псарей, - княжеские конюхи и псари бывали даже, относительно, довольно крупными землевладельцами, - но и скоморохов со скоморошицами. Оброк этих средневековых артистов заключался, очевидно, в тех увеселениях, которые они доставляли своему барину. У великого князя Симеона Бекбулатовича в селе Городищи жил садовник, "да ему же дано в

сельском поле пашни полдесятины для того, что сад бережет и яблони присаживает". Наиболее бросавшимся в глаза способом такого приобретения личных услуг в виде оброка с земли и у нас, и на Западе было требование за землю военной службы.

** Сергеевич. Древности русского права, т. 3, с. 112 - 113.*

Не заметить этого вида феодального оброка было невозможно и, замечая только его, как нечто специфическое, наша историография построила на этом своем наблюдении широкую и сложную картину так называемой "поместной системы". Но поместная система представляет собою лишь особенно яркую деталь феодальной системы вообще, сущность которой состояла в том, что землевладелец уступал другим свое право на землю за всякого рода натуральные повинности и приношения.

Всего позднее в составе этого феодального оброка появляются деньги: по новгородским писцовым книгам мы можем проследить превращение натуральных повинностей в денежные воочию, причем инициатива этого превращения принадлежала самому крупному землевладельцу, великому князю московскому. И одновременно с деньгами, или лишь немного ранее их, видное место в ряду натуральных повинностей начинает играть труд крестьян на барской пашне, которая становится слишком велика, чтобы с нею можно было справиться руками одних холопов: появляется барщина. И то и другое отмечает собою возникновение совершенно нового явления, незнакомого раннему феодализму или игравшего в то время очень второстепенную роль: возникновениерын/со; где все можно купить, обменять на деньги, и притом в любом, неограниченном количестве. Только появление внутреннего хлебного рынка могло заставить вотчинника и помещика XVI века серьезно приняться за самостоятельное хозяйство, как на рубеже XVIII и XIX столетий появление международного хлебного рынка дало новый толчок в том же направлении его праправнуку. Только теперь стал ценен каждый лишний пуд хлеба, потому что он обозначал собою лишнее серебро в кармане, а за серебро стало возможно найти удовлетворение всем своим потребностям, в том числе и таким, которых не удовлетворил бы никакой деревенский оброк. В период зарождения феодализма покупка и продажа были не правилом, а исключением: продавали не in выгоды, а из нужды, продавали не продукты своего хозяйства, а свое имущество, которым до того сами пользовались; продажа часто была замаскированным разорением, а покупка, обыкновенно - покупка предметов роскоши, потому что предметы первой необходимости были дома, под руками, и покупать их не приходилось. - покупка была нередко первым шагом на пуп; к такому разорению. В старое время тот хозяйственный строй, где стараются обойтись своим, ничего не покупая и не продавая, косил название натуральное хозяйство. За специфический признак принималось, очевидно, отсутствие или малая распространенность денег и получение всех благ натурою. Но отсутствие денег было лишь производным признаком, суть дела сводилась к отсутствию обмена как постоянного ежедневного явления, без которого нельзя к представить себе хозяйственной жизни, как это стало в наши дни. Замкнутость отдельных хозяйств была главным, и, в применении к крупному землевладению, эта эпоха

получила у новейших ученых название эпохи замкнутого вотчинного или поместного хозяйства ("мэнориального", как его еще иногда называют, от названия английской средневековой вотчины - manor).

Мы видим, что у этого хозяйственного типа есть одно существенное сходство с тем, который мы рассматривали в I главе: с "печищем" или "дворищем". И там и тут данная хозяйственная группа стремится удовлетворить все свои потребности своими средствами, не прибегая к помощи извне и не нуждаясь в ней. Но есть и очень существенное различие: там плоды общего труда шли тем, кто сам же и трудится - производитель и потребитель сливались в одном тесном кружке людей. Здесь производитель и потребитель отделены друг от друга: производят отдельные мелкие хозяйства, потребляет особая группа - вотчинник с его дворней, чадами и домочадцами.

Как могли сложиться такие отношения? Что заставляло эти сотни мелких хозяев поступаться частью своего дохода в пользу одного лица, никакого непосредственного участия в производственном процессе не принимавшего? С первого взгляда средневековый крестьянский оброк приводит на память одну категорию отношений, хорошо нам знакомых. И теперь крупный собственник, не эксплуатируя всей своей земли сам, часть ее сдает в аренду более мелким хозяевам. Не есть ли все эти бараны, куры, холст или сковороды просто натуральная форма арендной платы, вознаграждение за снятую землю? Если отрешиться на минуту от всякой исторической перспективы, представить себе, что люди во все времена и во всех странах совершенно одинаковы - как это часто представляли себе писатели XVIII века, а иногда делают и современные нам юристы, - такое объяснение покажется нам наиболее простым и естественным. Несомненный факт передвижения больших масс русского населения с запада на восток - а позднее и с севера на юг - специально для России подкреплял это естественное, на первый взгляд, представление другим: русский крестьянин рисовался человеком бродячим, постоянно ищущим нового места для поселения. И вот бродячие крестьяне, снимающие на год, два или три землю в той или иной вотчине, потом идущие дальше, уступая свое место новым пришельцам, - эта картина надолго запечатлелась в памяти многих русских историков. Не сразу пришло в голову то простое соображение, что все эти - несомненные сами по себе - передвижения народных масс подобны тем вековым изменениям в уровне моря, которые совершенно недоступны взгляду отдельного наблюдателя, ограниченного тесными пределами своей личной жизни, и которые становятся заметны лишь тогда, когда мы сравним наблюдения многих поколений. Что правнук русского крестьянина часто умирал очень далеко от того места, где был похоронен его прадед, это верно, но очень поспешно было бы делать отсюда вывод, что и прадед и правнук при своей жизни были странствующими земледельцами, смотревшими на свою избу, как на что-то вроде гостиницы. Чтоб остаться верным такому представлению, нужно закрыть глаза на типичное для Древней Руси явление, выступающее перед нами чуть ли не во всяком документе, где речь идет о земле и землевладении. Ни один спор о земле не решался в то время без участия старожильцев, иные из которых "помнили" за тридцать, другие за сорок, а иные даже за семьдесят и девяносто лет. Эти старожильцы обнаруживали нередко удивительную топографическую память относительно данной местности: наизусть умели показать

все кустики и болотца, всякую "сосну обожженную" и "ольху виловатую", отмечавшую собою межу того или другого имения. Чтобы так его знать, в нем нужно было родиться и вырасти, - бродячий арендатор, случайный гость в вотчине, даже за десяток лет не изучил бы всех этих деталей да и были бы они для него интересны? Старожилец был, нет сомнения, таким же прочным и оседлым жителем имения, как и сам вотчинник; и если он платил последнему оброк, то едва ли как съемщик земли, которую, что бывало нередко, исстари пахали не только он сам, но и его отец и даже дед. Но этого мало: "старина", по древнерусским юридическим представлениям, могла лаже и бродячего человека превратить в оседлого. Вновь пришедший крестьянин в имении мог "застареть" - и тогда он терял уже право искать себе нового вотчинника. Какую роль сыграла эта "старина" в позднейшем закрепощении крестьян, это мы увидим в своем месте; пока для нас важно отметить, что и юридически Древняя Русь всходила из представлений о крестьянине как более или менее прочном и постоянном обитателе своей деревни. Кто хотел бродить, тот должен был спешить сниматься с места, иначе он сливался с массою окрестных жителей, которых закон рассматривал, очевидно, как оседлое, а не как кочевое население. Словом, представление о древнерусском земледельце, как о перехожем арендаторе барской земли, и об оброке, как особой форме арендной платы, приходится сильно ограничить, и не только потому, что странно было бы найти современную юридическую категорию в кругу отношений, так мало похожих на наши, но и потому, что оно прямо противоположно фактам. Делиться с барином продуктами своего хозяйства крестьянин, очевидно, должен был не как съемщик барской земли, а по каким-то другим основаниям.

Для феодализма, как всемирного явления, это основание западноевропейской исторической литературой указано давно. В ней говорится о процессе феодализации поземельной собственности. Здесь картина рисуется приблизительно такая. В самом начале оседлого земледелия земля находится в руках тех, кто ее обрабатывает. Большинство исследователей принимает, что земледельческое население хозяйничало тогда не индивидуально, а группами, и земля принадлежала этим же группам; что исходной формой поземельной собственности была собственность не личная, а общинная. Мало-помалу, однако же, общинная собственность разлагалась, уступая место индивидуальной; параллельно с этим шла дифференциация и среди самого населения, общины. Более сильные семьи захватывали себе все больше и больше земли, более слабые теряли и ту, что была в их руках первоначально, попадая в экономическую, а затем и политическую зависимость от сильных соседей. Так возникла крупная феодальная собственность со знакомыми нам отличительными признаками. Для некоторых стран - Англии, например, - свободная община как первичное явление, феодальное имение как вторичное, позднейшее, считаются в настоящее время доказанными. О России этого никак нельзя сказать. Спор о том, существовала ли у нас искони поземельная община, ныне распадающаяся, начался не со вчерашнего дня; в своей классической форме он имеется уже перед нами в статьях Чичерина и Беляева, относящихся еще к 50-м годам XIX века. Но данные для решения этого спора до последнего времени остаются чрезвычайно скудными. Одним из наиболее типичных признаков общины являются, как известно, переделы: так как в общине ни одна пядь земли не является собственностью отдельного лица, то время от времени, по мере перемен в составе

населения, общинная земля переделяется заново применительно к числу наличных хозяев. Но до XVI века в России можно указать только один случай земельного передела, да и тот был совершен по инициативе не крестьян, а местного вотчинника, его приказчиком. Другими словами, здесь феодальные отношения уже существовали. Что было до них? Наиболее правдоподобным ответом будет тот, что у нас феодализм развился непосредственно на почве того коллективного землевладения, которое мы определили, как "первобытное" - землевладения "печищного" или "дворищного". Мы помним, что эта своеобразная "коммуна" отнюдь не была той ассоциацией свободных и равных земледельцев, какой рисуется некоторыми исследователями, например, община древних германцев. В "печище" не было индивидуальной собственности, потому что не было индивидуального хозяйства; но когда последнее появилось, о равенстве не было и помину. Если два брата, ранее составлявшие "одну семью" делились, то печище распадалось на две равные половины. Но у первого могло быть три сына, а у второго один: в следующем поколении трое из внуков одного деда владели каждый 1/6 деревни (мы помним, что "деревня" и "двор", хозяйство, часто, а в древнейшую эпоху, вероятно, и всегда совпадали), а четвертый внук - целой половиной. Такие резкие примеры, правда, встречаются редко: при обилии леса каждый, кому было тесно в родном печище, мог поставить новый "починок", который быстро превращался в самостоятельную деревню. Но такие случаи, что в руках одного из содеревенцев находится 1/3 деревни, а в руках другого остальные 2/3, в писцовых книгах очень обыкновенны. Представлению о равном праве каждого на одинаковый с другим земельный участок здесь неоткуда было взяться, да, повторяем, и экономической нужды в этом равенстве пока еще не было.

Пародируя известное выражение, что русский народ занимал Восточно-Европейскую равнину, "не расселяясь, а переселяясь", можно сказать, что развитие древнерусской деревни шло путем не "разделов", а "выделов". Для того, чтобы возникла и у нас община с ее переделами, мало было тех финансовых и вообще политических условий, о которых нам еще придется говорить ниже: нужна была еще земельная теснота, а о ней и помину не было в домосковской и даже ранней Московской Руси. Давно было указано, что наилучшую аналогию по части земельного простора для Древней Руси дают наименее заселенные местности современной Сибири. Как там, так и тут, чтобы вступить в полное обладание земельным участком среди нерасчищенного, девственного леса, достаточно было "очертить" этот участок, поставив метки на окружающих его деревьях. Такой чертеж мы встречаем одинаково и в "Русской правде" с ее "межным дубом", за срубку которого полагался крупный штраф, и в документах XVI веха, которым знакомо даже и это слово - "чертеж". В одном судном деле 1529 года судьи спрашивают местных старожильцек "Скажите по великого князя крестному целованию, чья та земля и лес, на которой стоим, и кто тот чертеж чертил, и лес подсушивал, и овин поставил, и пашню пахал, и сколь давно?" И границами имения, как во времена "Правды" и как в теперешней или недавней Сибири, были меченые деревья. Еще в 1552 году монастырский старожилец в одном земельном споре, доказывая правоту своего монастыря, шел с образом "с дороги налево к дубу кривому, а на нем грань, да ж сосне, а на сосне грань, от сосны к дубу вяловатому,

на нем грань, а от дуба виловатого через поженку болотом с дубу, а на дубе грань.."*

** См. акты, приведённые Лихачевым. (СПб., 1895, вып. 1 - 2, с. 167 и 235.)*

Если следов поземельной общины в старых - до XVI века включительно - нашил документах очень мало, то следов печищного землевладения на вотчинных землях этой эпохи сколько угодно. Прежде всего, юридическая форма коллективной семейной собственности оказалась, как этого и следовало ожидать, гораздо устойчивее ее экономического содержания. Вотчинная, наследственная земля в писцовых книгах очень редко является как имущество одного лица, гораздо чаще в качестве субъекта владения перед нами выступает группа лиц, по большей части близких родственников, но иногда и дальних. В сельце Елдезине, в волости Захожье, в Тверском уезде, в начале XVI века сидели Михаил да Гридя Андреевы, дети Елдезины да Гридя Гаврилов, сын Елдезин: два родных брата да один двоюродный. После их смерти их наследники поделились между собою, но опять не на индивидуальные, личные участки. На одной четверти сельца Еддезина оказались вдова Григорья (иначе Гриди) Андреевича Елдезина, Матрена, с двумя сыновьями, половина сельца досталась троим сыновьям Михаила Андреевича, и лишь последняя четверть Елдезинской вотчины нашла себе, очевидно, совершенно случайно, единичного владельца в лице Грибанка Михайловича. В том же уезде, в другой волости, была деревня Ключниково, собственником которой была группа в четыре человека, состоявшая из Сенки да Михаля Андреевых, детей Яркова - родных братьев, да их племянников, Юрки да Матюши Федоровых, детей Яркова. Мы берем два примера из бесчисленного количества встречающихся на страницах московских писцовых книг. До чего непривычна была для Московской Руси XVI века идея личной земельной собственности, показывает нам любопытный факт, что, когда великий князь стал раздавать земли в поместья за службу, то, хотя сама служба была, конечно, личной, ему не пришло в голову раздавать землю тоже отдельным лицам. Понятие о личном служебном участке, служилой "выти", сложилось лишь весьма постепенно. И поместьями первоначально владеют, обыкновенно, отец с сыновьями, дядя с племянниками, несколько братьев вместе. А иногда бывает и так, что на служилом участке сидит мать с сыном, и хотя сыну три года, и служить он, очевидно, не может, но землю оставляют за ним, "покамест в службу поспеет": нельзя лишать земли целую семью из-за того, что в данный момент в ней некому отбывать воинскую повинность.

Но если юридическая форма держалась прежняя, фактически "печище" давно уже стало дробиться, как это мы видели уже несколько раз; следы этого дробления являются не менее характерным показателем того способа, каким возникала крупная вотчинная собственность Древней Руси, нежели остатки коллективного владения. Мы видели, как в руках членов одной семьи через несколько поколений оказывались дроби прежней "деревни"; но и колоссальные "княженецкие" вотчины слагались иной раз из таких же дробных, мелких жеребьев. В том же Тверском уезде, по писцовой книге 1540 - 1559 годов, треть деревни Быково принадлежала кн. Борису Щепину, а две трети оставались в руках прежних вотчинников Давыдовых. За Митей Рыскуновым была половина деревни Коробьино, а другая

половина за кн. Дмитрием Пупковым. Половина деревни Поповой была в руках Федора Ржевского, а другая половина - "вотчина княгини Ульяны Пупковой". Иногда, благодаря дроблению, на одной и той же земле - и часто небольшой - соединялись вотчинники чрезвычайно разнообразного общественного положения. У семьи Щеглятевых, все в том же Тверском уезде, было две деревни да починок - всего около 60 десятин пашни. Один из этих Щеглятевых служил княгине Анне, жене князя Василия Андреевича Микулинского. А поколение спустя мы встречаем на одной из Щеглятевских деревень целых трех владельцев: ту же княгиню Анну, "сюзерена" одного из Щеглятевых, как мы видели, другого Щеглятева, который в это время был священником, да некую Ульяну Ильиничну Ферезнину, выменявшую у кого-то из вотчинников один из жеребьев этой деревни в обмен на другую землю. Как видим, очень ошибочно было бы представлять себе вотчинников времен Ивана Васильевича Грозного или его отца исключительно важными господами, лордами или баронами своего рода. Собственником земли мог быть я поп, мог быть и дьяк, мог быть и холоп, вчерашний или даже сегодняшний. Князь Иван Михайлович Глинский, умирая в 80-х годах XVI века, просил своего душеприказчика Бориса Федоровича Годунова "пожаловать его" - дать его "человеку" Берсегану Акчюрину одну из вотчинных деревень Глинского в Переяславльском уезде. Наследник, очевидно, вступил во все права наследодателя - и деревня, в силу этого завещания, должна была стать вотчиною Акчюрина, по той же духовной грамоте получавшего и свободу. Здесь отпущенный на волю холоп превратился в вотчинника, а в писцовых книгах первой половины века мы находим вотчинника, отказавшегося от своей свободы и превратившегося в холопа. Некий Некрас Назаров сын Соколов, сидевший на половине сельца Ромашкова, в Тверском уезде, заявил писцам, что он служит князю Семену Ивановичу Микулинскому, "а сказал на себя полную грамоту да кабалу в 8 рублях". Вотчинник, подобно крестьянам той поры, расквитался с долгом, отдав в уплату самого себя.

Это не только не был, разумеется, очень знатный человек, но это не был, конечно, и сколько-нибудь крупный землевладелец, иначе его не постигла бы такая судьба. Мы видели, что крупная собственность уже господствовала в XVI веке, - но это отнюдь не значило, что всякая вотчина этого времени была непременно крупным имением. Ко времени составления писцовых книг мелкая собственность далеко еще не была поглощена окончательно, и в этих книгах мы сплошь и рядом встречаем вотчинников, полных, самостоятельных, наследственных собственников своей земли, владеющих чисто крестьянским по размеру участком - 10 или 12 десятинами пашни в трех полях. Такой "лэнд-лорд" мог бы и в пролетария превратиться совершенно так же, как и любой крестьянин. Все в том же Тверском уезде писцы нашли деревню Прудище, принадлежавшую некоему Васюку Фомину, на которую им "письма не дали" по весьма уважительной причине: описывать было нечего. Там не только не велось хозяйство, но Даже никакого строения не было, а вотчинник Васюк Фомин ходил по дворам и питался Христовым именем.

Крупная собственность у нас, как и везде в Европе, вырастала на развалинах мелкой. Какими путями шел этот процесс? Как экспроприировались мелкие собственники в пользу разных князей Микулинских, Пупковых и иных земельных магнатов - Троицкого, Кириллово-Белозерского и иных монастырей? В XVI веке

мы застаем уже только последние звенья длинной цепи, - естественно, что они прежде всего бросаются нам в глаза, закрывая более старые и, может быть, гораздо более распространенные формы экспроприации. Одной из наиболее заметных форм этого позднейшего периода является пожалование населенной земли в вотчину государем. Мы видели (в гл. I), что "пожалование", как юридическая обрядность, было необходимым условием возникновения всякой земельной собственности в древнейшее время, но сейчас мы имеем ввиду, конечно, не эту юридическую обрядность, а такой акт, которым над массою мелких самостоятельных хозяйств фактически воздвигался один крупный собственник, который мог любую часть дохода этих хозяйств экспроприировать в свою пользу. Как просто это делалось, покажет один пример. В 1551 году царь Иван Васильевич, тогда еще весьма послушный боярам и дружившему с ним крупному духовенству, пожаловал игуменью Покровского (во Владимирском уезде) монастыря 21 черной деревней. Черносошные крестьяне еще в XVII веке распоряжались своими землями, как полной собственностью, никому за них ничего, кроме государственных податей, не платя. А теперь коротенькая царская грамота обязывала все население этой 21 деревни "игуменью и ее прикащиков слушать во всем и пашню на них пахать, где себе учинят, поброк им платить, чем вас изобрачат". Одним почерком пера двадцать одна свободная деревня превратилась в феодальную собственность игуменьи Василисы с ее сестрами*.

---

* *Акты, относящиеся к тягл, населению. - Изд. Дьяконова, т. 2, N 15.*

Эта вполне "государственная", архилегальная, если так можно выразиться, форма возникновения крупной собственности настолько ясна, проста и так хорошо всем знакома, что нет надобности на ней настаивать. Любовь наших историков предшествующих поколений ко всему "государственному", - недаром они были, по большей части, учениками Гегеля, прямо или косвенно, - заставляет, наоборот, подчеркивать, что насильственный захват чужой земли далеко не всегда облекался в такую юридически безукоризненно корректную оболочку. Долго было дожидаться, пока государь пожалует землю, - сильный и влиятельный человек мог гораздо скорее прибрать ее к рукам, не стесняясь этой юридической формальностью. Через писцовые книги XVI века длинной вереницей тянется ряд таких, например, отметок: жили два брата Дмитриевы, великокняжеские конюхи - маленькие землевладельцы, имевшие всего одну деревню. "К той же деревне пожня... и ту пожню отнял сильно Григорий Васильевич Морозов, а ныне та пожня за князем Семеном Ивановичем Микулинским". Да к той же деревне была пустошь: "и ту пустошь отнял князь Иван Михайлович Шуйский..." Или: "дер. Сокевицыно... пуста, а запустела от князя Михаила Петровича Репнина"*. Одна правовая грамота 40-х годов XVI века даст очень живую иллюстрацию к этим сухим отметкам московской казенной статистики. Жалуется на свою обиду Спасский Ярославский монастырь - сам крупный землевладелец, конечно, но более мелкий и слабый, нежели посланный ему судьбою сосед. Человек этого соседа, князя Ивана Федоровича Мстиславского, Иван Толочанов, приехав на монастырские деревни, "крестьян монастырских из деревень выметал", и в одной деревне поселился сам, а другие обложил в свою пользу оброком. Но, "выметав"

самих крестьян, новый владелец отнюдь не пожелал расстаться с их имуществом: его он оставил себе, выгнав вон хозяев чуть не голыми. Перечень ограбленного, который дают, один за другим, отдельные "выметанные" крестьяне в той же челобитной, любопытен, прежде всего, как конкретный показатель того уровня благосостояния, на каком стоял средний крестьянский двор XVI века. Один, например, из этих крестьян Иванко показывает, что у него "тот Иван Толочанов взял мерина, да две коровы, да пять овец, да семеро свиней, да пятнадцать кур, да платьишко, господине, моего и женина, взял шубу да сермягу, да кафтан крашеный, да летник самоделку, да опашень новогонский черлен, да пять рубашек мужских, да пятнадцать рубашек женских, да пятеро порты нижних, да пол-третьядцать (25) убрусов шитых и браных и простых, да двадцать полотен, да семь холстов, да девять гребенин, да три топора, да две сохи с полицами, да три косы, да восемь серпов, да двенадцать блюд, да десять ставцов, да двенадцать ложек, да две сковороды блинных, да шесть панев, да три серги, одни одинцы, а две на серебре с жемчугом, да сапоги мужские, да четверо сапог женских и ребячьих, да двадцать алтын денег..."** Как видим, у русского крестьянина времен Грозного еще было что взять, и нужно было не одно поколение Иванов Толочановых, чтобы довести этого крестьянина до теперешнего его состояния.

** Писцовые книги XVI века - Изд. Калачева, т. 1, отд. 2, с. 163,234, 243,245,284 и др.*

*** Лихачевские акты, ibid., с. 196.*

Но насильственный захват, в легальной или нелегальной его форме, едва ли был главным способом образования крупного землевладения в Древней Руси. В истории, как и в геологии, медленные молекулярные процессы дают более прочные результаты, чем отдельные катастрофы. У нас нет - или очень мало - материала для детального изучения молекулярного процесса, разлагавшего мелкую собственность в древнейший период. Но мы уже сказали, что у так называемых черносошных (позднее - государственных) крестьян, уцелевших преимущественно на севере России, вотчинная собственность сохранилась даже в XVII веке. Эволюцию мелкого вотчинного землевладения здесь мы можем, наблюдать довольно близко - и, как увидим, есть все основания думать, что происходившее здесь во времена Алексея Михайловича мало чем отличалось от того, что происходило в остальной России при Иване III и Иване IV или даже гораздо ранее. Здесь, на севере России, мы видим воочию, как под давлением чисто экономических причин, без вмешательства государственной власти или открытой силы, в руках одних сосредоточивается все больше и больше земли, в то время как владения менее счастливых вотчинников тают, как снежная глыба под весенним солнцем. Сравнивая положение русского крестьянства на Севере по переписям 1623 и 1686 годов, его исследователь приходит к такому выводу: "Разница между худыми, средними и лучшими крестьянами сделалась более ощутительной: отношения между minimum'ом и maximum'ом (по трем волостям: Кевроле, Чаколе и Марьиной горе) изменились с 1:48 (без наезжих пашен) на 1:256", - прежде минимальный крестьянский участок был 1/6 четверти, теперь 1/16. Четверть - полдесятины, "четверть в поле" равняется полутора десятинам пашни всего, при трехпольной

системе. Значит, наименьший крестьянский участок 1623 года составляла 1/4 нашей десятины, 1686 года - менее 1/6. А наибольший участок в первом случае равняется 8 четвертям, а во втором - 16, причем дворы с наибольшим участком составляли в 1623 году менее 1% общего числа, а в 1686-м - более 6%. "Прежде между самым обычным крестьянским жеребьем и наиболее значительным разница не превышала 2 - 2 1/2: 8 - 10, теперь 2 - 2 1/2: 16 - 20, т.е. прожиточный человек успел сильно обогнать среднего крестьянина". И параллельно с этим таянием мелкой собственности так же наглядно растет зависимость мелкого вотчинника от его более богатых соседей. Тогда как в 1623 году у рядовых крестьян совсем не было половников ни в Кевроле, ни в Чаколе, в 1686 году у 6 крестьян 11 половников: у одного 4, у одного - 3, у остальных по одному.

Безземельные крестьяне уже попадаются в 20-х годах XVII века: "В Чакольскон волости, в деревне Бурцовской, Федор Моисеев бродил меж дворов, а пашни его жеребей за Н. Алексеевым, или в дер. Фоминской А, Михаилов обнищал, его двор и пашня 1/2, четв. дер. Сидоровской за крестьянами Ив. Кирилловым и Л. Оксеновым". В том и другом случае покупатели - наиболее прожиточные жильцы: Н. Алексеев имеет 5 1/2 четвертей, тогда как у остальных от 1 1/2 до 3 ч., у Кириллова 6 1/4 ч., у его соседа только 2. Это не только покупатели, во и кредиторы маломочных людей: "Двор Патрикейка Павлова в закладе у Д. Никифорова и пашни 1/4 чети". Обнищавшие крестьяне нерезко совсем уходят из деревни: "Их обрали должники, и они от последних долгов сбрели", как замечает Сольвычегодский писец. Нередко они обращались в половников, иногда нанимаясь к своим кредиторам на свой прежний участок; в деревне Сватковской Кеврольского стана в 1678 году брат ушедшего крестьянина владел его явором и пашней, а в 1686 году он же, вместе с племянником, сыном прежнего вотчинника, живет половником на старом участке, перешедшем к богатому крестьянину Дм. Заверину*.

** См. ст. г. Иванова в "Древностях", (Изд. археологического и географического комитета Московского археологического общества, т. 1, с. 435 - 437.*

То, что происходило на глухом Севере во второй половине XVII века и что мы можем наблюдать здесь из года в год и из двора во двор, знакомо еще "Русской правде" XIII века и Псковской грамоте XV века: только там мы имеем лишь более или менее косвенные указания на процесс, который здесь мы можем учесть с почти статистической точностью. "Русская правда" знает уже особый разряд крестьян, очень смущавший всегда наших историков-юристов; это так называемые закупы. Они занимали промежуточное положение между свободным крестьянином, "смердом", и холопом и превращались в холопов с большою легкостью: простое неисполнение принятого на себя обязательства, уход с работы до срока делали закупа рабом хозяина, от которого он ушел. С другой стороны, закупа можно было бить, как холопа, - только "за дело", а не по капризу. Модернизируя отношения XIII века, некоторые исследователи желали бы видеть в закупе просто наемного работника. Несомненно, он и был таким в том смысле, что работал в чужом хозяйстве или, по крайней мере, на чужое хозяйство, за известное вознаграждение. Но это отнюдь не был представитель сельского пролетариата: у закупа одна из

статей "Русской правды" предполагает "свойского коня", т.е. лично ему принадлежавшую лошадь, и вообще, "старицу" - свое собственное имущество, которое хозяин, как видно из другой статьи той же "Правды", часто склонен был рассматривать, как принадлежащее ему.

Это был, значит, наемный работник особого рода, нанимавшийся со своим собственным инвентарем; другими словами, это был крестьянин, вынужденный обстоятельствами работать на барской пашне. Что ставило его в такое зависимое положение, "Правда" указывает с достаточной ясностью: "закуп" потому так и назывался, что брал у барина "купу", т.е. ссуду - частью, может быть, деньгами, но главным образом в форме того же инвентаря: плуга, бороны и т.д. Другими словами, это был крестьянин задолжавший - в этом и был экономический корень его зависимости. Из одной статьи "Правды" можно заключить, что у него оставалось и какое-то собственное хозяйство: эта статья предполагает, что закуп мог "погубить" ссуженную ему хозяином скотину, "орудия своя дея", на какой-то своей собственной работе. Вероятно, стало быть, что у него в некоторых случаях, по крайней мере, оставался еще и свой земельный участок. Но он уже настолько утратил свою самостоятельность, что на суде стоял почти на одном уровне с холопом: на него можно было сослаться, выставлять его "послухом", только в "малой тяже" - и то "по нужде", когда никого другого не было. Два века спустя в Псковской судной грамоте мы находим уже детально разработанное законодательство о таких задолжавших крестьянах, которые здесь носят название "изорников", "огородников", а иногда и "исполовников", как в северных черносошных волостях XVII века. У всех этих зависимых людей разного наименования все еще было и свое собственное имущество, с которого в иных случаях хозяин и правил свой долг, свою "покруту". Но они уже настолько были близки к крепостным, что их иск к барину не принимался во внимание, тогда как "Русская Правда" такие иски еще допускала*.

** Псковская грамота, с. 75.*

Задолженность крестьян вовсе не была явлением, свойственным исключительно эпохе зарождения крепостного права, XVI - XVII векам. Вот почему и этого последнего нельзя объяснить одной задолженностью. Зависимость половника Кеврольской волости в XVII столетии, как и закупа "Русской правды" в XIII веке, и не доходила до рабства, которое на севере России как раз и не развилось. Для того чтобы из задолженности возникло порабощение всей крестьянской массы, нужны были такие социально-политические условия, которые встречались не всегда*. Но закрепощение было заключительным моментом длинной драмы, и сейчас мы еще довольно далеки от этого момента. Гораздо раньше, чем крестьянин становился полной собственностью другого человека, он сам переставал быть полным собственником. Первым последствием задолженности была еще не потеря свободы, а потеря земли. "Пожалуй нас, сирот твоих, благослови нас меж собою земли своя нужды ради продавать и закладывать", просили чухче-немские церковные крестьяне холмогорского архиепископа Афанасия: "Для того, что у нас прокормиться нечем, только не продажею земляною и закладом". По словам исследователя, у которого мы заимствуем эту цитату, развитие половничества

"идет рука об руку с увеличением мобилизации недвижимости, так что в одном и том же уезде они (эти явления) встречаются реже или чаще, смотря по тому, насколько устойчива крестьянская вотчина: например, в Сольвычегодском уезде, в Лузской Перемце, где 95,9 % крестьян в 1645 году владеют по старине и писцовым книгам 1623 года, нет ни одного половнического двора. Напротив, в Алексеевском стане, где главное основание владения - крепости (купчие), около 20 половнических дворов, в Польской волости на 80 крестьянских приходится 16 половничьих, принадлежащих тем же крестьянам" и т.д.** Одна из московских писцовых книг XVI века, к счастью, сохранила нам указания на те документы, которые мог предъявить владелец земли в доказательство своих прав. В подавляющем большинстве случаев эти документы - купчие. По двум волостям Тверского уезда, Захожью и Суземыо, московскими писцами половины XVI века описано 141 имение, не считая монастырских, причем на некоторые имения было представлено несколько документов; из последних: купчих - 65, закладных - 18, меновных - 22. В двадцати одном случае документы оказались утраченными, и лишь в 18 вотчинник владел по духовной грамоте, т.е. был "вотчичем и дедичем" своей земли в буквальном смысле слова, получив свое имение по наследству. Не нужно думать, что эти наследственные вотчичи какие-нибудь особенно знатные люди: среди них мы встречаем, например, и тверского гостя, торгового человека Ивана Клементьевича Савина. Земля крепко держится в руках более богатого, а не более родовитого человека. А уплывают из рук скорее всего мелкие вотчинки, и по писцовым книгам мы можем иногда весьма наглядно проследить, как происходила у нас в XVI веке одновременно мобилизация и централизация поземельной собственности. "Михалка Корнилова, сына Зеленцова деревня Зеленцово, пашни полполполчети сохи"***, читаем мы в одном месте. "А нонеча Зубатово Офонасьева сына Хомякова: дер. Зеленцово, пустошь Сахарове: пашни в деревне 25 четьи в одном поле, а в дву потому же, сена 15 копен. Зубатой служит владыце тверскому; земля середняя - а крепость кабала закладная". "Грядки да Ивашки Матвеевых детей Тарасова дер. Бранково, дер. Починок... Гридки да Ивашки в животе не стало, а нонеча Ивана Зубатова, сына Хомякова деревня Брянково, починок Степанова. Пашни в деревне и в починке 20 четей в одном поле... Иван служит владыце тверскому, а крепость у него - купчая****. Так в лице удачливого "послужильца" тверского владыки из двух экспроприированных мелких вотчинников вырос один, покрупнее.

** О них будет речь в главе VI (Аграрный переворот первой половины XVI века).*

*** Названная статья г. Иванова, с. 426 и др.*

**** Соха - сяиица податного обложения в Московской Руси.*

***** Писцовые книги. - Изд. Калачева, с. 211 - 212.*

Медленный, веками тянувшийся экономический процесс работал на пользу крупной собственности вернее, нежели самые эффектные "наезды" с грабежами и кровопролитием. К XV - XVI векам, повторяем еще раз, экспроприация мелких собственников была почти совершившимся фактом - мелких вотчинников оставалось ровно лишь настолько, чтобы можно было опровергнуть довольно прочно держащийся предрассудок, будто вся земля к этому времени была уже

"окняжнена" или "обоярена". Первый из основных признаков феодализма - господство крупной собственности - может быть доказан для Древней Руси, домосковского периода включительно, столь же удовлетворительно, как и для Западной Европы XI - ХП веков. Еще более вне спора второй признак - соединение политической власти с землею неразрывной связью.

Что крупная вотчинная аристократия на своих землях не только хозяйничала и собирала оброки, а и судила и собирала подати, - этого факта никто в русской исторической литературе никогда не отрицал, он находит себе слишком много документальных подтверждений, притом давным-давно опубликованных. Но с обычной в нашей историко-юридической литературе государственной точки зрения, эти права всегда представлялись как особого рода исключительные привилегии, пожалование которых было экстраординарным актом государственной власти. "Эти привилегии предоставлялись не целому сословию, а отдельным лицам и всякий раз на основании особых жалованных грамот", - говорит проф. Сергеевич в последнем издании своего труда "Древности русского права"*. Двумя страницами далее тот же исследователь находит, однако же, вынужденным обратить внимание своего читателя на то, что среди наделенных такой привилегией встречаются не только большие люди, имена которых писались с "вичсм", но также "Ивашки и Федьки". Он делает отсюда совершенно правильный вывод, что "такие пожалования составляли общее правило, а не исключение", т.е. что привилегия принадлежала именно "целому сословию" землевладельцев, а никак не "отдельным лицам" в виде особой государевой милости. А еще двумя страницами далее тот же автор вскрывает еще более любопытный факт: сам акт пожалования мог исходить вовсе и не от государственной власти, а от любого вотчинника. С приводимой им жалованной грамоты митрополита Ионы некоему Андрею Афанасьеву (1450) можно сопоставить еще более выразительный пример того же рода - жалованную грамоту кн. Федора Михайловича Мстиславского тому самому Ивану Толочанову, о подвигах которого уже шла речь выше. "Тиуны наши и доводчики, и праведник не выезжают (в пожалованные Толочанову деревни) ни по что, - пишет в этой грамоте кн. Мстиславский, - ни поборов своих у них не емлют и крестьян его не судят, а ведает и судит своих крестьян Иван сам или кому его прикажет, а сведется суд сместной нашим крестьянам с его крестьяны и тиуны наши их судят, а он с ними же судит, а присудом делятся на полы, опричь душегубства и татьбы, и разбоя с поличным и дани сошные, а кому будет до него дело, ин его сужу яз князь Федор Михайлович или кому прикажу". Издатель этого интересного документа, г. Лихачев, справедливо отмечает в предисловии, что этот князь Мстиславский не только не был каким-нибудь самостоятельным владельцем, но даже в числе слуг московского великого князя не занимал сколько-нибудь выдающегося места; он не был даже боярином. Нужно прибавить, что и земля-то, которую он с такими правами "пожаловал... своему боярскому сыну", была не его наследственная, а пожалованная ему самому великим князем Василием Ивановичем. И этот последний, по всей видимости, отнюдь не считал такого дальнейшего делегирования пожалованной им "привилегии" еще более мелкому землевладельцу чем-нибудь ненормальным: недаром и он сам, и его отец, и его сын давали такие грамоты совсем мелким своим помещикам. Выше мы упоминали, по писцовым книгам первой половины XVI века, о двух великокняжеских конюхах, которых

систематически обижали их сильные соседи - боярин Морозов да князья Микулинский и Шуйский: в доказательство своих прав эти конюхи предъявили, однако же, несудимую грамоту "великого князя Ивана Васильевича всея Руси", - неясно, был ли это Иван III или Иван IV. А немного ниже в той же писцовой мы находим жалованную несудимую грамоту на полсельца, где было всего 50 десятин пахотной земли. Таким образом у нас, как и в Западной Европе, не только большой барин, но и всякий самостоятельный землевладелец был "государем в своем имении", и г. Сергеевич совершенно прав, когда говорит, не совсем согласно со своим первоначальным определением вотчинного суда, как исключительной привилегии отдельных лиц, что, сельское население, еще задолго до прикрепления крестьян к земле, находилось уже под вотчинным судом владельцев"**.

** Т. 1, изд. 3-е, 1909 г., с. 398.*
*** Ibid., с. 401.*

С эволюционной точки зрения происхождение этого "вотчинного права" совершенно аналогично возникновению вотчинного землевладения: как последнее возникло из обломков землевладения "печищного" - патриархальной формы земельной собственности, - так первое было пережитком патриархального права, не умевшего отличать политической власти от права собственности. Можно даже сказать, что здесь было больше, чем "переживание"; когда московский великий князь жаловал "слугу своего (такого-то) селом (таким-то) со всем тем, что к тому селу потягло, и с хлебом земляным (т.е. с посеянной уже озимой рожью) опроче душегубства и разбоя с поличным", то он совершенно "по первобытному" продолжал смешивать хозяйство и государство и даже рассматривал, очевидно, свои государственные функции преимущественно с хозяйственной точки зрения, ибо уподобить душегубство и разбой "земляному хлебу" можно было только, если не видеть в охранении общественной безопасности ничего, кроме дохода от судебных пошлин. Нет надобности настаивать, что это выделение особенно важных уголовных дел как исключительно подведомственных княжескому суду, объясняется, конечно, теми же хозяйственными мотивами: за душегубство и разбой налагались самые крупные штрафы - это были самые жирные куски княжеского судебного дохода. Но расщедрившись, князь мог отказаться и от этой прибыли: великая княгиня Софья Витовтовна в жалованной грамоте Кирилло-Белозерскому монастырю (1448 - 1469) писала: "Мои волостели и их тиуны... в душегубство не вступаются некоторыми делы"*. Нет надобности говорить также, что и самое пожалование было лишь такою же точно юридической формальностью, как и жалованная грамота на землю вообще. Оно лишь размежевывало права князя и частного землевладельца, насколько это было возможно, ибо именно благодаря смешению политической власти и частной собственности права эти грозили безнадежно перепутаться. Но источником права вовсе не была непременно княжеская власть сама по себе: в споре из-за суда и дани вотчинники ссылались не только на княжеское пожалование, а также, сплошь и рядом, и на исконность своего права - на "старину". Так доказывал свое право, например, один белозерский боярин половины XV века у которого Кириллов монастырь "отнимал" его вотчинную деревню "от суда да от дани"**. Что относилось к "суду и дани", т.е. к

судебным пошлинам и прямым налогам, то же имело место и по отношению к налогам косвенным. Частные таможни мы встречаем не только в княжеских вотчинах, где можно их принять за остаток верховных прав, некогда принадлежавших владельцу, но во владениях помещиков средней руки, которых иногда мог обидеть и простой московский чиновник - дьяк. Из жалобы одного такого обиженного дьяком рязанского помещика второй половины XVI века, Шиловского, мы узнаем, что в вотчине его и его братьев "на их же берегу сыплют в судна жито, емлют с окова по деньге, да они же емлют мыто с большого судна по 4 алтына, а с малого судна по алтыну, и того мыта половина Телеховского монастыря"***. И таможенным доходом можно было делиться пополам с соседом, как, в известных случаях, судебными пошлинами.

** Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси. - СПб., 1907, с. 83.*
*** Ibid.*
**** Лихачевские акты, ibid., с. 259.*

"Государь в своем имении" не мог, конечно, обойтись без главного атрибута государственности - военной силы. Еще "Русская правда" говорит о "боярской дружине" наравне с дружиной княжеской. Документы более позднего времени, по обыкновению, дают конкретную иллюстрацию к этому общему указанию древнейшего памятника русского права. В составе дворни богатого вотчинника XV - XVI веков мы, наряду с поварами и ситниками, псарями и скоморохами, находим и вооруженных челядинцев, служивших своему барину "на коне и в саадаке". "А что мои люди полные и докладные, и кабальные, - пишет в своей духовной Василий Петрович Кутузов около 1560 года, - и те все люди на слободу, а что у них моего данья платья и саадаки и сабли и седла, то у них готово, да приказчики ж мои дадут человеку моему Андрюше конь с седлом и с у дою, да тегиляй, да шелом..." Такой вотчинный дружинник, несомненно, уже в силу своей профессии стоял выше простого дворового. Он мог оказать барину такие услуги, которых забыть нельзя, и стать в положение привилегированного челядинца, почти вольного слуги. У этого Андрюши был, кроме барского, еще "конь его купли" и кое-какая рухлядь, и Василий Петрович Кутузов очень заботится, чтобы это имущество душеприказчики не смешали с барским. Люди именно этого разряда, по всей вероятности, и были те холопы на жалованье, о которых говорит духовная другого вотчинника, уже цитированная нами, кн. Ивана Михайловича Глинского. Прося своего душеприказчика Бориса Годунова "дати наделка людем моим по книгам, что им жалованья моего шло", завещатель выше говорит о тех же людях, что они отпускаются на свободу "со всем с тем, кто на чем мне служил": но нельзя же допустить, что повар отпускался с кухней, на которой он стряпал, или псарь с тою стаей гончих, которой он заведывал. Так можно было опять-таки выразиться только о людях, служивших своему барину на коне и в доспехе; в другой духовной (Плещеева) прямо и оговаривается, что "лошадей им (холопам) не давати". Глинский был щедрее к своим бывшим ратным товарищам и, как мы уже видели, завещал даже одному из них свою деревню в вотчину. Но такой же земельный участок служилый холоп мог получить от барина и при жизни последнего. По Тверской писцовой книге первой половины XVI века на одной четверти деревни

Толутина сидел "человек" князя Дмитрия Ивановича Микулинского, Созон. От такого испомещенного на земельном участке челядинца до настоящего мелкопоместного дворянина было уже рукой подать. Дважды упоминавшийся выше Иван Толочанов в жалобе на него Спасского монастыря называется "человеком" князя Ивана Федоровича Мстиславского, а отец последнего в своей жалованной грамоте называет Толочанова "сыном своим боярским", т.е. дворянином. Так незаметно верхушки вооруженной дворни переходили в нижний слой военно-служилого сословия: по одну сторону тонкой черты стоял холоп, по другую - вассал.

Существование такого вассалитета у русских крупных землевладельцев XVI века - существование вольных вотчинников, несших военную службу со своей земли, на своем коне и иногда со своими вооруженными холопами, не московскому великому князю, а "частным лицам" - неопровержимо доказывается той же самой писцовой книгой Тверского уезда, о которой мы не раз упоминали выше. В этой книге, составленной около 1539 года, перечислено 574 вотчинника, большею частью мелких. Из них великому князю служили 230 человек, частным собственникам разных категорий - 126, и никому не служили 150 человек. Из 126 "аррьер-вассалов" московской феодальной знати 60 человек служили владыке тверскому, а 30 - князю Микулинскому. Из других источников мы знаем, что у митрополитов и архиереев были на службе не только простые "послужильцы", но и настоящие бояре. "Архиерейские бояре, - говорит один из историков Русской церкви, - в древнейшее время ничем не рознились от бояр княжеских по своему происхождению и по своему общественному положению... Они поступали на службу к архиереям точно так же и на тех же условиях, как и к князьям, т.е. с обязательством отбывать воинскую повинность и нести службу при дворе архиерея, за что получали от него в пользование земли"**. На этих землях они могли помещать своих военных слуг, - а их собственный господин, в свою очередь, был вассалом великого князя. Митрополичья военная дружина должна была идти в поход вместе с дружинами последнего, "а про войну, коли яз сам великий князь сяду на конь, тогда и митрополичим боярам и слугам", говорит грамота вел. кн. Василия Дмитриевича (ок. 1400 года). На службе московского великого князя вытягивалась такая же лестница вассалов, как и на службе средневекового короля Франции.

** Вышеприведенные цифровые данные см. у проф. Сергеевича (Древности русского права, т. 3; СПб., 1903, с. 17 и др.).*

*** Цитата у//. Сильванского, назв. соч., с. 102 - 103.*

Характер отношений между отдельными ступеньками этой лестницы - между вольными военными слугами разных степеней и их соответствующими сюзеренами - детально изучен покойным Н. Павловым-Сильванским, успевшим и резюмировать итоги своих специальных работ в своей популярной книжке "Феодализм в Древней Руси" (СПб., 1907). "Служебный вассальный договор скреплялся у нас и на Западе сходными обрядностями", - говорит этот автор. - Закреплявшая вассальный договор в феодальное время обрядность оммажа так же, как древнейшая обрядность коммендации, вручения, состояла в том, что вассал в

знак своей покорности господину становился перед ним на колени и клал свои сложенные вместе руки в руки сеньера; иногда в знак еще большей покорности вассал, стоя на коленях, клал свои руки под ноги сеньера. У нас находим вполне соответствующую этой обрядности обрядность челобитья. Боярин у нас бил челом в землю перед князем в знак своего подчинения. В позднейшее время выражение "бить челом" употреблялось в иносказательном смысле униженной просьбы. Но в удельное время это выражение обозначало действительное челобитье, поклон в землю, как видно из обычного обозначения вступления в службу словами "бить челом в службу...". Во второй половине удельного периода одна обрядность челобитья считалась уже недостаточной для закрепления служебного договора, и к этой обрядности присоединяется церковный обряд, целование креста. Такая же церковная присяга, клятва на Евангелии, на мощах или на кресте совершалась на Западе для закрепления феодального договора, в дополнение к старой обрядности коммендации или оммажа. Наша боярская служба так близка к вассальству, что в нашей древности мы находим даже точно соответствующие западным термины: приказаться - avouer, отказаться - se desavouer". Как пример первого, автор приводит современную формулу известия о подчинении новгородских служилых людей Ивану III: "Балячелом великому князу в службу бояре новгородские и все дети боярские и житии, да приказався вышли от него". Хорошим примером второго термина служит приводимый им же несколько дальше рассказ жития Иосифа Волоколамского о том, как этот игумен, не поладив с местным волоколамским князем, перешел от него к великому князю московскому: Иосиф "отказался от своего государя в великое государство*. Одно место Никоновской летописи сохранило нам и самую формулу такого "отказа". В 1391 году московский князь Василий Дмитриевич, сын Донского, купив у татар Нижегородское княжество, двигался со своими войсками на Нижний Новгород, чтобы осуществить только что приобретенное им "право". Нижегородский князь Борис Константинович, решив сопротивляться до последней возможности, собрал свою дружину и обратился к ней с такой речью: "Господие моя и братия, бояре и други! Попомните господне крестное целовение, как есте целовали ко мне, и любовь нашу и усвоение к вам". Бояре под первым впечатлением грубой обиды, нанесенной их князю, горячо вступились за его дело. "Все мы единомышленны к тебе, - заявил Борису старший из них, Василий Румянец, - и готовы за тебя головы сложить". Но Москва в союзе с татарами была страшной силой - сопротивление ей грозило конечной гибелью сопротивляющимся. Когда первое одушевление прошло, нижегородские бояре решили, что сила солому ломит и что дело их князя все равно проиграно. Они задумали "отказаться" от князя Бориса и перейти к его сопернику. Тот же Василий Румянец от лица всех и заявил несчастному Борису Константиновичу о происшедшей перемене. "Господине княже! - сказал он, - не надейся на нас, уже об есмы ныне не твои и несть с тобою есмы, но на тя есмы". "Так точно на Западе, - добавляет, приведя эти слова, историк русского феодализма, - вассал, отказываясь от сеньера, открыто говорил ему: уже не буду тебе верным, не буду служить тебе и не буду обязан верностью..."**.

** См. назв. соч., с. 99 - 100, 112.*

*** Сергеевич, цит. соч., т. 1, с. 378 и 385; Н. П. Силъванский, цит. соч., с. 200.*

Приведенный сейчас случай ярко освещает особенности того режима, с которого начала Московская Русь и который еще долго жил под оболочкой византийского самодержавия, официально усвоенного Московским государством с начала XVI века. Что князя киевской эпохи нельзя себе представить без его бояр, в этом давно согласны все историки. Как пример приводится обыкновенно судьба князя Владимира Мстиславича, которому его бояре, когда он предпринял один поход без их согласия, сказали: "О себе еси, княже, замыслил, - а не едем по тебе, мы того не ведали". Но и "собирателей" Московской Руси нельзя себе представить действующими в одиночку; недаром Дмитрий Донской, прощаясь со своими боярами, вспоминал, что он все делал вместе с ними: поганых одолел, храборствовал с ними на многие страны, веселился с ними, с ними и скорбел - "и назывались вы у меня не боярами, а князьями земли моей". Как во главе любого феодального государства Западной Европы стояла группа лиц (государь, король или герцог, "сюзерен" с "курией" своих вассалов), так и во главе русского удельного княжества, а позднее и государства Московского стояла тоже группа лиц: князь, позже великий князь и царь, со своей боярской думой. И как западноевропейский феодальный "государь" в экстренных и в особенно важных случаях не довольствовался советом своих ближайших вассалов, а созывал представителей всего феодального общества, "государственные чины", так и у нас князь в древнейшее время иногда совещался со своей дружиной, а царь - с Земским собором. Мы позже будем иметь случай изучать оба эти учреждения подробнее. Пока заметим лишь, что корни того и другого - и думы и собора - глубоко лежат в том феодальном принципе, который гласит, что от вольного слуги можно было требовать лишь той службы, на какую он подрядился, и что он мог бросить эту службу всякий раз, как только находил ее для себя невыгодной. Оттого никакого важного дела, которое могло бы отразиться на судьбе его слуг, феодальный господин и не мог предпринять без их согласия.

Насколько прочен был этот "общественный договор", своего рода контракт между вассалом и сюзереном в феодальном обществе? Средневековые договорные отношения очень легко поддаются идеализации. "Права" вольных слуг очень часто представляются по образу и подобию прав, как они существуют в современном правовом государстве. Но мы знаем, что в этом последнем права слабейшего часто бывают ограждены лишь на бумаге, а на деле "у сильного всегда бессильный виноват". К феодальному государству это приложимо в гораздо большей степени. Договорные отношения вассала и сюзерена, в сущности, гораздо более походили на нормы теперешнего Международного права, которые не нарушает только тот, кто не может. В междукняжеских договорах сколько угодно можно было писать: "А боярам и слугам межи нас вольным воля", а на практике то и дело случалось, что князь "тех бояр и детей боярских", которые от него "отъехали", "пограбил, села их и домы их у них поотымал и животы и остатки все и животину у них поймал". И никакого суда и никакой управы найти на него было нельзя, кроме как обратиться к другому, еще более могущественному насильнику. В феодальном обществе еще гораздо больше, чем в современном нам, сила шла всегда впереди права. Изучая сложный церемониал феодальных отношений, легко увлечься и подумать, что люди, так тщательно устанавливавшие, какие жесты должны были быть сделаны в

том или другом случае и какие слова произнесены, столь же тщательно умели охранять и сущность своего права. Но где уж тут было охранять свое право от злоупотреблений феодального государя, когда отстоять его и от покушений мельчайших его слуг, рядовых и даже некрупных феодальных вотчинников, было иногда непосильным делом? Мы не можем закончить нашего изучения правового режима феодальной Руси лучше, чем одной картинкой, заимствованной из того же ряда правовых грамот, откуда мы неоднократно брали примеры выше. Судился в 1552 году Никольский монастырь со своими соседями Арбузовыми, судился как следует, по всей форме: "Судили нас, господине - пишут в своей челобитной монастырские старцы - по Цареве государеве грамоте, Федор Морозов да Хомяк Чеченин". Судьи "оправили" монастырь, а его противников "обвинили". "И вот, - продолжают старцы, - приехали, господине-, на ту деревню Ильины, дети Арбузова... да Ильины, люди Арбузова... да меня, господине, Митрофанова, да старца Данила, да старца Тихона били и грабили и дьяка монастырского, и слуг, и крестьян, и крестьянок били и грабили, и старожильцев, господине, которые были с судьями на земле, били же. И судья, господине, Хомяк Чеченин, с детьми боярскими, которые были с нами на земле, вышли отнимати (обижаемых старожильцев), и они, господине, и Хомяка Чеченина и тех детей боярских били же... А игумен, господине, с судьею, с Федором Морозовым, запершись, отсиделись..." Не всегда удобно было решить дело вопреки интересу драчливого феодала. Западноевропейское феодальное право и это грубое правонарушение облекло в известного рода торжественную церемонию: недовольный судебным решением мог "опорочить суд", fausser le jugement, - и вызвать судью на поединок. В одном нашем судном деле 1531 года судья отверг показания одного из тяжущихся, ссылавшегося именно на него, судью, заявив, что такого документа, о каком тот говорил, никогда в деле не было. "И в Облязово место (так звали тяжущегося) человек его Истома просил в том с Шарапом (судьею) поля... и Шарап с ним за поле поймал же ся". Вызывать на поединок судью можно было и в Московском государстве времен Василия Ивановича.

Вот почему юридического признака договорности и не приходится ставить в число главных отличительных черт феодализма. Этот последний есть гораздо более известная система хозяйства, чем система права. Государство сливалось здесь с барской экономией - в один и тот же центр стекались натуральный оброк и судебные пошлины, часто в одной и той же форме баранов, яиц и сыра; из одного и того же центра являлись и приказчик - переделить землю, и судья - решить спор об этой земле. Когда круг экономических интересов расширился за пределы одного имения, должна была расшириться географически и сфера права. Первый раз такое расширение имело место, когда из волостей частных землевладельцев выросли волости городовые, второй раз, когда всех частных вотчинников забрала под свою руку Москва. И в том и в другом случае количество переходило в качество: территориальное расширение власти изменяло ее природу - поместье превращалось в государство. Первое из этих превращений произошло довольно быстро, зато не было и очень прочно. Второе совершилось очень медленно, но зато окончательное образование Московского государства в XVII веке было и окончательной ликвидацией русского феодализма в его древнейшей форме. Но до наступления этого момента феодальные отношения составляли тот базис, на котором

воздвигались обе эти политические надстройки - и городовая волость, и вотчина московских царей. И господин Великий Новгород и его счастливый соперник, великий князь московский Иван Васильевич, мы это твердо должны помнить, властвовали не над серой толпой однообразных в своем бесправии подданных, а над пестрым феодальным миром больших и малых "боярщин", в каждой из которых сидел свой маленький государь, за лесами и болотами Северной Руси умевший не хуже отстоять свою самостоятельность, чем его западный товарищ за стенами своего замка.

Глава III

Заграничная торговля, города и городская жизнь X - XV веков

Торговля и натуральное хозяйство в Древней Руси; мнение историков - Показания современников; скандинавы и арабы - Средневековый купец на Западе и в России; размеры торговли - Состав товара; значение работорговли - "Разбойничья торговля" - Вооруженное купечество - Торговый склад и лагерь, торговый двор и крепость - Организация древнерусского города. Тысяцкий. Вече - События 1146 - 1147 годов в Киеве - Положение князя по отношению к городу; князь как главнокомандующий; князь и вече - Социальный состав городской общины: огнищане - Расположение патриархальных форм в городе - Эволюция киевского веча - Киевские события 1068 года - Торговый и ростовщический капитализм в Киеве - Революция 1113 года; устав Владимира Всеволодовича Мономаха - Положение сельского населения - Смерды и княжеская власть - Два права Древней Руси: городское и деревенское - Упадок Киевской Руси и его причины - Новый тип князя; убийство Андрея Боголюбского - Разложение города - Роль монголо-татарского ига - Значение монгола-татарской дани - Передвижка торговых путей

Главнейшим экономическим признаком того строя, который мы изучали выше как феодальный, являлось отсутствие обмена. Боярская вотчина удельной Руси была экономически самодовлеющим целым. О ней с полным правом можно сказать то, что не совсем правильно сказал один историк о помещичьем имении средней полосы России в XVIII веке: если бы весь мир вокруг нее провалился, она продолжала бы существовать как ни в чем не бывало. С таким представлением о Древней Руси плохо, однако, вяжется та схема нашей древнейшей истории, которую, пожалуй, можно бы назвать обычной: так хорошо она знакома большинству читателей. Об этой схеме нам приходилось упоминать в самом начале нашего изложения, говоря о взглядах Шторха и его новейших подражателей*. Мы помним, что для этой школы, которую теперь без большой натяжки можно считать господствующей, торговля, обмен являлись осью, около которой вертелась вся политическая история киевского периода, - и самая возможность говорить о политической истории того времени, само древнерусское государство обязано своим существованием именно торговле. Казалось бы, что подобная философия русской истории стоит в непримиримом противоречии с фактами, которые мы

только что рассмотрели. Какое может иметь значение торговля при сплошном господстве натурального хозяйства на протяжении целого ряда веков? Это априорное соображение, по-видимому, настолько неотразимо, что один из представителей материалистического направления в русской истории нашел возможным прямо заявить в полное противоречие господствующему взгляду: "В Киевской Руси торговля была слаба. Хозяйство было натуральным, и только внешняя торговля имела некоторое влияние на экономическое положение высших слоев общества"**. Своею ясностью и неотразимостью такая точка зрения завоевала себе сочувствие даже ученых, весьма далеких от материалистического понимания истории. Новейший исследователь "княжого права Древней Руси" заранее оговаривается, что его изложение "пойдет в дальнейшем мимо этой стороны схемы В.О. Ключевского. Она (схема) построена на крайнем преувеличении глубины влияния торговли на племенной быт восточного славянства". В подтверждение своего взгляда автор приводит довольно длинную выдержку из сочинения того самого историка-материалиста, о котором мы только что упоминали***.

** См. главу I.*

*** Рожков Н. Обзор русской истории с социологической точки зрения, т. 1, изд. 2-е, с. 27 - 28.*

**** Пресняков А. Княжое право в Древней Руси, с. 162.*

И тем не менее целый ряд явлений нашей древнейшей, киево-новгородской, истории, те социальные группировки, которые мы находим в Киеве и Новгороде, те формы власти, так не похожие на все предыдущее и последующее, которые нас там поражают, наконец, очень многое и в хозяйственном быте этого периода будет для нас совершенно непонятно, если мы условимся считать, что торговля в те времена "была слаба", и поставим на этом точку. Слаб или силен был обмен, но если мы не привлечем его к делу, такой факт, как город и "городская волость" X - XII веков, окажется для нас чистой загадкой: а в наличности этого факта - главное отличие древней, домосковской Руси, от нашего средневековья, Руси Московской.

Скандинавские саги называли Древнюю Русь даже "страною городов", Гардарикой. Тот арабский писатель начала X века, которого мы однажды уже цитировали, Ибн-Даста, говорит еще гораздо больше: по его словам, Русь, которую он, как и большая часть арабов, отличает от славян, вовсе не имела "ни деревень, ни пашень", имея в то же время "большое число городов" и "живя в довольстве". Это последнее руссы приобретали своим "единственным промыслом" - "торговлей собольим, беличьим и другими мехами". Ибн-Даста не забывает отметить, что плату за свои товары Русь "получала деньгами", что это не была мена, вроде той, какую практиковали различные культурные и полукультурные народы, впоследствии и сами русские, в сношениях с дикарями-охотниками. Нет, это был правильный торг; в погоне за покупателями русские купцы доходили до самого Багдада, и у редкого царя восточных стран не было шубы, сшитой из русских мехов. Относительно последних арабские писатели пускаются в такие подробности, что в непосредственном знакомстве арабов с этим товаром и его продавцами сомневаться нельзя. Значит, и поражающее, на первый взгляд,

заявление Ибн-Даста, будто у русских вовсе нет деревень - одни города, не приходится рассматривать как простую басню, легко объясняемую невежеством писавшего о том вопросе, за который он взялся. Очевидно, Русь X века представлялась довольно близким наблюдателям, как народ городской - по преимуществу. Стоит слегка забыть историческую перспективу - и воображение готово нам нарисовать картину богатой страны, усеянной крупными торговыми центрами, с многолюдным, относительно культурным населением. Но арабы со своим беспощадным реализмом степных охотников, только что превратившихся во всемирных торговцев, уже наготове, чтобы нас поправить, и наиболее осведомленный из них рисует нам такую картину внешнего быта русских купцов в болгарской столице, которая может отбить аппетит даже у очень проголодавшегося человека. Причем есть все основания думать, что внутренний быт еще отставал от внешнего: ибо не только в X веке, когда Ибн-Фадлан наблюдал своих руссов, мывшихся одной и той же водой из одной и той же чашки, куда они в то же время, кстати, и плевали, но и в XII веке российские коммерсанты не чувствовали потребности в каких-либо письменных договорах, закрепляя все сделки устно, свидетельскими показаниями. "Русская правда" имеет дело, как с нормой, с безграмотным торговцем: "доски", писанные обязательства, появляются не ранее XIII века*.

** Новгородская 1-я летопись 1209 года.*

Вопрос о том, что такое представляла из себя средневековая торговля и как мы должны рисовать себе средневекового купца, вставал не перед одними русскими историками, и не ими одними разрешался оптимистически в духе Шторха. Как земледелие прежняя история хозяйства готова была считать несомненным признаком культуры, так было и по отношению к торговле: старые немецкие историки готовы были заселить бесчисленное множество крупных и мелких немецких городов, упоминаемых средневековыми грамотами и летописями, "купечеством в современном смысле слова". За это они подверглись насмешкам, и основательно, по мнению новейшего историка экономического развития Германии. Этот последний, однако же, оговаривается, что в том, что касается собственно количества лиц, принимавших участие в торговле, старые историки были вполне правы. В средневековом обмене мы встречаемся с тою же особенностью, как и в сельском хозяйстве средних веков: мелкие предприятия ремесленного типа не только господствовали, - мало этого сказать, до известной эпохи только их мы и встречаем. Только что упомянутый нами новейший историк-экономист собрал по этому поводу несколько цифровых данных для торговли Западной Европы в средние века. Анекдотичность этих данных не мешает им быть весьма характерными. В 1222 году около Комо, в Северной Италии, были ограблены два купца из Лилля: весь их товар состоял из 13 V, куска сукна и 12 пар брюк. Лет полтораста спустя такому же несчастью подвергся целый караван базельских купцов, ехавших на Франкфуртскую ярмарку: убытки каждого из них не превысили одной-двух сотен, флоринов*. Тот же автор определяет средний капитал немецкого купца, торговавшего в Новгороде в XIV веке, в 1000 марок серебром - "меньше 10 000 марок (германских) по нынешнему курсу". Это тем

более правдоподобно, что его русский конкурент того же времени располагал таким же точно капиталом. Чтобы быть членом самого старого, крупного и солидного новгородского торгового товарищества, группировавшегося около церкви св. Иоанна Предтечи на Опоках, достаточно было вложить пай не больше чем 50 гривен серебром - тысячу рублей серебром на теперешнюю монету**. Чтобы представить себе реальное значение этого "капитала", сопоставим его с другими данными того же времени. 50 гривен серебром - самое большее 150 - 200 гривен кун***; а 80 гривен кун было высшей нормой уголовного штрафа (виры) по "Русской правде". Но уголовные штрафы, вырабатывавшиеся практическим путем от случая к случаю, имели в виду, конечно, не капиталистов, а представителей народной массы той эпохи, крестьян и ремесленников. Восемьдесят гривен князь требовал за убийство наиболее нужного ему человека, своего дружинника. Допустим, что он считал справедливым карать такое, особенно тяжелое в его глазах, преступление конфискацией всего имущества виновника: тогда 80 гривен составляют среднюю оценку всего двора крестьянина или мелкого горожанина со всем, что там находилось. А человек, имевший в два с половиной раза больше этого, мог стать одним из первых новгородских купцов! Не менее показательны, чем размеры капиталов, в этом случае и размеры транспорта: для Западной Европы очень характерной является одна цифра, приводимая тем же выше нами цитированным автором. Весь годичный провоз через Сен-Готард, даже в конце средних веков, уместился бы в двух теперешних товарных поездах. Для России столь же показательны размеры судов, речных и морских, о которых нам дают понятие некоторые места византийских писателей, летописей и "Русской правды". В среднем русский "корабль" X - XII веков поднимал от 40 до 60 человек. По вычислениям Аристова, наименьший из тех типов, о которых упоминает "Русская правда", мог вместить до 2000 пудов товара****: если их оценка в "Правде" соответствует их грузоподъемности, то наибольший мог поднять 6000 пудов, т.е. около 100 тонн. Теперь такой грузоподъемностью обладают маленькие каботажные пароходики, циркулирующие между небольшими портами Черного или Балтийского морей. Тогда при помощи судов такого размера велись торговые сношения между мировыми коммерческими центрами, какими были Константинополь и Киев, Любек и Новгород. Но есть все основания думать, что расчет Аристова преувеличен. Он исходит из того предположения, что суда, одинаково называвшиеся в древней и современной России, имели и приблизительно одинаковые размеры: что в "Русской правде" стругом называлось то же, что и в 60-х годах XIX столетия, когда была написана "Промышленность Древней Руси". Но это вовсе не обязательно и даже мало вероятно: из цитат самого Аристова видно, что струг и аналогичный ему насад ставили на колеса. Поставить на колеса судно даже в 30 - 40 тонн без механических приспособлений совершенно невозможно, а чтобы в Древней Руси были машины, нет никаких данных. Термины "Русской правды" соответствуют типу, а не размеру судов: о размерах же даже русских "морских" ладей (оцениваемых "Правдой" втрое дороже струга) один иностранный наблюдатель говорит, что они могли плавать в самых мелких местах. Иными словами, это были просто большие лодки*****.

** Зомбарт Вернер. Современный капитализм, т. 1, рус. пер., с. 181.*
*** Писано в 1910 году.*
**** Гривна серебра была более или менее постоянной единицей, тогда как цена счетной гривны, гривны кун, менялась в зависимости от курса на серебро.*
***** Промышленность Древней Руси, с. 95-97.*
****** Некоторое представление о древнерусских судах дают также корабли викингов, сохранившиеся в погребальных курганах. Один из них (в Христиании) имел 15 метров в длину при 3 1/2 наибольшей ширины и мог вместить 60 - 80 вооруженных людей.*

Размеры судов объясняют нам и фантастические, на первый взгляд, размеры древнерусских военных флотилий. Если у Олега в его походе 907 года было, по летописи, до 2000 "кораблей", а по византийским данным, более 1000, то тут еще сказки никакой нет: "тысящу лодий" мы встречаем и во вполне исторические времена. Но это была именно тысяча лодок - не более. А мелкие размеры торговли вообще объясняют нам и большое количество купцов на страницах летописи. Когда мы читаем, что в 1216 году в одном Переяславле Залесском нашлось полтораста новгородских купцов, а в Торжке, одном из главных передаточных пунктов новгородской торговли, даже, может быть, и до 2000, то мы нисколько этому не удивимся, если только представим себе древнерусского гостя в образе некрасовского дедушки Якова, весь товар которого помещался на одном возу. А у большей части он поместился бы, вероятно, и в коробе за спиной: коробейник - наиболее типичный торговец средневековья не для одной России. Везде представляется нам одна и та же картина: не считая нескольких более крупных купцов, притом большей частью не занимавшихся профессиональной торговлей, мы повсюду встречаем кишащую массу незначительных и даже совсем мелких торговцев, с какими мы встречаемся и теперь на мелких деревенских ярмарках или на больших дорогах отдаленных областей, с коробом на плечах или же в телеге, запряженной в одну лошаденку*.

** Вернер Зомбарт, цит. соч., с. 181.*

Но не всякий товар средневекового купца можно было унести за спиной, и не в одних размерах своеобразие средневековой торговля. Первые же русские купцы, которых удалось близко наблюдать арабам, вместе с мехом соболей и чернобурых лисиц привозили в болгарскую столицу молодых девушек, привозили в таком числе, что, по арабскому рассказу, можно, пожалуй, принять этот товар за главную статью русской отпускной торговли того времени. Из одного описания чудес Николая Чудотворца видно, что и в Константинополе русский купец был прежде всего работорговцем. А один путешественник XII века встретил русских, торгующих невольниками, даже в Александрии. Русские источники дают массу косвенных, а иногда и прямых подтверждений рассказам иноземцев. К числу первых принадлежат известия летописей о сотнях (если не тысячах) наложниц Владимира Святославича до его крещения; новейший церковный историк совершенно справедливо усмотрел здесь воспоминание не столько о личной безнравственности этого князя в языческий период его биографии и о его личном

гареме, сколько о тех запасах живого товара, которые держал этот крупнейший русский купец своего времени*. Что и язычество также было здесь ни при чем, доказывают поучения епископа Серапиона, младшего современника татарского нашествия (он умер в 1275 году). В числе грехов, навлекших разные беды на русскую землю, Серапион упоминает и такой: "...братью свою ограбляем, убиваем, в погань продаем". Значит, и в XIII веке русские купцы нисколько не стеснялись продавать русских невольников на заграничные рынки, в том числе и в мусульманские и языческие земли. А что на Русь еще около 1300 года ездили "девки купити", у нас имеется и документальное свидетельство - в жалобе одного из таких покупателей, рижского купца, на витебского князя, посадившего его в тюрьму без всякой вины, причем, само собой понятно, арест не стоял ни в какой связи с малопочтенной целью приезда этого рижанина в Витебскую землю, а был просто одним из обычных проявлений княжеского самоуправства. Этот маленький случай вскрывает перед нами не всегда ясную, по летописям, судьбу того "полона", без которого не обходилась ни одна княжеская усобица тех времен. Когда князь возвращался домой, "ополонившееся челядью", это вовсе не значило, что он и его дружина приобрели некоторое количество крепостных слуг и служанок, как обычно себе представляют, не без некоторого лицемерия задним числом: в руках победителей оказывалась меновая ценность, может быть, самая высокая меновая ценность, какую знало то время. Оттого на челядь древнерусские феодалы были гораздо жаднее, нежели на натуральные приношения своих крестьян. Последние некуда было сбыть, и они не были особенно велики: для первой уже в те дни существовал международный рынок, который мог поглотить любое количество живого товара. Князья XII века откровенно признавались в своих подвигах этого рода, видимо, считая "ополонение челядью" вполне нормальным делом. Не кто другой, как Владимир Мономах, давший столько сентиментальных страниц казенным учебникам, рассказывает, как он и его союзники "изъехали" один русский город, не оставив в нем "ни челядина, ни скотины". Как видим, для полного и совершенного опустошения русских областей не было ни малейшей надобности в татарском нашествии. И когда дальний потомок Мономаха Михаил Александрович Тверской, напав в 1372 году на Торжок, увел оттуда в Тверь в полон "мужей и жен бещисла множество", то он действовал вовсе не как ученик монгольских завоевателей, а как продолжатель старой и почтенной истинно русской традиции.

** Голубинский. История Русской церкви, т. 1,1-я половина, изд. 2-е, с. 146 - 147.*

Существование такого "товара", нет сомнения, подчеркивает лишний раз натуральный характер средневекового хозяйства: невольничий рынок именно потому и был необходим, что рабочих рук не было на рынке. Но отсюда само собой вытекает другое следствие. Как человек мог сделаться товаром, когда все остальное товаром не было? Уже из приведенных сейчас цитат видно, что обычным для нас экономическим путем такое чудо совершиться не могло: внеэкономическому принуждению в области производства соответствовало внеэкономическое присвоение в области обмена. Не только живой товар, людей, но и те собольи меха, и те драгоценные металлы, которые обращались на тогдашнем

рынке, добывали тогда не путем вымена у первоначальных собственников, хотя бы с обманами, а отдельными случаями насилия и тому подобными "злоупотреблениями", как это до сих пор имеет место в колониальной торговле народов "культурных" с "некультурными". Их добывали прямо открытой силой - первой стадией обмена была не меновая торговля, как учила еще недавно история хозяйства, а просто-напросто "разбойничья торговля" (Raubhandel) - термин, вполне научно установленный историей хозяйства в наше время. Черта, которую так заботливо проводят теперь, отделяя мирного торговца, хотя бы и недобросовестного, от грабителя, не существовала для наивных людей раннего средневековья. Разбойник в купца и купец в разбойника превращались с поразительной легкостью, и скандинавские саги, например, с бесподобным реализмом упоминают рядом об обоих этих промыслах по отношению к одному и тому же лицу, нимало не конфузясь за своего героя. "Был муж богатый и знатного происхождения по имени Лодин: он часто предпринимал торговые путешествия, а иногда занимался и морским разбоем", с истинно эпическим спокойствием повествует в одном месте Heimskringla Снорре Стурлесона. Как просто и естественно совершался этот переход из области гражданского в область уголовного права, покажет один рассказ той же саги, который ввиду его характерных подробностей стоит изложить детальнее. Посланные короля Олафа Святого, Карли и Гуннстейн, и их спутник, Торер-"собака", приехали в Биармию (впоследствии Новгородское Заволочье, по Северной Двине) и завели там обширный торг с местными инородцами, выменивая у них лисьи и собольи меха на привезенные из Скандинавии товары, а отчасти и на деньги. Когда же торг окончился, и вместе с тем кончилось перемирие, которое заключили норманны с местным населением, именно на время и на предмет торга, путешественники начали немедленно искать новые источники прибыли. Торер-"собака" обратился к своим спутникам с вопросом, желают ли они приобрести богатство? На утвердительный, само собою разумеется, ответ Торер объяснил им, что богатство, можно сказать, под руками - нужно только немножко смелости. Туземцы имеют привычку хоронить серебряные вещи вместе со своими покойниками, а идол их главного бога Юмалы весь покрыт драгоценными украшениями. Стоит ограбить кладбище и стоявшее посреди него святилище Юмалы - и капитал норманнских купцов будет значительно пополнен. Мы не будем рассказывать не лишенных драматизма и живописности подробностей этой ночной экспроприации X века. Она кончилась вполне успешно, причем отступавшим норманнам пришлось выдержать справедливую битву с проснувшимися и сбежавшимися к месту грабежа поклонниками Юмалы. Отметим лишь одну деталь: на возвратном пути Торер-"собака" ограбил также и своих спутников, так что король Олаф Святой получил от этой экспедиции меньше прибыли, чем можно было ожидать.

Как видим, когда наш старый знакомый Ибн-Даста рассказывает о русских купцах, что они "производят набеги на славян, подъезжают к ним на кораблях, выходят на берег и полонят народ, который отправляют потом в Хазеран и к болгарам, и продают там", он опять-таки лишь реалистически описывает то, что было в его дни вполне обычным делом, а вовсе не сказки сочиняет. Но мы видим также, что оригинальность раннего средневекового торга нам приходится дополнить многими чертами, и что от просвещенных коммерсантов Шторха в

нашей картине остается уже очень мало. Социальная обстановка, которая должна была складываться около "разбойничьей торговли", так же мало походила на обстановку современного нам капиталистического обмена, как боярская вотчина удельной Руси на современное сельскохозяйственное предприятие. С этой обстановкой сами арабы IX - X веков были знакомы по совсем еще свежему и, вероятно, не забытому ими опыту. Одна из арабских поэм домаго-метанского периода дает нам классическое изображение общества, живущего торговлей разбоем. Вот как резюмирует это изображение один из новейших исследователей эволюции обмена. "Единственная торговля, которая существует, - это торговля рабами. Если какому-нибудь племени понадобится или просто захочется приобрести имущество другого племени, верблюдов, лошадей, стада, съестные припасы и т.д., оно обращается не к мирному способу обмена, а к вооруженному грабежу, Razzia, который, в то же время, дает возможность и самих людей покоренного племени, мужчин и женщин, обратить в рабство. Когда у племени Бени-Катан стало не хватать съестных припасов, триста их воинов ограбили соседних людей, Бени-Аб... Во время этих Razzia старались особенно захватить женщин, а рабов ограбленного племени заставляли загонять к победителям верблюдов, которых те пасли. Благодаря таким разбойничьим нравам отдельные племена были настороже. Ни один араб не был уверен, что он проживет 24 часа или что он не попадет в рабство с минуты на минуту; еще менее была обеспечена его собственность, его стада или другое имущество. Зато у вождей было множество рабов. Так, король Зохейр имел двести рабов, которые пасли его лошадей, верблюдов, верблюдиц и овец. Даже у каждого из его десяти сыновей было столько же. Не всех захваченных в плен женщин и девушек оставляли у себя: их продавали в рабство в далекие страны*.

** Letourneau. L'envolution du commerce, p. 334.*

Прочитав этот отрывок, мы поймем, почему средневековый торговец, отправляясь за товаром, по обычаю брал с собою меч, как рассказывали рижане о своем обиженном витебским князем товарище в известной нам жалобе. Поймем мы и крайне странное на первый взгляд, постановление договорной грамоты смоленского князя Мстислава Давидовича с теми же рижанами (1229): "Латинскому (т.е. немецкому) не ехать на войну ни с князем, ни с Русью, если сам не захочет; также и русскому не ехать на войну с латинским (князем) ни в Риге, ни на Готском береге (о. Готланд): если кто сам захочет, пусть едет". Целью грамоты ведь было "снова урядить мир между Русью и всем "латинским языком, кто у Руси гостит" - ведет торговлю с Русью, потому что раньше "немирно было всем купцам", торговавшим между Смоленском, с одной стороны, Ригою и Готландом, с другой. Немецкий и русский купцы - люди по "старой пошлине" всегда препоясанные мечом, их содействие на войне всякому князю было ценно, тем более что войны этого князя часто были ни чем иным, как своеобразной формой первоначального накопления именно торгового капитала. Купец и сам очень охотно воевал: недаром "торговать" и "драться" были такие близкие друг другу понятия в древнерусском языке. "И створися проторжь не мала на Ярославли дворе, и сеча бысть", рассказывает новгородский летописец об одном из обычных в

вольном городе переворотов, когда славенский конец революционным путем сменил посадника, но наткнулся на сопротивление других. Как, однако, ни охоч был до драки торговый человек, принудительная воинская повинность могла бы стеснить его торговые операции: вот почему риго-смоленская грамота и оговаривает согласие самого купца, как непременное условие его участия в чужом походе. Зато, раз речь шла о защите своей торговой общины и ее интересов, к купцам обращались в первую голову и о их несогласии тут уже не могло быть и мысли: это было всегда готовое боевое ополчение. Поссорившись с князем Всеволодом Мстиславичем и предвидя неминуемое вооруженное столкновение, новгородское вече прежде всего другого конфисковало имущество бояр, "приятелей" князя, "и даша купцам крутитися на войну". Когда Литва неожиданно напала на Старую Руссу, город защищали вместе со сбежавшимися наспех горожанами "огнищане и гридьба" (окрестные землевладельцы и наемные скандинавские ратники) "и кто кущ, гости". А когда в войну Новгорода с Михаилом Тверским, "попущением Божьим сотворилось немало зла", на поле битвы вместе с "мужами и боярами новгородскими" осталось и "купцов добрых много"*.

** Новгородская 1-я летопись, 1137,1234 ч 1315 годов.*

Торговец был военным человеком, товар был военной добычей - и место хранения товара, естественно, было военным лагерем. Это прежде всего сказалось опять-таки в языке: слово товар обозначало у древнерусского летописца, во-первых, всякое вообще имущество. Напав на усадьбу князя Игоря Ольговича, его противники нашли там "готовизны много" - много, в том числе, "тяжкого товару всякого, до железа и до меди", так что и на телегах его было не увезти. Причем часть имущества, предназначенная для продажи - "товар" в нашем смысле, - совершенно не выделялась из общей массы. Новгородская летопись рассказывает, как князь Мстислав Мстиславич ("Удалой"), напав на Торжок, захватил там дворян своего конкурента Святослава Всеволодовича, и "оковал" их: "А товара их кого рука дойдет". Рука князя Мстислава была длинная, и его соперник - вернее, его отец, так как сам Святослав был малолетний - эту руку почувствовал. Сначала он попытался было ответить репрессалиями, задержав новгородских гостей с их товарами. Но когда Новгород, в свою очередь, ответил на это арестом Святослава и остатка его свиты, Всеволод пошел на мир. "И пустил Мстислав Святослава и муж его, а Всеволод пусти гость с товары". Это полное нежелание отличать потребительскую ценность от меновой чрезвычайно характерно для эпохи натурального хозяйства, но для прослеживаемой нами связи еще характернее другое смешение. Когда Владимир Святой, отправившись воевать с печенегами, получил приглашение печенежского князя решить спор поединком двух бойцов, русского и печенежского, он "пришед в товары, посла по товаром бирюча", спрашивая: нет ли такого мужа, который бы взял на себя драться с печенегом? Нигде, может быть, политика, как оболочка экономики, не выступает перед нами с таким наивным простодушием. Экономическое содержание понятия выветрилось; от торговца, опоясанного мечом, остался уже только один меч, но звуки остались старые и предательски разъясняют нам, зачем этот меч понадобился, предательски

напоминают нам о том времени, когда военный стан русского князя был просто стоянкой разбойников, хоронивших здесь награбленное ими добро, которым они готовились торговать в чужих землях.

Это совмещение торгового склада с казармой держалось очень упорно, долгое время после того, как если не первоначальное добывание "товара", то по крайней мере его дальнейшие передачи совершались уже в мирных, легальных нормах. Вот какими чертами описывает поселок немецких купцов в Новгороде один русский историк. "Как места, предназначенные для того, чтобы служить безопасным убежищем, оба двора, и готский и немецкий, были огорожены высоким тыном, поддержание которого было одним из постояннейших забот немецкого купечества. Крепкие ворота поддерживали общение этих иноземных цитаделей с остальным населением чуждого и нередко враждебного им города... Порядок, господствовавший во дворе, поддерживался строго: приняты были все меры, чтобы никто не нарушал законов, клонившихся к этой цели. Особенное внимание было обращено на внешнюю безопасность двора. Денно и нощно охраняли двор сторожа, и кто из кнехтов пренебрегал своей обязанностью, тот платил 15 кун, или же подвергался ответственности хозяин, если пренебрежение последовало по его вине. Кроме того, вечером спускаемы были большие цепные собаки, которые грозили разорвать всякого испрошенного пришельца. Церковь, как складочное место, была предметом особенного попечения. Каждую ночь спали в ней два человека, которые отнюдь не могли быть ни братьями, ни компаньонами, ни слугами одного и того же хозяина, и тот, кто водил их вечером в церковь, должен был запирать за ними дверь и ключи вручать ольдерману. Церковная стража совершалась по очереди и распространялась одинаково на жилища, находившиеся как на дворе, так и вне последнего. Те, которые держали последнюю стражу, должны были во время трапезы напомнить о предстоящей обязанности тем, которые следовали за ними непосредственно. Кроме собственно внутренних церковных стражей у ворот храма стоял еще, в продолжение целой ночи, третий и смотрел, чтобы никто из туземцев не пробрался в соседство церкви: боязнь последних была так велика, что запрещалось, под страхом наказания, носить ключ так открыто, чтобы его можно было видеть"*.

** Никитский. История экономического быта Великого Новгорода, с. 113 и 127.*

Можно было подумать, что все это больше дело традиции, пережиток, уже лишившийся смысла, или же что такие меры предосторожности были нужны только в варварской России, и что просвещенный Запад стоял в этом отношении много выше. Но возьмите три первых по времени упоминания новгородской летописи о торговых путешествиях новгородцев на этот самый Запад. Самое раннее из них повествует о несчастии стихийном: "И сами истопоша, и товар". Но во втором мы встречаемся уже с общественными отношениями: "томь же лете рубоша новгородец за морем в Дони (Дании)". А в третьем эти отношения принимают еще более осязательную форму: "Приходи, свейский князь с епископом, в 60 шнеках на гость, иже из-за морья шли в трех лодьях; и бишася, не успеша ничтоже (свейский князь с епископом) и отлучиша их три лодьи, избиша их до полутораста*. Этот пиратствующий епископ еще раз напоминает нам об участии

средневековой церкви в средневековой торговле со всеми ее особенностями. Но обыкновенно представители церкви брали себе менее активную роль - не добывателей, а хранителей товаров. Мы видим, что центром немецкой торговой цитадели в Новгороде была католическая церковь св. Петра.

** Новгородская 1-я летопись, 1130, 1134, 1142 годов.*

Но и православные церкви систематически выполняли ту же функцию. Мы уже знаем, что около одной из них, Иоанна Предтечи, что на Опоках, группировалась главнейшая из новгородских коммерческих компаний - торговцы воском. Другие были просто товарными складами. Описывая огромный Новгородский пожар 1340 года, летописец жалуется на "злых человеков", которые не только что у своей братьи пограбили, а иных над своим товаром подбили, а товар себе взяли, "но и в святых церквах - где бы всякому христианину, хоть свой дом бросить, а церковь постеречь". В церкви Сорока мучеников "товар весь, чей бы ни был, все разграбили; икон и книг не давали носить - как только сами (воры) выбежали из церкви, так все и занялось; и сторожей двух убили. А у Святой Богородицы в торгу поп сгорел; говорят иные, что и его убили над товаром: церковь вся сгорела, и иконы и книги - а у него огонь даже волос не тронул; а товар весь разграбили". Для очень распространенного предрассудка насчет силы и влияния религиозного чувства в средние века эта реалистическая картинка летописи весьма поучительна. Практичные немцы были правы, когда, не полагаясь на "святость места", держали около своей церкви-склада хороших цепных собак и вооруженного сторожа.

Если мы упустим из виду это сочетание войны, торговли и разбоя, мы ничего не поймем в организации древнерусского города. Для нас останется совершенной загадкой роль, например, тысяцкого - главного командира городских "воев". Еще мы сможем понять, и не привлекая к делу экономических отношений, положение тысяцкого как первого после князя лица. "Русская правда", перечисляя сотрудников Мономаха, в его "сиссахтии" - в издании знаменитого устава о росте, которым мы еще займемся ниже, - на первом месте после самого Владимира Всеволодовича ставит "Ратибора, тысяцкого Киевского, и Прокопия тысяцкого Белогородского, Станислава, тысяцкого Переяславского..." "Изяслав, - рассказывает Лаврентьевская летопись, - послал вперед себя в Киев, к брату своему Владимиру и к Лазарю тысяцкому двух мужей...". "Георгий Ростовский и тысяцкий окова гроб Федосьев, игумена Печерского..." (Ипатьевская летопись 1130 года). Сможем понять и то, каким образом суд тысяцкого в Новгороде по некоторым делам вытеснил суд княжой. Но когда речь заходит об определении этих дел, об установлении компетенции тысяцкого - тут никакие современные аналогии нам не помогут. Наша мысль приучена к тому, что военный генерал - лицо важное. Но когда какой-нибудь современный генерал-губернатор привлекает к своему трибуналу торговые тяжбы коммерсантов, всем это кажется донельзя странным*. А между тем главный генерал Новгорода - "герцог", как его величали немецкие купцы, - именно этими самыми делами и заведовал. Тысяцкий был председателем специального коммерческого суда - ив этой области он был так же самостоятелен, как владыка архиепископ в области суда церковного. "И я князь великий Всеволод, - говорит учредительная грамота знакомого уже нам товарищества Ивана Предтечи

на Опоках, - поставил святому Ивану трех старост от житьих людей, и от черных тысяцкого, а от купцов два старосты - управливать им всякие дела Иванские, и торговые, и гостиные, и суд торговый; а Мирославу посаднику в то не вступаться, ни иным посадникам, ни боярам новгородским - в Иванское ни во что не вступаться". "А во владычень суд и в тысяцкого, а в то ся тебе не вступати...", - писали новгородцы в последнем договоре, который был заключен еще вольным городом, объясняя свою "старину и пошлину" польскому королю Казимиру IV. И только вспомнив препоясанного мечом рижского купца, явившегося в Витебскую область покупать девиц, мы поймем, почему главный начальник всех, кто носил меч, был и главным судьею всех, кто торговал - на таком же точно основании, на каком верховным судьею в военном лагере является главнокомандующий армией. А если генерал был главным начальником всех купцов, то естественно, что его полковники, "сотские", были их вице-начальники, и что древнерусские купцы делились на сотни точно так же, как теперешние распадаются на гильдии. "А купец пойдет в свое сто, а смерд потянет в свой потуг к Новгороду, как пошло", - гласит тот же договор новгородцев с Казимиром IV. Из одного позднейшего, быть может, но, во всяком случае, достаточно древнего прибавления к "Русской правде", мы узнаем, что эти "сотни" назывались по именам своих командиров - "Давыдове сто", "Ратиборово сто", "Кондратово сто", как русские полки при императоре Павле Петровиче, - и имели вполне определенное территориальное значение, почему по ним и разверстывалась повинность мощения новгородских улиц. Очевидно, что первоначально такой купеческий поселок представлял собой нечто вроде немецкого двора, все население которого было связано единством дисциплины и командования, а потом постепенно обратился в один из городских кварталов.

** Писано в 1910 году.*

Только в связи со всеми этими фактами становится нам ясна и роль древнерусского веча. Давно уже прошли те времена, когда вечевой строй считался специфической особенностью некоторых городских общин, которые так были и прозваны - "вечевыми" Новгорода, Пскова и Вятки. Вечевые общины стали представлять собой исключение из общего правила лишь тогда, когда само это правило уже вымирало: это были последние представительницы того уклада, который до XIII века был общерусским. "Веча собираются во всех волостях. Они составляют думу волости... Таково свидетельство современника. Нет ни малейшего основания заподозрить его правдивость...". "От XII века и ближайших к нему годов смежных столетий мы имеем более 50 частных свидетельств о вечевой жизни древних городов со всех концов тогдашней России*. Чтобы рельефнее выставить независимость этого учреждения от местных, новгородских, условий, цитируемый нами автор намеренно оставляет в стороне все данные, касающиеся веча в Новгородской волости. И это отнюдь не лишило набросанную им картину яркости красок, совсем напротив. "Может показаться даже невероятным, что известия наших памятников о вечевой практике Новгорода и Пскова скуднее, чем известия о киевской практике. А между тем это так. Киевский летописец оставил нам довольно полную картину веча 1147 года, северные же не дали ничего подобного**.

** Сергеевич. Вече и князь.//Русские юридические древности, т. 2, вып. 1. (Автор собрал самый полный фактический материал для характеристики веча, и в этом отношении к его работе нечего прибавить.)*

*** Ibid., с. 60.*

События 1146 - 1147 годов очень подробно, местами до наглядности описанные летописью, являются действительно одним из самых ценных образчиков вечевой практики, какие мы только имеем. Мы не будем пока касаться вопроса ни о происхождении вечевого строя, ни эволюции последнего, ибо было бы очень неосторожно думать, что вече на всем протяжении своей истории всегда было одним и тем же, как может, пожалуй, показаться читателю только что цитированного исследования. Древнерусские "республики" начали аристократией происхождения, а закончили аристократией капитала. Но в промежутке они прошли стадию; которую можно назвать демократической: в Киеве она падает как раз на первую половину XII века. В этот период хозяином русских городов является действительно народ. Посмотрим, что же он из себя представляет. Вот киевское вече 1146 года. Народ решает на нем самый важный политический вопрос - кому быть князем в Киеве; перед нами своего рода учредительное собрание. Представитель кандидата на княжеский стол - его родной брат - ведет переговоры с вечем как равный с равным. Переговоры кончены - стороны столковались, остается заключительная церемония обоюдной присяги: граждане должны присягнуть, что будут повиноваться вновь избранному князю, а представитель последнего, а потом и он сам присягают, что будут честно исполнять условия, на которых князь выбран. "Святослав же (брат вновь избранного князя Игоря Ольговича) сошел с коня и на том целовал крест к ним на вече; а киевляне все, сойдя с коней, начали говорить: "Брат твой князь и ты". И на том целовали крест все киевляне и с детьми, что они не изменят Игорю и Святославу". Остановимся сначала на последнем из подчеркнутых нами выражений. Что это значит? Маленьких детей, что ли, приводили на вече и заставляли целовать крест? Нет, целовавшие крест предварительно "сходили с коней" - малолетних между ними быть не могло. Это значит, что Игорю присягали не одни только главы семейств, "дворохозяева" по-теперешнему, а действительно весь народ - т.е. все взрослые мужчины, способные носить оружие. Это последнее с непререкаемой очевидностью вытекает из двух первых выражений, подчеркнутых нами. Вся сцена носила чисто военный характер. Обе договаривающиеся стороны сидели верхом на конях и были, конечно, вооружены. Князя Игоря выбирали те самые "вой", предводитель которых, тысяцкий, был а то же время председателем коммерческого суда: князя выбирало городское ополчение. Политически именно оно и представляло собою город.

Возьмем теперь вече 1147 года. Всего год прошел, но в Киеве за это обильное событиями время успел произойти ряд перемен. Игорь, которому только что целовали крест, больше не князь; он заперт в монастырь св. Федора, а на престоле - популярный среди киевлян представитель "мономахова племени" Изяслав Мстиславич. Но и с ним уже у стольного города успели начаться нелады, и он ушел на войну против своего дяди Юрия без городского ополчения: с Изяславом

отправились только его дружина да охотники из числа горожан. Война пошла плохо - к Юрию присоединились Ольговичи, родня низвергнутого Игоря. Изяславу нужно уладить свои дела с Киевом, и он посылает к вечу послов. Те сначала заручаются поддержкой первых лиц в городе - митрополита и тысяцкого, - а потом уж обращаются к народу. Когда киевляне все, "от мала и до велика" (мы уже знаем теперь, что то значит), собрались "к святой Софье на двор" и "стали вечем", один из послов держит к ним такую речь: "Целует вас князь ваш. Я вам объявлял, что думаю с братом своим Ростиславом и с Владимиром и с Изяславом Давидовичами (это были родственники Игоря) пойти на дядю своего, Юрия, и вас с собою звал. А вы мне сказали: не можем поднять руки на Юрия, на племя Владимира (Мономаха), а на Ольговичей (т.е. на родственников Игоря) пойдем с тобою хоть с детьми. Теперь же объявляю вам: Владимир и Изяслав Давыдовичи и Святослав Всеволодович, которому я много добра сделал, целовали мне крест; а потом тайно от меня целовали крест Святославу Ольговичу (брату Игоря) и послали к Юрью, а мне изменили, хотели меня либо убить из-за Игоря, либо схватить, но меня Бог сохранил и Крест честной, на котором они мне присягали. Так вот, братья киевляне, теперь есть то, чего вы хотели, и наступило время исполнить ваше обещание: идите со мною на Чернигов, против Ольговичей, от мала и до велика, у кого есть конь, на коне, а кто не имеет коня, в лодке: они ведь не меня одного хотят убить, но и вас искоренить". И киевляне сказали: "Рады, что тебя, брата нашего, спас Бог от великой измены, идем за тобой и с детьми, если хочешь". Оставим на минуту это само по себе в высшей степени характерное братанье князя с вечем: редко где они так отчетливо выступают, как две совершенно равноправные силы. Но с кем братался Изяслав? К кому можно было держать такую речь: "Идите за мной, у кого есть конь, на коне, а то и в лодке"? Перед нами опять вооруженный город: народное ополчение с правами верховного учредительного собрания.

Какое бы мы вече ни взяли, южнорусское или даже позднейшее, новгородское, мы встретим, в общих чертах, ту же картину. Редко она бывает столь выразительна, как то вече, которое смольняне устроили в 1185 году в разгаре самого похода против половцев, когда их князь повел их дальше, чем было условлено. Но еще и в Новгороде в 1359 году один политический спор был решен славенским концом в свою пользу только потому, что славляне догадались выйти на вече в доспехах, тогда как их более многочисленные противники не приняли этой меры предосторожности - и были "побиты и полуплены". Непрерывные драки на вечах, которые в доброе старое время историки наивно объясняли "буйством" новгородской "черни", легче всего станут нам понятны, если мы представим себе вече как своего рода солдатский митинг - собрание людей, мало привычных к парламентской дисциплине, но весьма привычных к оружию и не стеснявшихся пользоваться этим веским аргументом. Вспомнив эту особенность древнерусской демократии, мы легче всего поймем также и то, почему она в споре с князьями всегда оказывалась более сильной до тех самых пор, пока не изменился военный строй Древней Руси и городские ополчения не уступили место крестьянско-дворянской армии великого князя московского. Вече было воплощением той материальной силы, на которую непосредственно опирался князь в борьбе со своими соперниками. Княжеская дружина, считавшаяся обычно сотнями, редко поднимавшаяся до тысяч, была в военном отношении чем-то средним между

отрядом телохранителей и главным штабом. Это была качественно лучшая в смысле боевой подготовки часть войска, но количественно она была настолько слаба, что в Новгороде, например, князья даже никогда не пытались опереться на нее против вооруженного веча. Без городских "воев" нельзя было предпринять ни одного серьезного похода, и отказ их в повиновении князю был фактическим концом его власти. Он без всякой "революции", в нашем смысле, переставал быть князем, т.е. военачальником. Ибо, если вече было самодержавной армией, то весь смысл существования князя заключался в том, что он был главнокомандующим этой армией, тоже самодержавным, пока она его слушалась, и более бессильным, чем любой сельский староста, как только наступало обратное.

Сравнение князя Киевско-Новгородской Руси с сельским старостой, "которому каждый в миру послушен, но весь мир их выше и может сменять и наказывать", принадлежит не нам, а К. Аксакову. При всех своих научных недостатках славянофильская схема русской истории благодаря особенностям того угла зрения, под которым она рассматривал а древнерусскую действительность, имеет за собой крупную .заслугу; она, в сущности, уже шестьдесят лет назад покончила с той модернизацией древнерусских политических учреждений, которая из князя делала государя в новейшем смысле этого слова. Одним из первоначальных виновников этой модернизации является, правда, человек весьма древний - сам киевский летописец, скомпилировавший не без публицистических целей "Начальный свод" в первой четверти XII столетия. Современник Владимира Мономаха, выступившего действительно с широкой социально-политической программой, - ее нам еще придется коснуться дальше, - ученик византийских хронографистов, с их библейско-римским представлением о государственной власти, составитель нашей начальной летописи готов был и первого русского князя рисовать по образу и подобию ветхозаветных царей и константинопольских императоров. Но Римская империя - восточная, как и западная, - хотя и возникла, по мнению Блаженного Августина, из разбойничьей шайки, в историческое время была уже прочно сложившейся полицейской организацией: и вот, целью призвания Рюрика оказывается установление внутреннего "наряда". Хотя об этой цели говорится якобы собственными словами собравшихся на вече славян IX века, однако эта литературная форма не должна нас обманывать. Ни одного факта внутреннего строительства ни для Рюрика, ни для его ближайших преемников летописец привести не сумел: то немногое, что мы от него узнаем, сводится к тому, что Рюрик "срубил город над Волховым" и продолжал то же в других местах, везде "срубая города" и ставя в них варяжские гарнизоны. Олега, Игоря, Святослава мы встречаем опять-таки лишь в роли руководителей военных действий - руководителей иногда символических, как мы видели в I главе, что еще более характерно, - и лишь по поводу Ольги мы узнаем кое-что о внутренней работе княжеской власти, но эта внутренняя работа сводилась к установлению "даней и оброков"; с разбоями начал бороться будто бы Владимир Святой, да и то неудачно для первого раза. С Ярославом Владимировичем предание связывает появление "Русской правды". Но в летопись это предание попало очень поздно - в древнейших списках Новгородской первой летописи его нет; а по существу дела совершенно ясно, что этот сборник судебных решений не мог быть продуктом чьего бы то ни было законодательного творчества. Самое большее, что можно утверждать, - это

принадлежность "мудрому" князю первого по порядку из записанных неизвестно кем и когда решений, но и то со всевозможными оговорками, ибо проследить заголовок "Суд Ярославль Володимерича" мы можем не дальше конца XIII века. К тому времени со смерти Ярослава прошло два с половиной столетия: сколько за это время могло возникнуть легенд, легко себе представить. Летопись же и о Ярославе сообщает главным образом то же, что о его предшественниках: "победи Брячислава", "вся Белз", "иде на Ятвягы", "иде на Литву". Причем любопытно, что чем древнее список летописи, тем меньше мы в нем находим данных о Ярославе, несмотря на то, что некоторые известия, например, закладка святой Софии, повторяются дважды под разными годами*. Словом, чтобы найти князя-реформатора, так или иначе пытавшегося установить на своей земле порядок, нам нужно подняться до первой половины XII столетия, где в лице Владимира Всеволодовича мы и найдем, по всей вероятности, оригинал портрета, в различных вариациях повторяемого летописью. Но деятельность Мономаха, как увидим дальше, отнюдь не была нормой даже для Древней Руси вообще. Характерно, что и этот завершитель киевской "демократической революции" XI - XII веков сам ценил в себе больше всего храброго и удачливого генерала, совершившего 83 больших похода, не считая мелких. О них он очень подробно распространяется в своем знаменитом "Поучении", тогда как на его внутреннюю деятельность мы находим там лишь самые скудные указания. Для его современников и потомков мы не найдем и таких: самое большее, если летописец* нам скажет, насколько энергично тот или другой князь собирал свой судебный доход, "виры" и "продажи". Но большая настойчивость в этом случае сулила князю плохую репутацию - усиленное собирание уголовных штрафов население склонно было рассматривать как своего рода злоупотребление властью и приравнивать его к грабежу**. Внутренний порядок население умело поддерживать само: когда в Новгородской земле суд вечевой) города сложился в свою окончательную форму, княжеская инициатива из него была вовсе устранена. Но и Новгород не мог обойтись без князя, ибо тяжко было тогда городу, у которого не осталось Никакого князя, как это было с Киевом в 1154 году. А почему тяжко бывало городу без князя, это вполне отчётливо объяснил старый друг и старый неприятель Новгорода Всеволод Юрьевич Великий (иначе известный под именем Большого Гнезда). "В земле вашей ходит рать, - говорил он новгородцам в 1205 году, - а князь ваш, сын мой Святослав, мал, так вот, даю вам старшего своего сына, Константина". И в XIII веке, как в IX, князь был нужен прежде всего другого для ратного случая; оттого одним из самых сильных обвинений против князя и было, если он "ехал с полку переди всех", как это случилось в 1136 году со Всеволодом Мстиславичем. С особенным реализмом обрисована эта "воинская повинность" князя в одной из довольно поздних новгородских грамот (1307 или 1308 года) - договоре с великим князем Михаилом Ярославичем. В те времена Новгород держал уже не одного, а, случалось, и нескольких князей, но все с тою же целью. На одного из них, Федора Михайловича, грамота и жалуется в таких выражениях: "Дали ему... город стольный Псков, и он хлеб ел; а как пошла рать, и он отъехал, город бросил...". За что же было и кормить хлебом князя, который на войне никуда не годился?

** См., например, Новгородскую 1-ю летопись 1017 - 1041 годов.*

*** См., например, Ипатьевскую летопись 1093 года.*

В XIV веке и в Новгороде за свои недостатки князь отвечал перед вечем. Было ли так всегда и везде? Были ли уже Рюрик и его ближайшие преемники "наемными сторожами" Русской земли? Было ли наше вече в знакомом нам Демократическом его составе непосредственным отпрыском "первобытной демократии", или же демократия тогда, как и теперь, была результатом долгой " упорной общественной борьбы? Летописный рассказ о призвания князей ставит решение веча исходным пунктом всей русской истории: сходку чуди, славян и кривичей, решившую призвать Рюрика с братьями, иначе как вечем назвать, конечно, нельзя. Но как в характеристике князя у начального летописца отразился Владимир Мономах, так и характеристика политической обстановки IX века должна была отразить в себе условия XII века. Весь рассказ, несомненно, стилизован, и настолько, что разглядеть его историческую основу почти невозможно. Мы знаем, что от норманнов откупились, что первым князем, имя которого запомнило предание, был Рюрик, что он пришел с севера и "воевал всюду". Все остальное может быть домыслом компилятора - или с такой же степенью вероятности странствующим сказанием: известно, что легенда о прибытии англосаксов в Британию почти буква в букву сходна с нашим рассказом о призвании князей из-за моря править Русью. Большую убедительность имеют первые документы русской истории, какие мы имеем в договорах первых двух действительно исторических князей Олега и Игоря с греческими императорами. Подлинность самих документов, некогда оспаривавшаяся, давно уж не подвергается никакому сомнению. Очень характерно, что ни Олег, ни Игорь не выступают в них как единоличные представители некоего государства, именуемого Русью, или как-либо иначе. И тот и другой называются лишь великими, т.е. старшими из очень многих русских князей, "сущих под рукою" великого князя, но самостоятельных, однако, настолько, что они имеют свое, особенное дипломатическое представительство, имена некоторых тут же и перечисляются. Договор объявляется выражением воли всех этих князей ("похотеньем наших князь"). Но, очевидно, и этого было мало, чтобы придать ему в глазах русских законную силу: "И от всех, иже под рукою его (Олега) сущих Руси", - прибавляет договор Олега; "и от всех людей Русской земли", - заканчивает перечень послов договор Игоря. Князья - только представители некоторого целого, которое вовсе не думало отчуждать в их пользу все свои права. Князь ведет текущие дела, но в экстренных случаях выступает вся "Русь", т.е. все торговое городское население: такое именно значение слова "Русь" с совершенной ясностью устанавливается первым из судебных решений, записанных в "Русской правде", позднейшие редакции которой нашли даже нужным и прибавить, как бы в скобках, это значение к термину "русин", в XIII веке уже не всем понятному.

Договоров Олега и Игоря само по себе уже достаточно, чтобы устранить всякие домыслы о якобы великой державе, основанной первым из этих князей, - державе, лишь позже распавшейся на множество мелких княжеств. Великое княжение Олега было временным соединением в руках одного лица власти над многими самостоятельными политическими единицами; позже такое же фактическое объединение Руси имело место при Мономахе и его сыне Мстиславе. Но юридически ни Олег, ни Мономах никогда не упраздняли этой самостоятельности -

им, по всей вероятности, это и в голову не приходило, как не приходило в голову тогдашнему боярину, объединив в своей вотчине сотни крестьянских дворов, лишить хотя бы один из них его хозяйственной самостоятельности. Напротив, чем больше было отдельных князей, "сущих под рукою" великого, тем больше было значение и этого последнего. А второстепенные князья, как и сам великий, в своем стольном городе имели авторитет лишь постольку, поскольку их поддерживало местное население. "Федеративный" и "республиканский" характер древнерусского государственного строя на самых ранних из известных нам ступенях его развития устанавливается таким путем вполне определенно. Ничего иного при данной экономической обстановке мы не могли бы ожидать. Древнерусские города отнюдь не были рынками в современном смысле этого слова, экономически .централизующими окрестную страну вокруг себя. Таким рынком не удалось стать вполне даже и Новгороду: даже и этот прогрессивнейший из древнерусских торговых центров мог быть вынут из своей области без того, чтобы последняя очень это почувствовала. А его предки, города "Великого водного пути" времен Олега и Игоря, были просто стоянками купцов-разбойников, гораздо теснее связанными с теми заграничными рынками, куда эти купцы поставляли товар, нежели с окрестной страной, по отношению к которой городское население было типичным паразитом. Никакой почвы для единого государства - и вообще государства а современном нам смысле слова - здесь не было. Военно-торговые ассоциации, вначале чисто импровизированные, далее все более и более устойчивые, периодически выдвигали из своей среды вождей, выступавших перед соседними народами в виде князей Руси. Нам совершенно неизвестно, при каких условиях звание вождя в целом ряде центров монополизировалось за членами одного рода - потомками Игоря: но сама по себе, при данном строе, наследственность княжеской профессии так же естественна, как и наследственность купеческой, а о купце мы знаем из грамоты Ивана на Опоках, что он "шел отчиною". Этот факт наводит на другое заключение: если княжеская власть и занятие торговлей были организованы на вотчинном, патриархальном начале, естественно предположить, что то же начало лежало в основе всего строя древнерусского города, что та Русь, о которой идет речь в договорах, была совокупностью не отдельных лиц, а семей - чего-нибудь вроде "печищ" или "дворищ", составлявших основную социальную ячейку сельской Руси. Два факта, по-видимому, совершенно оправдывают такое заключение: название, какое носит в древнейших редакциях "Русской правды" командующий класс тогдашнего общества - огнищане. Последователи Шторха, все стремившиеся объяснить торговлей в современном нам смысле слова, готовы были путем этимологических сближений сделать из этой общественной группы "работорговцев" или "рабовладельцев" - или что-то вроде плантаторов, ведших крупное сельское хозяйство при помощи холопского труда. Но родство слова с хорошо знакомым нам "печищем" слишком бьет в глаза и "тиун огнищный" "Русской правды" гораздо больше походит на позднейшего дворецкого, чем на villicus'a, начальника рабов в Римской латифундии. Его барин, всего скорее, мог бы быть приравнен к позднейшему боярину-вотчиннику: возможно, что в деревне он и был "социальным предком" последнего. Но что делать с городскими огнищанами? А из устава о мощении новгородских мостовых мы знаем, что в Новгороде их была целая улица.

Древнейшие редакции "Правды" - памятника, сложившегося в чисто городской обстановке, как давно уже совершенно справедливо отмечено, - также едва ли бы стали много заниматься сельскими жителями, а они отводят огнищанам первое место в ряду упоминаемых ими общественных групп. Приходится допустить, что огнищане были и в городе, т.е. что этот последний представлял совокупность "печищ" или "огнищ", ведших коллективное хозяйство, только занимавшихся не земледелием и промыслами, а торговлей и разбоем*. Другой факт, наводящий на ту же мысль - о патриархальном строении древнейшей городской общины, - это те, не менее огнищан, таинственные, старцы градские, которых мы находим в думе Владимира Святого рядом с боярами. Видеть в них выборную "городскую старшину", как кажется некоторым исследователям, не приходится: выборное начало в древнерусском городе не ослабевало, а усиливалось с течением времени. Выборный институт мог изменить название, но исчезать ему не было ни малейшего основания. Другое дело, если мы допустим, что старцы градские были главами печищ, составлявших первоначально город; тогда их постепенное исчезновение, как мы сейчас увидим, будет как нельзя более естественно.

** Пресняков Г. Княжое право, с. 231. (Автор, опираясь на аналогию с германскими терминами, видит в огнищанине старшего княжеского дружинника, члена княжеского огнища. Но он сам же отмечает, что в Новгороде огнищане не составляли части княжеского двора, а были своего рода корпорацией. С другой стороны, почему же только княжеский двор был огнищем? Ведь и дружины были только у князей.)*

Патриархальный быт экономически был тесно связан с натуральным хозяйством. Печище могло держаться веками или медленно эволюционировать в вотчину, только сохраняя свой характер, как самодовлеющего экономического целого. Город не давал этого основного экономического условия. Несколько печищ, укрепившихся в первое время на том или другом удачно выбранном пункте и образовавших городскую аристократию, очень скоро оказывались охваченными густой массой самых разношерстных элементов, которые старая патриархальная организация не могла ассимилировать и поглотить и которые она с трудом удерживала до поры до времени. О той пестрой толпе, какая скучивалась в больших центрах Поволжья и Приднепровья, дает понятие рассказ одного арабского писателя о хазарской столице Итиль. "Там учреждено 7 судей: два для магометан, два для хазар, которые судят на основании закона Моисеева, два для живущих здесь христиан, которые судят на основании Евангелия (!), и один для славян, руссов и других язычников, которые судят по законам языческим". Такой же разнообразный состав должно было представлять население и Киева. Немцы, которых приводил с собою на помощь Святополку польский король Болеслав Толстый, рассказывали потом, вернувшись на родину, своему епископу (Титмару Мерзебургскому), что Киев будто бы очень большой город: в нем до 400 одних церквей, а населен он "беглыми рабами и проворными датчанами", как называли немцы всех скандинавов вообще по единственному знакомому им образцу. Из Жития Феодосия и Печерского Патерика мы узнаем и еще об одном не туземном элементе в составе киевского населения: там было много евреев, споры с которыми

о вере составляли одно из занятий Феодосия, отмеченных его биографом. Читая такой драгоценный бытовой памятник, как Печерский Патерик, мы получаем чрезвычайно живое и наглядное представление об этнографической пестроте тогдашнего Киева. В стенах Печерского монастыря перед нами сменяются: варяжский князь Симон, пришедший из-за Балтийского моря, княжеский врач - армянин родом, так неудачно конкурировавший с туземными печерскими врачами, которые монастырской капустой излечивали самые мудреные болезни, ставившие в тупик армянского врача; греческие художники, пришедшие на поиски заработка, и для начала доброго знакомства рассказывавшие крайне лестные для печерской обители чудеса, с ними, художниками, случившиеся; венгерцы с берегов Дуная и половцы из соседних южнорусских степей, - словом, кого только не захватывал в свои волны поток торгового движения из "варяг в греки". В этой смеси одежд и лиц, племен и наречий преобладали, конечно, люди, что называется, без роду, без племени. Т.е. род и племя у них были, но они остались где-то далеко, на родной стороне, которая давно стала чужбиной и куда человек, по большей части, и не рассчитывал вернуться. Семейное право не ограждало и не стесняло его более: у него был один отец-господин - торговый интерес, который привел его в Киев. Место семейной организации, печища, занимает искусственная военная организация, сотня, с которой мы уже сталкивались ранее. А рядом со старцами градскими появляются десятские и сотские с тысяцким, и скоро из-за последних первых становится совсем не видно.

Этот процесс разложения старых патриархальных ячеек определил собою и эволюцию киевского веча. Демократизация его состояла не в том, чтобы увеличивалась власть народа и падала власть князя. Права последнего юридически никогда не были ограничены: пока он пользовался доверием и поддержкой "гражан", он мог, не стесняясь, делать все, что ему угодно. Из того же Киево-Печерского Патерика мы узнаем, что князь мог схватить любого человека, даже не из своего княжения, начать его пытать - и запытать до смерти, доискиваясь "сокровища", на которое этот князь имел так же мало прав, как и пытаемый им человек. Военной республике, какой был древнерусский город, неприкосновенность личности была совершенно незнакома. Когда злоупотребления князя переходили границы терпения его подданных, его просто низвергали, иногда убивали, и тем дело кончалось. В этом отношении Новгород XV века фактически мало чем отличался от Киева XI века. Развивались не столько юридические понятия и политические формы - кое-какие перемены, которые можно здесь проследить, мы рассмотрим в конце этой главы, - сколько социальный состав той массы, политическим воплощением которой являлось самодержавное народное собрание. Около первоначального ядра нескольких купеческих родов, основавших город (в Киеве сохранилось и предание о таком основателе, который "бе ловяще зверь" и ходил в Царьград - по его имени будто бы назвали и самый город), скоплялось множество мелкого люда, чернорабочих и ремесленников, оставивших память о себе в названиях новгородских "концов" Гончарского и Плотницкого. Уже в дни смут, следовавших за смертью Владимира Святого, этот мелкий люд играл известную роль. Летопись рассказывает, что Святополк Окаянный, вокняжившись в Киеве, "созвал людей и начал давать одним одежду, другим деньги, и роздал множество". Купеческую аристократию таким путем

подкупить было нельзя. В то время в Новгороде ремесленное население играло уже такую роль, что Ярослав, избив "нарочитых мужей", напавших на его варяжскую дружину, мог собрать, тем не менее, сорокатысячное ополчение, которое его противники в насмешку назвали плотниками. Киев в это время был более консервативным городом, и, как мы узнаем из чрезвычайно любопытного описания событий 1068 года, масса населения в нем не была вооружена и организована по-военному. Это был год первого большого половецкого нашествия на Русь, когда созданная Ярославом система обороны не выдержала испытания. Вышедшие навстречу степнякам на реку Альту Ярославичи были разбиты наголову и с остатками своих войск бежали - Изяслав со Всеволодом в Киев, а Святослав в Чернигов. Остаток киевского ополчения, созвав вече на торговище, обратился к Изяславу с такой речью: "Половцы рассыпались по земле; дай, князь, оружие и коней - мы еще будем биться с ними". Из сжатого изложения летописца (который, быть может, и сам не вполне отчетливо представлял себе картину, припомним, что он ведь все время стоял на точке зрения XII века) с первого взгляда как будто следует, что говорившие требовали оружия и коней себе. Но как могли убежать от половцев те, кто потерял лошадей в битве, и зачем нужно было обращаться в княжеский арсенал купцам, которые сами всегда ходили вооруженными? Речь, очевидно, шла о создании новой армии из тех элементов населения, которые раньше в походах не участвовали и вооружены не были. Изяслав имел какие-то основания им не доверять и требования не исполнил. За это он поплатился престолом: киевляне освободили из заключения и провозгласили своим князем его соперника Всеслава Полоцкого, а Изяслав с дружиной должен был бежать в Польшу. К сожалению летопись нам ничего не сообщает о порядках, установившихся в Киеве после этой первой в русской истории революции. Видно только, что в военном отношении новый режим не был силен - привыкшие к оружию слои населения или стояли в стороне, или ушли вместе с Изяславом: когда последний через 7 месяцев вернулся с польской подмогой, он справился с восставшими без битвы. Брошенные и своим новым князем, бежавшим к себе в Полоцк, киевляне дошли до крайнего отчаяния и угрозой сжечь свой город и поголовно выселиться вызвали вмиг вмешательство двух других Ярославичей - Святослава и Всеволода. Этим они спасли город от разгрома, но тем не менее должны были испытать весьма свирепую репрессию: 70 человек были казнены, другие ослеплены или "погублены" каким-то иным путем, вероятно, проданы в рабство. Знаменательно, что летописец не называет казненных "нарочитыми мужами", как тех, кого избил Ярослав в 1015 году, а просто "чадью" - "людьми". Не менее знаменательна и полицейская мера, принятая Изяславом в предупреждение подобных событий на будущее время: он "изгнал торг на гору". Гора - самая старая часть Киева, где жила городская аристократия: там был в 1068 году двор тысяцкого Коснячка, которого во время восстания искала толпа не с добрыми намерениями. Перенос торга в аристократическую часть города должен был предупредить образование на торгу демократической сходки: вдали от своих домов, окруженное благонадежным элементом простонародье было менее опасно и с ним легче было справиться.

Но победа княжеской власти не могла удержать разложения старой, патриархальной организации, да, по-видимому, и сама власть, восстановившая

свои права при помощи чужеземной военной силы, больше надеялась на эту последнюю, нежели на старую городовую аристократию. Изяслав и после при всех своих злоключениях (его в 1073 году опять прогнали из Киева, на этот раз собственные братья, Святослав и Всеволод) искал помощи в Польше - на этот раз безуспешно - у западного императора и даже у Папы, но не видно, чтобы дома у него было нечто вроде своей партии и чтобы он пытался такую создать. Падение семейного права нашло себе яркое выражение, между прочим, в судебном обычае. К правлению Ярославичей - неизвестно, до или после революции 1068 года, но, во всяком случае, до вторичного изгнания Изяслава из Киева - относится ряд судебных решений, покончивших с кровной местью и, что еще выразительнее, установивших индивидуальную ответственность за убийство вместо прежней семейной. "Если убьют огнищанина в драке, - говорит первое из этих решений, - то платить за него 80 гривен убийце, а людям не платить". Только за разбой по-прежнему отвечала вся вервь, т.е. весь родовой союз. Зато одно из решений устанавливает случай, когда огнищанина можно было убить совсем безнаказанно, как собаку ("во пса место"): это, если огнищанин был пойман на месте кражи "у клети или у коня, или у говяды, или при покраже им коровы". Огнище в этом случае не смело мстить за своего сочлена: так низко пала материальная сила семейного союза. Острием своим новый обычай был направлен, несомненно, против родовой аристократии, а это заставляет думать, что, одержав политическую победу над общественными низами, княжеская власть пошла затем на социальные уступки этим самым низам, мирясь с ними с помощью голов их социальных врагов. Скудные данные летописи и других памятников не дают нам возможности сколько-нибудь полно восстановить картину социально-экономического процесса, разлагавшего старое общество. Время от времени только удается нам видеть то тот, то другой ее угол. Летопись нам рассказывает, что третий из Ярославичей, Всеволод, переживший двух старших братьев, в старости "начал любить смысл юных и с ними держал совет", что, конечно, не следует понимать так, будто он окружил себя легкомысленной молодежью. Летописец сейчас же и поясняет, в чем дело: юные оттеснили от Всеволода первую его дружину - родовитых, советников, которые привыкли быть около князя. Сочувствующий последним автор (в данном случае едва ли сам "начальный летописец", а скорее, один из его источников: тот не стал бы рассказывать дурное о Всеволоде) объясняет недовольство народа последним из Ярославичей именно как результат этой перемены. Но народу стало тяжело, конечно, не от того, что городовая аристократия потеряла власть: суть дела была в экономических условиях, в том засилье, какое стал забирать торговый, а вместе с ним, конечно, и ростовщический капитал. Любопытный факт из этой области сообщает нам не летопись, а Печерский Патерик в рассказе об одном из чудес св. Прохора Лебедника. Если очистить этот рассказ от сказочных подробностей о сладком хлебе из лебеды и пепле, благодатию свыше обращавшемся в соль, перед нами останется тот исторический факт, что Печерский монастырь снабжал беднейшие слои киевского населения мукой (по-видимому, не без посторонней примеси) и солью, чем и приобрел богатства, возбудившие зависть князя Святополка Изяславича, сменившего Всеволода на киевском престоле. Этим воспользовались конкуренты монастыря, торговцы солью (получавшейся тогда из нынешней Галиции), по-видимому, совершенно

вытесненные монастырем с рынка: они добились от князя запрещения монастырской торговли. Автор-монах намекает, что сделали они это с целью установить монопольные цены на соль, так как с Галицией тогда из-за войны сношения были затруднены, и соль была дорога. Но и помимо этого протест мелкого торгового капитала против зарождавшегося крупного, в лице монастырей, был слишком понятен. Святополк же, сам весьма типичный представитель "первоначального накопления", вступился за мелких торговцев не бескорыстно, а с вполне определенной целью: заставить монастырь поделиться с ним барышами, чего, по-видимому, и достиг: в результате всей истории князь "стал иметь великую любовь к обители Пресвятой Богородицы", а обитель продолжала невозбранно "раздавать" народу соль.

Что капитал работал не только в городе, а и широко вокруг него, об этом мы можем судить по развитию среди сельского населения закупничества, с которым читатели уже знакомы*. Материал для нового взрыва - уже более социального, чем политического, - накоплялся. Сигнал к нему дала смерть Святополка - - друга ростовщиков, хлебных и соляных спекулянтов. Подробности второй киевской революции 1113 года так же неясны, как и первой. Поднявшиеся низы и на этот раз обнаружили так же мало сознательности и организованности. Их удалось натравить сначала на иноземных представителей капитала: "идоша на жиды и разграбили я". Но провокация даже с первого раза удалась не вполне: рядом с "жидами" пострадал и двор Путяты тысяцкого; как и в 1068 году, тысяцкий был в глазах народа представителем городовой аристократии. А проницательные люди из среды последней предвидели, что если дать движению разрастись, то дело не ограничится ни "жидами", ни тысяцкими с сотскими, а дойдет и до бояр, и до монастырей, и до вдовы князя-ростовщика, как ни старалась она закупить киевскую демократию щедрой раздачею 1 См. гл. II. Феодальные отношения в Древней Руси. 82 милостыни из именья умершего. Но теперь польского войска под руками не было, а народная масса давно привыкла к оружию: уже в 1093 году киевский полк устроил вече на походе и заставил князей и своих аристократических предводителей дать битву вопреки их желанию. Приходилось идти на компромисс с городской, а отчасти и деревенской беднотой. Что эта последняя тоже начинает играть политическую роль, чувствовалось уже довольно давно. В том же 1093 году о ней вспоминали руководители киевского общества: отсоветывая Святополку поход, они ссылались на то, что "земля оскудела от ратий и продаж". Как хорошо засели в памяти современников заботы правящих кружков о "смердах", показывает тот любопытный факт, что известные, всеми учебниками приводимые речи Мономаха о смердьей пашне и смердьей лошади* компилятор начального свода воспроизвел дважды - под 1103 и 1111 годами: так ему понравился этот мотив. Теперь пришла пора заботиться о "смердах" не только на словах. Нужен был посредник между заволновавшимися низами и испуганными верхами киевского общества; таким мог быть, скорее всего, именно Владимир Всеволодович Мономах. Положение "приглашателя" к нему особенно шло. Общественные верхи издавна чувствовали к нему доверие: в 1093 году мы видели его солидарным с начальством киевского ополчения, настаивавшим на осторожной тактике, в противность мнению массы киевских "воев", требовавших решительных действий. В то же время он умел затронуть и демократическую струнку киевлян,

выдвигая их как посредников в спорах между самими князьями. И когда на предложение его и Святополка решить распрю "перед горожаны" Олег Святославович ответил грубостью, обозвав киевлян "смердами", это было, конечно, очень на руку Мономаховой дипломатии. Немалую службу служили ему и его добрые отношения с церковью, значение которой как экономической силы мы уже видели на примере Печерского монастыря. Инициатива приглашения Мономаха шла, как совершенно ясно видно из рассказа летописи, сверху. Но переяславский князь пошел не сразу. Летописец придает и этому замедлению, и происходившим переговорам морально-религиозную окраску; не пошел сразу в Киев Мономах будто бы потому, что жалел Святополка, а согласился, в конце концов, под влиянием указания, что если он еще промедлит, то киевляне разграбят монастыри. Пикантное соседство монастырей с еврейскими ростовщиками, конечно, весьма характерно: историческая истина тут зло подшутила над благочестивыми рассуждениями летописца. Но Мономах достаточно знал, вероятно, практику монастырской жизни, чтобы понимать опасное положение монастырей в подобную минуту и без специальных указаний кого бы то ни было. И результат переговоров - знаменитое "законодательство Мономаха" - заставляет думать, что речь между ним и представителями правящих кругов киевского общества шла не о монастырях.

** "Сели - Святополк со своею дружиной, а Владимир со своей, а в одном шатре. И стали думать, и начала говорить дружина Святополкова: "Не время воевать весной, погубим смердов и пашню их". И сказал Владимир: "Удивляет меня, дружина, как это вы лошади жалеете, на которой пашут, а на это что не посмотрите: начнет смерд пахать, приедет половчин, ударит смерда стрелой, кобылу его возьмет, в село к нему приедет, возьмет его жену и детей и все его именье. Так лошади-то ты его жалеешь, а самого что же не пожалеешь?" И не могла ему отвечать дружина Святополкова, и сказал Святополк: "Так вот, брат, я уже готов!"" (Ипатьевская летопись 1103 года. Тот же рассказ с незначительными вариантами под 1111 годом: очевидно, мы имеем перед собой один из "анекдотов" о популярном князе, рассказывавшихся по разным поводам).*

Устав Владимира Всеволодовича дошел до нас в очень поздней, сравнительно, редакции: древнейшая рукопись "Русской правды", где мы этот устав находим, относится к концу XII века, т.е., по крайней мере, на 150 лет моложе событий 11-13 года. В этой древнейшей рукописи устав очень короток: он заключает в себе всего несколько строк. В рукописях более позднего времени он разрастается до размеров целого маленького памятника, - своего рода дополнительной "Русской правды", - его иногда называют "Правдой Мономаха". Нетрудно, однако, заметить, что, например, из статей "О закупе" лишь первая заключает в себе нечто принципиальное: она предоставляет закупу право иска против своего барина. "Если закуп бежит к судьям жаловаться на обиду от своего барина, то он за то не обращается в рабство (как за всякий другой побег), и дело его должно быть рассмотрено". Все значение этого нововведения мы поймем, если вспомним, что еще в XVI веке барин-кредитор был единственным судьей для своего должника: "А кто человека держит в деньгах, - говорит жалованная грамота великого князя Василия Ивановича смольнянам, - и он того человека судит сам, а окольничьи мои

в то не вступаются". Дальнейшие статьи, касающиеся закупов, разбирают различные конкретные случаи тяжб между крестьянином и его барином. Но, судя по тому способу, каким создавалось в Древней Руси право - путем обобщения отдельных решений, от случая к случаю, - крайне мало вероятно, чтобы все эти конкретные примеры наперед были предусмотрены законодателем, Мономахом, и собравшейся вокруг него на Берестове, под Киевом, его "дружиной", тысяцкими важнейших городов Поднепровья. Вернее всего, они явились приложением основного принципа к отдельным казусам, т.е. дальнейшим развитием Мономахова законодательства. Позднейший редактор-систематизатор юридически вполне правильно свел все статьи о закупах в одну главу, которую мы теперь и читаем в позднейших списках "Русской правды". К исторической истине ближе всего, по всей вероятности, древнейший список, синодальный, с его короткими, но на редкость содержательными постановлениями.

Пора, однако, привести устав полностью. "По смерти Святополка Владимир Всеволодович созвал на Берестове свою дружину - тысяцких Ратибора Киевского, Прокопья Белгородского, Станислава Переяславского, Нажира, Мирослава, Иванка Чудиновича да боярина Олегова (князя черниговского Олега Святославича), - и на съезде постановили: кто занял деньги с условием платить рост на два третий (т.е. 50 % годовых), с того брать такой рост только два года, а после того искать лишь капитала, а кто брал такой рост три года, тому не искать и самого капитала. Кто берет по 10 кун роста с гривны в год (т.е. 20 %), такой рост допускать и при долгосрочном займе". Затем в большинстве списков идут два постановления, регулирующие конкретные случаи задолженности, интересные потому, что они объясняют нам, кто был объектом ростовщической эксплуатации: оба трактуют о купце, торгующем на чужой капитал. Особенно любопытно первое из них. В древнерусском, как и вообще в архаическом, праве должник отвечал за исправную уплату долга не только своим именьем, но и своей личностью. При натуральном хозяйстве, как мы видели, человек являлся меновой ценностью по преимуществу и, стало быть, самым надежным обеспечением, какое только можно представить. Как теперь замотавшийся должник берет "под душу", ставя на вексель фальшивую подпись, так тогда без всякой фальши занимали под обеспечение своим собственным телом. Переход к более современным формам кредита и начинался всюду, обыкновенно, с упразднения этого варварского способа уплаты. В Древней Руси этот переход намечен Мономаховым законодательством или постановлениями, которые служили ему непосредственным развитием. Продажа в рабство за долг не была отменена, но она осталась, так сказать, на правах уголовного взыскания. В рабство теперь продавали не всякого неисправного должника, а лишь такого, который пропьет или проиграет, или по грубой небрежности потеряет товар, взятый в кредит. "Несчастный" банкрот, пострадавший от пожара или кораблекрушения, своим лицом за долг не отвечает, "потому что это несчастье от Бога, а он не виноват в нем". Как видит читатель, мы недаром сравнивали устав Мономаха с "сисахтией" Солона, стряхнувшей долговую кабалу с плеч афинского должника VI века до Р. Х. Не идя так далеко, он развивал право в том же направлении, притом развивал революционным путем, кассируя сделки, которые еще вчера были вполне легальными. Этим был юридически закреплен успех киевской народной массы, которая недаром с тех пор является

полной хозяйкой на политической сцене: уже виденные нами веча 1146 - 1147 годов дают нам такую полную картину народоправства, что более полной мы не найдем и в источниках новгородской истории.

Но в Афинах VI века долговая кабала пала не только юридически полнее с плеч должника - солоновская реформа была шире и географически, если так можно выразиться. Не только нельзя было человека продать в рабство за долг, но и с земли были сняты долговые столбы. В Киевской Руси XII столетия положение сельского должника было лишь несколько облегчено, но он все же остался кабальным. Нам совершенно неясно, по летописи, участие сельского населения в событиях 1113 года. Что о смердах и закупах вспоминали, служит доказательством, что они не стояли вовсе вне политической жизни. Но был ли смерд таким же полноправным членом городской демократии, как к купец"? Это очень сомнительно, и сомнительно не только потому, что фактическое участие крестьянства в городском вече было, конечно, сильно затруднено: каждый день в город на сходку не находишься. Такое элементарное объяснение не может нас, однако, удовлетворить, хотя бы по тому одному, что ведь аналогичные условия были и в Древней Греции и в средневековой Италии, но нигде мы не найдем такой резкой раздельной черты между горожанином и крестьянином, между городским правом и правом деревенским, как в Древней Руси.

Общее название для массы сельского населения в древнерусских памятниках - смерды. Тексты дают нам довольно отчетливые признаки их юридического положения - и нужна была обширная литература, чтобы создать "вопрос" о смердах*. Летопись, прежде всего, совершенно определенно рассматривает смердов как особую группу населения, стоящую ниже хотя бы и самого низкого разряда горожан. Одержав победу над Святополком Окаянным, Ярослав Владимирович щедро наградил свое сорокатысячное ополчение, о котором мы упоминали выше: он дал "старостам по 10 гривен, а смердам по гривне, а новгородцам по 10 всем". Нам неважно, сколько именно кому давал Ярослав - дело было в 1016 году, а запись, по всей вероятности, сделана гораздо позже, - важно, что летописец расценил каждого горожанина ровно в десять раз дороже, чем сельского жителя, хотя в ополчении Ярослава функции их были совершенно одинаковы. При таких условиях очевидно, что деревенское происхождение в глазах древнерусского человека было не в почете; когда другой летописец, уже не северный, новгородский, а южный, галицкий, захотел уколоть двух бояр своего князя, он назвал их "беззаконниками от племени смердья". Нет ничего мудреного, что в устах самих князей "смерд" было прямо ругательством, притом особенно обидным именно для горожан, по-видимому, как можно заключить из приведенных нами выше переговоров Олега Святославича с Мономахом. А когда последний захотел пожалеть бедного смерда, то он не нашел для него более ласкательного эпитета, чем "худый". Но это все терминология, так сказать, бытовая: рассказ летописи о Витичевском съезде (1100) даст нам уже некоторый образчик словоупотребления официального. Съехавшиеся на Уветичах князья обращаются к Володарю и Васильку с таким, между прочим, требованием: "А холопов наших и смердов выдайте". Итак, смерд уже и в дипломатических переговорах оказывается чем-то вроде княжеского холопа. О специальной зависимости смердов от князя говорит не одно это место, а целый ряд летописных текстов, отчасти

воспроизводящих опять-таки официальные документы. Когда воевода Святослава Ярославича Ян Вышатич нашел на Белоозере двух "кудесников", он, прежде чем начать с ними расправляться, навел справку: "Чьи они смерды?", и, узнав, что его князя, Святослава, потребовал у населения их выдачи. О киевлянине или новгородце, свободном человеке, нельзя было спросить, чей он, а о смерде спрашивали. Киевлянами или новгородцами князь не мог распорядиться по своему усмотрению, а смердами мог. В 1229 году пришел в Новгород князь Михаил Всеволодович из Чернигова "и целовал крест на всей воле новгородской": таково было его отношение к горожанам. А смердам он сам "дал свободу на пять лет даней не платити"; там была вся воля веча, здесь вся воля княжая. И если она была чем-нибудь стеснена, то отнюдь не волею смердов, а тем же вечем, которое в Новгороде, по крайней мере, считало себя верховным властителем и сельского населения. Когда в 1136 году новгородцы изгоняли князя своего Всеволода, в списки его прегрешений они поставили и такое: "Не блюдеть смерд". Наконец, "Русская правда" назначает особое наказание (штраф в 3 гривны), "если кто мучит смерда без княжа слова"; дальше идет речь о "мучении" (очевидно, пытке) огнищанина, но тут уже речи о княжьем слове нет. Другими словами, смерда князь имел право предать пытке, когда захочет.

** Интересующихся этой литературой мы можем отослать к следующим работам: Дьяконов: Очерки общественного и государственного строя Древней Руси, изд. 2-е, с. 90 и др.; Сергеевич: Древности русского права, т. 1, изд. 3-е, с. 203 и др.*

Эта более тесная зависимость смердов от княжеской власти давно обратила на себя внимание исследователей, и смерд рисовался им то как княжеский крепостной, то как "государственный крестьянин", и т.д. Подобная модернизация социальных отношений была логическим последствием модернизации княжеской власти: представляя себе древнерусского князя как государя, трудно было иначе формулировать отношение к нему смердов. С другой стороны, смерд "Русской правды" является перед нами со всеми чертами юридически свободного человека - понятие же "государственного крестьянина", очевидно, слишком плохо вяжется со всей обстановкой XII века: там, где не было государства, трудно найти "государственное имущество", живое или мертвое. Отсюда довольно естественная реакция и попытки доказать, что отношения смерда к князю были отношениями подданного, не более. Буквально эта характеристика совершенно правильна: смерд был именно подданным, но в том, древнейшем значении этого слова, которое мы видели в главе I, в смысле человека под данью, который обязан платить дань. Смерд, - это "данник" - вот его коренной признак; когда Югра желала подольститься к новгородцам, обманывая их, она им говорила: "А не губите своих смердов и своей дани" - погубите смердов, и дани не с кого будет взять. Эта коренная черта смерда сразу вскрывает перед нами и происхождение класса, и его загадочные отношения к княжеской власти. Мы знаем, что дань в Древней Руси исторически развилась из урегулированного грабежа, если так можно выразиться: сначала отнимали, сколько хотели и могли, потом заменили грабеж правильным ежегодным побором - это и была дань. В более позднее время дань платилась

городу: о Печере летопись уже 1096 года говорит, что это "люди, которые дань дают Новгороду". Но из рассказа той же летописи об Игоре мы знаем, что раньше дань собирал всякий глава вооруженной шайки, по мере физической к тому возможности; причем в это более раннее время и сами города платили дань таким атаманам, например, тот же Новгород, по-видимому, до смерти Владимира Святого (а, быть может, и долее) платил 300 гривен киевскому конунгу "мира деля". Одно очень древнее место одного из позднейших летописных сводов (Никоновского) ставит само установление дани в связь с постройкой городов: "Этот же Олег, - говорится там, - начал города ставить и дани уставил по всей русской земле". Перед нами очень жизненная картина устройства укрепленных пунктов, откуда пришлые люди периодически обирают местное население, и куда они скрываются обратно со своей добычей. Время от времени в этих крепостцах появляется и сам князь "со всею Русью", подводя итог приобретенному за год "товару". Прошли два-три столетия. Город из стоянки купцов-разбойников успел превратиться в крупный населенный центр, с четырьмястами церквей и восемью рынками, как Киев. Он сам уж больше не платит князю дани, - но деревенская Русь платит по-прежнему. "Ходить в дань" по-прежнему является специально княжеской профессией, как предводительствовать ополчением. Захватив чужую волость, князь первым делом посылал по ней своих "данников", которые иной раз не стеснялись и тем, что население уже уплатило дань прежнему князю. Одно место летописи дает даже повод думать, что дань не только собирал, но и распоряжался ею князь, притом даже и в Новгороде. Именно Ипатская летопись 1149 года так передает условия перемирия между Юрием Владимировичем и Изяславом Мстиславичем: "Изяслав уступил Юрию Киев, а Юрий возвратил Изяславу все дани новгородские". Но мы знаем уже, что брать дань значило властвовать: первоначально политическая зависимость ни в чем другом и не выражалась, кроме дани. А с другой стороны, в Древней Руси, до конца московского периода включительно, кто брал подати с людей, тот ими и вообще управлял. Положение смерда как данника и делало его специально княжеским человеком.

Наемный сторож в городе, князь, был хозяином-вотчинником в деревне. Эту политическую антиномию и приходилось разрешать Киевской Руси. Вопрос, какое из двух прав, городское или деревенское, возьмет верх в дальнейшем развитии, был роковым для всей судьбы древнерусских "республик". В конечном счете, как известно, перевес остался за деревней. Связь этого исхода с экономическими условиями давно намечена литературой. Профессор Ключевский в своем "Курсе" устанавливает два факта, тесно между собою связанных: падение веса денежной единицы, гривны, объясняемое, по его мнению, "постепенным уменьшением прилива серебра на Русь вследствие упадка внешней торговли", и стеснение внешних торговых оборотов Руси "торжествующими кочевниками". Но и автора "Курса", очевидно, несколько смущал вопрос: почему же это кочевники, над которыми торжествовали князья X - XI столетия, сами стали торжествовать в XII веке? Упадок внешнего могущества приходилось, в свою очередь, объяснять внутренними причинами, и наш автор называет две: юридическое и экономическое принижение низших классов, с одной стороны, княжеские усобицы - с другой. Но положение низших классов не ухудшилось, а улучшилось в XII веке сравнительно с XI, как мы видели, а борьба Владимира и Ярополка Святославичей в 977 - 980

годах или Ярослава Владимировича с братьями (Святополком, Мстиславом и Брячиславом Полоцким) в 1016 - 1026 годах нисколько не менее, конечно, заслуживает названия "княжеских усобиц", нежели распря Изяслава Мстиславича с Оль-говичами или Юрием Долгоруким в XII веке. Отдавая должное методу профессора Ключевского, приходится верно подмеченному им факту экономического оскудения Киевской Руси искать иное объяснение. Оно вернет нас к исходной точке настоящего очерка - разбойничьей торговле, на которой зиждилось благополучие русского города VIII - X веков. Внеэкономическое присвоение имело свои границы. Хищническая эксплуатация страны, жившей в общем и целом натуральным хозяйством, могла продолжаться только до тех пор, пока эксплуататор мог находить свежие нетронутые области захвата. Усобицы князей вовсе не были случайным последствием их драчливости: на "полоне" держалась вся торговля. Но откуда было взять эту главную статью обмена, когда половина страны сомкнулась около крупных городских центров, не дававших своей земли в обиду, а другая половина была уже "изъехана" так, что в ней не оставалось ни челядина, ни скотины? Последним "диким" племенем, которое не удалось втянуть в оборот хищнической эксплуатации ни Владимиру, ни Ярославу, были вятичи, но Мономах покончил и с ними. Как древний спартанский царь искал в свое время неразделенных земель, так русские князья XII века искали земель, еще неограбленных, но искали тщетно. Мономах слал своих детей и воевод и на Дунай к Доростолу, и на волжских болгар, и на ляхов, "с погаными", и на Чудь, откуда они "возвратишася со многим полоном". Но организационные средства древнерусского князя были слишком слабы, чтобы поддерживать эксплуатацию на такой огромной территории; а с другой стороны, и волжские болгары, и ляхи сами были уж достаточно организованы, чтобы дать отпор и при случае отплатить тою же монетой. Судьба Киевской Руси представляет известную аналогию с судьбою императорского Рима. И там, и тут жили на готовом, а когда готовое было съедено, история заставила искать своих собственных ресурсов, пришлось довольствоваться очень элементарными формами экономической, а с нею и всякой иной культуры. Причем, как и в Римской империи, "упадок" был больше кажущийся, ибо те способы производства и обмена, к каким переходит, с одной стороны, суздальская, с другой - Новгородская Русь XIII века, сравнительно с предыдущим периодом, были несомненным экономическим прогрессом.

Никто не нарисовал более яркой картины запустения Киевской Руси, чем тот же проф. Ключевский*. Приводимые им факты относятся большей частью ко второй половине XII столетия, отчасти к началу XIII. Но одно из отмеченных автором явлений - упадок у князей интереса к киевским волостям - можно проследить и несколько глубже, до первой половины XII века. Уже в 1142 году между Ольговичами, старший из которых, Всеволод, сидел тогда в Киеве, происходил очень любопытный спор из-за волостей, причем младшие братья выражали большую готовность променять данные им старшим киевские волости (правда, плохие) на тех самых вятичей, с которыми лишь за четверть столетия до этого окончательно справился Владимир Мономах. Этот интерес к вятичам, в свою очередь, весьма любопытен, если мы припомним, что это был наиболее глухой и наименее затронутый разбойничьей эксплуатацией угол Русской земли. Младшие братья Всеволода желали получить себе вятичей, конечно, не для того, чтобы их

грабить - это всего удобнее было сделать из другой, соседней, волости. Очевидно, что прежняя точка зрения на князя как на завоевателя по преимуществу, руководителя охоты за "полоном" - и, разумеется, защитника своей земли от чужих охотников того же сорта, уступает место какой-то другой. Перемена во взглядах княжеской власти на свои права и обязанности опять-таки давно отмечена литературой: об отличии северо-восточных князей XII - XIII веков от их южных отцов и дедов писал еще Соловьев. Так как князья ему представлялись единственной движущей силой Древней Руси, по крайней мере, в политической области, то для него дело сводилось, главным образом, к изменению отношений между самими князьями. Прежние братские отношения между последними заменяются отношениями подданства; Андреем Боголюбским было произнесено "роковое слово подручник, в противоположность князю". Слова летописи о самовластии Боголюбского понимались тоже именно в этом смысле. Но едва ли поведение суздальского "самовластца" относительно его киевских кузенов очень отличалось к худшему от образа действия Мстислава Владимировича Мономаховича, например, подвергнувшего своих полоцких родственников прямо административной ссылке. Князья любили говорить о братстве, но их фактические отношения держались вовсе не на этих сентиментальностях: и сильный брат всегда делал со слабыми все, что хотел, не стесняясь, до убийства и ослепления включительно. Последователи Соловьева совершенно правильно занялись другой стороной "самовластия" князя Андрея Юрьевича. "Кн. Андрей был суровый и своенравный хозяин, который во всем поступал по-своему, а не по старине и обычаю, - говорит проф. Ключевский. - Желая властвовать без раздела, Андрей погнал вслед за своими братьями и племянниками и "передних мужей" отца своего, т.е. больших отцовых бояр". Цитируемый нами автор думает, что "политические понятия и правительственные привычки Боголюбского" в значительной мере были воспитаны общественной средой, в которой он вырос и действовал. "Этой средой был пригород Владимир, где Андрей провел большую часть своей жизни". Ниже мы увидим, что политические нравы Владимира, несмотря на то, что это был новый город - а, может быть, благодаря именно этому, - ничем не отличались от таких же нравов Киева или даже Новгорода, так что из этой среды Андрей Юрьевич никаких новых правительственных привычек вынести не мог бы. Но если нам опять приходится отказаться от объяснения, какое даст факту проф. Ключевский, то самый факт опять угадан верно: оригинальность "новых" князей - в их внутренней политике, в их методах управления своей землей, а не в их отношениях к князьям чужих, соседних земель, - не в их политике внешней.

---

* *Курс, с. 344 и др.*

Убийство князя Андрея - фактические подробности его всем хорошо знакомы из элементарных учебников, поэтому нет надобности воспроизводить их здесь - изображается обыкновенно как дело дворцового заговора. Его ближайшие поводы рисуются в освещении, очень напоминающем конец императора Павла Петровича; Андрей своими жестокостями восстановил против себя свою собственную челядь, свой двор; казнь одного из приближенных, Кучковича, явилась каплей, переполнившей чашу, - товарищи и родственники казненного отомстили за его

смерть. Таково традиционное изображение дела в исторической литературе. Такое именно понимание события, несомненно, желал внушить своим читателям и летописец, большой поклонник Боголюбского, щедрого церковного строителя и неумолимого защитника православия от всяческих ересей. Но литературное искусство летописца - или, вернее, автора "сказания", внесенного в летопись, - стояло слишком низко, чтобы он мог дать полную и свободную от противоречий картину события со своей точки зрения. Волей-неволей, рассказывая факты в их хронологической последовательности, он сообщает ряд подробностей, с этой картиной совершенно несовместимых. Прежде всего мы узнаем, что заговор далеко выходил за пределы княжеского двора - убийцы Андрея имели сторонников и сообщников и среди дружины владимирской. Эта последняя отнюдь не была личной дружиной князя Андрея - она и после не раз выступает в летописи как нечто, связанное с городом, а не с тем или иным князем. Судя по размерам - полторы тысячи человек - и по военному значению, приписываемому этой дружине летописью (без нее город изображается, как беззащитный), "дружиной" летопись называет владимирское городовое ополчение, владимирскую "тысячу". Недаром летописец называет эту силу то "владимирцами", то "дружиной владимирской", не различая этих понятий. Так вот, к этим владимирцам и обращаются заговорщики тотчас после убийства, стараясь уверить горожан, что они, заговорщики, отстаивают и их интересы, не только свои. Летописец влагает в уста владимирцев очень лояльный ответ: "Вы нам ненадобны". Но вслед за этим он вынужден сообщить ряд фактов, которые с этой лояльностью вяжутся как нельзя хуже. "Горожане же Боголюбова (где был убит князь) разграбили дом княжеский... золото и серебро, одежды и драгоценные ткани - имение, которому числа не было; и много зла сотворилось по волости: домы посадников и тиунов разграбили, а их самих с их детскими и мечниками перебили, и дома этих последних разграбили, не ведая, что написано: где закон, там и обид много. Приходили грабить даже и крестьяне из деревень. То же было и во Владимире: до тех пор не переставали грабить", пока по городу не стало ходить духовенство "со святою Богородицею". Все это вместе взятое наводит автора на благочестиво-монархическое размышление, одно из первых этого рода в русской литературе. "Пишет апостол Павел: всякая душа властям повинуется, ибо власти поставлены от Бога; земным естеством царь подобен всякому другому человеку, властью же, принадлежащей его сану, выше, как Бог. Сказал великий Златоуст: кто противится власти, противится Закону Божьему, - князь потому носит меч, что он Божий слуга".

Как видим, событие 28 июня 1175 года очень мало похоже на то, что происходило в Петербурге 11 марта 1801 года. Там был офицерский заговор, находивший себе, правда, поддержку в общественном мнении всего дворянства, но безразличный для массы населения и в самом Петербурге, и во всей России. Тут мы имеем дело с настоящей народной революцией, полным подобием событий 1068 и 1113 годов в Киеве. Летописец недаром счел нужным напомнить о непротивлении княжеской власти непосредственно после рассказа о городском бунте - он хорошо понимал, против кого был направлен бунт. Убийство верховного главы княжеской администрации было лишь сигналом к низвержению этой администрации вообще, и есть все основания думать, что челядинцы князя Андрея были правы, когда апеллировали к сочувствию владимирцев. Не отрицает летописец и фактических

оснований для народного движения. Обид было много, и злоупотребляли княжеским мечом достаточно, но не во внешних войнах, как бывало в старину, а во внутреннем управлении. Самовластие Андрея выражалось, таким образом, не только в том, что он изгнал "передних бояр", что простому народу могло быть даже приятно. От этого самовластия тяжело доставалось всей народной массе. Управление Боголюбского было одной из первых систематических попыток эксплуатировать эту массу по-новому: не путем лихих наездов со стороны, а Путем медленного, но верного истощения земли "вирами и продажами". По результатам новый способ нисколько не уступал старому: владимирцы, познакомившиеся с ним по двукратному опыту - сначала при Андрее, потом при его племянниках Ростиславичах, - метко определили образ действия этих последних, сказав, что они обращаются со своим княжеством, "точно с чужой землей". Владимирцы никак не хотели признать этого нового порядка. Два года спустя после низвержения Андрея, во Владимире вспыхнула новая революция, Ростиславичи, в свою очередь, были свергнуты, и горожане добились от своего нового князя формальной казни своих ворогов: племянники Боголюбского были ослеплены (по некоторым данным, фиктивно, только чтобы успокоить волновавшийся народ), а их союзник и покровитель, рязанский князь Глеб, уморен в тюрьме. Но истребление представителей нового порядка не могло устранить причин, его создавших. Опустошив все вокруг себя своей хищнической политикой, древнерусский город падал, и никто не мог задержать этого падения. Еще до смерти Андрея Юрьевича, во время знаменитой киевской осады 1169 года, первый город русской земли защищали торки и берендеи, отряды нанятых князем Мстиславом степных наездников. Когда они изменили, город больше держаться не мог, и киевлян постигла участь, какой они всегда так боялись: они сами стали "полоном". Тысячи пленников и в особенности пленниц потянулись из города-завоевателя на невольничьи рынки, куда он сам столько доставил живого товара в прежние века. Но с разгромом Киева опустошенный юг потерял всякий интерес и значение: номинальный победитель Киева князь Андрей Юрьевич (под его стягом шла рать, разграбившая "мать городов русских") на юг не поехал: ему гораздо привлекательнее казалась новая система княжеского хозяйничанья, укреплявшаяся на Севере. Своеобразные формы военно-торговой республики еще три столетия продержались на Северо-Западе: Новгород в своих огромных колониях нашел неисчерпаемый источник "товара", а в тесной связи с Западной Европой - новые организационные средства*. В остальной России неизбежно должен был продолжаться медленный процесс перегнивания старой хищническо-городской культуры в деревенскую. Ничего иного, кроме распадения города, здесь не требовалось, ибо, как мы хорошо помним, город ничего не внес нового в деревню. Там все способы производства оставались старые, только продукты, прежде захватывавшиеся бесцеремонной рукой, куда она только могла достать, нередко вместе с производителями, теперь оставались дома. Новгород со Псковом и здесь представляли исключение. В них достаточно был развит местный обмен, и город являлся уже не только в роли хищника (хотя эта роль и тут оставалась господствующей). В остальной России город жил самостоятельной жизнью, мало заботясь об окружавшей его сельской Руси. "Русская правда", подробно разрабатывая вопросы о "товаре", о деньгах, о росте, чрезвычайно мало говорит о

земле - так мало, что некоторые исследователи находили возможным утверждать, будто "Правда" вовсе "не содержит в себе постановлений о приобретении или отчуждении земли". В действительности "Правда" о земле говорит 4 раза, тогда как о росте (процентах) в ней содержится 23 постановления (в наиболее полных списках), о холопах - 27. Насколько рабовладелец чаще выступал на древнерусском суде сравнительно с землевладельцем! Экономически чуждый деревне город был, как мы видели, и юридически отрезан от нее непереходимой стеной. В городе были свободные люди и державное вече, в деревне - бесправные данники, которых князья "сгоняли" на войну, как пушечное мясо, можно бы сказать, если бы тогда были пушки. Этот термин "сгонять" чрезвычайно выразителен и отнюдь не случаен: в Новгородской республике он дожил до последних лет ее существования. Еще в 1430 году новгородский летописец записал: того же, лета "пригон бысть крестьянок к Новгороду город ставити". Только, когда нужны были даровые рабочие руки в большом числе, древнерусская демократия вспоминала о своих смердах. Зато и смерды мало о ней заботились и не шевельнулись, когда московский феодализм надвинулся, чтобы задавить ее остатки.

** Очерку новгородской истории посвящена особая глава.*

Новгород, благодаря особым условиям своего существования, пал ранее, нежели его экономическая роль была сыграна до конца. Южные города, а также и северо-восточные, поскольку они не были просто разросшимися княжескими усадьбами, были ближе к своей естественной смерти, когда пробил их последний час. Но как ни одно живое существо почти никогда не умирает вполне своею смертью, так и естественная кончина древнерусского торгового города была ускорена рядом причин, содействовавших превращению городской Руси в деревенскую. Одну из этих причин, ближайшую, давно указала литература: ею был итог борьбы со степью, закончившейся грандиозным татарским погромом XIII века. С IX по XI век Русь наступала на степняков; сравнивая по карте южные оборонительные линии Руси при Владимире и Ярославе, вы отчетливо видите поступательное движение к югу. Победа Ярослава над печенегами (в 1034 году) была кульминационным пунктом этих успехов: в 1068 году Ярославичи были разбиты новой степной ордой - половцами. С тех пор эти последние не исчезают из поля зрения летописи почти ни на один год. О них напоминает галицко-волынский летописный свод XIII века. Опустошения, производившиеся их набегами, были, конечно, велики, но нужно иметь в виду, что, по существу, дело здесь ничем не отличалось от княжеских усобиц. И половцы, как князья, ходили в чужую землю за полоном. Если прибавить, что и в самих усобицах половцы принимали очень живое участие, охотно нанимаясь на службу к князьям, что эти последние нисколько не стеснялись жениться на половчанках, так что, в конце концов, и не разобрать было, чья кровь течет в жилах какого-нибудь Изяславича, то представлять себе половцев в виде некоей чуждой и темной азиатской силы, тяжелой тучей висевшей над представительницей европейской цивилизации, Киевской Русью, у нас не будет ни малейшего основания. Но поскольку половецкие набеги количественно увеличивали опустошение, они тем самым ускоряли роковой конец. Нанесли последний удар, однако же, не они. Степняки не умели брать городов и, даже напав

врасплох на Киев (в 1096 году), они не смогли в него ворваться и должны были ограничиться опустошением окрестностей. Если в их руки и попадали изредка укрепленные центры, то только мелкие - вроде Прилук, Посечена и т. п. Только в 1203 году им удалось похозяйничать в самом Киеве, но туда привели половцев русские князья - Рюрик Ростиславич и Ольговичи. Иным противником были татары. Степные наездники, так же легко и свободно передвигавшиеся, как и половцы, они усвоили себе всю военную технику их времени. Еще в своих китайских войнах они выучились брать города, окруженные каменными стенами. По словам Плано-Карпини, каждый татарин обязан был иметь при себе шанцевый инструмент и веревки для того, чтобы тащить осадные машины. Приступая к какому-нибудь русскому городу, они прежде всего "остолпляли" его - окружали тыном; затем начинали бить таранами ("пороками") в ворота или наиболее слабую часть стены, стараясь, в то же время, зажечь строения внутри стен: для этой последней цели они употребляли, между прочим, греческий огонь, который они, кажется, даже несколько усовершенствовали. Прибегали к подкопам, в некоторых случаях даже отводили реки. Словом, в отношении военного искусства, по справедливому замечанию одного французского писателя, татары в XIII веке были тем же, чем пруссаки в середине XIX века. Самые крепкие русские города попадали в их руки после нескольких недель, иногда только нескольких дней осады. Но взятие города татарами означало его столь полный и совершенный разгром, какого никогда не устраивали русские князья или даже половцы, и потому именно, опять-таки, что татарская стратегия ставила себе гораздо более далекие цели, чем простое добывание полона. Орде для ее политики - "мировой", в своем роде нужны были обширные денежные средства, и она извлекала их из покоренных народов в виде дани. С военной точки зрения, для того чтобы обеспечить исправное поступление этой последней, нужно было прежде всего отнять у населения всякую возможность начать борьбу сызнова. Разрушить крупные населенные центры, частью разогнать, частью истребить или увести в полон их население - все это как нельзя больше отвечало этой ближайшей цели. Вот отчего татары были такими великими врагами городов, и вот почему летописцу-горожанину Батыево нашествие казалось венцом всех ужасов, какие только можно вообразить. Вот отчего также они стремились уничтожить все высшие правящие элементы населения, включая сюда духовенство: "Лучшие, благородные люди никогда не дождутся от них пощады", - говорит Плано-Карпини, а наши летописи в числе убитых и плененных татарами настойчиво называют "чернцов и черноризиц", "иереев и попадей". Разрушение городов и уничтожение высших классов одинаково ослабляли военно-политическую организацию побежденных и гарантировали на будущее время их покорность. Татарский разгром одним ударом закончил тот процесс, который обозначился задолго до татар и возник в силу чисто местных экономических условий; процесс разложения городской Руси X - XII веков.

Но влияние татарского завоевания не ограничилось этим отрицательным результатом. Татарщина шла не только по линии разложения старой Руси, а и по линии сложения Руси новой - удельно-московской. Уже несколькими строками выше читатели должны были заметить, что тенденция орды - эксплуатировать покоренное население, как данников, - вполне соответствовала новым течениям,

какие мы наблюдали в княжеской политике XII - XIII веков. Но татары и тут, как в деле самого завоевания, "пахали" глубже. Во-первых, они, не довольствуясь прежними способами сбора - отчасти по аппетиту берущего, отчасти по силе сопротивления дающего, - организовали правильную систему раскладки, которая намного веков пережила самих татар. Первые переписи тяглого населения непосредственно связаны с покорением Руси ордой; первые упоминания о "сошном письме", о распределении налогов непосредственно по тяглам ("соха" - 2 или 3 работника), связаны с татарской данью XIII века: раньше, по всей вероятности, огулом платила вся вервь - для уголовных штрафов это мы знаем наверное, но нет основания думать, что дань платилась иначе. Московскому правительству впоследствии ничего не оставалось, как развивать далее татарскую систему, что оно и сделало. Но татары внесли в древнерусские финансы не только технические усовершенствования; они, поскольку это доступно действующей извне силе, внесли глубокие изменения и в социальные отношения, опять-таки, в том направлении, в каком эти последние начали уже развиваться раньше под влиянием туземных условий. В классическую пору Киевской Руси "под данью" было только сельское население, городское не платило постоянных прямых налогов, потому-то княжеская эксплуатация в городе и выражалась в форме злоупотреблений "вирами" и "продажами" - судебными штрафами. Завоевателям России незачем было прибегать к таким обходным путям, и в татарское "число" попали все: горожане и сельчане - безразлично. В районе непосредственного завоевания это удалось провести без больших усилий; городское население было здесь так ослаблено, что оно и думать не могло о сопротивлении. Иная картина получилась, когда "число" подошло к крупным центрам, материально еще не затронутым, а подчинившимся орде только из страха перед нашествием. Новгородская летопись чрезвычайно живо изображает нам податную реформу в Новгороде: нелегко давалось свободным новгородцам превращение в подневольных "данников". Первый раз: татарские данщики появились здесь в 1257 году. Каким путем - летописец не передает, вероятно, и сам не зная, - но городу удалось откупиться от "числа", послав хорошие подарки "царю" (иначе тогда не называли хана) и, может быть, дав хорошую взятку самим послам. Но ханская администрация неуклонно следовала своей системе: Новгород во что бы то ни стало должен был быть взят в "число" вместе со всею остальною Русью; два года спустя татарские чиновники появились снова, и взятки на них уже не действовали. "Было знамение на луне, так что ее совсем не стало видно, - рассказывает летописец, - в ту же зиму приехал Михаил Пинещинич с Низу (из Суздальской земли) со лживым посольством и говорил так: "Если вы не вложитесь в число, так вот уж полки на Низовской земле. И вложились новгородцы в число..." Но это был только юридический момент; напуганное "лживым посольством" вече уступило на словах. Все старое всколыхнулось, когда слова стали претворяться в дело, когда в Новгород приехали татарские баскаки и приступили к сбору дани. Они начали с волостей, и уже одни слухи о том, что там происходит, вызвали в городе волнение: в новгородских волостях были не одни смерды, а и много купивших землю горожан, ремесленников и купцов, "своеземцев". Теперь все без различия становились данниками. Когда дело дошло до самого Новгорода, волнение разрешилось открытым мятежом; "чернь не хотела дать числа, но говорила - умрем честно за святую Софию и за домы ангельские!". И

"издвоились" люди. Верхние слои общества, зная, какая участь их ждет в случае татарского вторжения, стояли за миролюбивый исход - за подчинение требованиям орды. Груборепартиционный способ раскладки - по стольку-то с каждого отдельного хозяйства - был на руку богатым. Татарские данщики ездили по улицам и считали дома: каждый дом, кому бы он "ни принадлежал, платил одно и то же. Учесть размеры торгового капитала степняки, очевидно, совершенно не умели, и новгородские капиталисты могли на этом спекулировать. "И творили бояре себе легко, а меньшим зло". Дошло, по-видимому, до формального соглашения между "окаянным", татарским послом, с одной стороны, князем Александром (Невским) и новгородской аристократией, с другой; в случае дальнейшего сопротивления "черни" было уговорено напасть на город с двух сторон. Неизвестно, что в последнюю минуту предотвратило столкновение: по летописцу - "сила Христова", но для современного историка такого объяснения недостаточно. Кажется главной причиной была солидарность боярства, чувствовавшего, что для него тут вопрос о жизни и о смерти, что "звери дивии", пришедшие из пустыни в образе татар, будут прежде всего "есть сильных плоть и пить кровь боярскую". Масса же населения была слишком зависима уже в это время от торгового капитала, чтобы вступить в открытую борьбу со всеми капиталистами, а не с какой-нибудь одной из их враждующих между собою групп, как это бывало в обычных случаях таких столкновений. Как бы то ни было, монголо-татары получили, в конце концов, свою дань с вольных новгородцев, и летописец со своей точки зрения не умел объяснить этого иначе, как карой Господней за грехи последних. Вздохом сожаления о том, что даже это суровое наказание не подействовало на нераскаянных, и заключает он свои рассказ.

Уже история новгородского "числа" показывает, какой враждебной татарам силой были демократические элементы веча, а татары были слишком опытными практическими политиками, чтобы не понять и не оценить этой враждебности. Ряд событий в других концах Руси ясно обнаружил, что горожане всюду, едва только они оправились от непосредственных результатов разгрома, готовы были стать на новгородскую позицию. В 1262 году "изволиша веч" люди Ростовской земли и погнали татарских датчиков из Ростова, Владимира, Суздаля и Ярославля. В 1289 году то же повторилось в Ростове еще раз, причем солидарность ростовского князя Дмитрия Борисовича с татарами выступает особенно отчетливо. Союз, уже намечавшийся в Новгороде в 1259 году - "лучших людей" и князя с татарами против "черни" - должен был стать и действительно стал постоянным явлением. Что, поддерживая князей и их бояр в борьбе с "меньшими" людьми, Орда создаст, в конце концов, московское самодержавие, которое упразднит за ненадобностью и самое Орду, - эта отдаленная перспектива была вне поля зрения татарских политиков, и, отчасти, они были правы. Русь в первой половине XIII века подпала под иго, а лишь во второй половине следующего московские князья решились выступить открыто против "царя". Полтора столетия беспрекословного подчинения со стороны Руси Орде все-таки было обеспечено.

Как видим, монголо-татарское нашествие недаром заняло в народной традиции то место, которое у него склонна была оспаривать новейшая историческая наука. Последняя была права в том отношении, что ничего по существу нового этот внешний толчок в русскую историю внести не мог. Но, как обычно бывает,

внешний кризис помог разрешиться внутреннему и дал, отчасти, средства для его разрешения.

Нужно, впрочем, оговориться, что назвать экономический кризис, подсекавший Киевскую Русь, исключительно внутренним было бы слишком узко. Читатель, вероятно, уже заметил отсутствие в нашей схеме одного фактора, от которого, однако же, древний город был, как мы уже говорили, в полной зависимости, с которым он был связан теснее, нежели с окружавшей этот город сельской Русью. Этим фактором являлся заграничный рынок - потребитель живого и мертвого товара русского купца. Мы не занимаемся историей европейской торговли и не имеем поэтому поводов детально изучать судьбы международного обмена в средние века. Но связь некоторых, особенно катастрофических, событий в этой области с русской историей проникла в сознание даже тогдашних русских книжников. В числе немногих фактов из всеобщей истории, о каких нам говорит первая новгородская летопись, совершенно исключительное место занимает рассказ о взятии Царьграда французскими и итальянскими крестоносцами в 1204 году. Только о татарском нашествии летопись говорит больше и подробнее; все прочие русские события изложены много скупее и суше. Автор точно своими глазами видит разорение столицы всего православного христианства - так возбудила его воображение эта картина, о которой он, однако, только прочел в византийских хронографах. Характерно, что наиболее, казалось бы, для него интересная вероисповедная сторона - захват центра вселенского православия латинянами - не выступает чересчур на первый план. Зато не менее характерно подчеркивается солидарность греков и варягов, сообща защищавших город. Новгородец XIII века смутно чувствовал объективное значение события. Оно было последним звеном в длинной цепи явлений, которую старые историки обозначали общим именем "крестовых походов", а новые предпочитают называть "французской колонизацией в Леванте". Шла борьба за восточные рынки. В первую половину средних веков они были всецело в руках арабов и византийцев, и только через их посредство североевропейские варяги имели к ним доступ. В эту именно пору Днепр и Волхов сделались едва ли не самой оживленной торговой дорогой Европы; Россия и Швеция наводнились восточными монетами (все арабские диргемы, найденные в бесчисленных русско-скандинавских кладах, как известно, не старше конца VII и не моложе XI столетия), и дело дошло до того, что даже из Малой Азии в Рим, по представлению русских людей, нельзя было иначе проехать, как мимо Киева и Новгорода. В известном летописном сказании об апостоле Андрее говорится, что Андрей учил в Синопе, оттуда приехал в Корсунь, "и, увидав, что от Корсуня близко до устья Днепра, захотел пойти в Рим". Но с XI века торговая Европа во главе с теми же варягами, только западно- и южноевропейскими, нормандскими и сицилийскими, начинает прокладывать свои пути на Восток, отбивая монополию восточной торговли у магометан и византийских греков. Экспедиция 1203 - 1204 годов, когда главный коммерческий центр греческого востока был взят и разгромлен руками французских рыцарей, привезенных на итальянских кораблях и руководимых "Дужем слепым", воплощением венецианской торговой политики, как нельзя лучше характеризует заключительный момент борьбы. Теперь дорога из Черного моря в Рим шла не по Днепру, а через Венецию. А "Великий водный путь из варяг в греки" на юге

кончался коммерческим тупиком. Варягам теперь легче было связаться с греческим странами другой рекой - Рейном. Союз рейнских городов, как известно, явился зародышем Ганзы, охватившей своими конторами всю Балтику; на крайней восточной периферии этой цепи оказался Новгород, единственный из русских торговых городов, для которого передвижка мировых торговых путей была более полезна, чем вредна. Все остальные из этапных пунктов на большой дороге международного обмена превратились в захолустные торговые села на проселке и почти в то же время были разрушены татарами. Двух таких ударов одновременно не могла бы вынести без последующего длительного упадка даже экономически здоровая страна. Только последняя оправилась бы рано или поздно, а для древней городской Руси, уже внутренне изжившей старые хозяйственные формы, упадок был окончательным.

Глава IV

Новгород

Новгород как северный торговый центр и причины его устойчивости - Оптовая торговля с Западом; развитие торгового капитала - События 1209 года и их последствия - Строй вечевых общин Пскова и Новгорода - Грамота 1265 года, ограничение власти князя - Права князя и веча - Крушение патриархального общественного строя - Новая группировка общественных элементов; бояре, житьи купцы, черные люди - Уменьшение власти демократии; судная грамота 1440 года - Упадок мелкой поземельной собственности, закрепление крестьян - Политические формы социального господства имущих классов - Волнение 1418 года; восстание должников против кредиторов. "Колониальные войны" Новгорода

Падение Киева обыкновенно прямо и непосредственно связывают с перенесением центра русской истории на Северо-Восток, в "междуречье Оки и Волги". Но переход не был таким прямым и непосредственным, и смотреть на дело так, значило бы чересчур подчинять себя московской точке зрения - московской в самом точном и тесном смысле этого слова. Московскому великому князю и его сторонникам в XV веке могло и должно было казаться, что он принял власть от "прародителя своего Владимира Всеволодовича Мономаха" без каких-либо промежуточных инстанций. Нона триста лет раньше один из предков этого князя, еще не стесненный путами фантастической идеологии, делавшей из бывшего суздальского пригорода столицу мира, смотрел на вещи реалистичнее. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо видел наследника Киеву не в Москве и даже не во Владимире, а в Новгороде Великом. Отправляя в этот город сына своего, он говорил ему: "Сын мой Константин! На тебя Бог положил старейшинство в братьи своей, а Новгород Великий имеет старейшинство княжения во всей Русской земле". Пусть тут было и не без легенды, сложившейся в самом Новгороде, но зерно истины здесь было, и самому Константину Всеволодовичу довелось испытать это на своей собственной судьбе: на суздальско-владимирский великокняжеский

престол он был посажен руками новгородцев, которые в этот момент были такими же хозяевами на севере Руси, как за сто лет раньше Киев на юге.

Причины этой относительной устойчивости северного торгового центра, сравнительно с его южным соперником, в общих чертах уже намечались нами раньше. Торговля Новгорода носила такой же хищнический характер - главную статью отпуска составляла та же самая "дань", что и на юге, продукты, силой отнятые у непосредственных производителей. Но такой способ добывания "товара" был в высокой степени экстенсивным. Нужны были все новые и новые нетронутые или, по крайней мере, не слишком затронутые районы, чтобы питать этого рода торговлю. Киевщина жила эксплуатацией окрестных русских же земель и племен; когда здесь все было опустошено, жить больше стало нечем. У Новгородской Руси была обширная колониальная область, захватывавшая все южное побережье Ледовитого океана, до Оби приблизительно. Здесь был практически почти неисчерпаемый запас наиболее ценных предметов тогдашнего обмена, на первом месте - мехов. Недаром меховая торговля первая приобрела в Новгороде оптовый характер. "Меха обращались в торговле обыкновенно большими количествами, - говорит историк экономического быта Новгорода, - тысячами, полутысячами, четвертями, сороками, дюжинами, десятками и пятками; отдельными же единицами встречались редко. Более ценные меха шли в продажу обыкновенно меньшими единицами, больше всего сороками; менее же ценные - тысячами и даже целыми десятками тысяч. Из числа первых в источниках специально упоминаются меха собольи и бобровые, куньи и лисьи, хорьковые, горностаевые и ласковые, шкурки норок или речных выдр и рысей. Из числа вторых, менее ценных мехов, в торговле встречались медвежьи, волчьи, заячьи меха и в особенности в больших количествах беличьи шкурки. Последние нужно подразумевать, кажется, во всех тех случаях, когда в источнике говорится просто о пушном товаре, вроде "Sehon werk, Russen werk, Naugaresch werk"*. Почти монопольное господство на меховом рынке одно уже обеспечивало Новгороду прочное место в системе обмена, складывавшейся ко второй половине средних веков вокруг Балтийского моря. Но что было еще важнее по тогдашним условиям - в новгородских колониях был едва ли не единственный на всю Россию источник драгоценных металлов. "Закамское", т.е. уральское, серебро попадало и в Западную Европу и в Москву, пройдя через форму новгородской дани, дани, собиравшейся Новгородом с Югры и других уральских племен, унаследовавших богатства древней Биармии, так соблазнявшей еще скандинавских витязей**. Здесь еще в конце XII века возможны были экспедиции, напоминавшие походы за данью Игоря и его современников. В 1193 году целое новгородское ополчение стало в Югорской земле жертвой собственной жадности и коварства туземцев, "обольстивших" новгородского воеводу, говоря ему: "Копим для вас серебро и соболей и всякие иные узорочья: не губите своих смердов и своей дани". Воевода поверил, а на самом деле Югра копила воинов. Когда все было готово, его с "вячышши мужами" - все начальство новгородской рати - заманили в засаду, где они и погибли. После этого Югре нетрудно было справиться с лишенными руководителей и вдобавок истомленными голодом дружинниками. Всего 80 человек вернулось домой: "И печаловались в Новгороде князь, и владыка, и весь Новгород". Но отдельные неудачи не мешали тому, что в общем и целом закамское серебро правильно поступало в новгородскую кассу. И

недаром Иван Данилович Калита так добивался уступки ему именно этой разновидности новгородской дани. Большая часть столового серебра и его, и даже еще его внуков и правнуков была новгородского происхождения, с именами новгородских владык и посадников. Перехватыванье новгородских "данников" с закамским серебром для врагов Новгорода было таким же излюбленным средством борьбы, как для английских корсаров XVI века перехватыванье испанских галлионов с золотом, шедших из Нового Света. А когда Иван Васильевич наносил смертельный удар Новгороду, он прежде всего другого поспешил отрезать восточные колонии своего противника, заняв Двину.

** Никитский, цит. соч., с. 164 - 165.*
*** См. гл. III настоящей книги.*

Но с Востока в Новгород приходило не только серебро. Мы видели, что упадок Киева, наряду с внутренними, местными причинами, являлся отражением и одной внешней перемены - перехода средиземноморской торговли из рук византийских греков в руки итальянцев и французов. Этим был совершенно обесценен "Великий водный путь из варяг в греки" и из грек по Днепру. Но то была далеко не единственная артерия восточной торговли в средние века. Оставался другой путь - Волгой и Каспийским морем; европейский конец этого пути опять-таки упирался в Новгород. Здесь в XIV веке мы встречаем "Хопыльский" ряд и "хопыльских" купцов, стоявших в весьма тесных отношениях к татарской Орде; в одном месте летопись, говоря о татарах, называет "хопыльского гостя" прямо "их", татарским, гостем. Один восточный товар, шелк, доставлял даже крупную статью в новгородской торговле с Западом. Так тот транзит, который давно заглох в Приднепровье, продолжал держаться на Волхове еще лет 200 спустя.

Новгород развивался далее, когда в Южной Руси развитие давно заменилось разложением, распадом. По Новгороду мы можем судить, чем стала бы Киевская Русь, если бы ее экономические ресурсы не были исчерпаны в XII веке. В этом интерес изучения новгородской истории. Этот интерес еще усиливается тем, что здесь почти (не совсем, как неосторожно утверждают некоторые историки) отсутствовал другой, нарушавший правильность развития фактор - татарское иго. Нельзя, конечно, сказать, как обмолвился один очень известный исследователь, будто Новгород "в глаза не видал ордынского баскака": анализируя события 1257 - 1259 годов, мы видели, что был момент, когда и он "испытал непосредственный гнет и страх татарский". Но в истории Новгорода это был именно момент, тогда как Низовская земля века жила под этим гнетом. Словом, на Волхове мы вправе ожидать таких социальных комбинаций, которые не успели сложиться на Днепре, хотя логически вытекали из всего строя южнорусских отношений.

Один из образчиков дальнейшего развития мы уже видели сейчас. Мы знаем, что средневековая торговля в типичных ее проявлениях - ив России, и на Западе - была мелкой, что средневековый купец больше походил на современного коробейника, нежели на то, что мы теперь называем купцом. Внимательный читатель уже заметил, однако, что к меховой торговле Новгорода такой масштаб неприложим: тысячи, а тем более десятки тысяч беличьих шкурок на спине не унесешь. Киевская Русь если и знала большие запасы товара, то это относилось исключительно к

одной его разновидности, к товару живому - рабам. Они иной раз встречались сотнями в одних руках. У одного из черниговских князей, например, мы находим, по летописи, 700 человек челяди: едва ли это была прислуга или даже пашенные холопы. Челядью не брезговали, конечно, и новгородцы. Ушкуйники, ограбившие в 1375 году Кострому и Нижний Новгород, распродали мусульманским купцам в Болгарию весь захваченный "полон" - преимущественно женщин. Совсем как во времена Владимира Святого. Но характерно, что эта статья торговли не выступает так в истории Новгорода, как выступала она раньше. Зато отчетливо выступает явление, с которым мы раньше не встречались, - скопление в одних руках большого капитала в денежной форме. В 1209 году новгородское вече встало на посадника Дмитра Мирошкшшча и его братьев, пытавшихся в союзе с суздальским князем держать в угнетении вольный город. За эту попытку они поплатились конфискацией всего имущества. Вече обратило в собственность города все "житие" Мирошкиничей: села их и челядь распродали, затем разыскали и захватили спрятанные деньги ("скровища"). Все добытое пустили в поголовный раздел - на каждого новгородца пришлось по 3 гривны, т.е. 40 - 60 рублей на наши деньги. Но летописец говорит, что тут не обошлось и без злоупотреблений: некоторые "потай похватали" во время смятения, что попалось под руку и оттого разбогатели. А затем, кроме движимого и недвижимого имения и денежной наличности, у Дмитра нашлись еще "доски" - векселя новгородских купцов: это дали князю, сделав, таким образом, частное имущество Мирошкиничей государственной собственностью. Если мы примем в соображение все эти детали, мы увидим, что в Новгороде уже в XIII веке были миллионеры, переводя тогдашнюю стоимость денег на теперешнюю. Упоминание о "досках" ясно свидетельствует, на чем держались власть и влияние крупнейшей новгородской фамилии того времени. Но в деле есть и еще любопытная сторона. Дмитр был в Новгороде представителем той самой новой финансовой политики, за которую заплатил жизнью за тридцать лет перед тем князь Андрей Юрьевич. Мирошкиничей обвиняли в том, что они велели "на новгородцах серебро имати, а по волости куры брата, по купцам виру дикую, и повозы возити, и все зло"! В новгородской обстановке финансовая эксплуатация должна была произвести еще более сильное впечатление, нежели в привыкшем к княжескому произволу Суздале - и Дмитру Мирошкиничу удалось похозяйничать всего четыре года (1205 - 1209), дожив до того, что сам его союзник, суздальский князь Всеволод Юрьевич, выдал его головою новгородцам, сказав им: "Кто вам добр, любите, а злых казните". Но и это было сделано слишком поздно, как показали последствия. Суздальский княжич Святослав, лишь годом пересидел посадника Дмитра. Уже в 1210 году Мстислав Мстиславич Торопецкий, прослышав, что Новгород "терпит насилье от князей", появился в Торжке и был с распростертыми объятиями принят новгородцами, немедленно арестовавшими Святослава Всеволодовича, "донеле будет управа с отцом". А скоро и этот последний должен был признать, что крушение финансовой политики Суздаля в Новгороде было концом суздальского господства здесь вообще. Мстислав прочно уселся на новгородском престоле и сам Всеволод Юрьевич заключил с ним договор как с новгородским князем.

Новгородские события 1209 года представляют, как видим, довольно полную аналогию с суздальскими 1174 и следующих годов. Но в то время, как суздальская

революция не имела никаких дальнейших последствии, новгородская была исходной точкой замечательной эпохи в истории города - самой блестящей, по оценке некоторых историков. "Для Новгорода наступили такие же дни героизма, славы и чести, как для Киева при Владимире Мономахе", - говорит Костомаров об этом времени. Действительно, если припомнить, что в эти дни князья и в Киеве, и во Владимире садились из новгородской руки, что новгородский престол оспаривали друг у друга самые влиятельные и известные из наличных Рюриковичей, к внешнему блеску едва ли что можно прибавить. К сожалению, эффектные внешние события в глазах не только позднейшего историка, но и самого летописца, оставляют в тени внутреннюю новгородскую жизнь. Мы чувствуем; что в городе в течение приблизительно сорока лет кипит отчаянная общественная борьба, но на страницах летописи перед нами только самые конкретные, если можно так выразиться, индивидуальные результаты этой борьбы, в виде смены - часто насильственной - владык, посадников, тысяцких и других правящих лиц. Только изредка и случайно выступают перед нами мотивы переворота и участвовавшие в нем общественные силы. Можно с большой вероятностью догадываться, что восстание против Дмитра Мирошкинича было делом не высших правящих кругов, а низших, управляемых делом не "вячьших", а "меньших". С несколько меньшей вероятностью можно заключить, что в движении участвовали низы не только городского, но и сельского населения. Поборы "по волости" - притом натуральные, курами и другим "повозом", - выставляются как один из мотивов низвержения Мирошкиничей. Летописец и дальше отмечает влияние на судьбы волости того, что совершилось в городе. В 1225 году в Новгороде утвердился черниговский Ольгович, Михаил Всеволодович: "И было легко по волости Новгороду". В 1226 году тот же князь Михаил дал смердам "свободу на пять лет даней не платити". Льгота распространялась на тех, кто бежал на чужую землю, обнаружив тем наиболее острое недовольство новыми порядками, родоначальником которых был посадник Дмитр. По отношению же к оставшимся были лишь восстановлены порядки "прежних князей", надобно думать, тех, которые были до Всеволода Юрьевича и его новгородского союзника. Демократический характер движения намечается и некоторыми деталями политики Мстислава Мстиславича Торопецкого. Когда в промежутках своих блестящих походов, стяжавших ему имя Удалого, князь является перед нами в образе устроителя внутреннего новгородского порядка, это устройство обыкновенно сопровождается "окованием" одного из видных новгородцев, у которого при этом конфискуется "без числа товару". С другой стороны, враждебная движению сторона, тянувшая руку суздальских князей, изображается как состоящая из людей богатых: в 1229 году одновременно с льготами смердам взяли "кун много" на "любовницех Ярославлих", сторонниках суздальского претендента на новгородский престол Ярослава Всеволодовича. Денег этих хватило на постройку нового моста через Волхов. Далее новгородская церковь тоже была втянута в политическую борьбу. Утверждение князя Мстислава Торопецкого в Новгороде повело к тому, что владыка Митрофан, современник и, по-видимому, союзник посадника Дмитра, был сведен с архиепископии и отправлен в Торопец: на его место избрали Добрыню Ядрейковича, ставшего владыкой Антонием. Восемь лет спустя он был в свою очередь низвергнут в пользу низложенного раньше

Митрофана: у каждой из борющихся новгородских партий оказался, таким образом, свой владыка. Когда Митрофан умер, его сторонники избрали на его место Арсения; но тем временем и Антоний вернулся в Новгород. Столкновение разрешилось тем, что в 1228 году Арсения выгнали из Новгорода, "яко злодея, пьхающе за ворот": в качестве главных действующих лиц тут летописец прямо называет "простую чадь" - простонародье оказалось именно на стороне Мстиславова ставленника. И только один раз летописец совершенно ясно вскрывает перед нами "классовые противоречия" новгородского общества. Это было уже в самом конце рассматриваемого периода 1228 г. В это время на новгородском престоле сидел сын Невского Василий. Новгородцы его выгнали вон и посадили на его место его дядю Ярослава Ярославича, только что перед тем "выбежавшего из Низовской земли": хотя и суздалец, теперь он был, таким образом, кандидатом антисуздальской партии. Узнав, что новгородцы выгнали его сына, Александр Ярославич пошел войной на Новгород. На его сторону встал Торжок, экономически теснее связанный с Суздальской землей, чем со своей метрополией. Это подало надежду суздальской стороне и в самом Новгороде; суздальский эмигрант, вокняжившийся было там, испугался и бежал из города. С этим приятным известием поспешил навстречу Александру Ратша, - по всей видимости, тот самый, что "службой бранной Святому Невскому служил", и благодаря своему погодку известен всякому грамотному русскому. Общественное мнение его современников и земляков относилось, однако, к Ратше совсем иначе, чем можно подумать по пушкинской "родословной": летописец презрительно называет его "Ратишкой", а его "службу" Невскому весьма реалистически определяет как "перевет", т.е. как измену. Действительно, подавляющее большинство новгородцев с посадником Онаньем во главе твердо решило не уступать Александру Ярославичу. Это большинство летописец прямо и определяет как "меньших" людей. "И целовали Святую Богородицу меньшие - встать всем за правду новгородскую, за свою отчину, жить или умереть с ней, а у вячьдих был злой умысел - победить меньших и ввести князя по своей воле". Но характерно, что "вячь-шие" могли действовать только интригой - открыто выступить против веча у них не хватило духу даже в виду суздальских полков. И предводитель этих последних вступил в переговоры прямо с демократическими элементами и их представителем. Сошлись на том, что мы теперь назвали бы "переменой министерства". Онанья должен был уступить место Михалку Степановичу. Но его не выдали на расправу князю Александру Ярославичу, как тот требовал, и, вообще, кроме этой личной перемены, вече, по-видимому, ничем не поступилось. А Невский придал такое значение этой своей победе, что занял новгородский престол сам, очевидно, не надеясь, что его сын будет обладать достаточным авторитетом.

Одних рассказанных сейчас событий достаточно, чтобы значительно ограничить очень распространенное в литературе мнение о якобы исключительно аристократическом строе вечевых общин Пскова и Новгорода. Спаивая рядом незаметных переходов патриархальную аристократию X - XI веков, скрывающихся от нас в туманной дали "старцев градских", с "господой" крупных капиталистов и крупных землевладельцев, правившей Новгородом и Псковом накануне падения их независимости, получают ровную и однообразную картину олигархического режима, при котором народ на вече играл роль не то "голосующей скотины", не то

театральных статистов. Этот народ оказывается столь смирным и лишенным инициативы, что даже при выборе своих вождей в самую горячую минуту Новгородской истории считается с местническими предрассудками туземной знати, позволяя уйти с должности популярному посаднику только будто бы потому, что из Киева приехал человек старше его, по местническим счетам. Если бы это было так, то по части аристократических предрассудков Новгород перещеголял бы саму Москву, где местничество сложилось не раньше XV века, тогда как сейчас затронутый случай происходил в 1211 году. Но этот же случай и дает нам еще один очень наглядный пример того, как легко переносятся в домосковскую Русь московские точки зрения, ибо новгородский летописец ничего не говорит ни о каком местническом споре в этом году. Он просто констатирует смену одного посадника другим и приводит, по всей видимости, официальную мотивировку этой перемены: то, что новый посадник был "старше" (вероятно, годами старше - между их отцами была разница лет в 30) прежнего. Но контекст летописи, предыдущие и последующие записи совершенно определенно вскрывают истинную подкладку события. В предыдущем году на новгородский престол сел уже много раз упоминавшийся Мстислав Мстиславич, сел, отняв место у суздальского княжича, а посадник Твердислав стал во главе города еще при господстве суздальцев. Правда, он был очень популярен в Новгороде, но его роль всегда была ролью посредника между вечем и Суздалем, причем иногда он больше тяготел к Суздалю; несколько лет спустя его прямо обвиняли в тайных сношениях с суздальскими князьями, за что вече и свело его со степени. Для такого решительного момента, каким были события 1209 года и следующих годов, такой человек, очевидно, не годился. И его могли сместить даже совершенно независимо от того, что князю Мстиславу желательно было иметь своего посадника, как и своего владыку, ибо в том же 1211 году и архиепископ Митрофан был заменен Антонием, причем сюда уже никаких местнических счетов подвести невозможно. Твердислав Михалкович, как и можно было ожидать по всей его биографии, оказался хорошим дипломатом; он не стал делать скандала из своей отставки, справедливо предугадывая, что когда пройдет горячая минута, без него не обойдутся. Владыка Митрофан повел себя, кажется, иначе, да и по своему положению, как человек церковный, летописец скорее мог узнать подкладку церковных событий. Оттого перемену на архиепископской кафедре он и изобразил такой, какова она была на самом деле - низвержением одного лица в пользу другого, принадлежавшего к противной партии. А светскую часть переворота он записал так, как она была известна широким кругам. Вместо иллюстрации новгородского местничества мы имеем здесь, одним словом, иллюстрацию самогипноза, в который впал очень, однако, тонкий исследователь. Что в этой области случалось с исследователями менее тонкими, показывает одно мнение Никитского: он доказательством недемократического устройства Пскова считал... слабость княжеской власти*. Судя по этому, торжество демократического начала мы должны искать в Москве Ивана Васильевича Грозного, ибо уже про это время никак нельзя сказать, чтобы тогда "власть князя была низведена почти что до нуля".

** Внутренняя история Пскова, с. 179.*

На самом деле, Новгород дает нам полную картину той эволюции, первые этапы которой мы могли изучать в истории Киева. Патриархальную аристократию сменила не олигархия крупных собственников, а демократия "купцов" и "черных людей" - мелких торговцев и ремесленников, "плебеев", общностью своего плебейского миросозерцания роднившихся с крестьянством, по отношению к которому они в этот момент исключительного подъема были не столько господами и хозяевами, сколько политическими руководителями, боевым и сознательным авангардом этой темной массы. Вот отчего победы городской демократии и сопровождались льготами для смердов: первая завоевала права, вторые пользовались этим, чтобы избавиться от непосредственного материального гнета. А в области прав завоевания новогородского веча падают, главным образом, опять-таки на этот период. Первая дошедшая до нас новгородская "конституция" - грамота, по которой целовал крест "ко всему Новгороду" князь Ярослав Ярославич, брат Невского, - относится к 1265 году. Но содержание ее гораздо старше этого года. Помимо неопределенных ссылок на "старину и пошлину", на "отцов и дедов", в грамоте есть определенное указание на отца князя Ярослава - Ярослава Всеволодовича. Историческую ценность имеет, конечно, эта последняя, конкретная ссылка. Разговоры о "старине и пошлине" были таким же принятым общим местом, как и упоминания о "воле Божьей" или о "грехах наших": то была моральная санкция условий грамоты, а не историческое их обоснование. Есть, стало быть, большое вероятие, что в основных чертах ограничения княжеской власти, изложенные в грамоте 1265 года, если не возникли, то оформились в тот самый критический период новой городской истории, около которого мы все время находимся. Княжение Ярослава Всеволодовича было для этого самым подходящим временем. Летопись изображает его со всеми чертами классического тирана: заключения, ссылки, убийства сопровождают каждое появление его на сцене. Еще в самом начале своей карьеры, в 1216 году, он "оковал" и ограбил в Торжке более двух тысяч новых городских гостей, а потом, потерпев поражение от новгородцев, в припадке бессильной ярости велел запереть арестованных в тесный подвал, где большая часть их задохлась. Из Новгорода его выгоняли три раза - и три раза он туда возвращался. По поводу одного из этих возвращений, в декабре 1230 года, летопись и указывает определенно, что тогда князь Ярослав на вече "целовал Святую Богородицу на грамотах на всех Ярославлих". Новгородский престол тогда был, видимо, нужен этому Иоанну Безземельному в миниатюре: летописец отмечает, что приглашение было ему послано прийти "на всей воле новгородской", и тем не менее князь Ярослав не стал медлить - пришел "вборзе". Рассуждать и торговаться, значит, было неудобно - для того же, чтобы занести на бумагу "старину и пошлину" новгородского вечевого права, как раз была подходящая минута, а принимая во внимание личность князя, были и мотивы. Нужно сказать, что для формулировки некоторых основных гарантий были в 1230 году мотивы и помимо личных. Новгородцы не с легким сердцем позвали опять на престол дважды ими прогонявшегося князя. Их побудила к этому лютая нужда. Администрация сидевшего до тех пор в Новгороде Ростислава Михайловича Черниговского усвоила себе совершенно разбойничьи приемы. Дворня посадника Водовика била и даже убивала вождей противной стороны, а дворы их грабила.

Главного своего противника Водовик велел утопить в Волхове без всякого суда. События декабря 1230 года и начались с мятежа против разбойничьей шайки, завладевшей управлением в городе. Водовик и его товарищи должны были бежать в Чернигов вместе с Ростиславом, именем которого они, по-видимому, и действовали. А оставшиеся в Новгороде хозяевами "молодые мужи", новгородская демократия, естественно, спешили прежде всего принять меры к тому, чтобы избежать рецидива водовиковского управления.

Мы не знаем точного содержания той грамоты, по которой целовал крест Ярослав Всеволодович, но ее основные черты можно извлечь отчасти из того, что сообщает летопись, отчасти из позднейших грамот - 1265,1270,1305 - 1308-х и других годов. Из летописи мы знаем, что уже в 1218 году вечем была отвоевана у князя несменяемость выборных городских властей т - иначе как "за вину", т.е. по суду. В этом году занимавший тогда новгородский престол Святослав Ростиславич Смоленский вздумал сместить посадника, уже знакомого нам Твердислава: при всей своей гибкости и оппортунизме тот все же, по-видимому, отказывался быть вполне послушным орудием княжеской воли. Любопытно, что смоленскому князю и в голову не пришло произвести перемену самочинно, без ведома веча: до того древнерусский князь привык к мысли, что хозяин в городе есть вече и без него ничего делать нельзя. Спор шел не об этом, и не в этом его интерес. Но того, чем, может быть, удовлетворился бы какой-нибудь южный город, в Новгороде было мало. Вече спросило княжеского посланного: "А чем провинился Твердислав?" И, узнав, что князь никакой вины за ним не числит, а просто считает его для себя неудобным, вече отказалось даже входить в рассмотрение вопроса, напомнив только князю новгородское правило, что без вины никого должности лишить нельзя, и что на этом сам князь целовал крест Новгороду. Святослав, по-видимому, подчинился без спора, "и бысть мир" - заканчивает летописец рассказ об этом эпизоде, немедленно после изложения отповеди новгородцев князю, и не сообщая ответа этого последнего. Вероятно, он ничего не ответил, молчаливо признав, что для него новгородские должностные лица действительно несменяемы: для него, но не для веча, которое и раньше и после нисколько не стеснялось силою прогонять и посадников, и самих князей, если они ему не были угодны. Дошедшие до нас договорные грамоты, стереотипно воспроизводя это правило, в то же время своими деталями раскрывают перед нами весь его смысл. Новгородских должностных лиц князь смещать не мог, но без их посредства он шага ступить точно так же не мог. Без посадника он не мог ни раздавать волостей, ни судить, ни давать грамоты. Попытку действовать в этих случаях самолично один из договоров выразительно определяет, как самосуд: "А самосуд ти, княже, не замышляти". Во всем, кроме своей специальной военной функции, новгородский князь "царствовал, но не управлял": управляли "министерство", ответственное перед самодержавным народом, посадник и тысяцкий, выбиравшиеся и смещавшиеся вечем.

Так как и областное управление было все в руках уполномоченных городской общины ("...что волостей всех новгородских, того ти, княже, не держати своими мужи, но держати мужи новгородскими..."), а с другой стороны, князь лишен был возможности сделаться и крупной силой в местном феодальном обществе - покупать земли в Новгородской области не мог не только он, но и его жена, и бояре, все способы вмешательства во внутреннюю жизнь Новгорода были для него

закрыты. Та эксплуатация своей земли, "яко чужую волость творяче", пример которой подал Андрей Юрьевич, тут была совершенно немыслима. Недаром князья долго не могли освоиться с этими порядками, и в первую половину XIII века на каждом шагу встречаем примеры добровольного очищения княжеского престола не только без всякого давления со стороны веча, но даже прямо против его желания. Сам Мстислав Мстиславич Торопецкий, при всей своей популярности, два раза имел случаи напомнить новгородцам, что они "в князьях вольны", а что у него и на юге дела достаточно. И под конец-таки ушел от них окончательно. А в 1222 году князь Всеволод Юрьевич Суздальский бежал из Новгорода ночью, тайком, со всем двором своим. "Новгородцы же печалились об этом", наивно прибавляет летописец, видимо, недоумевая, чего же этому князю было нужно? Но князья это, конечно, хорошо понимали и под конец приспособились к новым порядкам тем, что перестали вовсе жить в Новгороде, держа там наместников, а сами наезжая лишь время от времени. Благодаря этому хроническому отсутствию князя, предпочитавшего сидеть на своем родовом уделе, где он был полным хозяином, отношения вечевой общины к своему "господину" ("государем" новгородцы отказывались называть своего князя - государь в Древней Руси был у холопа, а новгородцы были люди вольные) принимали весьма своеобразный характер. Читая договорные грамоты Новгорода с князьями, иногда можно подумать, что читаешь документ из области международных отношений - так четко проведена линия, отделяющая носителя власти от подвластных, и таким чужим выступает перед нами князь по отношению к Новгороду.

Нормы государственного права, установившиеся в Новгороде около первой половины XIII века, означали собою прежде всего полный разрыв с патриархальной традицией, и в этом их не только местноновгородское, но общерусское значение. Патриархальная идеология не знала различия между хозяином и государем, правом собственности и государственной властью: в новгородских договорах с князьями это различие проводится так резко, как едва ли встретится нам на всем дальнейшем протяжении русской истории. Новгород принимал все меры, чтобы князь не мог стать собственником ни пяди новгородской земли, ни одного новгородского человека. Ни он, ни его жена, ни его бояре не могли покупать сел в Новгороде, а купленное должны были вернуть. Ни сам князь и никто из его людей не мог принимать закладников в новгородской земле - "ни смерда, ни купчины". Торговать с немцами он мог только через посредство новгородцев. Если ему предоставлялась какая-нибудь привилегия, пределы ее точно оговаривались. Так, он мог ездить на Ладогу ловить рыбу, но только раз в три года. Мог ездить на охоту в Руссу, но только осенью, а не летом. Имел исключительное право бить диких свиней, но только не далее шестидесяти верст от города, дальше "гонити свиней" мог всякий новгородец. Словом, у новгородского князя не было никакого повода счесть себя хозяином новгородской земли. Употребляя древнеримское выражение, новгородский князь был первым магистратом республики, и, по-видимому, так это и понималось общественным мнением Новгорода. Недаром летописец вкладывает в уста Твердислава Михалковича, в известном уже нам споре, такую фразу: "А вы, братья, вольны и в посадниках, и в князьях". Между князем и посадником не было различия по

существу: и тот и другой пользовались властью только по полномочию города, идо тех пор, пока город сохранял за ними это полномочие.

Это крушение патриархальной идеологии само собою уже предполагает крушение патриархального общественного строя, как предшествующее. То, что в Киеве наметилось в первой четверти XII века, в Новгороде, вероятно, стало обозначаться еще раньше. К XIII веку "выветривание" родовой знати и выступление на первый план мелких неродовитых людей, не только в момент кризисов, но вообще в повседневной жизни, дает себя чувствовать в целом ряде мелочей. Сообщая о потерях Новгорода в той или другой битве, летопись называет по имени некоторых убитых, очевидно, людей более известных, утрата которых сильно чувствовалась. Среди этих видных людей мы на каждом шагу встречаем простых ремесленников - котельников, щитников, "опонников", серебренников, сына кожевника, поповича. В 1228 году, когда "простая чадь" низвергла владыку Арсения и привела обратно из Хутынского монастыря низверженного суздальцами Антония, во владычен суд посадили двух мужей: одного летопись называет по имени и отчеству, а другого, Никифора, только по имени - и был он оружейный мастер, щитник. За четыре года раньше, требуя выдачи ему вождей новгородской оппозиции, суздальский князь Юрий Всеволодович лишь четырех из них удостаивает назвать по отчеству, - остальные обозначены уменьшительными именами: Вячка, Иванца, Радки. Вече, однако же, и этих мелких людей отказалось выдать, как и более крупных. А в 1230 году знакомый уже нам брат Юрия Ярослав Всеволодович, "поцеловав Святую Богородицу на грамотах всех Ярославлих" и уезжая к себе домой в Переяславль, "поя с собою мужи новгородские молодшие"; надобно думать, что это были опять вожди той стороны, которая посадила Ярослава на престол. Люди "с отечеством" теперь перестают выделяться из общей массы - и правило новгородской судной грамоты "судити всех ровно, как боярина, так и житьего, так и молодчего человека", сложилось, вероятно, гораздо ранее XV века, от которого оно до нас дошло. Скорее, напротив, накануне падения новгородской самостоятельности оно звучало уже анахронизмом.

Ибо к этому времени аристократию породы давно сменила другая знать - аристократия денег.

Что демократия мелких торговцев и мелких самостоятельных производителей при грандиозном для своего времени развитии торгового капитализма может быть лишь переходной ступенью, что, мало того, "черные люди" должны послужить лишь тараном, при помощи которого буржуазия торгового капитала сокрушала родовую знать - все это нетрудно предугадать, зная, благодаря чему Новгород пережил "Матерь городов русских" и всех других своих сверстников. Ремесленники могли остаться хозяевами в промышленном центре, какова была, например, Флоренция XIII - XIV веков, но каким Новгород никогда не был. Оптовая торговля с Западом, обширные колониальные предприятия обусловливали сосредоточение капиталов в немногих руках, а масса купцов, сохранившая за собой внутренний сбыт, развозку заграничных товаров по остальной России, не замедлила попасть в кабалу к тем, от кого они получали свои товары и без чьего посредничества они не могли обойтись. Они и образовали промежуточный класс между общественными низами и верхушкой новгородского общества, состоявшей теперь не из одного боярства, не из одной феодальной знати, а из боярства и

буржуазии - "житьих людей". Так, прежняя группировка общественных элементов, какую мы застаем в первых договорных грамотах с князьями XIII века, разделявшая весь Новгород на старейших и меньших, заменилась более сложной группировкой грамот XV столетия на бояр, житъих купцов и черных людей. Те, кто за двести лет раньше стоял во главе города и распоряжался его судьбами, были оттеснены теперь на последнее место в ряду составных частей самодержавного веча. И это отнюдь не была только "потерька" чести новгородской демократии - употребляя местническое выражение: это было вполне реальное умаление ее власти. В числе многих любопытных особенностей новгородской судной грамоты, составленной около 1440 года, есть одна, давно замеченная, но несколько односторонне толкуемая историками. "А истцу на истца наводки не наводить, - говорит грамота, - ни на посадника, ни на тысяцкого, ни на владычнего наместника, ни на иных судей..." Объяснением, что такое эта "наводка", служит последнее дошедшее до нас постановление грамоты, обрывающейся на полуслове. Это постановление гласит, что на суде должны присутствовать в качестве пособников тяжущихся сторон лишь по два человека "от конца, или от улицы, или от сотни, или от ряду". "А будет наводка от конца, или от улицы, или от сотни, или от ряду" - эти два человека чем-то отвечают: чем, неясно, ибо конец грамоты утрачен. Но смысл совершенно ясен и с точки зрения современного полицейского порядка вполне точно сформулирован одним из издателей новгородской судной грамоты. Слова "наводки не наводить" профессор Владимирский-Буданов комментирует так: "Т.е. не возбуждать народных масс к нападению на суд или противную сторону". Тут только слишком сильно слово "нападение"; из последних слов грамоты ясно, что простое появление на суд "народных масс" в XV веке в Новгороде уже считалось правонарушением. Если придут больше, нежели два человека, это уже "наводка": "А иным... не итти", - говорит грамота. С точки зрения внешнего порядка то был, конечно, прогресс: суд теперь производился не перед лицом шумного кончанского или улицкого веча, вмешивавшегося в "отправление правосудия", не всегда стесняясь буквой закона и слишком часто руководясь своими элементарными представлениями о том, что справедливо и несправедливо. Для упорядочения буржуазного общежития это, конечно, не годилось. Теперь суд производился в обстановке, вполне гарантировавшей хладнокровие судей, почти при закрытых дверях уже в первой инстанции и буквально при закрытых во второй, где окончательно решалось дело. Эта вторая инстанция носила в Новгороде название "доклад": "А докладу быть во владычней комнате, - говорит новгородская судная грамота, - а у докладу быть из конца по боярину, да пожшпъ-ему, да кои люди в суде сидели, да приставам; а иному никому у доклада не быть". "Здесь как бы весь Новгород в лице немногих представителей", - замечает другой комментатор нашего памятника, забывая только упомянуть, что эти "немногие" взяты исключительно из рядов крупных землевладельцев и зажиточных буржуа, а "народ", представленный в первой инстанции в гомеопатических размерах, теперь уже вовсе стушевывается где-то на последнем плане. И, переходя от формальной, процессуальной стороны того же памятника новгородского законодательства к его материальному содержанию, мы легко поймем, почему боярству и буржуазии так важно было сосредоточить окончательное решение всех дел в своих руках и подальше держать от суда народа. Ничем так много не занимается грамота, как

земельными тяжбами: три раза возвращается она к этому сюжету, отводя ему в общей сложности не меньше четверти всего дошедшего до нас текста. Процесс о земле обставлен особыми льготами: с него не берется судебных пошлин ("...а от земли судьи кун не взята"), для него установлен льготный срок - - два месяца, тогда как для остальных процессов срок установлен месячный. Заботливо охраняются права землевладельца, если он завладел землею даже и не без некоторого нарушения формальностей: суд о земле отделен от суда о "наезде и грабеже", причем последние караются только штрафом. Одержавший победу в земельной тяжбе мог немедленно вступить в обладание отвоеванным им "селом", не боясь пени за сопутствовавшие делу обстоятельства: о них разговор шел особо. Любопытно, что в качестве землевладельцев грамота знает только верхний слой новгородского общества: "А целовать (крест) боярину, и житьему, и купцу, как за свою землю, так и за женину". Чтобы пришлось целовать крест кому-нибудь пониже купца, этого кодификаторам новгородского права не приходило в голову. Эти статьи новгородской судной грамоты представляют собою великолепный юридический комментарий к тому, что говорит о судьбах новгородского землевладения уже не раз цитированный нами историк новгородского хозяйства. "Переход от натурального хозяйства к денежному уже в самых своих зачатках не остался без некоторого влияния на характер экономического быта Великого Новгорода. По-видимому, ему должно быть приписано прежде всего окончательное сосредоточение в руках немногих новгородской поземельной собственности. Удар разразился прежде всего над мелкой поземельной собственностью. Располагая богатейшими средствами, крупные землевладельцы, естественно, могли больше льготить крестьян, чем мелкие, и этим путем подрывать последних. Упадок мелких землевладельцев, или так называемых своеземцев, всего лучше виден из того факта, что в ближайших к Новгороду погостах к концу XV столетия этот класс поземельных собственников имел уже весьма ничтожное число представителей. В значительном же количестве он сохранялся только в краях, куда не проникало еще в сильной степени крупное землевладение. Такими краями были северные части новгородских пятин, как, например, погосты: Го-роденский, Куйвошский, Корбосельский, Кельтушский и другие, занимавшие север Вотской пятины"*. И параллельно с тем, как земля уходила из рук мелкого собственника в деревне, сам он, как и его городской собрат, становился во все большую зависимость от сильных людей. Читая ту же новгородскую судную грамоту, можно подумать, что зависимые люди составляли даже большинство населения Новгорода. "А кому будет дело до владычнего человека, или до боярьского, или до житейского, или до купетцкого, или до монастырского, или до кончанского, или до улицкого... а боярину, и житьему, и купцу, и монастырскому заказщику, и посельнику, и кончанскому, и улицкому... своих людей ставить у суда". Тут не разберешь даже, что же эти "кончанский и улицкий": по крайней мере, свободные люди или нет? А относительно первых перечисленных категорий сомнений быть не может: у этих людей был "осподарь", который и должен был поставить их "у суда", и без которого судить зависимого человека было нельзя. Так феодализм, внешним образом надвигавшийся на Новгород из Москвы, подготовлялся внутренней эволюцией самого новгородского общества, искусственно восстановлявшего у себя те черты патриархальной старины, которые в Московско-Суздальской земле

держались еще естественным путем. Тот же автор отмечает, что "по мере движения исторической жизни вперед, в Новгороде, против ожидания (!), замечаются следы некоторого, хотя, нужно признаться, весьма слабого закрепления крестьян"**. Этого, наоборот, нужно было ожидать: вторичная форма крепостного права, державшаяся не на патриархальной, а на экономической зависимости, в XV веке была будущим для Москвы, а для Новгорода становилась уже настоящим. И там, и тут переход к денежному хозяйству был, как мы увидим в своем месте, ближайшей причиной явления.

** Никитский, цит. соч., 191 - 192.*
*** Ibid., с. 193.*

Социальное господство имущих классов в последние два века новгородской истории нашло себе политическое выражение в так называемом "правительственном совете", "совете господ", или просто "господе". Новгородский князь, как и всякий другой, совещался в важных случаях со своими боярами, при нем была своя боярская дума. Уже в XII веке при князе Всеволоде Мстиславиче в составе этой княжеской думы наряду с боярами, пришедшими в Новгород вместе с князем и составлявшими верхний слой его "двора", встречаются также выборные новгородские власти: десять сотских, староста и бирюч. Ни посадника, ни тысяцкого мы здесь не встречаем, хотя посадники, наверное, уже в это время были выборными (обычно считают первым избранным посадником Мирослава Гюрятинича, упоминаемого летописью 1126 года). Это отсутствие в составе думы новгородского "министерства" весьма характерно: очевидно, дума была не новгородским правительством, исполнительной властью, а чем-то иным. Впоследствии, когда княжеская власть была окончательно оттеснена на задний план, посадник с тысяцким заступили отчасти место князя: они стали созывать совет, а председательствовал в нем владыка. Княжеские бояре ушли оттуда вместе с князем: в конце XIII века они еще присутствуют в совете наравне с выборными новгородскими властями, в XV веке мы находим там уже одного лишь княжеского наместника. Но всего любопытнее метаморфоза, происшедшая с этими выборными властями. Десять сотских, представлявших собою вооруженный город, собиравшийся на вече, сменились пятью старостами от пяти новгородских концов. Мы очень ошиблись бы, если бы сочли эти последние только административными округами, на которые делился город. Просматривая летопись, видно, что концы были политическими единицами - и политическая жизнь Новгорода сосредоточивалась именно в них. На общегородском вече каждый конец выступал как сплоченное целое - вече было совещанием не столько отдельных новгородцев, сколько пяти общин, союз которых и составлял Великий Новгород. Вовремя волнений 1218 года, вызванных политической неустойчивостью Твердислава Михалковича, мы присутствуем при формальном междоусобии концов: Неревский конец был против посадника, а Людин за него. В 1359 году мы имеем даже нечто вроде государственного переворота, затеянного одним концом против всех других: Славянский конец хотел поставить во что бы то ни стало своего посадника, и, явившись на вече в доспехах, учинил ту "проторжь", о которой мы уже говорили в своем месте. Кончанский староста, таким образом, вовсе не был только мэром

одного из городских округов: это был политический вождь своего конца, представитель тех общественных сил, которые в нем господствовали. А совет таких старост представлял собою господствующий класс всего Новгорода. Совещание кончанской знати - к старостам присоединялись и другие почетные лица концов, на первом месте бывшие посадники и тысяцкие, - устраняло ту открытую борьбу за власть на вече, которая подавала повод к таким событиям, как имевшие место в 1359 году. Порядка было больше - отсутствие народной толпы при решении важнейших вопросов управления, как и на суде, представляло большое практическое удобство. Но когда дело можно было решить запершись, в компании 20 или 30 человек, от демократии оставалась только вывеска. Между тем мы видим, что совет все решительнее захватывает права веча. Прежде всего, конечно, в вопросах, которые толпа плохо понимала: уже в XIV веке иностранные сношения были всецело в руках господ - немецкие купцы в своих столкновениях с Новгородом никого иного не видят; они и оставили нам наиболее подробные сведения об этом учреждении. Новгородская судная грамота показывает нам, как в руки кончанской аристократии перешел и высший суд. Совет давал жалованные грамоты на земли и воды, руководил общественными постройками, участвовал в выборах правительственных лиц, распоряжался военными действиями. Последний официальный акт вольного Новгорода - грамота, по которой новгородцы обязались "все за один" стоять против Ивана Васильевича, скреплена 58 печатями членов совета, которые в этот заключительный момент своей деятельности выступили, как настоящие представители всего города. По составу, это было, по-видимому, одно из самых полных собраний господ. Но немецкие источники знают случаи, когда рамки собрания еще более расширялись, и притом необычайно характерным образом: один документ упоминает о 300 "золотых поясах". Здесь было все, что было побогаче и Новгороде: а новгородский совет и представлял именно богатство, а не "отечество", как позднейшая боярская дума московских царей.

Как отвечала на возникновение этой новой олигархии новгородская масса? В обстановке промышленного центра подобное явление, знакомое не одному Новгороду, вызвало бы, вероятно, восстание "социалистического" характера, - употребляя слово "социализм" в том широком и туманном его значении, в каком применяла его буржуазная литература прошлого века. Таков был во Флоренции XIV века "бунт оборванцев" (Tumulto del Ciompi). Но Новгород был городом не ремесленников, а купцов - ив нем; социальное движение приняло очень своеобразный характер: восстания должников против кредиторов. Такой именно характер носили, по-видимому, волнения 1418 года, подробно описанные летописью и послужившие позднейшей литературе образцом "буйного новгородского веча" вообще. Они, во всяком случае, свидетельствуют, какого напряжения достигла ненависть угнетенных к угнетателям уже за полстолетия до падения новгородской самостоятельности. Дело началось с того, что некий человек, - летопись называет его уменьшительным именем Степанко, без отчества, отмечая тем его плебейское происхождение, - напал на улице на боярина Данилу Ивановича, Божина внука, и стал сзывать толпу, крича: "Господа!* помогите мне против этого злодея". Вместо того чтобы схватить буяна, сбежавшиеся соседи схватили боярина и потащили его на вече, - а там "казнивши его ранами близ смерти" сбросили его с моста в Волхов. Летописец ни слова не говорит нам о

репутации Данилы Ивановича, Божина внука, но ход событий достаточно обрисовывает эту последнюю. Как велико было негодование народной толпы, показывает продолжение истории: когда один рыбак, выловив боярина из Волхова, взял его в свой челнок, новгородцы бросились на дом этого рыбака и разграбили его. Спасшийся из воды боярин в первую минуту, очевидно, ничего не мог предпринять против своих врагов. Но, дождавшись, когда вече разошлось, он велел схватить Степанка и начал его мучить. Волнение, однако, далеко не улеглось, как думал, по-видимому, боярин, а известие об аресте Степанка подлило масла в огонь. Тотчас собрали опять вече на Ярославовом дворе, - то же повторялось и в следующие дни: "И собиралось людей множество, кричали и вопияли много дней: пойдем на того боярина и разграбим его дом!" Агитация против Данилы Ивановича перешла мало-помалу в агитацию против бояр вообще, и толпа сторонников Степанка, "придя в доспехах со стягом" на Кузьмодемьянскую улицу, разграбила там не только дом непосредственного виновника, но и "иных дворов много", а также и на соседней Яневой улице: все это было в самом аристократическом квартале Новгорода. Неожиданное народное восстание навело сначала панический ужас на бояр. Кузьмодемьянцы бросились к архиепископу и молили его о вмешательстве. В доказательство своей покорности вечу они привели к владыке и Степанка, которого архиепископ отослал к "собранию людскому" в сопровождении одного священника и владычного боярина. Вече приняло посольство и Степанка, но это не остановило погрома. Грабили не только боярские дворы, перейдя с Кузьмодемьянской и Яневой улиц на Чудинцеву и на Людогощу, но и монастыри, служившие боярам кладовыми; случилось, значит, то, чего только боялись в Киеве во время восстания 1113 года. Нападение на главное гнездо новгородского боярства, Прусскую улицу, было, однако, отбито: здесь успели приготовиться к обороне. Это было исходным моментом реакции; восставшие были оттеснены на Торговую сторону - более демократическую, и которая вся в целом стала за Степанка и его друзей. Скоро в оборонительном положении оказалась уже Торговая сторона, а центром сражения сделался мост через Волхов: здесь свистели стрелы, звенело оружие, падали убитые, как на войне. Но, по-видимому, более благоразумная часть боярства стояла за то, чтобы не обострять дела. "Христоименитое людство", "люди богобоязливые" уговаривали владыку пойти на мост крестным ходом и разделить сражающихся. Вслед за владыкой на мосту появился и боярский совет. На Ярославов двор опять было отправлено государево посольство, которое на этот раз имело больше успеха: вече разошлось, "и бысть тишина в граде". Такой исход, несомненно, был подготовлен уже предыдущими переговорами - это видно из того, что посланные архиепископа уже нашли на Ярославовом дворе степенных посадника и тысяцкого, которые, конечно, не были руководителями того "собрания людского", что громило боярские дворы. Появление владыки на мосту было, в сущности, официальной церемонией: конец усобице положило желание боярства использовать достигнутый успех, не рискуя новой схваткой, которая могла кончиться и не в его пользу.

---

* *Господа ("Господо") или господа и братья - обычная форма обращения к народу в Новгороде, обращался ли посадник к вечу или частное лицо к уличной толпе.*

В социальные отношения эта вспышка никакой перемены не внесла и не могла внести: купечество Торговой стороны не могло обойтись без боярских капиталов. Но так как боярству такие взрывы не могли быть выгодны, оно заботливо направляло накоплявшуюся в народных массах энергию. Политика отвлечения была так же хорошо знакома позднейшему, капиталистическому Новгороду, как и многим другим странам в аналогичные эпохи. Одновременно с тем, как падает политическое значение народной массы, мы все чаще и чаще слышим о колониальных предприятиях того единственного типа, который был знаком Древней Руси: о грабительских походах на окраины, заселенные инородцами, а иногда и на соседние русские земли. В последнем случае, обыкновенно, соблюдали приличия, и дело принимало характер частной антрепризы - Новгород, как государство, оставался в стороне. Летопись точно различает эти два типа "колониальных войн". "Ходиша из Заволочья войною на Мурман (норвежцев), новгородским повелением, а воевода Яков Степанович посадник Двинский" 1411; "Ездиша из Новаграда люди молодые на Волгу, без новогородьчкого слова; а воеводою Есиф Валъфромеевич, Василий Федорович, Олександр Обакунович" (1366). Мы ясно видим, что и там, и тут были правильно организованные экспедиции - и там, и тут во главе стояли настоящие воеводы, а не какие-нибудь атаманы разбойников, и воеводы эти в обоих случаях принадлежали к новгородской знати. Но первая была направлена против иноземцев, это был легальный случай из области международных отношений, а по поводу второй пришлось иметь объяснение с великим князем Дмитрием Ивановичем, и новгородские власти желали себя оградить от ответственности. Желание, впрочем, было тщетным: московский великий князь интересовался сущностью дела, а не его юридической оболочкой, и корректность правившего Новгородом боярского совета нисколько не помешала тому, что Дмитрий Иванович "раз-верже мир с новгородци". Двадцать лет спустя за такую же экспедицию Новгород поплатился восемью тысячами рублей контрибуции. Но зато "люди молодые" находили себе иное занятие, чем громить боярские дворы, и никакая контрибуция не могла заставить новгородское боярство отказаться от столь выгодной для него политики. Но бывали, однако, случаи, когда два течения сливались - и колониальная экспедиция становилась сама орудием социальной борьбы. В 1342 году Лука Варфоломеевич, видный новгородский боярин, ездивший когда-то послом к Ивану Даниловичу Калите, "не послушав Новаграда, митрополичьего благословения и владычнего", собрал "холопов сбоев" и отправился с ними ставить города по Двине. Надо иметь в виду, что Двина и все Заволочье были в руках крупнейших новгородских капиталистов: вся река Вага, например, принадлежала одной фамилии, Своеземцевым, родоначальник которой купил ее в 1315 году у местной чуди за 20 000 белок и 10 рублей. Уж одно появление здесь нового колонизатора с его очень демократической дружиной должно было создать очень острые отношения, а Лука Варфоломеевич, вдобавок, вел себя в Заволочье, как настоящий конквистадор, и вооруженной рукой заставил себя слушаться все двинские погосты. По-видимому, считая свое положение здесь уже достаточно прочным, он отправил большую часть своих сил на Волгу, для новой экспедиции, оставив у себя только двести человек. Этим воспользовались его заволоцкие враги; Лука был

разбит в одной схватке и убит. Когда весть о его смерти пришла в Новгород, "встали черные люди на посадника Федора Даниловича, говоря, что это он послал убить Луку", и началась уже знакомая нам картина боярского погрома. Посадник со своими сторонниками бежал в Копорье и там просидел всю зиму до Великого поста. Но дело этим не кончилось. Вернувшийся из волжской экспедиции сын убитого, Онцифор Лукич, поднял формальное обвинение против Федора Даниловича - в убийстве Луки. Бояре и тут смалодушествовали, выдали посадника, но он, не совсем понятным для нас образом, нашел поддержку на Торговой стороне: вероятно, купцы, заинтересованные в хороших отношениях Новгорода с низовскими землями, не особенно благосклонно отнеслись к подвигам Онцифора на Волге. Бежать, в конце концов, пришлось Онцифору: но это не было концом его карьеры вообще. Шесть лет спустя мы встречаем его воеводой против шведов, а еще через шесть лет - степенным посадником.

Эта яркая картина из истории новгородского "империализма" ясно показывает нам, куда новгородская крупная буржуазия отводила внимание народной массы, где она сулила "черным людям" эквивалент за все более и более утрачивавшуюся ими политическую самостоятельность. Но иной раз "черным людям" приходилось так туго, что никакой империализм, никакие миражи колониальных завоеваний не помогали - и "молодшие" начинали искать управы на "старейших" поближе. То, куда они обращали при этом взоры, было зловещим предзнаменованием для новгородской самостоятельности. За два года до похода на Двину Луки Варфоломеевича поссорились новгородцы с московским князем Семеном Ивановичем из-за дани, которую тот стал собирать в Торжке. Как можно догадаться из дальнейшего, спор шел не столько из-за сбора дани, сколько из-за ее распределения - куда ей идти: в новгородскую казну или в сундуки московского князя. В перспективе была война. Но новгородскому правительству очень быстро пришлось понизить тон по совершенно неожиданному поводу: в Новгороде чернь не захотела идти на войну против Москвы. Между тем в Торжке уж были приняты самые серьезные меры: московские наместники и "борцы" (собиратели дани) были окованы и посажены в тюрьму; но когда чернь в Торжке узнала, что делается в Новгороде, она встала на бояр так решительно, что те прибежали в Новгород "только душою, кто успел". А московские наместники были освобождены той же чернью.

Глава V

Образование Московского государства

Обычное представление о "собирании Руси" - Можно ли провести раздельную черту между Киевской и удельной Русью - Значение личностей "собирателей" в процессе собирания - Коллективный характер московской политики XIV века - Экономические условия возвышения Москвы; значение речных путей - Московско-новгородский союз. Гости сурожане - Размеры Москвы к концу XIV века. Московская буржуазия. События 1382 года - Московское боярство и политика "собирания" - Роль церкви как феодальной организации; церковь и татаро-монголы

- Ханские ярлыки - Можно ли отделить московскую и церковную политику в XIV веке? - Церковь и удельные противники московских князей - Церковь и Новгород - Покорение Новгорода как крестовый поход - Экономические условия этого покорения; конкуренция московской и новгородской буржуазии - Финансовая политика Москвы - Характер "собирания"; вело ли оно к образованию единого государства? - Присоединение Пскова как образчик московской политики - Консерватизм этой последней; ее новшества сводятся к новым налогам - Остатки политической самостоятельности уделов в XVI веке - Экономические основания церковного объединения - Государственная власть и церковь в Византии - Всемирное христианское царство в представлении московских книжников XV века - Приложение теории к практике - Удельные князья как подданные великого князя; царское местничество - Последствия этой теории в международных отношениях - Оборотная сторона медали: православие царя как необходимое условие его легальности - Религиозное оправдание оппозиции в XVI веке и революции в начале XVI века.

Промежуток времени с XIII по XV век выделяют иногда как специально удельный период русской истории: раздробление Русской земли на уделы является здесь, таким образом, определяющим признаком. Нет надобности говорить, что представление это исходит от мысли о единстве Русской земли до начала удельного периода. Русь рассыпалась, и ее потом опять собирали. Но мы уже знаем, что говорить о едином Русском государстве в киевскую эпоху можно только по явному недоразумению. Выражение "Русская земля" знакомо и летописи, и поэтическим произведениям этого времени: но им обозначалась Киевская область, а распространительно, поскольку Киеву принадлежала гегемония во всей южной Руси, и вся эта последняя. Из Новгорода или Владимира ездили "в Русь", но сами Новгород и Владимир Русью не были. Притом это был термин чисто бытовой, не связывавшийся ни с какой определенной политической идеей: политически Древняя Русь знала о киевском, черниговском или суздальском княжении, а не о Русском государстве. Рассыпаться было нечему - стало быть, нечего было и "собирать". В устаревшую - собственно, по своему происхождению, карамзинскую - терминологию пытались вдохнуть новое содержание, то приурочивая к началу этого периода особенное будто бы измельчание княжеств, то связывая с этим именно временем глубокий упадок княжеской власти, утрату князьями всяких "государственных идеалов" и превращение их в простых вотчинников. Но мы не знаем, каковы были минимальные размеры самостоятельной волости в предшествующую эпоху, а на первом плане политической сцены мы и в удельный период встречаем князей тверских, московских, нижегородских и рязанских, стоявших во главе крупных областей, не меньших, нежели прежние княжества черниговское, смоленское или переяславское. Что касается государственных идеалов, то таковые можно найти, в зачаточном виде, у новгородского веча - этого воплощения антигосударственности для официальной историографии, но никак не у древнерусских князей. Самые выдающиеся из них не поднимались выше некоторого туманного представления о "социальной справедливости", и все вообще считали добывание престолов главной целью княжеской политики, а вооруженные набеги на соседние области - главным княжеским ремеслом. Единственным общим

делом, которое время от времени объединяло их всех, была борьба со степными кочевниками, но и это объединение никогда не могло стать сколько-нибудь прочным и продолжительным. Военный союз северовосточных князей под главенством московского, в конце XIV века, был ничуть не менее прочен, нежели объединение юга Руси против половцев в дни Владимира Мономаха: в этом отношении Руси удельной не было оснований завидовать Руси доудельной, Киевской. Во внутреннем же управлении "володеть" и в XIII или XIV столетиях значило то же, что в XII или даже X веке: и раньше, и позже дело сводилось к собиранию доходов в разных видах, причем кто был более энергичным "собирателем" в этом смысле, Андрей ли Юрьевич Боголюбский или его на три столетия младший родич, Иван Васильевич Московский, сказать не смогли бы, конечно, и современники.

Когда мы следим за цепью событий по летописям, мы замечаем легко две катастрофы, от которых, при желании, можно вести новый период русской истории: падение Киева во второй половине XII века и завоевание Руси татарами в XIII. Первая обусловила передвижку центра исторической сцены на несколько градусов севернее и восточнее, закрепив за исторической Россией тот характер северной страны с убогой природой, какого она еще не имела в мягком климате и на плодородной почве Украины. Вторая закрепила то падение городского права и торжество деревенского, которым на много столетий определилось политическое лицо будущей "Северной монархии". Но и в том и в другом случае катастрофа была только кажущейся: оба переворота были подготовлены глубокими экономическими причинами - передвижкой мировых торговых путей, истощением страны хищническими приемами хозяйствования. Считать и их за какую-то "грань времени" было бы очень поверхностно. И с этой точки зрения, таким образом, говорить об особом удельном периоде русской истории не приходится. Та группировка феодальных ячеек, которой суждено было стать на место городовых волостей XI - XII веков и которая получила название великого княжества, позже государства Московского, нарастала медленно и незаметно: и когда люди XVII века очутились перед готовым вчерне зданием, им трудно было ответить на вопрос: кто же начал его строить? Котошихин, как известно, не прочь был записать в основатели Московского государства Ивана Васильевича Грозного. Позднейшие историки отодвигали критический момент все дальше и дальше в глубь времен - пока перед ними не встали фигуры, столь похожие на всех своих современников, что невольно явился другой вопрос: почему же это они стали основателями нового государства? Первый "собиратель Руси" на страницах школьных учебников, Иван Данилович Калита, под пером новейшего историка оказывается вовсе "лишенным качеств государя и политика". После этого образование Московского государства осталось приписать только счастливому случаю: "Случай играет в истории великую роль", - говорит тот же исследователь*. Но апеллировать к случаю в науке - значит выдавать себе свидетельство о бедности.

---

* *Сергеевич В. Древности русского права, т. 3, изд. 3-е, 1909, с. 65 и 72.*

Это "приведение к нелепости" индивидуалистического метода, сводящего все исторические перемены к действиям отдельных лиц и останавливающегося в

недоумении, когда лиц на сцене нет, а перемены, видимо, совершаются, - эта катастрофа в области исторической литературы сама по себе есть, однако же, крупное завоевание научной истории. Только что цитированный нами автор, наряду со "случаем", умел назвать и другой, безличный, но тем не менее вполне конкретный исторический фактор, который приходится поставить на место обанкротившихся перед наукой "собирателей Руси". Особенно благоприятным моментом в развитии Московского великого княжества г. Сергеевич считает малолетство Дмитрия Ивановича Донского. "В этом обстоятельстве - что тогдашнему собирателю было всего 9 лет - и заключалось чрезвычайно благоприятное условие для успешного развития московской территории. В малолетство князей управление находилось в руках бояр... Боярам нужны богатые кормления. Чем меньше князей, тем этих кормлений больше. Бояре - естественные сторонники объединительной политики"*.

** Ibid., с. 69.*

Отсюда, казалось бы, оставался один шаг до того, чтобы оставить в покое личности "собирателей" и трактовать Московское государство XV века как огромную ассоциацию феодальных владельцев, в силу особенно благоприятных условий поглотившую все остальные ассоциации. Но наш автор этого не делает и продолжает занимать своего читателя тем, что делали и о чем заботились Иваны, Дмитрии и Василии, политическое ничтожество которых он только что доказал. Так сильна традиция, гораздо более старая, чем можно думать, и унаследованная нашей ученой, университетской историографией от доисторического периода русского бытописания: еще Никоновская летопись заставляла московское правительство вести переговоры с казанским царем Утемиш-Гиреем, хотя сама же предусмотрительно отметила, что этому "политическому деятелю" было два года, и он едва ли с кем вел переговоры, кроме своей няньки. Но что у старого русского летописца было характерным в своей наивности символизмом, было бы в современной исторической работе либо наивничаньем и подделкой под старину, либо тупым староверством. Читатель не посетует на нас поэтому, если мы не будем, с одной стороны, заниматься специально отличительными признаками "удельной Руси" - ибо мы эти признаки, в гораздо более широком масштабе, найдем в Руси Московской; с другой стороны, оставим официальным учебникам старые подвиги "собирателей" и не будем вдаваться в обсуждение вопроса, были ли они люди политически бездарные или политически талантливые. Тем более что, при скудости наших данных касательно их личных свойств, последний вопрос является и довольно безнадежным, помимо всего прочего.

В ряду безличных факторов, определивших "собирание" Руси около Москвы, экономике давно отведено одно из первых мест. Первоначальные наблюдения этого рода, сделанные профессором Ключевским и всем доступные на страницах его курса, дополнены и дальше развиты Забелиным в его "Истории города Москвы". Последний автор берет вопрос не в тесных рамках истории "удельной Руси" и образования московского княжества, а несколько шире. Он указывает на роль московско-клязьминского торгового пути, соединявшего промышленную область смоленских кривичей и крупнейший центр Поволжья X - XI веков -

"Великий город" болгар, с его ярмаркой, предшественницей макарьевской и нижегородской. В ближайших окрестностях Москвы намечаются два узла этого пути - один на р. Сходне (Всходне), другой на Яузе. Наличность многолюдного поселения около первого доказывается массою курганов. Торговое значение Яузы и перевалы от нее к Клязьме до сих пор дает себя знать в названии села Большие Мытищи, напоминающем о существовавшей здесь когда-то таможне. Характерно, что о Яузе определенно говорит летописное известие о постройке "города" Москвы, т.е. древнейшей московской крепости (1156). Очевидно, это географическое указание было далеко не безразлично для современников. Но на пути из Западной России в Поволжье Москва была лишь одним из узловых пунктов: важнейшим из них она стала лишь благодаря тому, что со старой дорогой восточной торговли пересекся новый путь торговли западной, из Новгорода в Южную и Восточную Русь, к Нижнему и Рязани. Путь из Новгорода Великого в Новгород Нижний по Волге описывает крутую дугу, добрая доля которой была в руках ближайшего соседа и наиболее обычного антагониста новгородцев, великого князя тверского. Путь через принадлежавший Новгороду Волок на Ламе, а затем через Москву и Клязьму, был почти хордою этой дуги и гораздо менее зависел от политических случайностей. Московские князья на первых порах казались очень смирными и покладистыми, Новгород не видел от них никакой непосредственной опасности, и в первую половину XVI века не было более обычной политической комбинации, как союз Новгорода и Москвы против Твери. В свою очередь, и московские князья не находили ничего для себя зазорного садиться в вечевом городе "на всей воле новгородской" - "и ради быша новгородци своему хотению". А когда московский князь, благодаря ловкости своей ордынской политики, стал наследственным великим князем владимирским, новгородско-московский союз стал экономической необходимостью для обеих сторон: Суздальская Русь, теперь Русь Московская, не могла обойтись без европейских товаров, шедших, главным образом, по Балтийскому пути; а новгородский гость "на низу", в нынешних Московской, Владимирской и Нижегородской губерниях исстари не мог обойтись без охраны великого князя владимирского. "А гостю нашему гостити по Суздальской земле", оговаривали трактаты Новгорода с великими князьями. Но, нужно заметить, необходимость была неодинакова для обеих сторон: в то время как новгородские торговцы, в тех случаях, когда запиралась перед ними Суздальская Русь, теряли свой главный рынок и почти утрачивали смысл своего существования, Москва, кроме Новгорода, имела и другой выход в Западную Европу. Уже в летописи 1356 года упоминают о присутствии в Москве "гостей сурожан", генуэзцев из крымских колоний. "Но, по всему вероятию, и раньше этого года генуэзские торговцы уже хорошо знали дорогу в Москву, так как северный торг, направлявшийся прежде, до XIII столетия, на Киев по Днепру, теперь изменил это направление и шел уже через Москву по Дону, чему еще до нашествия татар очень способствовали именно те же итальянские генуэзские торги, сосредоточившие свои дела в устьях Дона и в крымских городах Суроже и Кафе"*.

** Забелин, назв. соч., с. 86.*

"Гости сурожане" объясняют нам несколько неожиданные, с первого взгляда, итальянские связи Москвы, памятником которых остался до сих пор Московский Кремль с его Успенским собором, построенным Аристотелем Фиоравенти, и Спасскими воротами стройки "архитектона" Петра-Антония "от града Медиолана". А не только местное, но международное значение Москвы объясняет нам еще другой, гораздо более важный, факт, что столица Калиты уже в XIV веке становится крупным буржуазным центром, население которого начинает себя вести почти по-новгородски. О размерах этого населения кое-какие указания дают летописи. Когда в 1382 году после нашествия Тохтамыша хоронили убитых москвичей, великий князь Дмитрий Иванович, уехавший перед татарским погромом на север и явившийся как раз вовремя к похоронам погибших, платил за каждые 40 трупов по полтине - и всего истратил 300 рублей; всего, значит, было похоронено 24 000 человек. Правда, сюда входили не только горожане в прямом смысле, но и население ближайших окрестностей, искавшее за стенами города защиты от татар; зато и не все, конечно, городское население было поголовно истреблено; напротив, надо думать, что большая часть осталась в живых либо была уведена в плен. В 1390 году летопись отмечает большой Московский пожар, от которого сгорело несколько тысяч дворов; через пять лет опять Москва погорела - и опять сгорело дворов "неколико тысяч"*. Судя по всем этим данным, мы можем считать население города к концу XIV века в несколько десятков тысяч человек: для средних веков, когда городов со стотысячным населением едва ли было три во всей Европе, это немало. В России того времени, кроме Новгорода и Пскова, не было города крупнее.

---

* *Ibid , с. 98.*

Уже размеры московского посада заставляют несколько ограничить очень распространенное представление о Москве как разросшейся княжеской усадьбе: представление, много обязанное своей популярностью именно только что цитированному нами Забелину. Как ни была многолюдна дворня московского князя, ей было далеко до десятков тысяч московских посадских; и как ни соблазнительно видеть в Хамовниках, Бронных, Хлебных и Скатертных переулках следы слобод дворцовых ремесленников, не надо видеть в них московских двойников Плотницкого или Гончарского концов Великого Новгорода. В тех случаях, когда московский посад выступает перед нами, в XIV веке, как политическая сила, он дает физиономию, тоже совеем не похожую на княжеских челядинцев. Таким моментом было уже упоминавшееся нами нашествие Тохтамыша (август 1382 года). Татары появились на русских границах совершенно неожиданно - и московское начальство, светское и духовное, потеряло голову. Недавний победитель на Куликовом поле, великий князь Дмитрий Иванович, бежал сначала в Переяславль, а потом, найдя и это место недостаточно безопасным, в Кострому. Вместо себя он оставил в городе владыку-митрополита: но владыка - это был малопочетной памяти Киприан - был, конечно, человек, еще менее склонный к ратным подвигам, нежели сам великий князь. Киприану показалась достаточно безопасным местом Тверь - и он решил бежать туда. Примеру князя и митрополита готовились последовать, по-видимому, и "нарочитые

бояре"; московскому посаду предоставлялось защищаться от врага, как сам знает. И вот, рассказывает летописец, "гражданские люди возмятошася и всколебашася, яко пьяни, нсотвориша вече, позвониша во вся колоколы и вставша вечем народы мятежники, недобрые человеки, люди крамольники: хотящих изойти из града не токмо не пущаху, но и грабляху... ставши на всех воротах городских, сверху камением шибаху, а внизу на земле с рогатинами и сулицами и с обнаженным оружием стояху, не пущающе вылезти вон из града". Потом, поняв, вероятно, что от перепуганных владыки с боярами, а тем более от великой княгини Евдокии, тоже спешившей выбраться из города, толку в осадном деле быть не может, их пустили, но конфисковали все их имение. Летописец, сочувствие которого было на стороне власть имущих, как видно уже из приведенной цитаты, очень хотел бы свести все на пьяный бунт, усиленно подчеркивая разгром боярских погребов и расхищение из них "медов господских". Но "гражданские люди" сделали, несомненно, серьезное дело: они организовали ту самую оборону города, в возможности которой сомневались митрополит и "нарочитые бояре", и организовали так, что татары, после неудачного приступа, вынуждены были прибегнуть к хитрости, чтобы взять город. На стенах Москвы Тохтамыш нашел, рядом со старыми метательными орудиями, и такие новинки тогдашней военной техники, как самострелы (арбалеты) и даже пушки, которые тогда и в Западной Европе были еще свежей новостью. Всем этим посадские люди, московская буржуазия (летопись называет по имени "суконника" Адама - едва ли не итальянца) орудовали как нельзя более успешно. Но против всех западных новшеств татары нашли старое и испытанное русское средство. В войске Тохтамыша оказалось двое русских князей, зятьев Дмитрия Ивановича, которые взялись поцеловать крест перед москвичами, что татары не сделают последним никакого вреда, если они сдадут город. Москвичи поверили княжескому слову, отворили ворота - и город был разграблен, а жители перебиты или уведены в плен. Вся история как нельзя более характерна для отношений народа и власти в удельной Руси: и эти "строители" и "собиратели", продающие город татарам, и эта чернь, умеющая обороняться от татар без "собирателей" гораздо лучше, чем с ними.

События 1382 года не остаются изолированными в московской истории - через два следующих столетия, до второй половины XVII, тянутся политические выступления московского посада, свидетельствуя, что тогдашняя русская буржуазия была гораздо менее безгласной, нежели во времена более к нам близкие. Но если наличность крупного торгового центра, с его обильными денежными средствами*, давала опорный пункт для объединительной политики московского княжества, то активная роль в этой политике принадлежала не торговому городу: иначе венцом ее было бы образование новой городовой власти, вроде киевской, а не феодальной монархии, какой было Московское государство, A priori можно предположить, что в создании этого последнего большое участие должны были принимать феодальные элементы - и что руководящее значение в процессе "собирания Руси" должны были иметь крупные землевладельцы. Мы видели, что это значение уже оценено по достоинству новейшей наукой, которая, в лице профессора Сергеевича, признала, что настоящими "собирателями Руси" были бояре, обнаруживавшие в этом деле гораздо больше чуткости и понимания, нежели номинальные основатели Московского государства. Нам нет надобности поэтому

особенно настаивать на этом факте. Политическое значение крупного землевладения в Древней Руси мы уже рассмотрели подробно (см. гл. II. Феодальные отношения в Древней Руси). Мы знаем, что во главе удельного княжества стояло не одно лицо - князь, а группа лиц - князь с боярской думой, и это обстоятельство обеспечивало непрерывность удельной политики даже в такие, нередкие в удельной практике, моменты, когда номинального носителя государственной власти не было налицо - он был малолетний, или в Орде, или в плену. Борьбу между удельными княжествами нужно представлять себе, как борьбу между группами феодалов, отстаивавшими, прежде всего другого, свои собственные интересы. В первом эпизоде московско-тверской борьбы, в самом начале XIV столетия, мы почти не видим на русской сцене князей: они тягаются из-за престолов где-то далеко, в Орде, перед лицом "царя". Там выправляются юридические титулы на великокняжеское достоинство: фактическая борьба на местах велась боярством. Тверские бояре ведут войну с Москвой, во главе тверской рати идет не князь, а боярин Акинф, во главе московской рати номинально стоит княжич, младший брат уехавшего в Орду Юрия, Иван (будущий Калита), но он шагу не делает без своего боярства. Несколько лет спустя Дмитрий Михайлович Тверской идет ратью на Нижний Новгород и Владимир, добивается великокняжеского престола - но все это лишь обычный символизм летописи: претенденту на великое княжение всего 12 лет, и с ним происходит буквально то же, что проделают пятьдесят лет спустя со своими малолетними князьями московские бояре, когда они, забрав всех троих внуков Калиты (старшему, Дмитрию, будущему Донскому, шел тогда двенадцатый год), ходили в поход на соперника Москвы, князя Дмитрия Константиновича Суздальского. И этой привычки действовать самостоятельно московские феодалы отнюдь не утрачивают с ростом московского великого княжения; напротив, они тем сильнее и их тем больше, чем больше и сильнее вотчина Калиты. В 1446 году, когда Шемяка, воспользовавшись неудачной войной Василия Васильевича с татарами, захватил Москву, взяв и его самого в плен, захватчик встречает дружное сопротивление сплоченной группы московского боярства - с князьями Ряполовскими во главе. Это сопротивление и заставило Шемяку уже в следующем году возвратить престол сверженному и ослепленному им противнику. Шаблонное противопоставление боярства и государя, как сил центробежной и центростремительной в молодом Московском государстве - один из самых неудачных пережитков идеалистического метода, представлявшего государство, как некую самостоятельную силу, сверху воздействующую на общество. На самом деле государство и в удельной Руси, как всегда, было лишь известного рода организацией командующих общественных элементов, - и московские князья, по-своему, нисколько не думали отрицать того факта, что правят они своим княжением не одни, а вместе с боярами, как первые между равными. Дмитрию Донскому летопись, как мы уже знаем, приписывает даже еще более лестную для бояр характеристику, заставляя его сказать перед кончиной: "И назывались вы у меня не боярами, а князьями земли моей". Если это еще может быть литературой, то совет его дяди, Семена Ивановича Гордого, своим наследникам - "слушать старых бояр" - мы находим уже не в литературе, а в официальном документе, духовном завещании этого князя. А наиболее реальные политики того времени, ордынские дипломаты, не сомневаясь, прямо ставили

образ действий Москвы в зависимость от состава московской боярской думы. "Дрбрые нравы, и добрые дела, и добрая душа в Орде была от Федора от Кошки, добрый был человек, - говорит татарский министр Едигей великому князю Василию Дмитриевичу. - А ныне у тебя сын его Иван казначей, любовник и старейшина. И ты нынеча из того (Ивана) слова и думы не выступаешь, которая его дума не добра и слово, и ты из того слова не выступаешь... ино того думою учинилася улусу пакость"**.

** О размерах этих средств дает понятие контрибуция, которую взял в 1446 году царь Махмет с Василия Васильевича Темного: 200 тыс. рублей, - может быть, до 20 млн рублей золотом.*

*** Экземплярский. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, т. 1,142.*

Раз Московское государство было созданием феодального общества, в его строительстве не могла не играть видной роли крупнейшая из феодальных организаций удельной России, как и средневековой Европы вообще - - церковь. Казалось бы, невозможно преувеличить значение православия в истории русского самодержавия - и тем не менее приходится признать, что до появления II тома известной работы профессора Голубинского все, что говорилось на эту тему, было слишком слабо и - главное, било мимо цели. Говорилось, преимущественно, о влиянии церковной проповеди на развитие идеи самодержавия. Это правда, что московская политическая идеология была идеологией церковной прежде всего и больше всего, что московский царь мыслился своими подданными не столько как государь национальный, властитель определенного народа, сколько как владыка всего мира - царь всего православного христианства. Мы увидим в свое время чрезвычайно эффектные и яркие отражения этой центральной идеи московской официальной публицистики: но историю делает не публицистика. Какова была роль церкви в создании объективных условий, вызвавших к жизни московский царизм? Что дала церковь не словами, а делом - дала, как определенная организация? Как интересами этой организации определялась политика создавшегося под ее влиянием государства? Вот вопросы, на которые позволил ответить впервые только материал, собранный названным историком русской церкви, - материал, сам вполне объективный и чуждый всякой идеалистической обработки.

Феодализация Православной церкви началась задолго до рассматриваемого периода: уже в Киево-Новгородской Руси монастыри были крупными землевладельцами, а митрополиты и епископы располагали крупной долей политической власти, между прочим, являлись судьями для всего клира по всем вообще делам, а по целому ряду дел - для всего населения вообще. Но поставленные на кафедру либо местным вечем, либо местным князем, древнерусские епископы зависели от этих светских политических сил - и мы уже видели на примере новгородских владык, как непосредственно отражалась на замещении архиепископской кафедры борьба новгородских партий. Монастыри, с другой стороны, часто самым фактом своего возникновения были обязаны князьям - у каждой княжеской династии был свой монастырь, в котором члены этой

династии и хоронились, и постригались в иночество, если что-нибудь обрывало их политическую карьеру. Самостоятельный относительно мелких светских властей, такой монастырь составлял своего рода княжескую вотчину, и перед князьями никакой политической силы, разумеется, не представлял. Словом, зависимость церкви от государства в Киево-Новгородской Руси была лишь настолько меньше такой же зависимости в новейшее, послепетровское время, насколько и церковь вечевого города являлась демократической организацией. Освобождением от такой зависимости церковь была обязана событию, очень тягостному для остальной, нецерковной России - завоеванию Руси татарами. Высший политический центр Руси переместился в Орду. За исключением Новгорода, епископ стал так же мало зависеть от веча своего родного города, как и князь. Но он перестал зависеть в то же время и от князя, - по крайней мере, юридически: ибо юридически правовое положение церкви определялось теперь ханским ярлыком. В этих грамотах, данных "неверными" царями, привилегии Русской церкви были закреплены так определенно и так широко, как еще ни разу не было при благоверных российских князьях: недаром на семь ордынских ярлыков ссылались еще митрополиты XVI века, защищая права церкви от захватов светской власти. Первый же из этих ярлыков, относящийся еще к XIII столетию, всего тридцатью, самое большее сорока годами позже разгрома даровал православному духовенству не только самую широкую свободу исповедания, но и целый ряд "свобод" чисто гражданского характера, "Попы, чернецы и все богадельные люди" были освобождены как от татарской дани, так и от всех других поборов "не надобе им дань, и тамга, и поплужное, ни ям, ни подводы, ни война, ни корм; во всех пошлинах не надобе им ни которая царева пошлина:.." Привилегия распространялась и на всех церковных людей вообще, т.е. и на мирских людей, состоявших в услужении церкви: "А что церковные люди: мастеры, со-кольницы, пардусницы (звероловы), или которые слуги и работницы и кто ни будет из людей, тех да не замают ни на что, ни на работу, ни на сторожу". Одновременно за церковью были закреплены все недвижимые имения, находившиеся в данный момент в ее руках: "...земли, воды, огороды, винограды, мельницы, зимовища, летовища..." На ярлыке, данном митрополиту Петру ханом Узбеком, к этому прибавилась еще полная автономия церковного суда во всех делах, касающихся "церковных людей" в самом широком смысле слова: "А знает митрополит в правду, и право судит и управляет люди своя в правду, в чем ни буди: и в разбои, и в поличном, и в татьбе, и во всяких делах ведает сам митрополит един или кому прикажет"*. Ханские грамоты устанавливали, таким образом, самый полный иммунитет церкви, каким только она пользовалась в средние века где бы то ни было в Европе: восточному православию, в этом случае, не приходилось завидовать католицизму. Причины такого милостивого отношения "неверных" (сначала язычников, позже, с Узбека, магометан) завоевателей России к православной вере, ее представителям и даже ко всем, кто ей так или иначе служил, указаны в ярлыках вполне точно - и напрасно цитированный нами автор, спасая последние остатки церковно-исторического приличия, старается свести дело на обыкновенную веротерпимость татарских властителей. Все было гораздо проще. "Чингиз царь и первые цари, отцы наши, - говорит, например, ярлык, Данный митрополиту Алексею (около 1357 года), - жаловали церковных людей, кои за них

молилися... Так молвя, написали есмя: какова дань не будет, ни пошлина, ино того тем ни видеть, ни слышать не надобе, чтобы во упокое Бога молили и молитву воздавали... И мы... есмя Алексея митрополита пожаловали. Как сядет на своем столе ямолитву воздаст за нас и за наше племя..." "Молитва", конечно, предполагалась публичная, официальная - а не частная, про себя: эта последняя была делом совести пожалованного ханом владыки, а ни до чьей совести Орде, с ее строго практической точкой зрения на всё, не было дела. Что было важно хану - это, чтобы его в России формально признавали государем, признавали Те, чей голос имел вес и авторитет в глазах массы. И татары прекрасно понимали ту элементарную истину, что оружием можно завоевать страну, но держаться в ней при помощи одного оружия нельзя. Что церковь предоставляла в их распоряжение свое влияние на верующих, этого нельзя было не оценить, и естественно было наградить за это церковь привилегиями. А что эти последние стесняли власть местных светских правителей, это, конечно, Орде могло быть только приятно. Союз Православной церкви и татарского хана на первых порах был одинаково выгоден для обеих сторон, - а что впоследствии он окажется выгоднее первой, чем последнему, этого татары не умели предусмотреть именно потому, что были слишком практическими политиками. Пока они получали в свое распоряжение крупнейшую полицейскую силу, позволявшую заменить мечом духовным меч вещественный, который неудобно же было извлекать из ножен слишком часто. За исключением Твери, князья которой не ладили с церковью и были за то ею преследуемы, мы нигде не имеем за XIV век крупного народного восстания против хана; а когда началось княжеское восстание, под главенством Москвы, церковь уже давно успела прочно освоить себе все выгоды, предоставленные ей ярлыками.

** Голубинский, назв. соч., т. 2,1-я половина, с. 33 - 34.*

Всякий феодал, чем он становился крупнее, тем меньше был склонен слушаться своего сюзерена в особенности, когда он мог надеяться на поддержку сюзерена, еще более могущественного. Для Русской церкви XIV века ближайшим сюзереном, который практически мог - и хотел, притом, - вмешиваться в ее дела, был старший из северо-восточных князей, великий князь владимирский, не без содействия Орды ставший чем-то вроде сюзерена всей Северо-Восточной Руси*. Но он сам был вассалом хана, и это давало прямое основание его непослушным вассалам искать помощи у последнего. В начале XIV века этих непослушных вассалов оказалось двое - одним был князь московский, другим - митрополит владимирский, глава если не всей Русской (тут ему приходилось иногда делиться с митрополитом русско-литовским, распоряжавшимся в западных и юго-западных епархиях), то, по крайней мере, Великорусской церкви. Не было ничего естественнее, как союз этих двух непослушных вассалов - непослушных потому, что самых сильных - и между собою, и с общим верховным сюзереном, ханом, против их ближайшего, местного феодального государя, которым был тогда князь тверской - он же и великий князь владимирский. Экономические пружины московско-тверской вражды слишком бросаются в глаза, чтобы нужно было долго их отыскивать. Москве и Новгороду нужны были непосредственные отношения - тверское княжество врезывалось между ними клином, и клин этот следовало устранить. Несколько глубже

приходится искать причины антагонизма церкви и Твери. Тут важно, прежде всего, отметить, что Тверь, наравне с Новгородом и, кажется, одинаково с ним, под западноевропейским влиянием стала около этого времени (первые годы XIV столетия) одним из центров "еретического", как выражались тогда, "церковно-реформаторского", как сказали бы теперь, движения. Оно было направлено против того, что в средневековой Западной Европе называли симонией - против той стороны церковной феодализации, которая выражалась в продаже церковных должностей - т.е., в сущности, права собирать церковные доходы. Симония вызывала протесты как со стороны массы верующих, лишенных возможности контролировать своих пастырей, купивших свои места и ставших как бы их полными собственниками, так и со стороны светской власти, которая не могла сочувственно смотреть на увеличение власти и доходов главы церковной организации, становившегося, благодаря этому увеличению, все более и более независимым. Великий князь Михаил Ярославич (1304 - 1318) и был, поэтому, ожесточенным и упорным врагом симонии и покровителем боровшихся с нею "еретиков" из среды духовенства, один из которых, Андрей, стал епископом его стольного города, Твери. А так как митрополит Петр был несомненным, хотя и умеренным, "симониаком", то тем самым он должен был встать во враждебные отношения к великому князю, притом не столько лично (симонией он, повторяем, не злоупотреблял - и даже мог бы сослаться, в свою пользу, на нисколько не лучшие обычаи, господствовавшие тогда в восточной церкви вообще), сколько, как феодальный глава феодальной церкви. И это именно делало вражду совершенно непримиримой. Действуй св. Петр из личных корыстных мотивов, он, вероятно, нашел бы путь для компромисса со своим противником. Но тут речь шла о доходах митрополии и о независимости митрополита как снизу, так и сверху - и уступок быть не могло. Михаил Ярославич дважды пытался устроить громкий церковный скандал своему врагу - один раз собирал на него Собор русских епископов и священников, другой раз возбуждал против него дело перед константинопольским патриархом. Но оба раза церковь, как целое, оказывалась на стороне своего главы, а духовные сторонники великого князя попадали в положение церковных отщепенцев - по-тогдашнему, почти что "еретиков". Ссорой двоих, как всегда, воспользовался третий. Московский князь Юрий Данилович, первый усилившийся настолько, что смог начать тяжбу за великокняжеский престол, все время систематически тянул руку митрополита. И Петр, чувствовавший себя во Владимире, как во вражеском стане, отплатил своему союзнику совершенно по-средневековому: он приехал умирать в Москву, и своими мощами (от которых чудеса стали происходить немедленно - и московский князь принял все меры, чтобы они тщательно записывались) освятил столицу соперника тверских князей. Преемник Петра, грек Феогност, приехал на Русь, застал союз Москвы и церкви, как и антагонизм церкви и Твери, совершенно оформившимися. Ему оставалось только или принять сложившееся положение, или бороться с ним, к чему он не имел никаких поводов. Напротив, политика митрополита Петра явно приносила церкви добрые плоды - при них именно, как мы помним, иммунитет Русской церкви получил окончательное завершение. Нет сомнения, что позиция церкви по отношению к тверскому князю была не без влияния в деле снискания ханских милостей: в Орде придерживались принципа: "Разделяй и властвуй", и были весьма

довольны, что на Руси имеются три соперничающие силы - Москва, Тверь и церковь, на соотношении которых можно играть. Тем более, что "Тверь" означала в то же время и "Литву"; тверские князья явно тянули на Запад и породнились с великими князьями литовскими, вовсе не подвластными хану**. Эти литовские князья рассматривали тверское княжество прямо как свою землю, - и домогались, например, чтобы тверская епархия была подчинена их, литовско-русскому, митрополиту и изъята из ведения митрополита владимирского. Московские князья, на каждом шагу не устававшие давать яркие доказательства своего раболепства перед "царем", несомненно, были в глазах последнего много надежнее, нежели литовский форпост на Верхней Волге. Дружба с Москвой означала, стало быть, и дружбу с Ордой, а мы видели, как дорожила церковь этой дружбой. Словом, Феогност имел все основания держаться московско-татарского союза против литовско-тверского и засвидетельствовал свои симпатии вскоре весьма выразительно. В 1327 году тверской князь Александр Михайлович, сын противника митрополита Петра, как и отец, занимавший одновременно и великокняжеский престол во Владимире, нашел момент подходящим для того, чтобы стать во главе общерусского восстания против татар. Восстание кончилось неудачей - Александр потерял великое княжение, отданное ханом Ивану Даниловичу Московскому, и должен был бежать. Он нашел себе убежище в Пскове - и новый великий князь, которому хан поручил полицейские обязанности в деле усмирения тверского восстания, не мог его оттуда достать. Тогда Иван Данилович обратился к содействию митрополита: Феогност наложил отлучение на весь город Псков, пока псковичи не выдадут мятежного тверского князя. Последний поспешил уехать в Литву, и отлучение было снято. В деле борьбы с противоордынской крамолой оба союзника - и светский, московский князь, и духовный, русский митрополит, действовали, таким образом, как нельзя более дружно. Хан не имел никаких оснований жалеть, что он оказывал так много покровительства и московскому княжеству, и Русской церкви.

---

* *До монголо-татар мы не встречаем такого постоянного главенства одного из князей над другими: гегемония Владимира Мономаха, Мстислава или Андрея Боголюбского были фактом, а не правом. Ср.: Костомаров. Начало единодержавия в Древней Руси.*

** *История Литовской Руси - см. ниже в главе, посвященной Западной Руси.*

Мы изображаем отношения последних как союз: обыкновенно изображают дело так, как будто церковь "поступила на службу" к московским великим князьям. Такая точка зрения является, опять-таки, одним из случаев модернизации древнерусских отношений. Служебная сила - временно - по отношению к "царю" татарскому, церковь далеко еще не стала такой по отношению к будущему царю московскому. Здесь, в кругу русских отношений, вопрос о том, кто выше, светский глава или духовный, мог ставиться еще в XVII веке: а в XIV и вопроса такого не ставилось, и Семен Иванович Гордый, которому ханом были отданы "под руки" все князья русские, прямо и просто рекомендовал своим наследникам слушаться во всем "отца нашего владыки Олексея" - митрополита Алексея, преемника Феогноста, точно так же, как он рекомендовал им слушаться и бояр - но уже после

владыки. Еще из этого документа (завещания князя Семена) заключили, что митрополит Алексей был чем-то вроде председателя боярской думы, а из опубликованных позже греческих актов мы знаем, что после смерти в. кн. Ивана Ивановича, младшего брата Семена, Алексей был формально регентом московского княжества, которым фактически и управлял, вероятно, до самой своей смерти, в 1378 году. Когда мы читаем об "услугах", оказанных церковью московским князьям в их борьбе с союзниками - услугах, как сейчас увидим, не всегда опрятного свойства, мы должны твердо помнить это обстоятельство. Когда в 1368 году "князь великий Дмитрий Иванович с отцом своим, преосвященным Алексеем митрополитом, зазвал любовию к себе на Москву князя Михаила Александровича Тверского" - чтобы отдать спор его с Москвой на третейский суд, а потом "его изымали, а что были бояре около его, тех всех поймали и разно развели", то дело, очевидно, происходило так, что московское правительство, во главе которого Алексей именно и стоял, нашло удобным и приличным избавиться от своего противника при помощи такого рода западни, - роль же восемнадцатилетнего Дмитрия Ивановича, и в зрелых годах решительностью не отличавшегося, была, как часто в подобных случаях, чисто символическая. Двоякие функции митрополита-регента делали в подобных столкновениях Москву особенно неуязвимой: совершив грех, она могла сама себе и отпустить его и, мало того, подвергнуть своих врагов, сверх светских неприятностей, еще и церковным карам всякого рода. Когда злополучному Михаилу Тверскому удалось бежать из московской ловушки и поднять против Москвы неизбежную Литву, Алексей, не будучи уже в силах добыть тверского князя физически, настиг его духовно, наложив на него и его союзников церковное отлучение. Иногда же удавалось комбинировать действие обоих "мечей" - светского и духовного, и тогда эффект получался еще более поразительный. Так было, когда в стольном городе ослушного Москве нижегородского князя Бориса появился преподобный Сергий, затворивший все церкви, т.е. наложивший интердикт на весь город, - а под стенами этого последнего вскоре затем появились московские полки. Борис, судя по его биографии, был очень упрям и очень уповал на свое родство с Ольгердом Литовским (он был ему зятем), но тут он поспешил уступить.

В двух затронутых нами случаях московская политика определила направление политики церковной - это во-первых. Во-вторых, может получиться такое впечатление, как будто слияние в этой политике двух естеств, светского и духовного, было результатом случайного и личного обстоятельства, положения митрополита Алексея как регента Великого княжества московского. Но первое было вовсе необязательно, а второе было бы неправильно. Мы имеем образчики такого же слияния и при преемниках Алексея - случаи, притом, еще более крупные, и где руководящая роль выпадает на долю церковных интересов. Такова была история распри митрополита с Новгородом из-за "месячного суда" - несомненный пролог к той катастрофе, которая покончила с новгородской свободой. Новгородский владыка, при всей самостоятельности своего положения, был все же подчиненный относительно митрополита владимиро-московского. Это выражалось, между прочим, в том, что владычный суд в Новгороде не был окончательным: на решения его можно было апеллировать к суду митрополита. Для разбора апелляционных жалоб последний приезжал в Новгород сам, лично,

или присылал наместника раз в четыре года. Митрополит или его представитель оставались в городе месяц (отсюда и название "месячный суд") и пользовались своим приездом, чтобы, кроме судебных пошлин, получить с новгородцев возможно больше денег в форме "кормов", подарков и т. д. Новейший церковный историк исчисляет весь возможный доход московской митрополии из этого источника в двести тысяч рублей на теперешние деньги. В 1341 году новгородский летописец записал жалобу на поборы митрополита, - тогда Феогноста: "Тяжко бысть владыке и монастырям кормом и дары". По-видимому, аппетиты московского церковного начальства все росли по мере роста его власти и влияния, потому что четырнадцать лет спустя новгородский владыка Моисей жалуется уже императору и патриарху в Константинополь, прося у них "благословения и исправления о непотребных вещах, приходящих с насилием от митрополита". Но в Константинополе кто был сильнее, тот и правее. И новгородцы, в конце концов, решились обойтись своими средствами: в 1385 году они на вече составили грамоту, на которой и поцеловали крест - у митрополита не судиться. В то же самое время владычный суд в Новгороде и получил окончательно то республиканское устройство, какое мы знаем: на нем появились выборные заседатели, по два от бояр и от житьих людей. Митрополит Пимен, как раз в это время бывший в Новгороде, уехал оттуда с пустыми руками. Та же участь семь лет спустя постигла и его преемника, Киприана. Его приняли с почетом и не отказали ему в подарках, но на его требование суда и пошлин ему было отвечено, что новгородцы "грамоты написали и запечатали, и душу запечатали". Распечатать новгородскую душу оказался бессилен даже сам патриарх, по настоянию Киприана отлучивший от церкви всю новгородскую епархию, с владыкой во главе. Тогда вмешался в дело московский великий князь Василий Дмитриевич. Его войска заняли Торжок и Волок Дамский, т.е., по старому суздальскому обычаю, отрезали новгородским гостям путь "на Низ". Это оказалось действительнее церковного отлучения, и новгородцы выдали митрополиту крестоцеловальную грамоту. Но, по обыкновению новгородского веча, то была уступка на первый раз только юридическая: когда обрадовавшийся Кипри-ан снова приехал в Новгород, то как он ни бился, а ни копейки ему получить не удалось. Что он ни делал потом - раз пытался собирать Собор на новгородского архиепископа, другой раз этого последнего "посадил за сторожа в Чудове монастыре" - но "месячного суда" так, по-видимому, и не получил. И подчинение новгородской епархии московскому митрополиту было достигнуто не раньше, чем политически Новгород был подчинен Москве.

Но в истории этого подчинения церковные дела и интересы настолько переплетаются одни с другими, что представлять себе падение Новгорода вне связи с церковной политикой совершенно невозможно - и на этом, самом крупном эпизоде "собирательной" политики московских князей можно особенно хорошо видеть, насколько Московское государство не только в идеологии было созданием церкви. Идеология совершенно точно отражала реальные отношения, причем нет надобности этого говорить, реальная суть дела заключалась вовсе не в тех идеалах, носительницей которых официально заявляла себя церковь, а в этой последней, известной феодальной организации. Прежде всего, на церковной почве произошел чрезвычайно выгодный для московской политики откол от Новгорода его

меньшего брата, Пскова. Если московский митрополит эксплуатировал новгородскую церковь, то новгородский владыка стоял в таких же отношениях к церкви псковской. Перипетии этой церковной борьбы привели постепенно к тому, что псковичи пожелали иметь особого владыку - и с этим пожеланием обратились, конечно, в Москву, как церковный центр. Здесь их просьбы не удовлетворили - история с "месячным судом" в Новгороде отнюдь не располагала к увеличению числа вечевых церквей, но антагонизм Пскова и Новгорода на церковной почве использовали, заручившись союзом псковичей на случай московско-новгородской войны. Успех в самой этой последней, при Иване Васильевиче, был на добрую половину обеспечен тем, что в то время, как московский великий князь располагал вполне силами всех своих вассалов, Новгород был лишен военной подмоги со своих церковных земель, ибо митрополит московский, далеко не в первый уже раз, открыто солидаризировался и в этом случае со своим князем, а у новгородского архиепископа не хватило духа пойти на явный церковный раскол. Наконец, и сама юридическая форма последнего разрыва Москвы и Новгорода была связана с церковными отношениями: "благочестия делатель", великий князь Иван Васильевич юридически шел вовсе не против веча и новгородской свободы. Он шел восстановить православие, пошатнувшееся в Новгороде благодаря союзу последнего с "латинами", в лице польско-литовского короля Казимира. Это был крестовый поход, всем участникам которого заранее было обеспечено царствие небесное и прощение всех грехов, неизбежно связанных с войной. "Писание сице глаголет: воин на брани за благоверье аще убьет, то не убийства вменишася от св. отец". Псковичам великий князь писал в официальной грамоте: "чтобы Великому Новгороду целованье с себя крестное сложили да на конь с ним (великим князем) всели на его службу, на Великий Новгород, занеже от православия отступают к королю, латинскому государю". Ивана Васильевича, когда он отправлялся в поход, торжественно благословлял митрополит Филипп со всем "освященным Собором" - "как Самуил благословлял Давида на Голиафа". Московское общественное мнение глубоко прониклось такой точкой зрения на предмет - и стиль крестового похода выдержан московской летописью бесподобно. "Неверные изначала не знают Бога: а эти новгородцы столько лет были в христианстве, а под конец начали отступать к латинству, - рассказывает летописец своим читателям. - Великий князь пошел на них не как на христиан, но как на иноязычников и на отступников от православия; отступили они не только от своего государя, но и от самого Господа Бога. Как прежде прадед его великий князь Дмитрий вооружился на безбожного Мамая, так и благоверный великий князь Иоанн пошел на этих отступников". И все мотивы отдельных деталей столкновения сводились к той же основной линии. "Сия Марфа окаянная, - говорит летописец о женщине, стоявшей во главе противомосковской партии, - весь народ хотела прельстить, с правого пути их совратить и к латинству их приложить: потому что тьма прелести латинской ослепила ей душевные очи..."

"Тьма" религиозного фанатизма, действительно, настолько окутывает последние минуты Великого Новгорода, что настоящие причины катастрофы рассмотреть с первого взгляда довольно трудно. А они очень характерны - и напоминают нам о тех двух факторах объединительной политики Москвы, которые мы видели в своем месте и которых отнюдь не надо забывать из-за того, что они отчасти по скромности, отчасти по непривычке формулировать свои требования литературно,

уступили первое место людям, умевшим говорить "от божественного". То были московское боярство и московская буржуазия. Мы нигде, правда, не слышим их голоса: но за них говорят факты, и говорят не менее красноречиво, чем московские летописи. Первое же крупное столкновение Москвы с Новгородом, при великом князе Василии Дмитриевиче, в 1397 - 1398 годах, было чрезвычайно типичной борьбой за рынки. Впервые Москва осмелилась отнять у Новгорода Двину и все Заволочье, главный источник пушного товара, по которому Новгород держал монополию по всей Европе. Это не был просто разбойничий набег - это была колониальная война большого стиля, в которой Москва действовала чрезвычайно осмотрительно, видимо, рассчитывая прочно закрепить за собою захваченную землю. До нас дошла жалованная грамота Василия Дмитриевича двинянам - крайне любопытная, потому что она показывает нам, в каком направлении развивались внутренние отношения в новгородском обществе, и как пользовалась этим процессом московская политика. Грамота дана прежде всего боярам, и с первых же слов начинает заботиться о неприкосновенности бояр не только физической, но и моральной: "А кто кого излает боярина, или до крови ударит, или на нем синевы будут, наместники присуждают ему по его отечеству бесчестие". Сам же боярин мог подвластного ему человека не только "излаять", но в припадке барского гнева и убить: "А кто осподарь огрешится, ударит своего холопа или рабу, и случится смерть, в том наместники не судят, ни вины (штрафа) не берут". Как видим, если низшие классы новгородского общества и склонны были с надеждой оглядываться на Москву, то феодальная Москва отнюдь не склонна была потворствовать низшим классам - старалась ассимилировать с собою те элементы новгородского общества, которые носили наиболее ярко выраженный феодальный характер. По отношению к Новгороду в XV веке происходило то же самое, что в половине XVII повторилось по отношению к Украине, а в первой половине XIX по отношению к Польше, Но из массы "черных людей" двинская грамота выделяет, однако же, один элемент, интересами которого, хотя и на последнем, а не на первом месте она занимается не менее, чем интересами боярства. Этим элементом было двинское купечество: "А куда поедут двиняне торговати, - говорит великий князь, - ино им не надобе во всей моей отчине в великом княжении ни тамга, ни мыт, ни костки, ни гостиная, ни явка, ни иные некоторые пошлины. А через сю мою грамоту кто их чем изобидит или кто не имет ходити по сей грамоте, быти тому от меня от великого князя в казни". Грамота освобождает двинских торговых людей не только от поборов, но и от московской судебной волокиты - их должны были судить или их двинские власти, или непосредственно сам великий князь. Перспективы, развернутые Москвой перед двинскими землевладельцами и двинским купечеством, были настолько заманчивы, что на Двине образовалась московская партия, которой и удалось, было, провести присоединение богатейшей новгородской колонии к Московскому великому княжеству. Но это было бы такой катастрофой для Новгорода, что в борьбе за захват Двины он напряг все свои силы - и, в конце концов, выиграл войну. Двина и Заволочье остались пока за новгородцами - Москва отступила на время, твердо решив, однако, что отложенное еще не значит потерянное. Два раза после этого двинские эмигранты с московской ратью появлялись в Заволочье - "на миру", "без вести", т.е. внезапно, без объявления войны, грабили, убивали и с полоном скрывались во владениях великого князя.

Только замешательства на самом московском престоле, при Василии Темном, положили конец этой колониальной войне. Когда же в 1471 году Иван Васильевич пошел своим крестовым походом на Новгород, особый отряд московского войска был отправлен на Двину, которой он и завладел без большого труда: новгородский летописец прямо обвиняет двинян в измене. Но в это время не стоило слишком хлопотать о захвате одной из новгородских колоний - когда сама метрополия со всеми колониями готовилась стать московской добычей. А едва она такой стала, московские князья немедленно положили конец коммерческой самостоятельности Новгорода: в 1494 году, придравшись к ничтожному предлогу, Иван III закрыл немецкий двор в Новгороде, арестовав при этом 49 купцов и конфисковав товар на 96 тыс. марок серебра (около полумиллиона золотых рублей на теперешние деньги). Этим, разумеется, не прекратилась торговля с Западом: но ее центр перешел в Москву - московская буржуазия стала на место новгородской одновременно с тем, как Новгород окончательно и бесповоротно стал вотчиной московского князя.

Симпатии московского общественного мнения к "благочестия делателю", великому князю Ивану Васильевичу, имели, как видим, очень материальное основание. Московский посад не мог не сочувствовать походу, который передавал торговую гегемонию над Русью в его руки. Но еще больше должны были сочувствовать делу его непосредственные руководители - московские бояре. Поскольку для московской буржуазии Новгород являлся торговым соперником, обладателем лакомых кусков, на которые зарилась она сама, - постольку для боярства богатая серебром область была завидным источником всякого рода поборов и пошлин: и недаром эти последние служили таким же яблоком раздора, как и Двина. Денежная эксплуатация Новгорода началась еще раньше, чем его колониальные войны с Москвой. Уже в 1384 году, после разгрома московского княжества Тохтамышем, Дмитрий Иванович попытался перевалить на Новгород часть (быть может, большую) татарской контрибуции, обложив новгородцев так называемым "черным бором" - поголовной податью. На этот раз новгородцам удалось уклониться от платежа, но в Москве не забыли своей претензии, и два года спустя, оправившись от татарского разорения, москвичи пришли ратью под самый Новгород. Теперь Дмитрию Ивановичу удалось получить 8 тыс. рублей. Эта контрибуция послужила исходным пунктом дальнейшей распри: новгородцы рассматривали ее, как нечто экстренное и исключительное, московское же правительство видело здесь прецедент, которым и пользовалось все чаще и чаще. Черного бора требовали и Василий Дмитриевич, и Василий Васильевич - и под конец Новгород стал платить его даже, по-видимому, без лишних споров, особенно, если из Москвы бора просили учтиво и вежливо. Но у московских князей аппетит рос вместе с едой. Когда, во время распри Василия Васильевича с дядей Юрием и его сыновьями, Василием Косым и Шемякой, положение князя на Москве стало непрочно, - а перемена московского князя обозначала и перемену новгородского, ибо династия Калиты, вслед за великим княжением владимирским, успела монополизировать в свою пользу и новгородский престол, - каждый из временных государей спешил насладиться своим часом, и Василий Косой, просидев год в Новгороде, просто-напросто "много пограбил, едучи по Мете, и по Бежецкому верху и по Заволочью". Но и будучи претендентом, каждый из

спорящих князей искал случай сорвать с богатого города кое-что себе, хотя бы под тем предлогом, что Новгород, державший нейтралитет в этих домашних московских распрях, принял к себе его соперников. На таком именно основании Василий Васильевич добился от новгородцев новой контрибуции в 8000 рублей, как и его дед, придравшись к тому, что новгородцы приняли его врага, Шемяку. Нельзя не заметить, что сопротивление города этим вымогательствам становилось все более и более вялым: по мере того как московское княжество и Северо-Восточная Русь сливались в одно понятие, экономически Новгород все более и более подпадал в двойную зависимость от московского великого князя. С одной стороны, Новгород по-прежнему не мог обходиться без низового хлеба, и Москва всегда могла принудить его к повиновению голодовкой, а надеяться на то, что выручит кто-нибудь из других князей, не приходилось, потому что ни один из князей не смел теперь идти против Москвы. С другой стороны, "низ" был нужен новгородскому купцу как рынок сбыта, а этот "низ" представлял теперь собою одно государство под главенством князя московского. Поссорившись с Москвой, теперь негде было ни продавать, ни покупать. В Москве понимали это и наступали на вечевые вольности все ближе и ближе не потому, что сознавали теоретическую несовместимость веча с московскими порядками или хотя бы интересовались этой стороной дела, а потому, что: вечевые порядки стесняли финансовую эксплуатацию страны. Василию Темному удалось фактически упразднить суверенитет Новгорода. После похода 1456 года, он лишний раз доказал военную слабость новгородской буржуазии, добился, чтобы она отказалась от "вечевых грамот" - признала, другими словами, что городская община одна, без санкции великого князя, не может издавать законов. Грамоты теперь имели силу только если к ним была привешена печать великого князя. А практический смысл этого ограничения становится нам совершенно ясен, когда мы узнаем, что тем же договором 1456 года "черный бор" был превращен в постоянную подать, и за великим князем были закреплены судебные штрафы (раньше, по-видимому, утаивавшиеся, т.е. по большей части остававшиеся в новгородском кармане), "дары" от волостей и все пошлины по старине. Иван III принципиально немного мог сюда прибавить. Характерно, что после своего "крестового похода" в 1471 году он оставил всю новгородскую администрацию в прежнем виде. В договоре с ним Новгороду после этой войны - последнем договоре, который номинально сохранил еще вольный город, - были оставлены все стереотипные ограничения княжеской власти: и суда без посадника не судити, и волостей без него не раздавать, и держать волости мужами новгородскими. Все это мало интересовало победителя - главное для него было в том, чтобы "суда" (т.е. судных пошлин) "у наместников не отнимати" - да "виры не таити", да чтобы Новгород делился с ним, великим князем, новыми штрафами, что ввела и "новгородская судная грамота"; да сверх того он взял контрибуции уже 15 тыс. рублей (полтора миллиона). Главный предлог дальнейшей распри - перенесение апелляционного суда в Москву, вопреки правилу всех договоров: "новгородца на Низу не судити" - сводился тоже к финансовому вопросу, и новгородцы знали, что делали, когда предлагали Ивану Васильевичу, за возвращение к прежнему порядку, по 1000 рублей каждые 4 года. Но великий князь рассчитывал, и, вероятно, был прав, что сохранение в московских руках самого права суда даст больше. Окончательный разгром города, выразившийся в переводе

в "Низовские земли" 7000 человек житьих людей, зажиточной новгородской буржуазии, отчасти отвечал интересам московских конкурентов этой последней, отчасти имел в виду подсечь под корень всякое сопротивление финансовой эксплуатации. Район "кормлений" московского боярства, расширившись вдвое географически, захватил теперь в свои пределы богатейшую область тогдашней России - и оно так широко использовало открывшиеся перед ним возможности, что тридцать лет спустя после покорения, сын "благочестия делателя", великий князь Василий Иванович должен был ограничить судебную власть своего наместника в Новгороде, опасаясь, что иначе земля вовсе опустеет.

Государственный переворот, произведенный в Новгороде Иваном III, был одним из наиболее ярких моментов "собирательной" политики. За исключением борьбы с Тверью, нигде более не играла такой роли открытая сила. Но широкое применение этой последней, само по себе, еще не придало покорению Новгорода исключительного характера. Иван Васильевич не для того ходил войной на Новгород, чтобы упразднить новгородскую автономию: он упразднил ее только потому, что она мешала ему быть в Новгороде таким же государем, как на Москве, т.е. собирать доходы таким же порядком, как и там. Он бы, может быть, и вече оставил - после первой своей победы, в 1471 году он его не тронул, - если бы была какая-нибудь надежда добиться от него "соблюдения прав" московского великого князя. Только сознание того, что вече всегда будет опорой антимосковской крамолы, заставило Ивана Васильевича в этом пункте отступить от "старины", на которую он так любил ссылаться, и, конечно, не из одного лицемерия. Как и все потомки Калиты, он менее всего был революционером. Боярский совет, после произведенной среди новгородского боярства чистки, казался более безобидным, - и он остался, мы не знаем, правда, надолго ли. В 1481 году договор с Ливонским орденом заключил, как бы то ни было, именно он, как бывало и в старое время.

Этот консервативный характер московского завоевания нашел особенно яркое выражение в истории подчинения Москве Пскова. "Младший брат" Великого Новгорода, в силу своего исключительно благоприятного географического положения - близости к немецким колониям на восточном берегу Балтики, - экономически скоро перерос свой стольный город. В начале XVI века во Пскове, только в одном "Застенье", т.е. части города, окруженной стенами, без предместий, считалось 6500 дворов. Это дает не менее 50 тыс. населения только самого города, т.е. тысяч 50 - 60 жителей во всем Пскове, вместе с предместьями. Для средних веков это был громадный центр - больше него в эту эпоху была одна Москва; Новгород, вероятно, - меньше. Уже за двести лет раньше Псков был настолько велик, что новгородцы не смогли удержать его на положении своего пригорода, и договором на Болотове (1348) отказались от права посылать во Псков своего посадника и требовать псковичей к своему суду. С тех пор Псковская земля стала самостоятельным княжеством, которое, однако же, очень скоро - с последних лет XIV века - начинает попадать в зависимость от московских великих князей. Эти последние и в этом случае представляли торговые интересы Центральной России, для которых нужно было в каком-нибудь пункте нарушить новгородскую монополию торговли с Западом и создать Новгороду конкурента в лице его "младшего брата". С другой стороны, псковичи, политически слишком слабые, чтобы исключительно собственными силами отстоять свою экономическую

независимость от своих немецких соседей, привыкли ждать военной помощи от Москвы. Новгород, в силу условий возникновения псковской автономии, был скорее врагом, чем союзником, - да это время (XIV - XV века) и в военном отношении было далеко уже не то, что при Мстиславе Торопец-ком. Ослабление демократии дало в этом случае самые невыгодные результаты: Псков, более военный благодаря своему пограничному положению, сохранил и более демократическое устройство; "черные люди" в нем еще в самом конце XV века сохранили влияние на дела, и, что особенно характерно, вече, где участвовали эти "черные люди", назначало военных командиров городской рати*. Соответственно с этим власть князя в Пскове была еще более ограничена, нежели в Новгороде, если только вообще можно говорить о княжеской власти в Псковской республике. "Псковский князь, - говорит только что упомянутый нами исследователь, которого никак нельзя заподозрить в преувеличении псковского демократизма, - был только главным слугою веча, исполнял разнообразные поручения последнего, совершал с псковичами походы на неприятеля, строил города, принимал участие даже в постройке церквей; но кроме судебной деятельности, служившей для него главным источником доходов, он не имел никакой определенной роли в общественных делах, ни в законодательстве, ни в управлении"**.

** Известный специалист по истории Пскова варшавский профессор Никитский ("Внутренняя история Пскова") считал, наоборот, псковское устройство более аристократическим, чем новгородское, но доказательств этому никаких не давал, а приводимые им факты рисовали совершенно противоположную картину.*

*** Никитский, назв. соч., с. 120.*

Именно это политическое ничтожество псковского князя и позволило псковичам отнестись равнодушно к тому факту, что, помимо Пскова, князь стал присягать великому князю московскому, превратившись, юридически, в его наместника. Не все ли было, в сущности, равно, в качестве чего этот кормленщик псковской общины ходил в походы и строил церкви? Но последствия очень скоро показали, что эта почти незаметная юридическая перемена была симптомом очень серьезного изменения в фактическом положении города. Сначала князь только присягал Москве, а назначал его Псков. Потом стал и назначать великий князь; псковичи попробовали было удержать за собой право смещения, но из Москвы им объяснили, что это значит "без чествовать" великого князя в лице его наместника, и предложили, в случае недовольства последним, жаловаться на него в Москву. Фактически князь перестал зависеть от веча, причем оно само, вероятно, не сумело бы сказать, как это случилось и когда началось. Утешением оставалась крайняя ограниченность прав этого, теперь уже не "республиканского магистрата", а великокняжеского губернатора. Но едва Иван Васильевич справился с Новгородом, как он принялся за расширение привилегий и своего псковского агента. Расширение коснулось, само собой разумеется, финансовой области - псковский князь потребовал себе "наместничьей деньги" и увеличения судебных пошлин. Вече отказало, ссылаясь на "псковскую пошлину". Иван Васильевич потребовал документальных доказательств этой последней. Псковичи предъявили грамоты, подписанные их прежними выборными князьями, но в Москве этим грамотам не

придали никакого значения: "То грамоты не великих князей, - сказали там псковским посланным, - и вы бы князю Ярославу (наместнику) освободили, чего он у вас ныне просит". Тут впервые для Пскова выяснилось, какой дорогой ценой он купил покровительство московского великого князя: было очевидно, что Псковская пошлина станет нарушаться всякий раз, как она не сойдется с пошлиной московской. Чтобы не оставалось в этом сомнений, великий князь прямо объявил, что судов псковской области будет впредь твориться не только по Псковской старине, но и по его, великого князя, "засыльным грамотам": рядом с вечевым приговором и выше его стал "высочайший указ" московского государя. Совершенно незаметно псковичи из граждан превратились в подданных... При этом и вече, и боярский совет, и выборные псковские судьи - все это оставалось на своем месте: но перевес силы был настолько явно на стороне Москвы, что сопротивляться Псков не решился. Городская масса всколыхнулась только, когда из нового юридического порядка Москва сделала практический вывод: до сих пор крестьянство Псковской области, псковские смерды, были, как и в Новгороде, подданными городской общины - платили в ее пользу подати и отправляли натуральные повинности. Из наших источников не совсем ясно, что именно послужило поводом к увеличению этих податей и повинностей; быть может, вече надеялось переложить на сельское население те новые поборы, которые появились вместе с московскими порядками. Смерды заволновались, и московский наместник оказался на их стороне. Апелляция к псковской "пошлине" дала точь-в-точь такие же результаты, как и прежде: найденные в городском "ларе" (архиве) грамоты оказались, в глазах Москвы, совершенно неубедительными. Псковичи были так ошеломлены этим новым покушением на права городской общины, что в первую минуту заподозрили подсаженного Москвою к ним князя в прямой подделке документов. Потом ярость веча обрушилась на посадников, одного из которых убили, а троих, бежавших, заочно приговорили к смертной казни - составили на них "мертвую грамоту". Затем, несколько придя в себя, ревнители псковской старины сами, по-видимому, прибегли к фальсификации документов: каким-то попом при чрезвычайно подозрительных обстоятельствах была якобы найдена грамота, уже бесспорно, по мнению псковичей, устанавливавшая права города на дань и труд смердов. Но Иван Васильевич решительно отказался слушать что бы то ни было: и Псков вынужден был не только уничтожить "мертвую грамоту" на трех провинившихся перед вечем посадников, но и просить прощения у великого князя за то, что осмелился наказать непослушных смердов. Город оказался лишенным всяких финансовых прав на окружающую его страну - и все полномочия коллективного господина по отношению к псковским "волостям" перешли к московскому государю; смерды стали теперь крепостными его, как раньше они были крепостными вечевой общины.

После всего этого формальное упразднение псковской независимости было только вопросом времени. Но Иван Васильевич не только не спешил с ним, а, напротив, готов был, по-видимому, оттянуть этот момент на неопределенный срок, создав из Пскова удел для своего старшего сына Василия, которому он сначала не хотел оставлять московского престола. До такой степени "собирателю" была чужда идея единого национального государства. Защитниками этой последней идеи неожиданно оказались сами псковичи, сообразившие, что отдельный князь

обойдется им много дороже простого наместника, и потому упорно державшиеся теперь уже за московскую "пошлину". Когда Василий Иванович сделался великим князем, он это и припомнил псковскому вечу, закончив, в то же время, финансовую ассимиляцию Пскова с остальными московскими владениями. "Лучшие" псковичи, из рядов, преимущественно, буржуазии - землевладельческая аристократия в Пскове далеко не была так сильна, как в Новгороде - были свезены в Центральную Россию, а на их место появилось триста купеческих семей из Москвы и ее пригородов. Вместе с ними во Псков пришли и московские торговые порядки: тамги и, вероятно, другие торговые налоги и пошлины. Раньше псковичи торговали у себя беспошлинно и добивались права беспошлинного торга даже на землях ливонского ордена - и то, и другое ставило их в привилегированное положение относительно московских купцов. Теперь и эта привилегия была отобрана.

Но финансово-экономическим завоеванием Пскова (оно было дополнено введением московской монеты вместо туземной, псковской) Василий Иванович и ограничился. И после него мы встречаем в Пскове, как и в Новгороде, выборных судей, старост с целовальниками, присяжными. Мало того: может быть, по примеру бывших вечевых общин, эти учреждения были распространены в XVI веке на все Московское государство. Во всяком случае, в этом отношении не пришлые москвичи вводили новые порядки, а наоборот: среди псковских судебных старост половина выбиралась из переведенных в Псков московских купцов. И этим сохранением суда в руках буржуазии московское господство не шло вразрез с местными порядками, а закрепляло то, что самостоятельно складывалось уже на местах: в Новгороде народ, как мы знаем, был уже давно устранен от суда, а во Пскове развитие шло в том же направлении. Видеть тут какую-либо сознательную бережливость по отношению к местным особенностям, конечно, не приходится. Но отмечать этот консерватизм московского завоевания нужно, чтобы не впасть в очень распространенную ошибку, не представить себе "собирания Руси" образованием единого государства. Политическое единство "великорусской народности" мы встречаем лишь в начале XVII века, под влиянием экономических условий, много более поздних, чем уничтожение последних уделов. Московское государство XVII века было результатом ликвидации феодальных отношений в их более древней форме, а московские князья, до Василия Ивановича включительно, тем менее могли думать о такой ликвидации, что они сами были типичными феодальными владельцами. Вся их забота сводилась к исправному получению доходов - и так же смотрела на дело вся их администрация. Наши Уставные грамоты начала XVI века - не что иное, как такса поборов такого же типа, как в любой боярской вотчине. Сравните грамоту, которой жалует своих "черных крестьян" великий князь Василий Иванович, с жалованной грамотой, какую дал Соловецкий монастырь своим крестьянам - и вы не заметите разницы. То, что впоследствии стало функцией полицейского государства, осуществляется самими жителями: "А доищутся душегубца, и они его дадут наместником и их тиунам"; и дальше, через своих уполномоченных, "старосту и лучших людей", будут следить, что с пойманным будут делать волостель и его тиуны. Эти же последние, в свою очередь, смотрели только за тем, чтобы в волости самосуда не было: "А самосуд то: кто поймает вора с поличным да отпустит прочь, о волостелю и его тиуну не явит, а его в том уличат"... Самосуд - попытка утаить судебные пошлины. "Управление"

московского великого князя, как и "управление" его удельного предка, было особой формой хозяйственной деятельности - и только. Когда пришлось в широком масштабе организовать полицию безопасности, ее возложили "на души" местных жителей, а наместников и волостелей отставили по совершенной их к этому делу неспособности. И сами волости, собравшиеся в таком большом количестве в руках потомков Калиты, даже территориально, продолжали сохранять свою прежнюю удельную физиономию. За выдачу замуж дочери из одной великокняжеской волости в другую по-прежнему приходилось платить "выводную куницу". Границы этой волости также оставались неприкосновенными - и управляли ею очень часто те же самые люди. Оболенское княжество еще в XVI веке было все в руках князей Оболенских, давно ставших слугами московского князя. Великий князь ярославский и после аннексии Ярославля Москвою, в 1463 году, остался наместником великого князя московского - а после его смерти эту должность унаследовал его сын. "В 1493 г., когда московский воевода взял у Литвы Вязьму, и князей Вяземских привели в Москву, великий князь их пожаловал их же вотчиною Вязьмою и повелел им себе служити"**. Если к этому прибавить, что и раньше самостоятельность мелких удельных князей никогда не была полной - внешние, дипломатические сношения, в особенности с Ордою, всегда составляли прерогативу великого князя; право начинать войну и заключать мир самостоятельно тоже имел только он; татарскую дань собирал тоже он, и что он с нею делал, касалось только его, - то мы поймем, что медиатизированный князь, перестав быть самостоятельным государем, мог и не заметить этого, продолжая давать жалованные грамоты "по старине, как давал дед и отец его", еще поколения два спустя после медиатизации. Прибавим, что ему трудно было бы и растолковать, что он перестал быть государем, - да он и продолжал им быть, поскольку был государем всякий землевладелец.

** Акты археологической и географической экспедиции, т. 1, N 144, 180,221.*

*** Ключевский. Боярская дума. - Изд. 3-е, с. 233 - 240.*

Но если в практике Великого княжества московского не было ничего, к чему могла бы привязаться идея единой российской монархии, то было налицо учреждение, в котором единство было практически достигнуто, где, стало быть, было место и для теории единодержавия. Раньше чем московский князь стал называть себя царём и великим князем всея Руси, давно уже был митрополит всея Руси; церковное объединение России на несколько столетий старше политического. Мы видели, как этому объединению помогала татарщина, своими ярлыками создававшая из Русской церкви государство в государстве. Мы видели также, как ускорялся этот процесс финансовой организацией церкви - как единство митрополичьей казны приводило, само собою, к подавлению церковной автономии даже там, где для нее была почва. Роль церкви, как могучей организующей силы, подмечена давно, но недостаточно оценена даже на Западе: идеализм нигде не свил себе такого прочного гнезда, как в церковной истории, по причинам вполне понятным. Экономическое значение церковных учреждений обычно выводилось из их религиозных функций - хотя сами средневековые церковные документы, в своей наивности, не умеют скрыть, что дело происходило совсем наоборот.

Ростовщичество древнерусских монастырей, которое мы могли наблюдать уже в XII веке и которым полна церковная полемическая литература вплоть до XVI века, никак, конечно, нельзя связать логической связью с теми чудотворными иконами и мощами, какие в тех монастырях хранились. Первые крупные землевладельцы современного типа, находимые нам в XV - XVI веках, были те же монастыри, первое применение принудительного крестьянского труда, предвосхищавшее будущий расцвет крепостного права, дают нам монастырские имения; первыми крупными торговцами были опять-таки монастыри*. Употребляя красивое выражение историка боярской думы, церковь "держала в руках нити народного труда" гораздо раньше, чем этого достигли светские землевладельцы, и гораздо лучше их. Изучая аграрный кризис XVI века, мы увидим, как богатства и земли плыли в руки церкви и уплывали из рук боярства: борьба против церковного землевладения, а косвенно и вся "нестяжательская" полемика не имеют другого основания, кроме этой конкуренции светского и духовного помещика. Но экономическая прогрессивность средневековой церкви вела к тому, что она и в политической области, и у нас, и на Западе, шла впереди светского феодального общества. Теорию общественного договора западноевропейский читатель XI века впервые узнал от богослова. У нас, в России, теория политического единодержавия, осмыслившая и связавшая в одно стройное целое пеструю практику ощупью двигавшегося "собирания", тоже обязана своим возникновением всецело церковной литературе.

** Выше уже говорилось о том, что в Киевской Руси торговля таким предметом первой необходимости, как соль, сосредоточивалась в руках Киево-Печерского монастыря; в московскую эпоху она была в руках Соловецкого монастыря, продававшего ежегодно до ста тысяч пудов соли.*

Соотношение светской и церковной властей и необходимость первой для последней хорошо и с большой откровенностью резюмированы в одном нашем памятнике XVI века, которого с других сторон нам еще не раз придется касаться - так называемой "Беседе Валаамских чудотворцев". "Сотворил Бог благоверных царей и великих князей и прочие власти на воздержание мира сего для спасения душ наших, - говорит "Беседа". - Если бы не царская всегодная гроза, то по своей воле многие не стали бы каяться никогда, и попов бы не слушались, и даже прогнали бы попов". И в западной церковной литературе трудно найти лучшее-выражение средневекового церковного взгляда на светское государство, как на руку церкви ("плеща мирские"), обязанную силой подчинять церковной дисциплине тех, кто не слушался церкви по доброй воле. Отсюда с неизбежной логикой вытекало то, о чем наставлял еще в конце XIV столетия константинопольский патриарх Антоний москвичей, вздумавших было не поминать на ектеньях византийского императора, т.е. переставших за него молиться. "Невозможно христианам иметь церковь, но не иметь царя. Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении между собой, и невозможно отделить их друг от друга". Отношение между этими двумя неразрывными частями христианского мира византийской литературой давно было уподоблено тому, "какое существует между телом и духом". "Как жизнь человеческая идет правильно

только в том случае, когда душа и тело находятся в гармонии между собой и тело следует разумным велениям души, - говорит "Эпанагога" патриарха Фотия, - так и в государственном организме благополучие подданных и правильное течение их жизни наступают тогда только, когда священство и императорство находятся в согласии". Из вежливости придворный богослов византийского императора не договаривает, кому принадлежит право восстановить согласие в случае спора, но выше им употребленное сравнение достаточно красноречиво. "Не от царей начальство священства приемлется, но от священства на царство помазуются", - более бесцеремонно разъяснял впоследствии эту истину царю Алексею патриарх Никон.

Эти богословские понятия в Византийской империи давно стали почти - а отчасти даже и вполне - юридическими нормами. Фактическое соотношение сил на Востоке, где православию приходилось отстаивать свое существование от целой тучи ересей и в этой борьбе поминутно звать на помощь "светскую руку", помешало развивать до конца аналогию души и тела: тело здесь было слишком нужно душе. Но нераздельность церкви и государства нашли себе в Византии другое выражение: нельзя было оставаться подданным императора, перестав быть верным сыном церкви. Только православный христианин мог быть полноправным гражданином, и отлучение от церкви было равносильно лишению всех прав состояния. Наоборот, принятие православия делало человека, хотел он этого или не хотел и даже ведал он это или не ведал, подданным императора. Принятие Владимиром христианства в X веке было немедленно истолковано в Константинополе как подчинение Руси Восточной империи. "Так называемые руссы, - писал тот же патриарх Фотий, - в настоящее время променяли эллинское и нечестивое учение, которое содержали прежде, на чистую и неподдельную веру христианскую, с любовию поставив себя в чине подданных и друзей (наших)..." Киевский князь получил определенное место в византийской придворной иерархии, став стольником императора, и последний в глазах не только своих подданных, но и западных европейцев сделался "сюзереном Руси": ему жаловались на неправомерные поступки русских властей, когда не могли найти на них управы у туземного князя. Символом этой вассальной зависимости Руси от "царя" и служило поминовение его в ектеньи, на прекращение чего жаловался патриарх Антоний в цитированной нами выше грамоте.

Реально, как мы знаем, удельная Русь зависела вовсе не от этого царя, а от другого, от татарского хана. Но теория патриарха Фотия отнюдь не была забыта, а к последним годам XIV века, когда о ней напомнил патриарх Антоний, обстоятельства складывались так, что являлась возможность использовать ее непосредственно в пользу московского великого князя. Сам византийский патриарх оговаривался, что царей, "которые были еретиками, неистовствовали против церкви и вводили развращенные догматы", христиане могут и отвергать. По всей вероятности, он имел в виду настоящих еретиков в точном богословском значении этого слова. Но примитивный ум московских книжников, горделиво заявлявших о себе, что они "эллинских борзостей не текли и риторских астрономии не читали, ни с мудрыми философы в беседе не бывали", ставили понятие "ереси" гораздо шире. Всякий, кто в чем бы то ни было был не согласен с Православной церковью, хотя бы только в обрядах, был еретик. А особенно злыми еретиками были "латиняне",

т.е. католики: и тут уже, кроме примитивности древнерусского богословского мышления, добрую долю ответственности несли на себе и учителя русских, греки. Крестив Русь в разгаре своей борьбы с Западной церковью, и не без конкуренции с этой последней, византийское духовенство постаралось внушить своей новой пастве самое совершенное отвращение к "латине", какое только можно вообразить, - и церковные поучения XI - XII веков ставят даже вопрос: можно ли есть из одной посуды с католиком, не осквернившись? Греки и не подозревали тогда, что им самим может когда-нибудь грозить опасность подпасть обвинению в "латинской ереси". Но когда в XFV- - XV веках константинопольские императоры, стесненные турками, обратились за помощью на Запад, и, между прочим, к Папе - от которого они ждали организации крестового похода против турок, - поведение их стало представляться их русским "подданным" крайне сомнительным. Когда же на Флорентийском соборе (1439) царь и патриарх вынуждены были, ради обещанной им военной помощи, подписать унию с Западной церковью, а пятнадцать лет спустя Царьград был взят турками, смысл этих явлений и их взаимная связь не оставляли уже у русских книжников никаких сомнений. "Разумейте, дети, - писал в 1471 году митрополит московский Филипп в своей увещательной грамоте новгородцам, - царствующий град Константинополь и церкви Божий непоколебимо стояли, пока благочестие в нем сияло, как солнце. А как оставил истину, да соединился царь и патриарх Иосиф с латиною, да подписали папе золота ради, так и скончал безгодно свой живот патриарх, и Царь-град впал в руки поганых турок".

Но помимо этого отрицательного вывода, падение Константинополя открыло перед политической фантазией московских богословов положительные перспективы необычайной широты и грандиозности. В самом деле, ежели центр вселенского православия изменил и перешел к латинам морально, за что и был наказан физическим пленением со стороны агарян, то к кому же перешла роль этого центра? В Москве имели основание думать, что за этим городом достаточно заслуг перед православной верой, чтобы ей не показалось тяжко даже и наследство Константинополя. Недаром же, когда митрополит Исидор явился из Флоренции обратно на свою московскую кафедру униатом, великий князь Василий Васильевич так энергически "поборол по божьей церкви и по законе и по всем православном христианстве и по древнему благолепию", - - и впавший в латинскую прелесть иерарх не только "ничто же успе" на Москве, но, просидев малое время в подвале под Чудовым монастырем, должен был украдкою и переодевшись бежать за границу обратно. За этот подвиг православный преемник Исидора, митрополит Иона, первый поставленный собором русских епископов, а не присланный из Константинополя, впервые применил к Василию Васильевичу титул, которого прежде удостаивались только византийские императоры да татарские ханы, назвав его "боговенчанным царем всея Руси". На место Константинополя естественно должна была стать Москва. "Сия убо вся благочестивая царствия, греческое и сербское, басанское и арбаназское Божием попущением безбожные турци поплениша и покориша под свою власть, - заключает современная "Повесть о разорении Царьграда безбожными агарянами", - наша же Руссийская земля, Божией милостью и молитвами Пречистые Богородицы и всех святых чудотворцев, растет и младеет и возвышается... Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быть". Со значением этой знаменитой теории о "Москве - третьем Риме" в

истории русских религиозных представлений читатели познакомятся в другом месте. Но ее политические, точнее, политико-литературные, - следствия были не менее обширны. Вышивая далее по этой канве, фантазия русских книжников создала целый роман, в котором не без художественности откристаллизовалась идея преемства Московского царства от византийского императорства. В этой окончательной форме мы и возьмем эту идею, не анализируя ее состава детально и не прослеживая постепенных этапов ее развития: и та, и другая задача более относятся к истории русской литературы, чем к сюжету настоящей главы "Русской истории".

В самом начале XVI века к киевскому митрополиту Спиридо-ну, прозванному за свои сердитый нрав "Сатаной", обратился один его знакомый, "ищучи от него неких прежних лет от историкии". Бывший киевский митрополит, - он проживал тогда не то на покое, не то в заключении в Ферапонтовом Белозерском монастыре, - был уже очень старшему был 91 год от роду. Просьбу тем не менее он исполнил и послал своему любознательному знакомому нечто вроде конспекта Всемирной истории, необычайно своеобразного состава. Начинается изложение Спиридрна, как водилось в те времена, с расселения сыновей Ноевых по лицу только что просохшей от Всемирного потопа Земли. Проследив судьбу Ноева потомства до единственного уцелевшего в его памяти египетского фараона "Сеостра" (Сезостриса Великого, т.е. Рамзеса II), автор очень логично переходит к Александру Македонскому, который, по общепринятой в средние века легендарной его биографии, был сыном не македонского царя Филиппа, а египетского жреца Нектанеба. Связав таким путем греческого завоевателя Египта с туземной династией, совершенно естественно было перейти к греческим государям последних веков перед Рождеством Христовым - к Птолемеям. Но так как их было много, по конспекту - 20, то автор и решил их "преминуть", спеша к самому интересному для него пункту рассказа. У последнего Птолемея была дочь, "премудрая Клеопатра". "В то время Юлий, кесарь римский, послал своего зятя, стратига римского, именем Антония (в подлиннике "Онтонина") на Египет воинством". Но премудрая Клеопатра приняла свои меры, и Антоний, вместо того чтобы воевать с египетской царицей, женился на ней. Юлию, кесарю римскому, такой исход дела не показался удовлетворительным: поставил он брата своего, Августа, стратигом и "послал его со всею областию римскою на Онтонина". Антоний был убит, а царица Клеопатра, когда ее со всем богатством египетским на корабле везли в Рим, уморила себя ядом.

Вскоре после того, пока Август был еще в Египте, восстали на Юлия, кесаря римского, "ипатии" его, "Врутос, Помплие и Крас", и убили его мечом. Пришла об этом весть к Августу стратигу; созвал он на совет вельмож и своих, римских, и туземных, египетских, и поведал им о смерти Юлия Кесаря. И решили римляне и египтяне венчать на место Юлия Августа стратига венцом римского царства. Облекли они его в одежду царя Сезостриса, "первого царя Египта", в порфиру и виссон, и возложили на голову ему митру Пора, царя индийского, которую принес Александр Македонский из Индии, а на плечи "окрайницу" (бармы) "царя Феликса, владущего вселенною", и, украсив Августа регалиями влдык всего мира, воскликнули великим гласом: "Радуйся, Августе, цесарю римский и вселенная!".

Так объясняет наш рассказ происхождение всемирной Римкой империи, легшей в основу всемирного христианского царств средневековой политической литературы. Сделавшись "цесарец Рима и всея вселенныя", Август начал "ряд покладати на вселенную": поставил во главе различных областей мира своих братьев: Патрикия - царем Египту, Августалия - Александрии, а Пруса - на берегах Вислы реки, в городе, называвшемся Мамборок (Мариенбург); оттого и страна эта стала называться Пруссией. Потомки Августова брата и царствовали здесь до четвертого колена. В это время умер новгородский воевода Гостомысл. Перед смертью посоветовал он своим землякам послать в Прусскую землю и призвать князя от тамо сущих родов римского царя Августа родаЛак и сделали новгородцы: нашли они "некоего князя, именем Рюрика", "суща от рода римска царя Августа", и призвали его княжить в Новгород. С тех пор как поселился в Новгороде сродник Августа, царя всей вселенной, Новгород стал называться Великим. "А от великого князя Рюрика четвертое колено князь великий Владимир, просветивший Русскую землю святым крещением... а от него четвертое колено князь великий Владимир Всеволодович".

Итак, династия, правившая Русью в начале XVI века, происходит не от безвестного варяжского конунга, а от самого царя всея вселенныя, - государь московский Василий Иванович, дальний потомок Владимира Всеволодовича Мономаха, вотчич не только всей Русской земли, но и всего мира. Вот какой прямой вывод следовал из той концепции Всемирной истории, какую сообщил своему знакомому митрополит Спиридон. Это право московского государя прямое, неотъемлемое; великий князь московский - законный наследник всемирного римского императора. Оно признано было и самими императорами Восточного Рима, при Владимире Всеволодовиче, добровольно переславшими на Русь императорские инсигнии, в том числе и знаменитую шапку Мономаха, ставшую самым наглядным символом московской царской власти. Владимир Всеволодович, рассказывает тот же митрополит Спиридон, собрал раз на совет своих князей и своих бояр, и стал к ним держать такую речь: "Вот, предки мои ходили и брали дань с Константинополя, нового Рима. А я их наследник: так не попытать ли и мне там счастья? Какой мне совет дадите?" И сказали князья и бояре, и воеводы: "Сердце царево в руце Божией, а мы есмы в твоей воле, государя нашего по Возе". Тогда Владимир отправил своих воевод походом на Фракию, и "поплениша ю довольно". Тогдашний византийский император, Константин Мономах, воевал в это время с персами и с латинами - был, значит, в очень стесненном положении. Не в состоянии отразить русского нашествия, он решил склонить русского князя на мир. Снял он со своей шеи крест "от самого животворящего древа", снял свой царский венец, велел принести сердоликовую чашу, из которой пил на пирах Август, царь римский, и бармы, которые императоры носили на плечах, - и все это отослал Владимиру Всеволодовичу как законному наследнику своей власти: "Прими от нас, боголюбивый и благоверный князь, сии честные дары от начаток вечного твоего родства... на славу и честь, и венчание твоего вольного и самодержавного царствия..." Посол императора, митрополит эфесский Неофит, и венчал Мономаха, как стали называть теперь Владимира Всеволодовича, на царство всеми присланными регалиями. С тех пор и доныне венчаются тем царским венцом великие князья владимирские. Внутренняя сила наследственного

права государя московского была, таким путем, в свое время закреплена при помощи внешнего обряда.

Нам нет надобности останавливаться долго на критике "историкии", написанной митрополитом Спиридоном. Что касается первой ее части, то всякому достаточно известно, что Август не был вотчичем Римского государства и не мог поделить его между своими братьями, которых у него и не было. Не мог он дать одному из этих несуществовавших братьев город Мариенбург, основанный в XIII веке немецкими рыцарями. И самый рассказ о короновании Августа в Египте коронами всего мира - такой же точно историко-политический роман, как и рассказ о происхождении Александра Македонского от египетского "волхва" Нектанеба. Словом, фантастичность этой части Спиридонова повествования стоит вне всякого спора. Но еще не так давно (в кое-каких учебниках это можно встретить и до сих пор) придавали некоторую, с оговорками, историческую цену второй части рассказа - о регалиях Мономаха. Однако же легендарность и этого рассказа ясна как нельзя более. Ни одна подробность его не подходит к тому времени и к тем лицам, о которых он говорит. Константин Мономах умер, когда Владимиру Всеволодовичу было всего два года. Он не мог воевать с персами, царство которых было разрушено за сотни лет раньше арабами. Он не мог посылать на Русь эфесского митрополита Неофита, потому что такого митрополита не было в Эфесе ни в то время, ни раньше, ни позже. Археологические исследования доказали, что, шапка Мономаха не была с самого начала царским венцом: отличительный признак царской короны - полушарие с крестом наверху - приделан к ней впоследствии. Сначала это была не царская корона, а просто "золотая шапка", под каковым именем она и значится в завещаниях московских князей XIV века. Очевидно, не присутствие в великокняжеской казне этой шапки напоминало московскому князю о его вселенском значении, а, напротив потому, что он стал приобретать в своих глазах такое значение, ему понадобилась царская корона. То, что сейчас сказано о шапке Мономаха, вполне приложимо и ко всему рассказу: не потому стали считать московского царя наследником восточного, в глазах православных всемирного, императора, что какому-то досужему книжнику пришло в голову сочинить рассказанную выше легенду; легенда понадобилась потому, что "великий князь владимирский", потомок Рюрика и Владимира Мономаха, стал фактически наследником того "православного царства", представителем которого до сих пор был восточный император.

Рассказ, который мы находим у митрополита Спиридона (вероятно, не бывшего его автором, а пересказывавшего с чужих слов), быстро получил чрезвычайно широкое распространение. "Сказание о князьях Владимирских" еще не было известно в 1480 году в московских официальных кругах: в послании ростовского архиепископа Вассиана к Ивану III по поводу нашествия хана Ахмата в числе прародителей великого князя не поминается кесарь Август, а по поводу Владимира Мономаха говорится лишь о его битвах с половцами и ни слова о каких-либо сношениях с Византией. Лет 50 спустя и фантастическая родословная князей владимирских, и легенда о мономаховых регалиях были приняты официально, и Иван Грозный говорил о своем происхождении от Августа Кесаря, как о деле общеизвестном.

Потомками римских императоров, по этой генеалогии, были, конечно, все наличные Рюриковичи, т.е. не только великий, но и все удельные князья. Но православное царство могло иметь только одного главу, - даже семья великого князя могла подняться над другими княжескими семьями только через него, а не сама по себе. Неопределенная зависимость слабого от сильного, лежавшая в основе княжеских договоров удельной поры, сменяется вполне определенным подданством удельного князя, как православного христианина, главе всемирного христианского царства. Само собою разумеется, что это новое понимание дела ни на йоту не могло изменить реального соотношения сил: национальные короли Западной Европы, французский или английский, могли сколько угодно на словах признавать свою зависимость от Западного императора, последний мог сколько угодно настаивать на том, чтобы его принимали в их столицах не как гостя, а как хозяина, последствия всех этих притязаний и разговоров не шли дальше этикета; на практике государь Священной Римской империи не только в Париже или Лондоне, а и у себя дома, в Германии, значил подчас меньше, нежели король французский. Московский князь практически был несравненно сильнее всех удельных к концу XV века; наиболее крупные из некогда соперничавших с Москвою династий были медиатизированы, предварительно пройдя стадию подручничества у своего московского старшего брата. Рязань находилась в таком положении уже с 1456 года: малолетний наследник княжества и проживал в Москве, а в его стольном городе сидели московские наместники. Повзрослев, рязанский княжич сам, в сущности, превратился в такого же наместника, а номинальная независимость при нем Рязани объясняется, кажется, ближе всего тем, что он был женат на сестре Ивана III и таким путем сделался членом московской княжеской семьи. Под опекой Москвы в Рязани просидело еще два поколения потомков Олега Ивановича, - причем территория "независимого" княжества все сокращалась, так как выморочные рязанские уделы доставались прямо князю московскому. Возможно, что рязанские князья так мирно и перешли бы в бояр великого князя, подобно ярославской династии, если бы последний рязанский княжич, Иван Иванович, не запутался в какие-то подозрительные отношения с татарами, - что и было ближайшим поводом к официальному "присоединению Рязани" в 1520 году. С Тверью дело кончилось еще раньше и решительнее: превращенный договором 1485 года в московского подручника, князь Михаил Борисович очень недолго вытерпел в таком положении и, по традиции, обратился за помощью в Литву, к Казимиру. Но дело тверского князя имело настолько безнадежный вид, что король Казимир не нашел для себя выгодным ссориться из-за него с Москвой и отказал в своей помощи. А 12 сентября 1486 года Тверь была взята московской ратью, и князь Михаил Борисович искал теперь у Казимира уже не поддержки, как политический противник Москвы, а убежища, как эмигрант. Но с падением Твери и Рязани никаких, имеющих политическое значение,^уделов не осталось в Северо-Восточной Руси, вне пределов династии Калиты. Только родные и двоюродные братья великого князя были теперь покрупнее обычных феодальных владельцев, - но они были, даже вместе, мельче его самого. По духовному завещанию Ивана III его старший сын, Василий Иванович, получил 66 городов с волостями, а все остальные четверо его сыновей вместе - только 30. В каждую тысячу ордынской дани Василий Иванович вносил 717 рублей, а все остальные его братья - 283. Даже

при коалиции всех младших против старшего за последним оставался громадный перевес. Церковная теория была весьма кстати, чтобы осветить совершившийся акт. Удельный князь, писал одному из братьев Василия знаменитый волоколамский игумен Иосиф Санин, родоначальник "осифлянского" направления московской публицистики, должен "от сердца воздавать любовь богодарованному царю нашему, воздающе ему должное покорение, и послушание, и благодарение, и работающе ему по всей воле его и повелению его, яко Господеви работающе, а не человеком".

Но наиболее неожиданные эффекты давала теория в области отношений международных в настоящем смысле - отношений московского государя к нерусским землям. Два факта, обыкновенно украшающие собою главу об Иоанне III в школьных учебниках, - свержение татарского ига и брак московского великого князя с византийской княжной Софьей Палеолог, - непосредственно связаны с рассматриваемым нами циклом идей. Относительно последнего события теперь не может быть сомнений, что тут не было никакой, благоприятной для московского государя, случайности, что это был обдуманный шаг московской политики, - что Иван Васильевич специально искал себе именно такую невесту и посылал особых агентов в Италию хлопотать об этом браке. Нет надобности объяснять, почему "царь всего православного христианства" не удовлетворялся теперь русскими княжнами и искал себе лучшей, по его мнению, партии. "Свержение татарского ига" в 1480 году было, собственно, торжественной формальностью: уже почти сто лет Орда могла добиться повиновения от Северо-Восточной Руси только путем повторных военных экспедиций, которые не всегда и удавались притом, как показывал пример Мамая. Место монголов в авангарде тюркских племен давно заняли турки-османы, центром внимания которых была Южная Европа, в первую очередь Балканский полуостров, тогда как русским еще не приходилось с ними соприкасаться непосредственно. В связи с передвижением театра тюркского наступления к югу и среди обломков бывшей Орды Чингисхана и Батыя выдвинулись на первое место крымские татары, - впоследствии верные союзники и вассалы турецкого султана. Но их набеги грозили, главным образом, Юго-Западной, Литовско-Польской Руси, а для московского великого князя, именно в силу этого, крымский хан часто являлся союзником. Так было и в 1480 году, когда нашествие хана Большой Орды, Амата, всеми признаками напоминало простой разбойничий набег, а отнюдь но завоевательные походы Чингиза или Тамерлана. Тем не менее, как известно, и в отражении этого набега Иван Васильевич отнюдь не обнаружил большой смелости - и решимость ликвидировать начисто свои отношения к Орде пришла к нему только под настойчивым влиянием церкви. Участие в этом деле епископа Вассиана было совсем не случайно - и аргументация Вассиана прямо отправлялась от новых политических понятий, возникших в XV веке. "Какой пророк пророчествовал или какой апостол или святитель научил тебя, великого русских стран христианского царя, повиноваться сему богостудному и скверненому, самозванному царю, хану Ахмату", - писал Вассиан Ивану III. Было время, когда церковь не гнушалась признавать владыку Золотой Орды "царем" по преимуществу, но это время давно прошло...

"Великий русских стран христианский царь" не только не мог быть в подчинении у какого-то татарского хана, но и дружбою своею мог удостоить не всякого. Во

всей Европе был ему только один ровня - "кесарь римский", император Западной империи. Но практически московскому правительству чаще приходилось иметь дело не с ним, а с государями польскими и шведскими. А как раз в XVI веке, на другой день, можно сказать, после того как Москва стала "Третьим Римом", а московский царь - преемником "кесарей ромэйских", шведский и польской троны оказались "плохо занятыми", с точки зрения царского местничества: государи на них были выборные, не могшие похвастаться своей генеалогией. Это было бесконечным источником самодовольства для московских государей и их дипломатов. Грозный писал шведскому королю Иоанну Вазе: "И ты скажи, отец твой, Густав, чей сын, и как деда твоего звали, и с которыми государи был в братстве, и Которого ты роду государского?" А бояре говорили шведским послам "в рассуд, а не в укор" про их, послов, государя: "которого он роду и как животиною торговал и в свейскую землю пришел: то недавно ся деяло и всем ведомо". В 1578 году послам польского короля Стефана Батория, ранее бывшего воеводою седмиградским, было сказано, что великому государю с королем Стефаном быть в братстве негоже, потому что его государство началось от Августа, кесаря Римского, и от Пруса, Августова брата: что польские короли Сигизмунд и Сигизмунд Август (из династии Ягеллонов) были славные великие государи, наши братья, по всей вселенной ведомы, а что "Седмиградского государства нигде есмя не слыхали". Позднее Грозный объяснял, что так и не узнал родства Батория, "какова он роду человек и которых государей племя" и что потому, "берегучи своего царства чести", он допрашивал его послов, "какого родства государь их, Стефан король? чтобы нашему царству в том укоризны не было, что который не наш брат, да нам братом учиниться". А так как Грозный слышал про Батория, в "каковой он низости был до сего времени", то московскому государю было короля "для его родственные низости братом писати не пригоже".

Итак, новая теория вела, прежде всего, к внешнему, так сказать, географическому расширению власти великого князя московского: она помогала ему обосновать свои притязания в той области, где старая удельная традиция не давала ему твердой почвы, - как это было в отношении к удельным князьям и к Новгороду; эта же теория сразу дала определенный тон и дипломатическим сношениям с иноземными государями, тон очень повышенный, как мы сейчас видели; она, наконец, поскольку речь шла об отношениях к татарам, помогла московскому князю сознать себя самодержцем - в тогдашнем смысле этого слова: как известно, тогда под "самодержавием" разумелась не абсолютная власть царя внутри государства, а его независимость извне, от соседей, - "самодержцу" противополагался не государь с ограниченной властью, а вассал. Насколько теория оправдывала самодержавие в нашем смысле этого слова, т.е. абсолютизм? Обыкновенно отвечают на этот вопрос очень категорически: новая теория освящала самые широкие притязания, какие только мог заявить московский государь. Она провозгласила его наместником Бога на земле, даже земным Богом (Иосиф Волоколамский писал о государях: "Бози есте и нарицаетесь"), а неповиновение ему - не только преступлением перед человеческими законами, но и тяжким грехом перед Богом, изменить царю - значит погубить свою душу, так объяснял Грозный эту теорию Курбскому. Соглашаясь в этом случае с Грозным, исследователи несколько неосторожно подчиняются такому толкованию теории,

какое давали заинтересованные в деле лица. Присмотревшись к ней ближе и отрешившись от условно-официального ее понимания, мы найдем, что она далеко не оправдывала той формы абсолютизма, какую пытался осуществить Грозный. В своих непосредственных выводах она не расширяла, а ограничивала патриархальный деспотизм. По крайней мере, в одном пункте она представляется нам даже революционной, и ею действительно пользовались для оправдания революций.

Прежде всего царь православного христианства должен быть, конечно, православным. Патриарх Антоний, из грамоты которого московские великие князья, по-видимому, многому научились, прямо оправдывает неповиновение царю, впавшему в ересь. Иосиф Волоколамский - этот, по общему мнению, основатель московского самодержавия - тоже ставит вопрос: обязан ли православный христианин повиноваться неправославному царю? - и отвечает на него отрицательно, потому что Бога больше следует слушаться, нежели людей. Под пером Иосифа эти рассуждения носят еще довольно невинный академический характер; самый большой практический результат, на который они метили, мог состоять разве в том, чтобы попугать несколько Ивана Васильевича, иногда слишком равнодушного к вероисповедным вопросам, как думало тогдашнее духовенство. Политические враги московского великого князя еще не усвоили себе тогда новой теории или не успели ею воспользоваться. Полвека спустя дело изменилось, значительно для него к худшему. При внуке Ивана III боярская оппозиция в лице Курбского очень ловко пользовалась аргументацией, освященной авторитетом Иосифа Волоколамского. Обвипение, которое бросил Грозному Курбский, обвинение в "небытной ереси" - в отрицании Страшного суда и мздовоздаяния грешникам - в XVI веке было далеко не риторической фразой, какой оно кажется нам теперь. В нем было вполне реальное содержание: отрицание воскресения мертвых и Страшного суда составляло одну из заметных частей того богомильского толка, который вскрывался на Руси не раз на протяжении двух столетий под именем стригольничества и жидовства. Недаром Грозный так старательно опровергал это обвинение, стараясь оборотить его на противника, не один раз повторяя, что он-то, Иван, верует Страшному Спасову судищу и не причастен к "манихейской" (т.е. богомильской) ереси, а вот верует ли Курбский, - сомнительно. Аргумент Курбского для того времени был очень силен и, употребляя его собственное выражение, "зело кусателен".

Обострение борьбы все больше и больше расширяло применение этого аргумента. От Смутного времени до нас дошел один весьма любопытный памфлет, обыкновенно приписываемый Ав-раамию Палицыну, едва ли справедливо, как увидим впоследствии. Автор этого памфлета - ярый сторонник Романовых: их ссылку при Годунове он считает одним из главных грехов, навлекших смуту на Русскую землю. Симпатии к Романовым сами собою обусловливают антипатию автора к Годунову. В наше время антипатия выразилась бы, вероятно, в отрицании всяких заслуг Годунова перед Россией - в очернении всей его политики: но, к немалому нашему удивлению, публицист Смутного времени не думает отрицать политических заслуг Бориса. Только в его глазах вовсе не они имеют решающее значение: все его заботы о материальном благосостоянии его подданных ничего не стоят, потому что Борис плохо заботился об их душах и мог своей политикой даже

повредить душевному спасению русского народа. Во-первых, Борис почитал иноязычников - немцев - паче "священноначалъ-ствующих" и даже дочь свою хотел выдать за немца; потакал "ереси армянской и латинской" и принимал у себя людей, зараженных такими ересями. Для всего этого, однако, автор находит еще оправдание в богословском невежестве Бориса - в том, что он "писанию божественному не навык". Но вот чего нельзя уже было оправдать и отсутствием богословского образования: во время голода Борис приказал употреблять на просфоры для евхаристии ржаную муку вместо пшеничной; это до чрезвычайности возмущает нашего автора: "Не гордости ли ее исполнено и нерадения о Боге?", - с негодованием спрашивает он и не прочь объяснить бедственный конец Бориса этим "нерадением о Боге".

Борис был первым русским царем, которому пришлось бороться с революцией. Революция эта - восстание Лжедмитрия - была подготовлена боярами: так говорил во всеуслышание сам царь Борис, и современники, подтверждая его слова, в числе бояр называют сторонников изгнанной семьи Романовых и их самих*. Мнения, которые мы находим в памфлете псевдо-Палицына, очень может быть, имеют не одно литературное значение: весьма вероятно, что боярский кружок, свергнувший Бориса, оправдывал свои действия и перед самим собою, и перед другими, между прочим, сочувствием Годунова к иноверцам и его не совсем тактичными распоряжениями касательно церковной обрядности. Так уже не только прямая ересь, но и мелочные уклонения царя от православия могли обратиться в сильное оружие против него в руках оппозиции.

** Подробнее об этом см. в главе о Смутном времени.*

Сменивший Годунова Лжедмитрий оказался крепче на престоле, нежели этого ожидали выдвинувшие его бояре: пришлось свергать и Лжедмитрия. Во главе заговора стал Василий Иванович Шуйский, тотчас после переворота и избранный в цари. Чувствуя потребность оправдаться и оправдать все совершившееся, новый царь разослал по всей России грамоты, где убийство Димитрия объяснялось, прежде всего, его проектами Унии с Римской церковью: что он "многое христианство широкого московского государства своим злохитрством в веру латинскую привести и укрепить" хотел. За это как еретик он был убит благочестивыми людьми, с Василием Шуйским впереди других. Чтобы правильно оценить учение Иосифа Волоколамского об обязательном православии царя, нужно прочесть эти грамоты Шуйского: переворот 17 мая 1606 года был прямым приложением этого учения к практике. Понятно, почему сам благочестия делатель, царь Василий Иванович, спешил прежде всего поставить вне спора свое православие: едва он вступил на престол, как на Руси уже появился новый угодник - открылись мощи царевича Димитрия.

С этой стороны трудно было подкопаться под Шуйского: его врагам оставалось только более слабое, менее эффектное обвинение, но для постановки царской власти по новой теории тоже очень характерное. Не находя данных обвинить царя Василия в неправославии, враги ставили ему на счет отступления от аскетической морали, его, будто бы, пьянство и разврат. "Всячествованием неистовей", писали о нем публицисты враждебного лагеря: за его грехи кровь христианская льется.

Обвинение не было новостью, придуманной специально для Шуйского: мы находим его уже у Курбского в применении к царю Ивану. В первом послании "беглого боярина" приведен длинный список грехов Грозного: в числе их не последнее по значению место занимают "Афродитские дела". Времяпрепровождение Ивана Васильевича напомнило князю Курбскому классические Сатурналии - "Кроновы жертвы". Царь Иван не оставался равнодушен к обвинению и, не отрицая факта, пытался оправдать себя тем, что он запил, что называется, с горя - после смерти жены, будто бы отравленной друзьями Курбского. "Только бы вы не отняли у меня юницы моея, то не было бы и Кроновых жертв", - пишет он в своем ответе. В другом месте он подбадривает себя примерами угодников Божиих, которые сначала много грешили, но потом покаялись - и прежние грехи не помешали им угодить Богу. Как бы то ни было, самого принципа, в силу которого христианский царь должен быть образцом христианской нравственности для своих подданных, Грозный не думает отрицать. В самом деле, может ли спасать души тот, чья душа сама не заслуживает спасения? А что на православном царе лежала обязанность руководить подданными на пути ко спасению - это был один из кардинальных пунктов теории. "Всемилостивый Боже... устроил мя земли сей православной царя и пастыря, вождя и правителя еже правити люди его в православии непоколебимом быти... - писал Грозный. - Тщуся с усердием люди на истину и на свет наставити, да познают Бога истинного и от Бога данного им государя..."

Но решить вопрос, кто непоколебим в православии, кто нет, могла только церковь. Создавая великого князя московского, царя всего православного христианства, она, как видим, вовсе не думала создать себе господина. Ей нужны были "плеща мирские", и вождям церковно-политического движения XV века в голову не приходило, что созданный церковью на потребу себе аппарат может когда-нибудь быть обращен против нее.

Глава VI

Грозный

Аграрный переворот первой половины XVI века

Социальная основа опричнины; мнения об этом современников и историков - Московское государство в начале эпохи Грозного; феодальные традиции; "право отъезда" - Экономический переворот; денежное хозяйство; разрушение феодальной вотчины как экономического целого; появление землевладельца на рынке - Городские центры; Москва XVI века; мелкие города; роль буржуазии - Буржуазные отношения в деревне; торговля предметами первой необходимости - Торговые обороты монастырей; торговая роль духовенства; протопоп Сильвестр - Сельско-хозяйственное предпринимательство; помещики и рынок; денежный и хлебный оброк - Барская запашка; "холопы-страдники"; погоня за землей; централизация хозяйства; крестьянская барщина; вольнонаемные рабочие -

Относительное значение совершившейся перемены для крупного и среднего землевладения - Опричнина шла по линии экономического развития

Первый, по времени, историк царя Ивана Васильевича, писавший в то время, когда грозный царь еще сидел на московском престоле, князь Курбский, объясняя, почему Иван губил "всеродне" русских "княжат", приводит такой мотив: "Понеже отчины Имели великие; мню, негли (вероятно) из того их погубил". Литературный противник Ивана Васильевича не отличался ни писательским талантом, ни особенно глубоким пониманием происходившего вокруг него. Поминая об "отчинах", как поводе для истребления его родичей, Курбский, может быть, имел в виду очень узкую практическую цель - пугнуть польско-литовскую аристократию, которая в те дни, когда писалась "История князя великого московского", недалека была от мысли посадить Ивана и на польский престол. Но практические люди, именно потому, что они лишены широкого кругозора, ближайшие причины явлений часто замечают лучше, нежели те, кто смотрит на вещи через очки идеалистической теории. Курбскому пришлось долго ждать, пока были оценены его мимоходом брошенные замечания о причинах "тиранства" Грозного. Только в 70-х годах прошлого века покойный петербургский профессор Жданов стал решительно на ту точку зрения, что в споре из-за земли следует искать ключ ко всей трагедии опричнины*. А в промежутке каких только объяснений не привелось испытать на себе задним числом царю Ивану - от самых возвышенных по методу философии Гегеля, делавших московского самодержца орудием всемирного духа в его разрушительно-творческой работе, до самых реалистических, утверждавших, что будь в России XVI века сумасшедшие дома и найди Иван Васильевич себе место в одном из них, никакой трагедии и вовсе не было бы**.

Сейчас аграрная подкладка опричнины составляет, можно сказать, общее место - оригинальностью было бы не отстаивать взгляды историка XVI века, а спорить с ним. "Опричнина была первою попыткою разрешить одно из противоречий московского государственного строя, - говорит один из осторожнейших в своих выводах русских историков профессор Платонов, - она сокрушила землевладение знати в том его виде, как оно существовало из старины". Все гипотезы относительно личности Грозного отходят на третий план перед этим простым житейским фактом, подмеченным современниками триста лет назад. Но и простой житейский факт нуждается в объяснении не менее, чем самое сложное и романтическое душевное состояние. Почему Грозному понадобились вотчины его бояр, когда и у него самого этих вотчин было достаточно, когда его отец и дед, достраивая Московское государство, уживались с владельцами этих вотчин довольно мирно и, во всяком случае, до "всеродного" губительства этих владельцев не доходили? Опричнина была лишь кульминационным пунктом длинного социально-политического процесса, который начался задолго до Грозного, кончился не скоро после его смерти, и своей неотвратимой стихийностью делает особенно праздными всякие домыслы насчет "характеров" и "душевных состояний". Иван Грозный, Федор Иванович и Борис Годунов представляют собою, психологически, три совершенно различных типа: истеричного самодура, помнящего только о своем "я" и не желающего ничего знать помимо этого драгоценного "я", никаких политических принципов и никаких общественных

обязанностей, безвольной игрушки в чужих руках, этого "я" как будто вовсе лишенной - : и, может быть, единственного государственного человека Московской Руси, всю свою жизнь подчинившего известной политической задаче и погибшего от того, что он не смог ее разрешить. Но пребывание на верхушке государственного здания этих трех совершенно различных персонажей никак не отразилось на том, что внутри этого здания делалось. Политика опричнины красною нитью проходит через все три царствования, от 60-х годов XVI века вплоть до Смуты, имея минуты ослабления и напряжения, но вне всякой связи с чьей-либо личной волей. В 40-х годах XVI столетия приближение катастрофы уже настолько определенно чувствовалось, что программа опричнины могла быть дана за двадцать лет вперед человеком, который сам, быть может, и не дожил до того, чтобы видеть опричнину своими глазами. А в 40-х годах "добродетельная" эпоха царствования Грозного, которую Карамзин противопоставлял эпохе его тиранства, была еще впереди. Еще Иван не успел стать ни добрым, ни злым, а уж ему пророчили, что если он "не великою грозою народ у грозит, то и правды в землю не введет". Прозвище носилось в воздухе раньше тех дел, которые должны закрепить за царем это прозвище в истории.

** См. его работу о "сочинениях Ивана Грозного". - Соч., т. 1, СПб., 1904.*
*** См. книгу проф. Ковалевского "Душевное состояние Ивана Грозного" (Харьков, 1883) и статью г. Глаголева (Русский архив, 1902).*

Вступая на престол в 1533 году - трех лет от роду, - Иван Васильевич унаследовал от своих отца и деда московскую вотчину в том феодальном ее виде, который подробно охарактеризован нами выше. Московский великий князь был сюзереном бесчисленного количества крупных и мелких землевладельцев, "державших" от него свои земли - кто в качестве перешедшего на московскую службу удельного князя, кто в качестве мелкого вассала, "сына боярского", может быть, вчера еще только поверстанного в московскую службу из боярских "послужильцев", если не холопов. Разница между этими двумя полюсами московского вассалитета количественно была огромная, качественно же они оба принадлежали к одной категории: теоретически оба они подрядились служить своему сюзерену на известных условиях, и с устранением этих условий кончалась их обязанность служить. Теоретически: на практике соблюдение прав служилого человека всецело зависело от доброй воли, от силы и уменья того, кому он служил. Знаменитое "право отъезда" слуг вольных, о котором можно столько прочесть в старых "Курсах Русской истории", или никогда не существовало, или существовало в своем традиционном виде вплоть до Грозного - тот или иной ответ на этот вопрос будет зависеть от того, будем ли мы рассматривать это право вне связи с "силой" или нет. Сильный князь никогда не стеснялся казнить слабого отъездчика. В 1379 году правительство Димитрия Ивановича казнило боярина Вельяминова, отъехавшего с московской службы на тверскую; в то же время тверские и рязанские бояре свободно переходили на московскую службу - московский князь был сильнее, и с ним их прежние сюзерены не могли тягаться. А на словах право служилого человека выбирать, кому он будет служить, признавалось еще и в 1537-м, и даже в 1553 году. В летописи (1537) рассказывается, что князь Андрей

Иванович Старицкий, дядя великого князя, незадолго перед тем целовавший крест на том, что ему "людей от великого князя не отзывати", стал рассылать грамоты новгородским помещикам и в них писал: "Князь великий мал, а держат государство бояре, и вам у кого служить? Приезжайте служить ко мне, а я вас рад жаловать". Державшие тогда государство бояре тех помещиков, которые польстились на "жалованье" князя Старицкого, велели бить кнутом и вешать "по новгородской дороге не вместе и до Новагорода". А в 1553 году эти самые бояре, во время смертельной, как всем казалось тогда, болезни Ивана, рассуждали: "как служить малому мимо старого" - ребенку-сыну великого князя мимо взрослого потомка Ивана III, князя Владимира Андреевича Старицкого, сына того, что соблазнял новгородских помещиков на их гибель. И боярам казалось возможным променять малолетнего сюзерена на его взрослого соперника. Но такие случаи представлялись все реже и реже: московский князь фактически уже не имел при Грозном другого постоянного конкурента, кроме великого князя Литовского, а тот был католик, и переход на службу от царя всего православного христианства к "латинскому" государю, как бы он ни был бесспорен, с точки зрения феодального права, с точки зрения господствовавшей церковной теории, был, не менее бесспорно, невозможен для члена Православной церкви. Те, кто к этому прибегали, как Курбский, подвергали спасение своей души огромному риску в глазах не только одного Ивана Васильевича, а, вероятно, и большей части самого московского боярства. Внутри морально допустимых пределов переходить было не к кому: "право отъезда" вымирало не потому, чтобы его кто-нибудь отменил, а потому, что применять его на практике стало негде. Путем чисто количественного нарастания вотчина Калиты упраздняла очень существенную сторону феодальных отношений. Форма надолго пережила содержание. На бумаге еще помещик XVII века "договаривался" с правительством насчет условий своей жизни. "Быти ему на обышном коне, а с государственным жалованием будет на добром коне", записывалось в "десятне" о том или другом служилом человеке. Размерами вознаграждения - одна ли земля или земля и, кроме того, денежное жалованье - определялось качество службы. Стороны как будто и здесь еще торговались: но это был лишь обряд торга. На деле помещик не смел отказаться от той службы, какую ему предлагали, ибо в XVII веке даже и на минуту не могло появиться иного сюзерена, к которому можно было бы "отъехать", кроме царя и великого князя московского.

Ограничивалось ли это выветривание старорусского феодализма юридическими отношениями? Уже с первого взгляда такое изменение юридической надстройки при старом экономическом базисе являлось бы непонятным. Независимое положение вассала по отношению к сюзерену было политическим эквивалентом экономической независимости вотчины этого вассала от окружающей мира. Сидя в своей усадьбе, землевладелец лишь изредка, лишь, так сказать, в торжественные моменты своей жизни входил в непосредственные отношения с этим миром. В будничной жизни он ими все нужное у себя дома. Происхождение классической гордости средневекового рыцаря было, как видим, весьма прозаическое. И XVI веке в России - для Запада это были XII - XIV века, смотря па стране - целый ряд признаков показывает нам, что эта экономическая независимость феодальной вотчины уж не так велика, как веком-двумя ранее, наиболее заметным из этих признаков является стремление феодального землевладельца получать свой доходе

денежной форме. Мы помним, что крестьянский оброк в древне* русской вотчине уплачивался обычно продуктами: хлебом, льном, бараниной, сыром, яйцами и т.д. Если мы возьмем новгородские! писцовые книги, которые заключают в себе данные за несколько последовательных периодов, то мы увидим, что из всего этого устойчиво держится только хлебный оброк, тогда как сыр, яйца и баранина к середине XVI века отчасти, а к концу его без исключения заменяются деньгами*. Причины симпатии землевладельца к хлебу и антипатии к баранине мы скоро увидим; пока же заметим, что замеченный нами факт отнюдь не был местной, новгородской особенностью. "В 1567 - 1568 гг. в костромских дворцовых селах Дыбине и Сретенском с деревнями платили оброк посопным хлебом (рожью в зерне), а мелкий доход уже весь переведен на деньги. В 1592 - 1593 гг. в костромских вотчинах Троицкого-Сергиева монастыря выти, с которых не отбывалось изделье (барщина), все обложены были денежным оброком. От 90-х годов до нас дошел ряд описаний вотчин Троицкого-Сергиева монастыря в разных уездах московского центра, и чрезвычайно характерно, что везде оброк монастырю платится деньгами: об этом свидетельствуют писцовые книги уездов Московского, Дмитровского, Ярославского, Ростовского, Углицкого, Пошехонского, Солегалицкого. Из этих уездов о Пошехонском имеем известие, что там еще в 50-х годах оброк собирали посопным хлебом: так было в вотчине кн. П.А. Ухтомского в 1558 - 1559 гг., причем мелкий доход уже превращен в денежную форму. То же самое можно наблюдать в дворцовом селе Борисовском, Владимирского уезда, в 1585 году: мелкий доход здесь платился деньгами, а оброк посопным хлебом"**. Великий князь и его наместники не составляли в данном случае исключения в ряду других вотчинников, - и у них мы можем проследить этот денежный аппетит до значительно более ранней эпохи. Первая уставная грамота, переводящая натуральные повинности населения в денежные (Белозерская), относится к 1488 году. В ней перечислены как наместничьи "кормы", так и судебные штрафы в их первоначальном виде, в форме продуктов, но сейчас же идет и их замена: "за полоть мяса 2 алтына... за боран - 8 денег" и т.д. Введение денежных податей было поводом для появления большей части дошедших до нас уставных грамот начала XVI века - крестьянам Артемоновского стана 1506 года, бобровникам Каменского стана 1509 года, Онежского 1536 года, Андреевского села 1544 года и т.д.*** Административные заботы московского правительства имели, таким образом, вполне реальное, чисто экономическое основание.

** Рожков Н. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке. - М., 1899, с. 235 и др.*

*** Ibid., с. 238 - 239. Ссылки на соответствующие архивные документы там же.*

**** См, акты, собранные археологической и географической экспедицией, т. 1, passim.*

И большие и малые вотчинники стремились получать свои доходы не в прежней, неуклюжей форме непосредственно потребляемых продуктов. Им понадобилась форма более гибкая. Но эта новая, более гибкая, форма дохода - денежная - была бы бессмыслицей притом хозяйственном строе, в рамках которого сложилась феодальная вотчина. Там и деньги нужны были тоже в "торжественных случаях"

удельному князю, например, когда он собирался отправлять в Орду дань, и ему, и его подданным, когда они покупали заморское сукно, заморское вино или заморские фрукты. Ежедневные, будничные потребности удовлетворялись своими, домашними средствами - деньги для этой цели не были нужны. А раз деньги нужны были лишь изредка, не было и поводов стремиться к тому, чтобы свои доходы получать в денежной форме. Переход феодального вотчинника к денежному хозяйству стал, таким образом, только внешним выражением гораздо более крупной перемены. Эта перемена состояла в разрушении феодальной вотчины, как самодовлеющего экономического целого, и появлении землевладельца, прежде гордого в своем экономическом уединении, на рынке как в качестве покупателя, так и в качестве продавца.

Указание на связь вотчины с рынком, - связь не случайную, а постоянную, нормальную, так сказать, - встречается нам, впервые еще в одном памятнике XV века, возникшем, правда, на самой прогрессивной, экономически, окраине тогдашней России: в Псковской судной грамоте. В одном из поздних постановлений этой последней* говорится об обязанности "старого изорника", т.е. бывшего крестьянина, по окончании полевых работ, на Филиппово заговенье (15 ноября) "отказавшегося" от своего барина возы возити на государя. Хлеб и живность отправляли в город на рынок по первопутку, - а зима могла стать позже 15 ноября позже формального прекращения обязательств между "изорником и его бывшим "государем". Последний мог оказаться в затруднительном положении: есть, что продавать, а везти в город некому и не на чем. Ограждая интересы землевладельца, псковское право и оговаривало, что, хотя формально отношения и кончились, бывший крестьянин все же должен выполнить свою последнюю экономическую функцию - доставить продукты своего труда на рынок. "Повоз" упоминается и в московских документах XVI века**. Но не всегда крестьянин являлся на рынки только в качестве барского батрака. Самостоятельность отдельного мелкого хозяйства, связанного с центром вотчины лишь данями и оброками, вела к тому, что и продавцом продуктов крестьянин часто являлся за себя лично. Цитированный уже нами историк сельского хозяйства Московской Руси приводит очень живую картинку этого крестьянского торга из одного жития, начала XVI века, рассказывающего, как крестьяне окрестностей Переяславля-Залесского ходили "во град, на куплю несуще от своих трудов земленых плодов и прочево снена и от животных", "до светения утра, еще тме сущи, дабы на торговище ранее успети"***.

** Поздним его приходится считать потому, что им ограничиваются права крестьянина, - именно права иска его по отношению к барину, - ср. ст. 42 и 75. В тексте идет речь о последней.*

*** См., например, одну из уставных грамот Соловецкого монастыря 1561 года, цитируемую г. Лаппо-Данилевским (Крестьянский строй. - СПб., 1901, т. 1,с. 38).*

**** Рожков, назв. соч., с. 283.*

Чрезвычайно ценно это указание на существование мелких местных, так сказать, уездных рынков, цитированный нами автор приводит их целый ряд. Крупный обмен даже и предметами первой необходимости, особенно хлебом, существовал и

ранее, поскольку существовали крупные торговые центры, вроде Новгорода, с многолюдным не земледельческим населением. В XVI веке место Новгорода, сохранившего, однако, большую половину своего значения, заняла Москва, по словам иностранных путешественников, растянувшаяся на девять почти верст по течению реки Москвы и считавшая, во вторую половину царствования Грозного, более 40 000 дворов, т.е. не менее 200 000 душ населения*.

** Вот описание Москвы, какой она была в начале рассматриваемого периода, в 1525 году. Оно принадлежит итальянскому путешественнику Павлу Иовию и заимствовано нами из "Истории города Москвы" Забелина. 1, с. 143):*

"Город Москва по своему положению в самой средине страны, по удобству водяных сообщений, по своему многолюдству и, наконец, по крепости стен своих есть лучший и знатнейший город в целом государстве. Он выстроен по берегу реки Москвы, на протяжении пяти миль, и дома в нем вообще деревянные, не очень огромны, но и не слишком низки, а внутри довольно просторны; каждый из них обыкновенно делится на три комнаты: гостиную, спальную и кухню. Бревна привозятся из Герцинского леса; их отесывают по шнуру, кладут одно на другое, скрепляют на концах - и, таким образом, стены строятся чрезвычайно крепко, дешево и скоро. При каждом почти доме есть свой сад, служащий для удовольствия хозяев и вместе с тем доставляющий им нужное количество овощей; от сего город кажется необыкновенно обширным. В каждом почти квартале есть своя церковь; на самом же возвышенном месте стоит храм Богоматери, славный по своей архитектуре и величине; его построил шестьдесят лет тому назад Аристотель Болонский, знаменитый художник и механик. В самом городе впадает в р. Москву речка Неглинная, приводяща в движение множество мельниц. При впадении своем она образует полуостров, на конце коего стоит весьма красивый замок с башнями и бойницами, построенный итальянским архитектором. Почти три части города омываются реками Москвою и Неглинною, остальная же часть окопана широким рвом, наполненным водою, проведенною из тех же самых рек. С другой стороны город защищен рекою Яузою, также впадающею в Москву несколько ниже города".

А вот как описывает Москву Флетчер, видевший ее в 1588 году: "Город почти круглый; он окружен тремя рядами толстых стен, отделенных друг от друга улицами. Внутренняя ограда и находящиеся в ней здания служат местом жительства императора. Город защищается рекой Москвой, которая течет вокруг него, и пользуется такой же безопасностью, как сердце в средине тела. Мне говорили, что во время переписи, незадолго перед сожжением города татарами, засчитали 41 500 домов. После осады и пожара в (1571 году) видны обширные пустые пространства, которые еще недавно были покрыты домами, в особенности в южной части, которая была построена императором Василием для его солдат... В настоящее время город Москва немного больше, чем Лондон..." ("О государстве Русском", глава IV).

Флетчеру, бывшему здесь при Федоре Ивановиче, город показался не меньше Лондона, а есть основание верить его утверждению, что Москва сильно пострадала к этому времени от татарского набега 1571 года и, нужно прибавить, от общего экономического кризиса, опустошившего все города Центральной России*. Москва должна была втягивать огромное количество продуктов сельского хозяйства, и 700 - 800 возов с зерном, въезжавших ежедневно в Москву по одной только ярославской дороге, о которых рассказывает один из тех же иностранных путешественников, по всей вероятности, вовсе не были преувеличением. Но здесь было еще все-таки лишь количественное изменение, сравнительно с предшествующей эпохой, хотя количество и тут переходило уже в качество. С точки зрения экономической эволюции, гораздо интереснее те мелкие городские центры, какие мы встречаем в Средней и Северной России за то же царствование Ивана Грозного и его преемника. Мы приведем только несколько примеров. Смоленский Торопец - когда-то вотчина Мстислава Мстиславича Удалого - в XVI веке "имел средние размеры и не отличался процветанием торга". Тем не менее в нем в 1540 - 1541 годах было 402 тяглых двора - на 80 служилых, 79 лавок и 2400 человек приблизительно населения. В Сольвычегодске, во вторую половину того же века, было около 600 тяглых дворов, т.е. не меньше 5000 жителей: а "эти места не отличались ни населенностью, ни оживлением". В не менее медвежьем углу, Каргополе, документы 1560 года считают 476 тяглых дворов, т.е., самоё меньшее, до двух с половиною тысяч жителей. На юг от Москвы, в Кашире, в конце семидесятых годов того же века было "около 400 посадских дворов и значительный торг, заключавший больше 100 лавок". Даже разрушение Каширы татарами, которые выжгли город дотла, не убило ее торгового значения. В Серпухове уже к 1552 году успела запустеть пятая часть посада, и тем не менее оставалось еще более 600 дворов и 250 лавок**. Мы видим отсюда, как неосторожно было бы представлять себе город Московской Руси в виде крепости, населенной почти исключительно военнослужилыми людьми. Как ни скромны приведенные цифры торгово-промышленного населения по нашему теперешнему масштабу, для средневековой страны, какой была Московская Русь XVI века, это дает право говорить о буржуазии, как о достаточно выделившемся общественном классе и как о социальной силе, влияние которой не могло не сказаться в критические минуты. Апогея своего это влияние достигло в дни Смуты, когда буржуазия оказалась в силах выдвинуть своего царя и поддерживать его несколько лет. Но уже политические деятели эпохи Грозного считаются с этой силой, тем самым заставляя с ней считаться и историка.

** О размерах запустения можно судить по следующим данным: в Коломне в 1578 году было 32'/2 двора жилых на 662 пустых: в Можайске по переписи 1595 - 1598 годов - 205 жилых дворов, 127 пустых и 1446 пустых дворовых мест. См.: Платонов. Очерки по истории Смуты, с. 46 - 47.*

*** См. для всех этих данных цит. соч. проф. Платонова, т. 1, passim. Выдержки в кавычках взяты оттуда же.*

Но не только буржуазия выделялась из массы сельского населения, буржуазные отношения стали проникать и в среду этого последнего. Было бы очень странно

представлять себе отношения всех крестьян XVI века к землевладельцам по образу и подобию отношения теперешних арендаторов к теперешним помещикам, как это иногда делалось в литературе. Но царствование Грозного знает уже и настоящие случаи денежной аренды, притом не только крестьянской. В 1560 году игумен одного монастыря бил челом царю о том, чтобы монастырю отдали на оброк дворцовые земли - они были нужны для округления монастырского хозяйства. Из ответной царской грамоты мы узнаем, что эти земли и раньше были на оброке у помещиков братьев Щепотьевых. Игумен "наддал оброку" 25 алтын и перебил землю у прежних арендаторов. А в выписи из рязанских писцовых книг, относящейся к 1553 году, мы находим монастырские села и деревни "в нагодчине за детьми боярскими", причем "нагодчина", ежегодная плата за землю, везде выражена в денежной форме - полтина, две гривны, десять алтын, а начало арендных отношений возводится еще ко временам великих князей рязанских, на грамоты которых ссылается московская писцовая книга*. Древнейшие крестьянские "порядные", дошедшие до нас, недаром относятся именно к этому времени: это не значит, что раньше порядных вовсе не было; весьма возможно, что отдельные их образчики от более ранней эпохи просто не дошли до нас. Но чем такие документы становились чаще, тем больше вероятия было, что отдельные экземпляры и встретятся исследователям. В самом раннем из них, от 1556 года, "оброк", т.е. арендная плата, выражена не в деньгах, а в хлебе: "хлеба, ржи и овса, 5 коробей, в новую меру, из года в год, и из леса пятой сноп, а из Заозерья шестой сноп"**. Но это вовсе не доказывает господства натурального хозяйства, а скорее наоборот: желание землевладельца получить участие в прибылях от продажи хлеба. При наличности рынка хлеб был те же деньги - особенно в руках монастыря, каким и был землевладелец в настоящем случае. Соловецкий монастырь, например, в конце 50-х годов XVI века закупал до 3 тыс. четвертей ржи ежегодно, а в 80-х годах до 8 тыс. четвертей. Троице-Сергиевский к одному только устью Шексны, где монахи забирали свои рыбные запасы, отправлял по несколько лодок, в каждой по сто четвертей ржи, "да тридцать пуд соли". Если в первом случае и можно допустить, что весь хлеб шел на нужды самого монастырского хозяйства, то размеры закупки указывают на почти капиталистические размеры этого последнего; и из других источников мы знаем, что в Соловках, кроме 270 человек братии, было до 1000 "работных людей" в самом монастыре, как и на промыслах, главным образом, солеваренном***. Торговля солью уже тогда была одним из крупнейших зачатков торгового капитализма и составляла почти монополию монастырей в Московской, как и в Киевской Руси. Соловецкий продавал ежегодно до 130 тыс. пудов соли. Кириллово-Белозерский торговал ею "на Двине, и во Твери, и в Торжку, и на Угличе, и на Кимре, и в Дмитрове, в Ростове, и на Кинешме, и на Вологде, и на Белоозере с пригороды и по иным местам: где соль живет поценнее, и они тут и продают", - наивно признавались в своем барышничестве монастырские власти. Второстепенные монастыри (как, например, Свияжский Богородицкий) продавали по 20 тыс. пудов соли в год. Рядом с этим монастыри вели обширный торг и другими продуктами: рыбой, маслом, скотом. Монастырские склады в Вологде занимали шестьдесят сажен в длину и восемь в ширину. Когда Кириллов монастырь, в конце XVI века, перенес свой торг на новое место, туда же пришлось передвинуть и царскую таможню - до такой степени

обитель являлась коммерческой столицей края****. Если монастыри барышничали, почти без соперников, солью, то по части барышничанья другими предметами первой необходимости остальное общество не отставало от них. По связи с монастырями характерной является коммерческая роль духовенства, на которую имеется целый ряд указаний. К тому священнику-прасолу из Пошехонского уезда, который "от дальних стран скот приводил и отводил от человеков к иным человекам" - его извлек из одного жития XVI века Н.А. Рожков, - можно прибавить лицо, исторически и литературно весьма знаменитое, руководителя Грозного в дни его "добродетели", благовещенского протопопа Сильвестра. Наставляя своего сына быть честным в расплатах, Сильвестр приводит истинно буржуазные доводы, под которыми охотно подписался бы любой средневековый купец. "А сам у кого что купливал, ино ему от меня милая разласка: без волокиты платеж, да еще хлеб да соль сверх; ино дружба в век; ино все да мимо меня не продаст. А кому что продавывал, все в любовь, а не в оман... ино добрые люди во всем верили, пздешние и иноземцы". Это участие московского протопопа в заграничной торговле интересно потому, что указывает на круг его отношений и знакомств: мы увидим дальше, что некоторые проекты первой половины царствования Грозного приходится поставить в связь именно с этим кругом. Заграничный торг уже тогда не был ничтожным, что и вполне естественно, если мы припомним, что падение Новгорода вовсе не было обрывом коммерческих сношений с заморскими странами, а лишь сосредоточением их в самой Москве. В 60-х годах прибавилось еще одно "окно в Европу" - открытый англичанами путь по Северной Двине, через Архангельск; но и это, конечно, отнюдь не упразднило старого пути. Флетчер уверяет, что пока Нарва была в русских руках (с 1558 по 1581 год) из нее выходило ежегодно не менее 100 кораблей, "больших и малых", только со льном и коноплею. Воску вывозилось будто бы до 50 тысяч пудов, сала - до 100 тысяч, кожи до 100 тысяч штук в год. Падение вывоза к царствованию Федора Ивановича - втрое, а иногда вчетверо - он приписывает неудачам русской внешней политики: связь этой последней с коммерческими интересами мы рассмотрим в своем месте. По поводу же Сильвестра стоит еще отметить, что он, помимо того, что сам занимался торговлей, готовил к той же деятельности и других: многие из его воспитанников, по его рассказу, "рукодельничают всякими промыслы, а многие торгуют в лавках; мнози гостъбу деют в различных странах всякими торговлями". Наставник царя Ивана был недаром автором умеренного и аккуратного, истинно мещанского "Домостроя", он же был родоначальником и коммерческого образования в России.

** Акты, относящиеся ко времени до истории тягл, населения, изданные Дьяконовым, т. 2, п. 19. Писцовые книги Рязанского края, изданные В. Сторожевым, т. 1, с. 422.*

*** Акты юридические, N 177. Приведены у Сергеевича (Древности русского права, т. 1, изд. 3-е, с. 210).*

**** Платонов, цит. соч., с. 7; Рожков, цит. соч., с. 272 - 274.*

***** Ср. Платонов, цит. соч., с. 33 - 34; Костомаров. Очерк торговли Московского государства, с. 451 - 153.*

Если верить одному моралисту-проповеднику первой половины XVI века, который сам был, впрочем, весьма плохим образчиком добродетельного жития, увлечение торговлей было в те дни чем-то вроде повальной болезни, отбивавшей людей от всяких других занятий. "Всяк ленится учиться художеству, все бегают рукоделия, все щапят торговати, все поношают земледелателем"...* Но, по крайней мере, об одном классе общества, кроме духовенства, то же решительно утверждают и иностранцы, вовсе не склонные к морализированию. Объясняя вздорожание хлебных цен в 80-х годах, Флетчер говорит: "Виновата была в этом не столько земля, сколько происки дворян, барышничающих хлебом**. Действительно, цены на хлеб в XVI веке поднимались с правильностью и неуклонностью, совсем не зависевшими от случайного неурожая. По исследованиям Рожкова, влияние урожаев на хлебные цены тогда было не сильнее, чем теперь: между тем "в западном Полесье (нынешние Новгородская и Псковская губернии) в самом начале столетия рожь стоила около 7 московок за московскую четверть, а к 60-м годам ценность ее увеличилась втрое - до 21 с лишком деньги. В центре (Московская и прилегающие к ней губернии) с 5 денег в 20-х годах XVI века цена четверти ржи поднялась в следующем десятилетии до 20 денег, в 50-х и 60-х годах - до 30, а в 80-х годах - даже до 40 денег. На севере (губернии Архангельская, Вологодская и Олонецкая) до 20-х годов включительно 14 д. за четверть ржи считались уже дорогой ценой, а в 60 - 70-х годах нормальной была здесь уже цена в 20 - 25 денег за четверть, в 80-х - в 40, а в 90-х даже в 50 денег и более"***. А что землевладельцы были в ценах на хлеб непосредственно заинтересованы, доказывает то распространение оброка "посопным хлебом", которое мы уже отмечали выше.

** Из проповедей митрополита Даниила, цит.: Жданов. Соч., т. 1, с. 233, прим. 2.*
*** О государстве русском, гл. 3.*
**** Цит. соч., с. 210, ср. с. 286.*

Хлебный оброк или участие помещика в доле урожая был самым простым способом извлечения денег из своего имения в земледельческих местностях - как денежный оброк в неземледельческих. За одно и то же время (1565 - 1568) в Вотской пятине, нынешней Петербургской и отчасти Выборгской губерниях, посопный хлеб и доля урожая составляли 84,1% всего оброка, а деньги лишь 15,9%: а в Обонежской пятине, "по естественным своим условиям примыкающей уже к Северу", хлебный доход помещика, в обеих его формах, не превышал 25%, а денежный давал более 75% всего дохода. Но колоссальный, как мы сейчас видим, рост хлебных цен должен был толкать помещиков земледельческой России к новым, более сложным формам производства. Уже и тогда находились люди, которым традиционное, мелкое крестьянское хозяйство не казалось достаточно производительным. Это мелкое хозяйство было рассчитано на удовлетворение потребностей своего двора: на барский двор шла меньшая часть урожая, - четверть или треть, по новгородским писцовым конца XV века*. Но теперь выгодно было забирать себе все, за вычетом необходимого на пропитание самих работников. В предшествующий период барская пашня служила только для удовлетворения потребностей барского двора и оттого была, обычно, очень невелика по

размерам**. Уже исследователь новгородского хозяйства конца XV века заметил в этом случае довольно резкую перемену. "Собственная боярская запашка в Новгороде только в редких случаях достигала 5 обеж на одну семью; обыкновенно же она не превышала 3 обеж. Напротив, с водворением московского владычества боярская запашка значительно увеличивается. Большие семьи, состоявшие из нескольких помещичьих дворов, запахивали нередко на себя по 16 и 17 обеж. Так, князь Дмитрий с детьми имел запашку в 17 обеж, князь Борис Горбатый с матерью - - 16. Но и у отдельных помещичьих семей собственная запашка была нередко довольно значительная. Тот же князь Горбатый запахивал исключительно на себя 12 обеж; Гордей Сарыхазин располагал запашкой точно в таком же размере"***. Обработка этой расширившейся барской пашни производилась руками барских же людей - холопов; о только что упомянутом Гордее Сарыхазине писцовая книга говорит: "И из тех обеж Гордей пашет на себя с своими людьми 12 обеж". В главе о русском феодализме мы имели случай отметить роль холопов, как военных сотрудников своего господина; теперь начинается их экономическая утилизация. Каких размеров она достигала, показывает завещание одного богатого человека времен молодости Грозного, князя Ив. Фед. Судцкого, писанное в 1545 - 1546 годах. По завещанию можно насчитать не менее 55 семей холопов, которых князь оставляет в наследство своей жене и дочерям, не считая отпускаемых им на свободу: из них 50 семей людей деловых страдных, обрабатывавших княжескую пашню. Десять лет спустя, в духовной другого богатого помещика, мы встречаем, кроме "страдных слуг" - просто пашенных холопов - еще страдных людей, кабальных, работников, закрепощенных путем займа. Любопытно, что и теми и другими одинаково завещатель распоряжается совершенно свободно, как своею собственностью, считая их "головами", как скот****. Так уже в 50-х годах XVI века явственно намечается один из корней будущего крепостного права.

** Ibid., с. 242.*

*** Русская история, ч. 1, с. 29.*

**** Никитский. История экономического быта Великого Новгорода, с. 210.*

***** См. акты, собранные Лихачевым, т, 1, с. 16 - 17, 29.*

Холопский труд на пашне был очень распространен в первой половине столетия: по подсчету Н. А. Рожкова, в Тверском уезде в 1539 - 1540 годах на помещичьих землях барские дворы составляли 4,5%, холопские - 8,8%, крестьянские - 86,7% общего числа земледельческих дворов*. В отдельных имениях процент холопских дворов заходил и выше 10. Но даже с искусственным расширением контингента "страдников", посредством закабаления свободных крестьян, барская пашня росла все же быстрее, чем количество занятых в ней холопских рук. Помещик с лихорадочной торопливостью стремился увеличить площадь земли, доход с которой шел целиком ему, - захватывал не только отдельные крестьянские дворы, почему-нибудь запустевшие, но и целые деревни и починки. Уже в новгородских писцовых перед нами мелькают такие записи: "Деревня (такая-то)... дв. княжой человек (такой-то) пашет ее на князя". В московских подобных примеров гораздо больше. Вот один из типичных: "За Яковом за Семеновым сыном Якушкина отца его поместье сельцо Сушино... да к тому же сельцу припущены в пашню: пустошь

Скородная, да пустошь, что был починок Боровой, а поставлен на той же сельской земле, а в нем двор помещиков, да людских пять дворов, да двор пуст..." Там, где было раньше целых три крестьянских поселка, расположился один помещик с пятью семьями своих дворовых. Или: "За Иваном за Тимофеевым сыном... треть пустоши, что была деревня... да две пустоши спущены пашнею вместе, да жеребей пустоши..."**. Отдельные некрупные землевладельцы еще могли обходиться при расширении своей запашки холопским трудом, но крупный собственник, организуя свое хозяйство, должен был искать более обширного резервуара рабочих рук. И уже очень скоро помещик напал на мысль - расширять в этом направлении натуральные повинности сидевших на его землях крестьян. Первые образчики развития барщины мы встречаем, как и следовало ожидать, на земле церковной: в знаменитой грамоте митрополита Симона, которая некогда играла такую роль в спорах о возникновении русской поземельной общины. Мы уже упоминали, что доказательством существования общины этот случай никак служить не может - упоминающийся в грамоте передел произведен был не крестьянами, а вотчинником***. Но напечатанный в полном виде лишь в недавнее время документ оказался имеющим капитальную важность в другом отношении: им непререкаемо устанавливается наличность правильно организованной издельной повинности крестьян уже на рубеже XV и XVI веков. Барщина была на первый раз не тяжелая: на каждые пять десятин своей земли крестьянин должен был пахать одну десятину церковной. Это было, однако, уже усиление барщины: поводом к грамоте было то, что крестьяне "пашут пашни на себя много, а монастырские пашни пашут мало". В имении было уже заведено трехпольное хозяйство - культура была, по-тогдашнему, довольно интенсивная. Еще более интенсивное хозяйство мы находим лет сорок спустя в дворцовых вотчинах великого князя - и тоже наряду с урегулированной барщиной: в Волоколамском уезде дворцовые крестьяне обязаны были на каждые шесть десятин своей земли пахать седьмую на великого князя, причем точно были определены размеры посева на этой десятине - "2 четверти ржи, а овса вдвое". Великокняжескую землю крестьяне должны были и унаваживать за свой счет, причем опять-таки точно были определены не только количество "колышек" навоза на десятину, но и размеры каждой колышки****. Имения средних и мелких владельцев долго должны были дожидаться столь рационального хозяйства. Но барщина и здесь появляется довольно скоро: даже исследователь, который утверждает, что до конца XVI века "барщины не существовало", приводит целый ряд указаний на барщинные имения в первой половине столетия, и ряд этот мог бы быть еще увеличен*****. Рядом с кабальным хозяйством завязывался и другой корень крепостного права - с дальнейшим его ростом мы познакомимся, изучая экономическую жизнь Московской Руси XVII века. Для современного читателя, привыкшего рассматривать "крепостное хозяйство", как синоним регресса, странно встретить первые зачатки крестьянской крепости в связи с интенсификацией культуры; но для феодальной вотчины, не знавшей пролетариата, было невозможно построить новую систему хозяйства на чем-либо, кроме подневольного труда в той или иной его форме. Стоит отметить, как характерный симптом, попытки вести хозяйство вольнонаемными рабочими: в 50-х годах на монастырских землях мы уже встречаем "детенышей" - сроковых работников на денежной плате, как показывает название вербовавшихся сначала из ушедших на заработки младших

членов крестьянских семей. Но сколько-нибудь значительного развития сельский пролетариат достиг только к самому концу рассматриваемого периода, когда, на фоне всеобщей "разрухи", рабский труд окончательно укоренился как господствующая форма эксплуатации, и к услугам рабовладения был весь аппарат государственных учреждений. Необходимое условие для развития буржуазного хозяйства стало намечаться тогда, когда никаких предпосылок для этого хозяйства уже не было.

** Цит. соч., с. 140.*

*** Первый пример взят из писцовых книг, изданных Калачевым, т. 1, ч. 2, с. 700 - ср. там же, с. 709, 718, 719, 721 и др. Второй - из писцовых книг Рязанского края, изданных Сторожевым, т. 1, с. 169 - ср. с. 172 - 173 и др.*

**** Русская история, т. 1, с. 3.*

***** Оба документа и грамота митрополита Симона и сотная 1544 года о дворцовых имениях Волоколамского уезда напечатаны впервые г. Милюковым в его "Спорных вопросах финансовой истории Московского государства", с. 32, прим. 1 и 2.*

****** Рожков Н.А., цит. соч., с. 129 и 153 - 154. Ср. А. Ю. N177 и 178.*

В ту эпоху, которую мы рассматриваем теперь, - в первую половину царствования Грозного, - аграрный кризис был еще далеко впереди, и печальный конец начинавшегося хозяйственного расцвета никем не предчувствовался. Деньги и денежное хозяйство были внове, все стремились к деньгам, и все "щапили торговати". Превращение хлеба в товар сделало товаром и землю, которая давала хлеб. Охотников на этот товар было много, и редко когда в Древней Руси земельная мобилизация шла более бойко, нежели в первой половине XVI века. Но раз землю много и часто покупали, значит кто-то продавал землю, т.е. обезземеливался. Один разряд терявшего землю населения мы уже видели в главе II: то было мелкое вотчинное землевладение, крестьяне-вотчинники. Но обезземеливались не только они: на крайнем противоположном полюсе, среди крупнейшего вотчинного боярства, мы замечаем то же явление. Два условия вели к быстрой ликвидации тогдашних московских латифундий. Во-первых, их владельцы редко обладали способностью и охотой по-новому организовать свое хозяйство. Человек придворной и военной карьеры, "боярин XVI века был редким гостем в своих подмосковных и едва ли когда заглядывал в свои дальние вотчины и поместья; служебные обязанности и придворные отношения не давали ему досуга и не внушали охоты деятельно и непосредственно входить в подробности сельского хозяйства"*. Во-вторых, феодальная знатность "обязывала" и в те времена, как позже: большой боярин или медиатизированный удельный князь должен был, по традиции, держать обширный "двор", массу тунеядной челяди и дружину - иногда, как свидетельствует Курбский, в несколько тысяч человек. Пока все это жило на даровых крестьянских хлебах, боярин мог не замечать экономической тяжести своего официального престижа. Но когда многое пришлось покупать на деньги - деньги, все падавшие в цене год от году, по мере развития менового хозяйства - он стал тяжким бременем на плечах крупного землевладельца. Историк служилого землевладения в XVI веке приводит трогательный, можно сказать, эпизод, ярко

рисующий эту сторону дела. В 1547 году царь Иван просватал дочь одного из знатнейших своих вассалов, князя Александра Борисовича Горбатого-Шуйского, за князя И.Ф. Мстиславского - тоже из первых московских бояр. И вот оказалось, что матери невесты не в чем выехать на свадьбу, ибо муж ее, отправляясь на царскую службу, т.е. мобилизуя свою удельную армию, заложил все, что только можно было заложить, в том числе и весь женин гардероб...** Мелкий вассалитет был в этом случае в гораздо более выгодном положении: он не только не тратил денег на свою службу, но еще сам получал за нее деньги. Денежное жалованье мелкому служилому человеку все более и более входит в обычай в течение XVI века. Если прибавить к этому, что маленькое имение было гораздо легче организовать, чем большое, легко было "спустить вместе" две-три деревни или починка и совсем невозможно проделать эту операцию над несколькими десятками и сотнями деревень; что мелкому хозяину легко было лично учесть работу своих барщинных крестьян и холопов, а крупный должен был это делать через приказчика, который весьма охотно становился фактическим хозяином, то мы увидим, что в начинавшейся борьбе крупного и среднего землевладения экономически все выгоды были на стороне последнего. И, экспроприируя богатого боярина-вотчинника в пользу мелкопоместного дворянина, опричнина шла по линии естественного экономического развития, а не против него. В этом было первое условие ее успеха.

** Ключевский В. Боярская дума. - Изд. 3-е, с. 313.*
*** Рождественский. Служилое землевладение XVI в. - СПб., 1907, с. 83.*

Публицистика и реформы

Политические последствия основного экономического факта эпохи - Боярское правление, кормления, их значение при натуральном и денежном хозяйстве - Отношение населения к кормленщикам; бунт 1547 года - Вопрос о древнерусской публицистике; Пересветовские писания как отражение происшедшего социально-экономического переворота - "Правда" и "вера" - Критика удельного способа управления; проект замены вассалитета чиновничеством на жалованье - Апология вольного труда - Пересветов как идеолог помещичьей массы: отношение к купечеству, к крупным феодалам - Царь и "убогие воинники" - Местничество как орудие классовой борьбы - Захват помещиками местного управления; теории помещичьей публицистики и практика губного сыска - Интересы "воинников" и интересы буржуазии; их противоречие (плательщики и получатели) - "Царские вопросы" и идеология посадской массы - "Собор примирения", ревизия вассалитета - Государственное управление и торговый капитализм: проекты реформы косвенных налогов и упразднение внутренних таможен - Земские учреждения Грозного

Политические последствия основного экономического факта эпохи - кризиса крупного вотчинного землевладения - сказались очень скоро. Уже в первой

половине XVI века боярство чувствовало, что почва под ним колеблется, и принимало меры для упрочения своего пошатнувшегося положения. Меры эти и их последствия очень сжато и выразительно описаны в одном правительственном документе, относящемся к пятидесятым годам столетия. "Прежде жаловали мы, - говорится от царского имени в этом документе, - бояр своих и князей, и детей боярских, давали им города и волости в кормления, и нам от крестьян челобитья великие и докука была беспрестанная, что наместники наши и волостели и их пошлинные люди, сверх нашего жалования указу, чинят им продажи и убытки великие, а от наместников и от волостелей и от их пошлинных людей нам докука и челобитья многие, что им посадские и волостные люди под суд на поруки не даются, и кормов им не платят, и их бьют, и в том меж их поклепы и тяжбы великие...* Чтобы понять этот текст, нужно ясно представить себе, что такое были наместники и волостели удельной Руси. Это отнюдь не было что-либо похожее на современных нам губернаторов или даже на воевод XVII - XVIII веков, как и удельный князь не был похож на современного нам государя. Для князя его княжение было, прежде всего, источником доходов в виде дани, судебных пошлин и тому подобного. Доходы эти в натуральной форме он не везде мог собирать сам, и иногда для него было выгодно в той или другой местности сдать их в аренду менее крупному феодалу. Тот и, является роли княжеского наместника, "кормленщика", как его еще называли, потому что он кормился от своей должности. То была в полном смысле слова натуральная администрация, точно соответствующая всем условиям натурального хозяйства. Арендовавший княжеские доходы боярин въезжал в волость со всей своей дворней, поставляя, таким образом, натурой всю местную администрацию. Его холопы и мелкие вассалы, "послужильцы", становились в волости судьями, полицейскими, сборщиками податей - "пошлинными людьми", по выражению цитированной нами грамоты, ибо в сборе разного рода пошлин была их главная функция. Кормление было, стало быть, своего рода предприятием весьма доходным, если верить одному современному публицисту, утверждающему, что где приходилось взять в царскую казну десять рублей, в боярский карман попадало сто. Официальный документ не противоречит этому, рисуя картину неистовых вымогательств, от которых "на посадах многие крестьянские дворы, а в уездах деревни и дворы запустели, и наши (царские) дани и оброки сходятся не сполна". Нас, конечно, и в этом случае не должна смущать обычная форма древнерусских документов и летописей, изображающих дело так, что царь давал волости и города в кормления: в тридцатых и сороковых годах на престоле всемирного православного царства сидел ребенок, который ничего никому давать не мог. Нищавшие вотчинники сами жадно разбирали кормления, видя в этом единственное средство поправить свои дела, особенно с тех пор, как "дани и оброки" были переверстаны на деньги и арендованные великокняжеские доходы стали поступать в наиболее выгодной для арендаторов форме. В колоссальном злоупотреблении кормлениями и заключались те "ужасы" боярского правления, о которых так много приходится слышать и от современников, и от позднейших историков. А народный бунт 1547 года, внешним поводом к которому был грандиозный Московский пожар, объединил в один огромный взрыв все те мелкие "сопротивления властям", о которых упоминает та же цитированная нами грамота. Что бунт был вовсе не случайным смятением на

пожарище, доказывает его дата: он начался на пятый день после того, как пожар потушили. А то, что жертвой бунта стал тогдашний глава московского правительства, дядя Грозного князь Юрий Васильевич Глинский со своими чиновниками, совершенно определенно подчеркивает политические причины движения. Надо сказать, что движение и не было местным московским; зачинщики его нашли убежище "в иных градах": их укрыла вся Русская земля. "Предприятия" кормленщиков всех против них озлобили - и бедняков, которые не находили у них никакой управы, и богатых, которых кормленщики систематически грабили. Достаточно привести один из приемов кормленщицкого управления, чтобы настроение имущих слоев по отношению к боярской администрации стало нам совершенно ясно. "Вельможи царские в городах и на волостях, - рассказывает тот же публицист, - своим лукавством и дьявольским прельщением додумались до того, что стали выкапывать новопогребенных мертвецов из земли, зарывая потом обратно пустые гроба; а выкопанного мертвого человека, исколовши рогатиной или иссекши саблей, да вымазав кровью, подкидывали в дом к какому-нибудь богачу; а потом находили истца-ябедника, который Бога не знает, да осудив богатого неправедным судом, все подворье его и богатство грабили". На этом примере особенно ярко видно противоречие интересов кормленщика и всего населения: первый жил, больше всего другого, судебными пошлинами; чем больше было преступлений в его округе, тем выше был его доход. А обществу, и как раз командующим слоям его, тем больше нужно было порядка и обеспеченности, чем оно экономически было развитее, а мы видели уже, каким темпом шло экономическое развитие русского общества в дни Грозного. То, что разрушало экономический базис боярства, готовило ему и противников, и когда после казанского похода "государь пожаловал кормлениями всю землю", это было ответом на единодушные заявления не одного "простого всенародства", бунтовавшего в 1547 году, а всех, кроме только самих бояр. Некоторые из этих заявлений до нас дошли. Важская уставная грамота 1552 года, например, в своей самой существенной части просто переписывает челобитную самих важан, даже со всеми "комплиментами" челобитчиков по адресу их наместников и волостелей, которых важане попросту сравнивали с "татями, костерями и иными лихими людьми" - разбойниками. Но то, что другие заявления этого рода до нас не дошли, отнюдь не значит, что их и не было. Было даже нечто большее простых челобитных - был целый, сознательно выработанный план реформ, нашедший себе и частное и официальное выражение под пером первых русских публицистов, и в форме вопросов, с которыми царь Иван обращался к Стоглавому собору.

** Жалованная грамота переяславским рыболовам 1555 года//Акты, изданные археологической и географической экспедицией, т. 1, N 242.*

И публицистика 40 - 50-х годов, и "царские вопросы" интересны особенно потому, что они дают нам возможность вскрыть те социальные силы, которые стояли за так называемыми реформами Грозного. Изображать эти реформы, как продукт государственной мудрости самого царя и тесного кружка его советников, уже давно стало невозможно. Участие в реформах самого населения - и притом в качестве инициатора - также давно признано*. Но в анализе этого факта

обыкновенно не шли дальше ссылок на "ход дел" и "силу вещей". Ценные сами по себе, как признание материального фактора движущею силой истории, они не дают нам однако же, представления, в какую конкретную форму облекалась "сила вещей" в этом случае. Хозяйственные перемены, наблюдавшиеся нами в начале этой главы, должны были выдвинуть новые общественные классы, или, по крайней мере, новые социальные группы. То было среднее землевладение, успешно сживавшееся с условиями нового менового хозяйства, то была буржуазия, исстари сильная в самой Москве, благодаря этому хозяйству, получившая со всем особенное значение и влияние далеко за пределами столицы. Как оба класса должны были относиться к хозяевам удельной Руси, крупному феодальному землевладению, мы сейчас видели на отдельном примере. Но это отношение вовсе не приходится констатировать по глухим намекам источников, как можно бы, пожалуй, подумать. Оно вполне отчетливо было формулировано еще современниками, и в установлении этого факта заключается крупное научное открытие, до сих пор недостаточно учтенное историками, специально изучавшими наш XVI век, хотя первые указания на сознательную планировку реформ, шедшую гораздо дальше того, что в действительности осуществилось, относятся еще к семидесятым годам прошлого столетия**. Особенный скептицизм вызывало существование современной Грозному публицистики, хотя, казалось бы, само по себе было ясно, что переписка царя с Курбским не могла быть изолированным фактом. Формулировать свои политические взгляды на бумаге, защищать их с пером в руке не могло же быть индивидуальной привычкой двух человек. Скептицизму много помогало твердо укоренившееся убеждение в поголовной безграмотности старой Московской Руси, но и это убеждение должно было поколебаться хотя бы у тех, кто знал, что для занятия некоторых должностей (губного головы, например, о котором будет еще речь ниже) уже при Грозном требовался минимальный образовательный ценз - грамотность, - кто знал, какую роль играли в те времена люди пера и бумаги, дьяки, в глазах иностранцев часто бывшие вершителями судеб государства. "Читающей публики", в нашем смысле, конечно, не было, но в любом медвежьем углу могли найтись люди, умевшие прочесть написанное и рассказать содержание его своим соседям***. Печатать было, пожалуй, еще не для кого - печатный станок и заведен был при Грозном только для богослужебных книг, но писать было кому, и то, что нравилось, приобретало достаточно широкое распространение, чтобы влиять на умы, по крайней мере, верхних командующих слоев. Так возник целый ряд произведений, в привычную для того времени форму притчи, апокрифа или нравоучительного исторического рассказа влагавших очень деловое содержание. То была иногда челобитная, будто бы поданная царю каким-то служилым человеком, то разговоры, которые будто бы вели о России заграничные знаменитости того времени, то повести о чужих землях и царях, в которых, однако же, нетрудно было узнать Московское государство и Ивана Васильевича, то откровения святых чудотворцев. Большая часть дошедших до нас произведений этого рода связана с именем лица, несомненно, легендарного, что, конечно, не мешало ему иметь однофамильцев и в действительной жизни, "выезжего из Литвы" Ивана Семеновича Пересветова****. Прошедший "весь свет" "воинник", служивший на своем веку и "Фордынальческому", и "Янушу, угорскому королю", и Петру "волоскому

воеводе", был чрезвычайно удобной ширмой для резкой критики отечественных порядков: с одной стороны, он импонировал своим авторитетом полуиностранца, видавшего тогдашнюю Европу и могшего сослаться, при случае, на ее порядки; с другой, именно как с иностранца, что с него возьмешь, коли он и погрешит чем против православной старины. А грешит в этом случае наш памфлетист много. Его этико-религиозные взгляды поражают своей широтой, если припомнить, что дело идет о современнике Стоглавого собора. Церковная идеология совершенно чужда этому в высшей степени светскому человеку. Пересветов недаром выехал из Литвы, где в то время сильна была протестантская пропаганда - Евангелие для него едва ли не единственный религиозный авторитет, да и то не столько из-за своего божественного происхождения, сколько ради заключающихся в нем нравственных идей. Христос "дал нам Евангелие правду", а правда - выше веры: "Не веру Бог любит, а правду". Если по старой памяти и говорится о "ереси" греков, как о причине падения Царьграда, то это не более как остаток традиционной фразеологии; на самом деле причиной катастрофы было то, что греки "Евангелие читали, а иные слушали, а воли Божией не творили". А вот "неверный иноплеменник", Махмет-салтан, царь турецкий (Магомет II), "великую правду в царство свое ввел" - "и за то ему Бог помогает". За такие речи в Московском царстве и на костер недолго было попасть, а уж в монастырское заточение наверняка полуиностранный псевдоним был очень кстати.

** См. по этому поводу статью Дитятина "Роль челобитий и земских соборов", etc. и статью пишущего эти строки в сборнике "Мелкая земская единица" (СПб:, 1003).*

*** Статьи проф. Жданова о "Стоглавом соборе" появились в 1876 году.*

**** Губная грамота 1539 года предполагает, например, существование грамотных помещиков - и притом не как единичное исключение - в Белозерском уезде.*

***** Все связанные с этим именем памфлеты собраны и изданы г. Ржигой ("И.С. Пересветов, публицист XVI века". - М., 1908). Издатель усиленно старается доказать реальность номинального автора, но ему удается лишь установить существование фамилии Пересветовых в XVI веке. Еще менее, конечно, можно кого-либо убедить ссылками на рукописи XVI века, как это делает автор другого издания о Пересветове, г. Яворский. Если бы весь план реформы и опричнины вышел из чьей-либо одной головы, существование его не пришлось бы доказывать таким сложным способом.*

Пересветовские писания все сосредоточиваются около одной центральной темы: причин падения Константинополя, гибели православного царя Константина Ивановича и успеха неверного Магомет-салтана. Тема была весьма популярна в тогдашней русской литературе, но никто ее не рассматривал с такой точки зрения Благочестивые книжники видели в этом событие скорее рад остное: ересь была посрамлена, а древнее благочестие воссияло, яко солнце, и место падшего Второго Рима занял Третий Рим - Москва. Приличие требовало пролить несколько слез по поводу гибели старой столицы православного царства, но ей была уже готова наследница, и особенно плакать было не о чем. Для Пересветова падение

Константинополя - прежде всего грозный исторический пример того, как гибнут государства, которыми плохо, управляют, где нет "правды". "Третий Рим" его нисколько не интересует: если в Москве дела будут идти таким же порядком, как в Византии, и Москве не миновать такого же конца. Будущая политическая карьера Москвы всецело зависит от того, есть ли здесь "правда". Это ничего, что в Москве "вера христианская добра и красота церковная велика": "Коли правды нет, то всего нет". А правды не будет, пока будет сохраняться удельный способ управления. Петр, волошский воевода, устами которого высказываются наиболее смелые пересветовские сентенции (для них, таким образом, понадобился двойной псевдоним), говорил, что царь Иван "особную войну на свое царство напущает", дает города и волости держать вельможам, а вельможи от слез и от крови христианской богатеют нечистым собранием. Кормленщики являются, таким образом, первым препятствием к осуществлению "правды" на Русской земле. А между тем Махмет-салтан давно подал пример, как обойтись без кормлений: неверный, он "богоугодная учинил, великую мудрость и правду в царство свое ввел" - по всему царству разослал верных своих судей, "изоброчивши их из казны своим жалованьем". "А присуд (судебные пошлины) велел брать на себя в казну", чтобы судьям не было искушения судить неправо, и выдал им книги судебные, по чему им винить и править. Пересветовские памфлеты возникли, как можно судить по целому ряду признаков, между 1545 - 1548 годами, а так называемый "Царский судебник" Ивана Васильевича издан в июне 1550 года. Одной этой справки достаточно, чтобы видеть, насколько публицистика времен Грозного была тесно связана с жизнью. Но Махмет-салтан не ограничился централизацией одних судебных доходов - он ввел "единство кассы" для всех своих доходов без исключения: "И с городов, и с волостей, и из вотчин, и из поместий все доходы в казну свою царскую велел собирати во всякий час", а сборщиков из казны оброчил своим жалованьем. Так же точно, на жалованье, организована и вся военная сила. Московское государство давно начало переходить от натурального хозяйства к денежному, но действительность была бесконечно далека от такой грандиозной ломки всего административного аппарата, от полной замены феодального государства с его вассалитетом, режимом централизованной монархии, с чиновничеством на жалованье. То, что грезилось Пересветову, осуществилось лишь в XVIII веке. Еще дольше пришлось дожидаться своей реализации другой мысли нашего публициста. Он великий противник рабства. Его герой, Махмет-салтан турецкий, велел "огнем пожещи" книги полные и докладные - документы о холопстве - и даже пленникам позволял выкупаться на волю по истечении семилетнего срока. И устами турецкого владыки высказывается великолепная апология свободы народа, как необходимого условия национальной самостоятельности. "В котором царстве люди порабощенны, и в том царстве люди не храбры..." Этой "правды" потомкам Пересветова пришлось ждать совсем долго. Но логика денежного хозяйства неотвратимо вела к замене холопства вольнонаемным трудом, и не вина была нашего автора, что блестящий экономический расцвет первой половины века так скоро уступил место кризису и реакции.

Но Пересветов был не только представителем нового экономического миросозерцания - его индивидуальная черта не в этом; тут у него нашлись бы

товарищи и из лагеря, с которым он был в лютой вражде. Денежное хозяйство не прочь были использовать и бояре - и грабежи кормленщиков были своеобразной формой эксплуатации новых источников дохода. Пересветов - не землевладелец-предприниматель и не буржуа из города. На купца он смотрит с обычной точки зрения средневекового потребителя: купец - обманщик, за ним нужно строго следить, торговля должна быть точно регламентирована, цены должно назначать государство, а если кто обманет, обвесит или обмерит или цену возьмет "больше устава царева", "таковому смертная казнь бывает". И богатый землевладелец, кто бы он ни был, не возбуждает его сочувствия. Вельможи Ивана Васильевича не только потому плохи, что они "от слез и от крови христианской богатеют", но и потому, что они вообще богатеют "и ленивеют". "Богатый о войне не мыслит, мыслит об упокой; хотя и богатырь обогатеет, и он обленивеет". И не трудно заметить группу, на стороне которой все симпатии Пересветова: ни о чем так не заботятся его герои, как о "воинниках". Махмет-салтан "умножил сердце свое к войску своему и возвеселил вся войска своя. С году на год оброчил их своим царским жалованьем из казны своей, кто чего достоин, - а казне его нет конца...". Петр, волошский воевода, поучает Ивана Васильевича: "Воина держать, как сокола чередить, - всегда ему сердце веселить, а ни в чем на него кручины не допустить... Который воинник лют будет против недруга государева играти смертною игрою и крепко будет за веру христианскую стоять, ино таковым воинникам имена возвышати и сердца их веселити, и жаловании из казны своей государевой прибавляти... и к себе их припущати и во всем им верити, и жалобы их слушать во всем, и любить их как отцу детей своих, и быти до них щедру". И Царьград пал от того, что у царя Константина "воинники" оскудели и обнищали. Но не все военные люди на одно лицо; крупные вассалы московского великого князя, которые "тем слуги его называются, что цветно, конно и людно выезжают на службу его, а крепко за веру христианскую не стоят", только "оскужают" Московское царство. Идеал Пересветова тот воинник, что "в убогом образе" пришел к Августу Кесарю (любопытно, что о родстве его с московским государем наш публицист не упоминает ни словом - так мало интересует его церковная легенда) - "и Август Кесарь за то его пожаловал и держал его близко себя и род его". Вместо пышного вассалитета Петр, волошский воевода, рекомендует небольшое, но отборное наемное войско: "Двадцать тысяч юнаков храбрых с огненною стрельбою". Какого происхождения "храбрые юнаки" - все равно: "Кто у царя (Махмет-салтана) против недруга крепко стоит, играет смертною игрою, полки недруга разрывает, верно служит, хотя от меньшего колена, и он его величество поднимает и имя ему велико дает... А ведома нет, какова отца они дети, да для их мудрости царь велико на них имя наложил".

Чтобы понять эти намеки первого русского публициста - из светских публицистов Пересветов, безусловно, был в Московском государстве первым по времени: Курбский стал писать лет на двадцать позже; современный читатель должен вспомнить, что как раз на эту эпоху приходится окончательное юридическое упрочение одного очень известного обычая Московской Руси. Ища себе экономической опоры в кормлениях, падавшее боярство пыталось найти юридическую в местничестве. Сущность местничества заключалась в наследственности отношений между должностями: каждая служилая семья

занимала определенное положение в ряду других таких же семей, и каждый член ее, независимо от своих личных заслуг, мог претендовать на такое место в служебной иерархии, какое занимали его предки. Формально местничество связано, конечно, с патриархальными представлениями - с тем "групповым началом", о котором нам не раз уже приходилось говорить: личные заслуги потому не принимались в расчет, что ни право, ни нравы не умели выделить лица из семейной группы. Но когда патриархальные понятия господствовали во всей силе, их и не приходилось поддерживать искусственно: всякий знал свое место и на чужое не посягал. В случае сомнения взывали к памяти старых людей, и этого было достаточно. Если теперь, в подкрепление обычаю, начинают ссылаться на письменные документы и даже фабриковать таковые, это верный знак, что обычай пошатнулся, и то, что не держится само собой, стараются подкрепить искусственно. Новейшими исследованиями почти вне спора установлено, что как первая "разрядная книга". - запись служебных назначений высших чинов московского двора, так и "государев родословец" - список знатнейших фамилий, пытавшийся фиксировать состав московской аристократии, возникли в 50-х годах XVI века*. То, что казалось невинным, может быть, просто глупым остатком "догосударственной" старины, в действительности было орудием классовой борьбы, попыткой искусственными плотинами задержать надвигавшийся прилив. Если "разрядная книга" и была выборкой, хотя и то уже весьма тенденциозной, из подлинных документов, то "государев родословец" был переполнен прямо фантастическими рассказами, делавшими из всех московских бояр "знатных иностранцев". У всех в предках оказались какие-то сомнительные вельможи, выехавшие на службу к московскому великому князю: кто из немцев, кто из Литвы - в худшем случае из Орды. Крайне характерна эта эпидемия заграничных генеалогий как раз в тот момент, когда заграница становится авторитетом, и "худородные" начинают ссылаться на нее в свою пользу.

Но чтобы "благородным" понадобились такие искусственные подпорки, нужно было, чтобы "худородные" заявляли о своем существовании не одними тенденциозными апокрифами и политическими сказками. Они должны были стать реальной силой, достаточно грозной, чтобы московская знать их боялась. Местничество еще не успело народиться, а местническая система уже трещала по всем швам; во время казанского похода 1550 года "царь государь с митрополитом и со всеми бояры" приговорили: "В полках быти княжатам и детям боярским с воеводами без мест, ходити на всякие дела со всеми воеводами". Местнические счеты сохранялись только для самих воевод, которых государь обещался прибирать "рассужая их отечество", но даже и Пересветов, при всем своем радикализме, не решался разрушать старину до самого корня и, восставая, например, против кормлений, предлагал не просто отнять у кормленщиков их доходы, а выкупать кормления за определенную сумму в казну. "А какого вельможу пожалует за его верную службу городом или волостью" Махмет-салтан, "и он пошлет к судьям своим и велит ему по доходному списку, из казны выдати вдруг". Верхи служилой иерархии были еще пока что хорошо защищены от напора служилой демократии. Но, держась еще в центре, феодальное боярство вынуждено было сдать свои позиции в области. Реформа областного управления была первым торжеством пересветовских идей, и на ней стоит остановиться не только ради нее самой, но еще

и потому, что она дает чрезвычайно своеобразное и жизненное освещение тем способам, какими собеседник Петра, волошского воеводы, и поклонник Махмет-салтана турецкого рассчитывал "ввести в землю правду". По рассказу Пересветова, Махмет-салтаном так была организована полиция безопасности. Если случится в войске воровство или разбой, на таких лихих людей, воров и разбойников, "обыск царев живет накрепко по десятникам, по сотникам и по тысяцким", и который десятник утаит лихого человека в своем десятке, тот десятник с тем лихим человеком казнен будет смертною казнью. "А татю и разбойнику у царя у турецкого тюрьмы нет, на третий день его казнят смертной казнью для того чтобы лиха не множилася; лишь опальным людям тюрьма до обыску царева. И по городам у него те же десятские установлены, и сотники, и тысяцкие на лихих людей, на татей и разбойников, и на ябедников, и где кого обыщут лихого человека, татя (вора) или разбойника или ябедника, туг его казнят смертною казнью; а десятник утаит лихого человека в своем десятку, а потом обыщут всею сотнею, ино та же ему смертная казнь". Карамзин, видевший в пересветовских памфлетах "подлог и вымысел", доказывал это свое мнение, между прочим, тем, что "сей затейник" советовал царю "сделать все великое и хорошее, что было уже сделано". Вообще говоря, это совсем не справедливо, что в своих проектах Пересветов опережает часто не только Грозного, но и Московскую Русь вообще. Но в данном случае мы наталкиваемся, действительно, на некоторую странность: полицейская организация, описанная в приведенных выше строках, с ее характеристическими признаками - специальными властями для борьбы с разбоем, повальным обыском и ответственностью тех, кто обыскивал, за результаты обыска - уже существовала в 40-х годах XVI века на Руси. С 1539 года до нас дошли две грамоты: одна была дана Белозерскому краю, другая - Каргополю; в обеих великий князь "клал на души" местного населения розыск разбойников и казнь их после розыска без суда. В этом было коренное отличие нового способа расправы от старых: прежде все дела, в том числе и о разбое, начинались в порядке частного обвинения и разрешались в порядке состязательном - присягою сторон или "полем", судебным поединком. Волостель и в этих делах прежде всего "своего прибытка смотрел" - следил за исправным поступлением судебных пошлин и штрафов. Репрессия и в этом случае, конечно, могла быть лишь очень слабая, даже не считая тех, на практике нередких, случаев, когда кормленщик просто входил в долю с разбойниками, считая такой доход более верным, чем присуд, которого когда-то еще дождешься. В обеих упомянутых нами грамотах упоминается об основании в Москве особого разбойного приказа ("наши бояре, которым разбойные дела приказаны..."). Органами его на местах были не кормленщики, а особые "головы", выборные от местного населения, помощниками которых были старосты, десятские и "лучшие люди". Головы были не только на Белом озере и в Каргополе, а и в иных городах: это была общерусская реформа по широко задуманному плану. Реформа, несомненно, била по карману кормленщиков, отнимая у них главный источник дохода, и в этом смысле ее поняли современники. Псковской летописец, например, рассказывает, что на новые порядки наместники сильно сердились - "была наместником нелюбка велика на христиан", христианам же "бысть радость и льгота от лихих людей". Тут особенно приходится пожалеть, что нам так обще известна внутренняя история Московского государства в малолетство Грозного. О

социальной борьбе 30-х годов мы ничего не знаем, если не считать упоминавшегося уже в начале этой главы восстания новгородских помещиков в 1537 году по призыву князя Андрея Ивановича. Была ли между этим фактом и первой реформой Грозного причинная связь, мы не знаем. Но то, что потеряли бояре-кормленщики, перешло именно к помещикам, к среднему и мелкому землевладению: белозерская грамота определенно указывает, что головы, ведшие борьбу с разбоями, должны быть взяты из местных детей боярских, притом грамотных, как мы уже отмечали выше. Старосты и десятские из крестьян были им подчинены. Новые власти получили гораздо больше, чем потеряли старые: кормленщик мог возбудить дело только по жалобе, губной голова мог любого человека поставить на пытку, а признавшегося с пытки казнить по собственной инициативе. Во всей губе не было никого, кто бы от него не зависел. Притом старая судебная гарантия - поединок и присяга - для разбойных дел были упразднены, а новых не введено; новая система и была не судом, а "сыском": разбойников искали, как ищут зверя в лесу, а, найдя, убивали без дальнейших формальностей. Вполне по совету Пересветова - "разбойника и татя и ябедника и всякого хищника без всякого ответа смертью казнить". Если под террором разуметь суммарные казни не одних бояр, то террор Грозного приходится датировать 1539 годом, когда "тирану" было девять лет. Но зачем публицисту военнослужилой демократии понадобилось ломиться в открытую дверь чуть не десять лет спустя? Ответ на это может быть один: основные идеи пересветовских писаний значительно старше той редакции, в которой они до нас дошли. Сказание о Махмет-салтане, вероятно, существовало уже в 30-х годах. А при дальнейшей его переработке не находили нужным опускать того, что уже осуществилось в жизни, тем более что в прочности этого осуществившегося не было пока никаких гарантий.

** См.: Милюков П. Официальные и частные редакции древнейшей разрядной книги. - М, 1887; Лихачев. Разрядные дьяки XVI века.*

Пересветовские памфлеты далеко не отражали в себе всех экономически прогрессивных течений своего времени. Так думали и к этому стремились "убогие воинники", масса мелкого вассалитета московского великого князя. Но "воинниками" не исчерпывалось все в тогдашнем московском обществе. Мы видели, что к торговому капиталу служилый человек относился подозрительно, но представители этого капитала должны были относиться к служилой массе не лучше. Люди, шедшие "играть смертною игрою", и тогда не питали к людям мирных занятий большого почтения. Один современный публицист, стоявший в рядах противников Пе-ресветова, весьма наглядно изображает эти отношения военных и штатских времен царя Ивана. "А верным воинам, - говорят "валаамские чудотворцы" Сергий и Герман, тоже подававшие свои советы в делах московской внутренней политики, - подобает к своеверным и в домах их быти кротко, щедро и милостиво, и их не бити, ниже мучити, и о рабление не творити". Косвенно эту характеристику подтверждает и сам апологет военной демократии: "Ученые люди храбрые" царяМахмета "идут тихо воевать"; русским воинникам этого качества, должно быть, не хватало, если приходилось вводить его в свой идеал. Но это было

противоречие интересов еще довольно поверхностное и потому примиримое: тенденции воинников и купцов должны были сталкиваться в более глубокой области, где примирить стороны было несравненно труднее. Главной заботой Пересветова является государево жалованье: чуть не двадцать раз в его памфлетах возвращается та мысль, что царь должен быть щедр к своему воинству, "что царская щедрость до воинников, то его и мудрость". Это не была простая жадность: мы знаем уже экономическую роль жалованья в хозяйстве мелкого землевладельца (большинство помещиков сидело на дроби деревни: 1/3 деревни, четверть сельца, полпустоши - обычные показания писцовых книг). То был его оборотный капитал: "запуская серебро" за крестьян, он добывал себе рабочие руки. По мере щедрости государевой лучше или хуже развивалось помещичье хозяйство. Но государева казна не была волшебным кошельком, где деньги сами нарождались; главным источником денежных доходов московского правительства были посадские люди с их торгами и промыслами. Отсюда перекачивались деньги в карманы воинников. Конкуренция помещика и посадского была в основе конкуренцией аграрного и торгового капитала. Один смотрел на казну с точки зрения плательщика, другой - с точки зрения получателя. Политические взгляды двух групп, естественно, были весьма различны, и нужно было много времени, нужны были совершенно исключительные обстоятельства, чтобы стал возможен их союз. В дни юности Грозного до этого было далеко. Переход местной полиции в руки помещиков вовсе не удовлетворял интересов горожан; и теперь, и позже, в XVII веке, губной голова чаще являлся для них ворогом, от которого нужно обороняться, чем защитником и покровителем, каким рисовал его Пересветов. Губная реформа нисколько не помешала восстанию московского посада в 1547 году. Здесь нужно было что-то другое, об этом посадские говорили не менее внятно, чем "худородные". Московский бунт недаром сблизил царя с протопопом Сильвестром, близость которого к торгово-промышленным кругам так определенно свидетельствуется его собственными словами*. По всей вероятности, ему и принадлежит редакция тех вопросов, с которыми обратился царь к Стоглавому собору, дающих более сжатое, но не менее полное выражение программе посадских, чем Пересветов, - программе мелких служилых.

** См. выше.*

В первом пункте обе программы сошлись. Против феодальной аристократии были все, и запрос о местничестве стоит во главе сильвестровых вопросов. Известное совпадение интересов получалось и по поводу кормлений: вопроса о них формально Собору не ставилось, так как судьба кормлений к 1550 году, по-видимому, была решена. Но точки зрения дающего и берущего уже достаточно различаются и здесь. Для помещиков важно было отнять власть у кормленщиков и забрать ее в свои; руки финансовой стороной дела Пересветов интересуется лишь в очень общей перспективе централизации всех царских доходов, причем ставит дело так, что невольно появляется подозрение, не было ли "единство кассы", главным образом, облегчением царю быть щедрым по отношению к воинникам. Интерес посадских к вопросу был гораздо более непосредственный, и они добились (вероятно, вскоре после 1547 года - по "Стоглаву" не позже 1549-го)

полного сложения с населения недоимок перед кормленщиками. Что это была не столько царская милость, сколько удовлетворение народного требования, совершенно ясно для всякого, кто присмотрится, как Иван Васильевич ставил вопрос на Соборе. "В предыдущее лето, - говорил царь Иван Собору, - бил я вам челом с боярами своими о своем согрешении, и бояре такожде, и вы нас в наших винах благословили и простили, а я, по вашему прощению и благословению, бояр своих в прежних во всех винах пожаловал и простил, да им же заповедал со всеми крестьяны царства своего в прежних во всяких делах помиритися на срок, и бояре мои все, и приказные люди, и кормленщики со всели землями помирилися во всяких делах". Благочестивая форма этого примирения не должна нас смущать: церковная идеология была официальной идеологией Московской Руси XVI века - царь православного христианства иначе выражаться не мог. Но мы должны представлять себе, конечно, не идиллическую картину всеобщего лобызания, а весьма практическую вещь: принудительный, по повелению свыше, отказ кормленщиков от всяких претензий по адресу населения, которое своим правителям "кормов не платило и их било". "Собор примирения" был "ночью 4 августа" Московской Руси: как в 1789 году французские дворяне, так в 1549-м московские бояре "добровольно" и с умилением сердечным отреклись от того, что, по всему было видно, навсегда уплыло из их рук в силу неотвратимого хода вещей. Но такая экстренная мера не давала еще удовлетворения плательщику налогов: его интересовал вопрос, будут ли возможны злоупотребления дальше, и притом со стороны не одних кормленщиков? И второй вопрос царя Собору ставит на очередь ревизию всего московского вассалитета: "Каковы за кем вотчины и каковы кормления и всякие приказы?" А то "всякие воины", рассказывала потом летопись, передавая приговор царской думы, "службою оскудели, непротив государева жалованья и своих вотчин служба их". Да и вперед "поместья кому давать - в меру и пашенная земля, непашенная... что в книгах стоит и в жалованной грамоте слово в слово". Весь проект ревизии завершался уже решенной царем посылкой писцов "всю свою землю писати и сметити". В связи с этим введено было, как доказал г. Милюков в 1551 году, новое руководство для измерения и оценки земель, гораздо более точное, нежели применявшиеся ранее. Воинники старались расширить царское жалованье до пределов возможно более широких, а торговые люди стремились ввести его в границы возможно более определенные. Хотя тут было и не без заботы о наименее обеспеченном разряде служилых (их предполагалось наделить из лишков, найденных у других), но большинство помещиков, вероятно, предпочло бы, чтобы их просто оставили в покое. В особенности, когда это сопровождалось проектами, явно грозившими и денежному жалованью, путем уменьшения царской казны. Полет фантазии автора "вопросов" был не менее смелый, чем автора пересветовских брошюр, и он выступает с двумя проектами, весьма замечательными для своего времени. Первый из них заключался ни более ни менее как в отмене винной монополии и тогда, как теперь, составлявшей основу государственного благополучия. "О корчмах, данных по городам и по пригородам, по волостям; даны исстари, а ныне чтобы наместником и кормленщиком с тех земель бражное уложити, а корчем бы отнюдь не было, зане же от корчем крестьянам великая беда чинится и душам погибель". Почему при свободной продаже вина под условием уплаты акциза ("бражное"), души крестьян были бы в

большей безопасности, это, конечно, трудно сказать, но что интересам московской буржуазии отмена винной монополии отвечала как нельзя лучше, в том не могло быть сомнения. Так же, как и в том, что интересам торговли как нельзя лучше отвечало упразднение внутренних таможен, проектировавшееся следующим "вопросом" - "о мытех по дорогам". Мыт, таможенная пошлина в нашем смысле слова, должен был остаться лишь "в порубежных местах от чужих земель". В прочих оставалась лишь тамга, торговая пошлина в тесном смысле слова: "А где торгует, ино туго тамга, то достойно, а где не торгует, ино не достойно ничего взята...". Все это было не менее грандиозно, чем централизация всего государственного хозяйства, предлагавшаяся Пересветовым; внутренние таможни нашли свой конец лишь в царствование Елизаветы Петровны, акциз же, и то на короткое время, утвердился лишь при Александре II. Но это было не то, чего хотели "воинники", ибо вело не к наполнению царской казны и росту "государева жалованья" для тех, кто им пользовался, а совсем в противоположную сторону.

Как служилая программа нашла себе жизненное выражение в губных головах и губном сыске, так из посадской вышла "земская реформа" Ивана IV. В 1555 году или немного ранее кормленщики были выведены из городов и волостей и заменены излюбленными головами. В "буржуазном" характере реформы не может быть сомнения уже потому, что перемена неизменно сопровождалась превращением всякого рода "кормов" в денежный оброк, отвозить который в Москву и составляло первую обязанность "излюбленных голов": такая тенденция могла идти лишь из города. Если бы этим дело и ограничивалось, столкновения классовых интересов еще не получалось бы. Но "излюбленные головы" унаследовали от кормленщиков их право суда - местами они так и стали называться: выборными судьями. Тут являлся уже очевидный параллелизм городских и помещичьих учреждений. Мы видели, что появление губных голов было явным умалением власти кормленщиков: появление выборных судей не было ли ограничением, хотя бы географическим, прав губных голов? В некоторых, по крайней мере, случаях это несомненно было так. Специальным делом губных властей была ловля разбойников, но на Ваге, например, с введением земских выборных властей, тех, которые "учнут красть или разбивати, или кто учнет ябедничать, или кто учнет руки подписывать, или костери учнут воровати, зернью играти или иное какое дела учнут чинити, или к кому лихим людям приезд будет", велено было отдавать "своим излюбленным головам", которые имели все права, в других местах принадлежавшие головам губным. Уполномоченный посадских людей становился в одну линию с уполномоченным местного землевладения и получал даже более обширные права, ибо губные головы вели лишь разбой, а "излюбленные" - все уголовные дела без исключения. На севере России, где помещиков почти или и вовсе не было, столкновения и на этой почве получиться не могло, но всюду в других местах борьба между служилыми и посадскими на почве местного управления затянулась надолго в XVII век.

Опричнина

Союз боярства и посадских как основа господства избранной рады - Причины союза; московский посад и Шуйские - Казанские походы и компромисс всех

руководящих классов; Пересветов и завоевание Казани; земельные раздачи 1550 года и "верная" служба - Организация верховного управления; законодательство и "все бояре"; юридическое закрепление местнических обычаев - Выгодность компромисса для боярства; разочарование помещиков; их экономическое положение после казанских войн - Ливонская война и боярство; отношение буржуазии: взятие Нарвы, ее роль в русском экспорте - Вмешательство поляков и шведов; военные неудачи - Отражение внешней политики на внутренних отношениях - Боярские измены; процесс князя Владимира Андреевича - Переворот 1564 года. Имеет ли он принципиальное значение? Его внешняя история, как она рассказывается, как действительно происходила - Официальные и реальные мотивы переворота - Соглашение помещиков и буржуазии и роль последней в опричнине - Новый классовый режим; Собор 1566 года как его отражение - Опричный террор; представляет ли он для своего времени что-нибудь исключительное

При каких обстоятельствах произошло сближение посадских с крупными феодалами - на этот счет источники не оставили нам прямых указаний. Нам известен только голый факт, что представитель буржуазного течения, протопоп Сильвестр, во всех дворцовых конфликтах оказывается рядом с представителями старой знати, и что литературный выразитель взглядов этой последней, князь Курбский, является большим поклонником благовещенского протопопа. Кое-какие косвенные намеки в памятниках все же остались. На протяжении всего XVI века московский посад был тесно связан с боярской фамилией Шуйских, по знатности стоявших в первом ряду "ограбленного" потомками Калиты удельного княжья. Родовые вотчины Шуйских в нынешней Владимирской губернии и тогда уже были промысловыми гнездами - их последнего исторически знаменитого потомка, царя Василия Ивановича, его противники презрительно называли "шубником", намекая на то, что все его благосостояние держалось на работе кустарей, поставлявших полушубки всей Москве. Предки этого "шубника" играли видную политическую роль в малолетство Ивана IV. Повзрослев, грозный царь с негодованием и обидой припоминал, как двое из Шуйских "самовольством учинилися" его опекунами - "и тако воцаришася". Правление Шуйских продолжалось "на много время", несмотря на то, что юному Ивану Васильевичу они, видимо, очень досаждали. Когда же он или, вернее, вертевшая им партия противников Шуйских захотела от них избавиться, то Иван Шуйский, "присовокупя к себе всех людей и к целованию приведя, пришел ратию к Москве" - и тут произошел целый дворцовый переворот. Противники Шуйских были переарестованы и сосланы, да досталось и дружившему с ними митрополиту: его "в то время бесчестно затеснили, мантию на нем с источники изодрали". Драка происходила и в великокняжеской столовой, где многих бояр также "бесчестно толкали" и "оборвали". Ивану в это время шел уж тринадцатый год, так что события он мог хорошо помнить, и при всей тенденциозности коронованного публициста историку редко приходится уличать его в прямой выдумке. Для этого Иван Васильевич был слишком умен, а что касается специально Шуйских, то его рассказы в общем подтверждаются и другими источниками. Но эти рассказы дают нам картину вовсе не обычной дворцовой интриги, а массового движения, и бесчинства во дворце производились,

конечно, не самими князьями, а ворвавшейся туда толпой, "иудейским сонмищем", которое могло составиться только из московских горожан. Связи промышленных магнатов с торгово-промышленными кругами вероятны и сами по себе, а тот факт, что у них оказались очень скоро общие враги, и что в 1547 году московский посад избирал и убивал тех именно Глинских, которые всегда были соперниками князей Шуйских, дает сильное фактическое обоснование этой вероятности. Темные, по летописям, события тридцатых - сороковых годов всего правильнее и рассматривать как предвестия большого движения, предшествовавшего реформам Грозного. Союз посадских и боярства мог сложиться именно в то время и сложиться настолько прочно, что парализовать его, на время, могла лишь опричнина, а разрушить - только катастрофа Смутного времени. С общеполитической точки зрения, в таком союзе не было и ничего удивительного. Во внешней политике интересы московской буржуазии и московских феодалов давно соприкасались, как это мы могли видеть, например, на истории последнего конфликта Москвы с Новгородом, а внешняя политика боярства во второй половине XVI века, захват Великого волжского пути - завоевание Казани и Астрахани - тоже отвечал требованиям торгового класса как нельзя лучше. На этой внешней политике сошлись, впрочем, на время интересы всех командующих общественных групп: средние землевладельцы тоже с завистью смотрели на Черноземное Поволжье, охотно готовые променять на него выпаханный суглинок примосковских уездов. В одном из пересветовских писаний мы находим даже чрезвычайно любопытный проект - перенесение столицы в Нижний Новгород; там-де и должен быть "стол царский, а Москва - стол великому княжеству". А Казанское царство казалось помещичьему публицисту прямо чуть не раем - "подрайскою землицей, всем угодною", и он весьма цинично заявляет, что "таковую землицу угодную" следовало бы завоевать, даже если бы она с Русью "и в дружбе была". А так как казанцы, кроме того, и беспокоили Русь, то, значит, и предлог есть отличный, чтобы с ними расправиться. Так писатель XVI века за триста лет безжалостно разбил ту, хорошо нам знакомую, историческую схему, которая из интересов государственной обороны делала движущую пружину всей московской политики; уже для Пересветова эта "государственная оборона" была просто хорошим предлогом, чтобы захватить "вельми угодные" земли.

На почве этой общности интересов и установился, по-видимому, тот компромисс между феодальной знатью, буржуазией и мелкими помещиками, который держался приблизительно до 1560 года и обыкновенно изображался, как "счастливая пора" царствования Грозного. Мелкий вассалитет был удовлетворен, во-первых, губными учреждениями и отменой кормлений, а затем, в ожидании разделов "подрайских" земель, крупной экстренной раздачей в примосковских уездах. В 1550 году кругом Москвы была помещена тысяча лучших дворян и детей боярских из провинции, образовавших своего рода царскую гвардию. Раздача, конечно, мотивировалась военными соображениями, но нетрудно видеть, что именно военных оснований сажать отборную часть войска около самой столицы не было. Это был момент наибольшего напряжения казанских войн, и со стратегической точки зрения можно было ожидать сосредоточения лучшей части московского войска как раз где-нибудь около Нижнего. На самом деле это была подачка верхам помещичьей массы, причем не была обделена и боярская молодежь: как известно, в числе

получивших подмосковные поместья был и князь Курбский, которому было тогда 22 года. Посадские люди были удовлетворены "земскою реформой" - и совершившейся около этого времени передачей им сбора косвенных налогов. Новейшая историография и эту "верную службу" склонна была изображать как особого рода тягло, весьма будто бы тяжелое для российского купечества. Но жалобы на тягость "верных служеб" мы слышим в середине следующего века, когда Россия стала окончательно дворянской, а конкуренция помещиков во всех областях стала нестерпимо жать торговое сословие.

По существу же отдача косвенных налогов "на веру" была облегченной формой откупа: откупщик нес на себе те же обязательства, что и верный сборщик, но он должен был авансировать правительству крупную сумму, так как верный голова имел те же выгоды, что и откупщик, не затрачивая вперед ни одной копейки. Что иные верные головы на этом деле разорялись, это возможно, но случалось разоряться и откупщикам. Всякое предпринимательство имеет эту оборотную сторону. В большинстве же случаев, конечно, сосредоточение в руках немногих купцов огромных сумм таможенных и кабацких сборов как нельзя более способствовало концентрации купеческих капиталов*.

** Один из первых случаев отдачи "на веру" таможенных доходов - не отдельному лицу, а целой компании из 22 человек - относится к 1551 году.*

То, что рассказывают об организации верховного управления в эти годы Курбский и Грозный, каждый со своей точки зрения, дает понять, что компромисс распространялся и на политическую область. В состав правительства были введены представители групп, до сих пор не имевших места в царской "курии"; рядом с князьями и боярами мы встречаем здесь уже знакомого нам протопопа Сильвестра и выходца из мелких служилых людей Алексея Адашева, которого Грозный, по его словам, "взял от гноища и учинил с вельможами". Функции Адашева, насколько они нам известны, указывают вполне определенно, что он вошел в правящую группу как представитель антибоярской оппозиции. Ему было поручено "челобитныя приимати у бедных и обидимых", причем рекомендовалось не бояться "сильных и славных, восхитивших чести на ся и своим насилием бедных и немощных погубляющих". Нет сомнения, что ликвидация кормлений и знаменитое "примирение" кормленщиков с населением происходили при его ближайшем участии. На теперешний взгляд, он занимал, конечно, довольно странное официальное положение - был "ложничим", т.е. камердинером, Ивана Васильевича и мылся с царем в бане, что и дает повод говорить о нем только как о "любимце" Ивана, и этим объяснять его политическое значение. Но мы не должны забывать, что мы в расцвете средневековья, что отделить царское хозяйство от государственного управления бывало не под силу и более поздней эпохе. До какой степени все носило чисто средневековый характер, показывают те способы воздействия на Ивана, какие применял протопоп Сильвестр, - о них мы имеем совершенно согласные по существу дела свидетельства самых разнообразных источников - и Курбского, и Пересветова, и самого Грозного. Слова последнего о "детских страшилах" вполне подтверждаются тем, что говорили его противники о "мечтательных страхах", пущенных в ход протопопом ради укрощения нрава

юного царя. А постоянные намеки Пересветова на "ворожбы и кудесы" показывают, что факт очень скоро и очень хорошо стал известен весьма широким кругам. Чем именно Сильвестр стращал Ивана Васильевича, мы не знаем, - по всей вероятности, тут было не без "видений" и "явлений": впоследствии, в Смутное время, их, как мы увидим, стали фабриковать прямо по заказу. Во всяком случае, фиктивные чудеса, как средство доставить преобладание своей политической партии, ничем не уступают удачной попытке Ивана Калиты использовать мощи митрополита Петра как средство доставить политическое преобладание Москве над Тверью. С XIV по XVI век в этом отношении большой перемены не произошло.

Введение в состав московской "курии" новых, необычных элементов сопровождалось некоторым изменением и механизма управления. Так как документальных следов это изменение не оставило, кроме одного отрицательного, о котором сейчас будет речь, то нет ничего мудреного, что историки его и не заметили, или не обратили на него большого внимания. Во главе Московского государства стояла, как и во главе удельного княжества московского, боярская дума - совет крупнейших вассалов под председательством сюзерена. Историки давно уже заметили, что в этом совете уже в первой половины XVI века наряду с членами по положению, так сказать, - или были, в первую голову, все бывшие удельные князья и их потомки - появляются члены по назначению: "Дети боярские, что в думе живут". Давно замечено также, что по мере расширения круга обязательных членов думы, которых в обычае было приглашать, у московских великих князей является все чаще и чаще тенденция созывать для решения дел, особенно интересовавших великокняжескую власть, не всех своих думцев, а лишь некоторых. Но это рассматривалось всегда как изъявление личной воли государя. Не останавливаясь на вопросе, так ли это было до Грозного - мы еще недавно были свидетелями, как "дворцовая интрига", при ближайшем рассмотрении, оказалась народным бунтом, - мы можем констатировать, что в дни молодости Грозного это было не так. Во главе управления стояла не вся дума, а небольшое совещание отчасти думных, а отчасти, может быть, и недумных людей*, но члены этого совещания были избраны не царем, а кем-то другим. В пылу полемики Грозный даже утверждал потом, что туда нарочно подбирались люди, для него неприятные, но из его же слов видно, что неприятны они были своей самостоятельностью по отношению к царской власти, и возможно, что именно этот признак и решал выбор. Если понимать слова Курбского буквально, то это совещание так и называлось: "советом выборных" - избранной радой - выборных, разумеется, от полного состава боярской думы, хотя и не всегда из этого состава. Повинуясь обстоятельствам, бояре должны были допустить сюда людей, не принадлежавших к их корпорации, но предварительно они точно фиксировали состав этой последней. Мы уже упоминали, что социальная борьба заставила московское боярство именно около этого времени искусственно закрепить местнические обычаи. Одна фраза Грозного дает повод думать, что в этой самообороне московская знать не ограничилась составлением задним числом разрядных книг и "родословца", что местничеству была придана сила закона, обязательного для самого государя. Грозный обвиняет Сильвестра и Адашева в том, что они отняли у царя власть определять порядок мест бояр в думе: "Еже вам бояром по нашему жалованью честию председания почтенным быти". Лет шестьдесят спустя в одном местническом споре боярская

дума формально заявила, что пожаловать государь может лишь "деньгами да поместьем, но не отечеством": тогда это звучало уже анахронизмом, пережитком умирающей старины, но в 50-х годах XVI века это было, по-видимому, живой современностью. Не предположив, что местнические счеты получили в это время юридическую силу, обязательную и для государственной власти, что состав боярства был гарантирован от произвольных перетасовок сверху, мы не поймем и знаменитой приписки к царскому судебнику, уже вызвавшей столько ученых споров. Приписка эта, как известно, гласит: "А которые будут дела новые, а в сем судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех бояр приговору вершатся, и те дела в сем судебнике приписывати". Профессор Сергеевич сделал из этого вывод, что с этого момента "царь - только председатель боярской коллегии и без ее согласия не может издавать новых законов". Он объясняет это новшество притязаниями избранной рады, чем и вызывает законное недоумение профессора Дьяконова; к чему же это "избранной раде", т.е. сравнительно тесному кружку, понадобилось хлопотать о законодательных правах для всех бояр? А так как формула судебника повторяется нередко и после падения "избранной рады", то профессор Дьяконов и заключает отсюда, что Сергеевич напрасно придает ей какое-то особое значение. Но "избранная рада", как мы видели, была представительницей именно "всех бояр", точнее - их исполнительным органом; живучесть же формулы только доказывает, насколько прочен был успех боярства в 1550 году (или, быть может, немного раньше: формулу впервые мы встречаем уже в 1549-м). Сама опричнина была косвенным признанием этого успеха: царю не понадобились бы чрезвычайные полномочия, если бы он в обычном порядке не был связан решениями боярской коллегии. А выражение "все бояре" не имело бы никакого смысла, если бы состав этих "всех" не был точно и независимо от произвола сверху определен; так приписка к судебнику косвенно еще раз подтверждает тот вывод, что около 1550 года местнические расчеты получили обязательную юридическую силу. Как видим, классическую реформу Грозного и приходится искать в переменах, происшедших в положении боярства. Реформы ведь всегда состоят в том, что правящий класс или группа ценою более или менее серьезных уступок в деталях спасает основу своего положения. Боярство Грозного сделало много уступок, и капитальных: упразднение кормлений и введение в состав "избранной рады" торгового священника Сильвестра и "батожника" Алексея Адашева были главными из них. Зато боярские роды сомкнулись в корпорацию, состав которой стал неприкосновенен для кого бы то ни было, и без совета с этой корпорацией в полном ее составе царь не мог предпринять важнейшего, по тем временам, законодательного дела - пополнения судебника. Боярство обнаружило большой политический такт: отказавшись от многих, материально выгодных, привилегий, оно удержало этой ценой в своих руках источник их всех - государственную власть. Компромисс мог держаться, пока все "договаривающиеся стороны" могли считать свои интересы удовлетворенными. Но что единственным прочно выигравшим оказалось боярство - это должно было обнаружиться и действительно обнаружилось весьма скоро. Раньше всего, по-видимому, рухнули надежды средних и мелких помещиков на великие и богатые милости, связанные с покорением Казани. Во-первых, покорение это оказалось далеко не столь легким делом: население Казанского

ханства еще шесть лет после падения своей столицы ожесточенно сопротивлялось, и русские города, построенные в новопокоренной области, все время "в осаде были от них". Серьезность восстания свидетельствуется тем, что инсургентам удалось уничтожить целое большое московское войско с боярином Борисом Морозовым во главе, которого они взяли в плен, а потом убили. По словам Курбского, при усмирении погибло столько русских служилых, что и поверить трудно: "Иже вере неподобно". Дорого досталась товарищам Пересветова "подрайская землица"! А затем первыми, кто воспользовался ею, оказались не помещики, а крестьяне. Гораздо раньше, чем страна была настолько усмирена, чтобы можно было завести там правильное помещичье хозяйство, по следам русских отрядов потянулись на восток длинные вереницы переселенцев. Они гибли десятками тысяч, но воля была так соблазнительна, а вольных земель в центральных областях оставалось так мало, что гибель передовых не останавливала следующих. По некоторым признакам можно заключить, что отлив населения на Восток начался параллельно с казанскими походами, не дожидаясь их успеха; уже в 1552 году серпуховекий посад потерял около пятой части своих тяглых людей; в том же году Важская земля недаром просила и получила право "старых своих тяглецов вывозите назад бессрочно и беспошлинно". Уже в начале 50-х годов крестьянин становится редкой вещью, которую стараются привязать к своей земле всеми возможными средствами и переманить с земли своего соседа. Для помещика лучшим средством для этого тогда, как и теперь, служило, как мы знаем, "запускание серебра" за крестьян: перспектива жирной денежной ссуды, которую можно получить у себя же дома, никуда не ходя, одна могла несколько уравновесить надежду на "вольную землю". Денежный капитал был нужен помещикам, как никогда, и мы имеем яркое свидетельство того, к чему приводили их эти поиски. Пятидесятые годы XVI века отмечены в русской истории такой же "сисахтией", как и начало XII столетия в Киеве, только она преследовала интересы другого общественного класса, чем тогда. Около Рождества 1557 года вышли один за другим два царских указа. Первым из них служилым людям, занявшим деньги до 25 декабря этого года, разрешалось уплатить долг с рассрочкой на пять лет, причем взыскивать можно было только данный взаймы капитал ("истинное"), процентов же можно было и вовсе не платить. На будущее же время рост был понижен вдвое: вместо 20 %, обычного роста XVI веке, разрешалось брать лишь 10. От уплаты процентов освобождались и неслужилые, значит, торговые люди, но на них не распространялась льготная рассрочка, они должны были уплатить занятое "все сполна". Второй указ (11 января 1558 года, т.е. три недели спустя после первого) еще рельефнее рисует положение задолжавших помещиков. Он трактует о тех из них, которые заложили земли свои "за рост пахати". Дав ссуду, кредитор вступал во все права хозяина и за проценты начинал эксплуатировать имение в свою пользу. Это была мертвая петля - расплатиться с долгом при таких условиях почти не было возможности. Рассрочка, установленная предыдущим указом, распространялась теперь и на таких заемщиков, причем, уплатив пятую часть долга, должник получал имение в свое распоряжение обратно. Из доходов он мог теперь постепенно погасить весь долг, опять-таки без процентов. Мертвая петля с землевладельцев была снята, но этой оборонительной меры было мало. Одним запрещением брать высокие проценты нельзя было создать дешевый кредит, если

его не было. Можно было испробовать два выхода. Один заключался в том, на чем давно настаивала помещичья публицистика. Чем брать взаймы у ростовщиков, легче было получить из казны в виде "государева жалованья". "Что царская щедрость до воинников, то его и мудрость, - говорил, как мы помним, Иван Семенович Пересветов, - щедрая рука николи же не оскудеет и славу себе великую собирает". Другой выход состоял в том, чтобы свое опустошенное поместье променять на чужое, в полном порядке. "Княженецкие вотчины", именья бывших удельных князей, переполненные прочно сидящими на местах "старожильца-ми", где слабая эксплуатация крестьян, невысокие натуральные оброки не давали поводов для эмиграции, давно должны были привлекать жадные взоры бившихся, как рыба об лед, небогатых помещиков. Сколько земли пропадало даром в руках у этих "ленивых богатин"! Но "ленивые богатины" стояли поперек дороги и на первом пути. Государево жалованье было платой за поход: нет походов, нет и жалованья. Но крупное боярство, которому на свой счет приходилось мобилизовать целые полки, иначе относилось к войне, чем те, для кого война означала прибавку денег в кармане. Боярская "Беседа валаамских чудотворцев" проповедовала мирную внешнюю политику: только "неверные тщатся в ратех на убийство, и на грабление, и на блуд, и на всякую нечистоту и злобу своими храбростьми, и тем хвалятся". Другой, родственный по духу "Беседе", публицист "царскую премудрую мудрость" ставит гораздо выше "царской храбрости". Избранная рада решительно настаивала на предпочтительности оборонительных войн перед наступательными. "Мужи храбрые и мужественные", которым очень сочувствует князь Курбский, "советовали и стужали" Грозному после Казани начать большую кампанию против крымцев, выставляя, как нравственный мотив, необходимость "избавить пленных множайших", томящихся в крымской неволе. Для служилой массы это был самый неинтересный поход, какой можно придумать, - трудный, длинный и весьма мало вознаграждавшийся, так как до самого Крыма добраться было невозможно, а в пустых южнорусских степях нечего было взять. Зато, когда какими-то другими советниками царя, без всякого сомнения, из рядов "воинства", был поднят вопрос о походе в Лифляндию, сулившем легкий и быстрый захват земель бывшего Ливонского ордена, этот проект встретил ожесточенное сопротивление со стороны "избранной рады". Иван Васильевич с горечью потом вспоминал, "какова отягчения словесная пострадал" он в те дни "от попа Селивестра, и от Алексея" и от бояр. "Еже какова скорбного ни сотворится нам, то вся сия Герман ради случися": Сильвестр и болезнь царицы Анастасии, от которой она впоследствии умерла, объяснял Ивану, как наказание свыше за ливонскую войну. Это "лютое належание" боярства на царя, в защиту пассивной и против активной внешней политики, могло еще менее остаться тайной для широких кругов служилого общества, нежели "вражбы и кудесы" того же Сильвестра. Ливонская война была первым яблоком раздора, брошенным в среду столковавшихся перед взятием Казани общественных групп. Она обнаружила, в то же время, и всю ненадежность представительства служилых низов в "избранной раде", так как оно было допущено боярами. Попав в среду феодальной знати, Алексей Адашев весьма быстро обоярился - в 1555 году он и формально стал членом боярской коллегии, получив один из высших думных чинов, окольничество, - и смирно шел на поводу за своими родовитыми коллегами. Это с

особенной резкостью сказалось во время известного конфликта 1553 года, когда Грозный тяжко заболел, думали, что смертельно, и бояре хотели воспользоваться его кончиной, чтобы провести на московский престол чисто феодального кандидата, сына "крамольника" 30-х годов, удельного князя Андрея Старицкого, Владимира Андреевича. Успех этой кандидатуры закрепил бы окончательно победу, одержанную боярами в 1550 году: царь, выбранный боярской корпорацией, без всяких наследственных прав на престол ("от четвертого удельного родился", насмехался потом Иван над своим несчастным соперником), был бы, действительно, только "первым между равными". Характерно, что Курбский впоследствии стыдился кандидатуры Владимира Андреевича и отрекался от нее, и не менее характерно, что Адашевы были за нее и присягнули сыну Грозного только очень нехотя и нескоро, под давлением противной стороны, во главе которой стояли Захарьины, будущие Романовы. Это был первый случай открытого разрыва царя с его "избранной радой". Но важно было не столько это, сколько другое; масса неродовитого дворянства должна была убедиться, что ее человек в этой "раде" стал боярским человеком. Политическая карьера Адашева была кончена именно в тот момент, когда он формально вошел в ряды московской знати.

---

* *Аргументация проф. Ключевского в пользу того, что Адашев был "думным дворянином" до своего назначения окольничим, кажется нам немного искусственной.*

Поведение Сильвестра в этом первом конфликте из-за престолонаследия было, вероятно, самостоятельнее и лучше отвечало интересам тех, кого он представлял в "избранной раде". Московский посад всегда был вместе с Шуйскими, как мы видели, а во главе партии, поддерживавшей кандидатуру Владимира Андреевича, мы находим одного из Шуйских, Ивана Михайловича, и старого их союзника, в то же время близкого человека к Сильвестру и влиятельнейшего члена "избранной рады", князя Дмитрия Курлятева. Что Сильвестр был с ними, это было очень естественно, и протопопа сгубило, конечно, не это, а, скорее всего, ложная позиция, занятая им в вопросе о ливонской войне. Новгородский выходец, Сильвестр был из Новгорода, оказался слишком патриотом своего старого отечества и едва ли очень угодил московским купцам, отговаривая Ивана Васильевича от захвата берегов Балтийского моря. Для уцелевших остатков новгородской торговли мир в Ливонии был, конечно, выгоднее войны; но московская буржуазия жадно искала в это время выхода к морю, потому в Москве так и ухватились за англичан, приехавших в Архангельск*. Популярность Сильвестра упала так быстро, что он не мог этого не почувствовать - очень скоро после начала ливонской войны мы уже находим торгового протопопа постриженником Кирилло-Белозерского монастыря, и постриженником добровольным, как определенно говорит Курбский. Царская опала настигла Сильвестра уже монахом - "отставка" же его была вызвана сознанием, что он перестал иметь влияние на царя, а влияние это опиралось на московский посад, выдвинувший бывшего новгородского священника во время бунта 1547 года.

** Как раз в это время, перед ливонской войной, по поводу мирного договора с Швецией "гости и купцы отчин великого государя из многих городов говорили, чтоб им в торговых делах была воля, которые захотят торговать в шведской земле, и те бы торговали в шведской земле, а которые захотят итти из шведской земли в Любок и в Антроп (Антверпен), в испанскую землю, Англию, Францию, - тем была бы воля и береженье, и корабли были бы им готовы".*

Война с германцами была решительным успехом "воинства", и в первые месяцы, по-видимому, лучше отвечала его ожиданиям, чем завоевание Казани. Реформация надорвала политическое могущество рыцарского ордена, правившего Ливонией, - с этой точки зрения момент был выбран весьма удачно. Отсутствие почти всякого формального предлога начать военные действия, ибо трудно было считать таковым неуплату дерптским епископом какой-то полумифической "дани", о которой в Москве не вспоминали 50 лет, уравновешивалось религиозными соображениями: лифляндские немцы, "иже и веры христианские отступили", "сами себе новое имя изобретше, нарекшеся Евангелики", в одном из припадков протестантского фанатизма сожгли, между прочим, и русские иконы. Война, значит, опять, как при покорении Новгорода, шла "за веру". Объектом военных операций была Нарва, о значении которой для русского экспорта в те времена уже говорилось выше. В мае 1558 года Нарва была взята, а неделю спустя был взят Сыренск, при впадении Наровы в Чудское озеро: дорога от Пскова к морю была теперь вся в русских руках. Под влиянием этого успеха компромисс, на котором держалась "избранная рада", должен был дать новую трещину. Буржуазия была удовлетворена - для нее продолжение войны не имело более смысла. Когда в Москву приехало Орденское посольство хлопотать о мире, оно нашло поддержку именно со стороны московского купечества. Но на "воинство" успех произвел совсем иное впечатление. Поход 1558 года дал огромную добычу - война в богатой, культурной стране была совсем не тем, что борьба с инородцами в далекой

Казани или погоня по степям за неуловимыми крымцами. Помещикам уже грезилось прочное завоевание всей Ливонии и раздача в поместья богатых мыз немецких рыцарей: раздача эта уже и началась фактически. Но переход под власть России всего юго-восточного побережья Балтики поднимал на ноги всю Восточную Европу: этого не могли допустить ни шведы, ни поляки. Первые заняли (в 1561 году) Ревель. Вторые пошли гораздо дальше. Сначала, по Виленскому договору (сентябрь 1559 года), они обязались защищать владения Ливийского ордена от Москвы, затем (в ноябре 1561 года) совсем аннексировали Ливонию, гарантировав ей внутреннее самоуправление. Мотивы, вызвавшие вмешательство Польши в дело, очень отчетливо сформулированы уже современниками. "Ливония знаменита своим приморским положением, обилием гаваней, - читаем мы в одном современном памятнике. - Если эта страна будет принадлежать королю, то ему будет принадлежать и владычество над морем. О пользе иметь гавань в государстве засвидетельствуют все знатные фамилии в Польше: необыкновенно увеличилось благосостояние частных людей с тех пор, как королевство получило во владение прусские гавани, и теперь народ наш немногим европейским народам уступит в роскоши 'относительно одежды и украшений, в обилии золота и серебра; обогатится и казна королевская взиманием податей торговых". А если упустить

Ливонию, то все это перейдет к "опасному соседу"*. То, за чем тянулся русский торговый капитал, не в меньшей степени нужно было польскому. Но в распоряжении последнего были такие средства борьбы, до каких было далеко Московской Руси Грозного - еще чисто средневековой стране по своему военному устройству. Даже еще до непосредственного вмешательства самих поляков, только при их поддержке магистр Ливонского ордена Кетлер, оказался в состоянии держаться против московских ополчений. Русские победы в этот период войны обеспечивались только колоссальным численным перевесом армии Грозного: там, где орден мог выставить сотни солдат, москвичей были десятки тысяч. С появлением на поле битвы польско-литовских войск дела пошли еще медленнее, хотя польское правительство, видимо, надеялось добиться своего без серьезной войны, одними демонстрациями, и все время не прерывало переговоров с Москвой. В начале 1563 года, с напряжением всех московских сил, под личным предводительством самого Ивана Васильевича, был взят Полоцк. Уже то, как московское правительство старалось раздуть значение этой победы, ясно показывает, что в Москве нужно было "поддержать настроение". Царский посол, ехавший в столицу с вестью о победе, должен был во всех городах по дороге устраивать торжественные молебствия с колокольным звоном, "что Бог милосердие свое великое показал царю и великому князю, вотчину его, город Полтеск, совсем в руки ему дал", а сам царь возвращался в Москву, как после взятия Казани. Но всем этим нельзя было закрасить того факта, что тотчас после этого блестящего успеха заключено было перемирие; на дальнейшие успехи, видимо, не очень надеялись. Когда перемирие кончилось, дела пошли уже явно под гору. Лучший из московских воевод князь Курбский с пятнадцатью тысячами человек проиграл битву 4000 поляков под Невлем, а в январе следующего (1564 года) вся московская рать была наголову разбита под Оршей, причем погибли все старшие воеводы вместе с главнокомандующим, князем Петром Ивановичем Шуйским, остатки же их войска прибежали в Полоцк только "своими головами", оставив в руках неприятеля всю артиллерию и обоз.

** См.: Соловьев, изд. "Общ. пользы", ч. 2, с. 185 - 186.*

Бояре не хотели войны - теперь бояре проигрывают войну: ясно, что это боярская измена. Такой ход мысли был совершенно неизбежен в головах воинников, живших надеждой теперь на "вифлянские" земли, как раньше они жили надеждой на казанские. Террор опричнины может быть понят только в связи с неудачами ливонской войны - как французский террор 1792 - 1793 годов в связи с нашествием союзников. И как там, так и тут отдельные случаи должны были до чрезвычайности укреплять подозрительное настроение. Толки об измене бояр пугали самих бояр, им уже мерещились плаха и кол; с другой стороны, уже самая война была победой мелкого вассалитета над коалицией бояр и посадских (очень скоро, как мы видели, отколовшихся от военной партии). Всем этим достаточно объясняется боярская эмиграция, случаи которой учащаются именно с начала 60-х годов. Перед нами мелькают при этом самые крупные имена московской феодальной знати: то мы слышим о попытке "отъехать" князя Глинского, то берется поручительство за князя Ивана Вельского, то уже сам Вельский ручается за

князя Воротынского. Самое сильное впечатление должен был произвести побег в Литву князя Андрея Михайловича Курбского, московского главнокомандующего в Ливонии, в апреле 1564 года: в моральной подготовке переворота 3 декабря того же года это была, может быть, самая решительная минута. "И как учали нам наши бояре изменяти, стали мы вас, страдников, к себе приближати", - писал впоследствии Грозный одному из своих "кромешников", Ваське Грязному, и событие 30 апреля 1564 года, главный воевода царского войска, вдруг оказавшийся воеводой короля польского и великого князя литовского, нужно сказать, достаточно оправдывало эти слова Ивана Васильевича. О "боярской измене" можно было теперь говорить, что называется, с фактами в руках.

Мы не знаем, в какой именно связи с боярскими "изменами" стоит громкий политический процесс, разыгравшийся в Москве в июне предыдущего (1563) года. Дьяк бывшего за десять лет перед тем кандидата на царский престол, князя Владимира Андреевича, донес на своего господина и на его мать княгиню Ефросинью, что они оба "многие неправды ко царю и великому князю чинят". По доносу дьяка, в Александровской слободе, где жил уже тогда Грозный, "многие о том сыски были и те их (князя Владимира и княгини Евфросинии) неисправления сысканы". По "печалованию" митрополита Макария и всего "освященного Собора" царь виновных "простил", но старая княгиня должна была постричься, а у Владимира Андреевича вскоре потом была отобрана часть его прежних удельных земель, взамен которых, впрочем, ему дали другие. Был ли тут действительно какой-нибудь заговор или доносчик просто пользовался уже болезненно возбужденною подозрительностью Ивана Васильевича, трудно сказать. Но субъективно у Грозного было теперь основание оправдывать свое дальнейшее поведение тем, что он "за себя стал". Государственный переворот, диктовавшийся объективно экономическими условиями, нашел теперь себе форму: он должен был стать актом династической и личной самообороны царя против покушений свергнуть его и его семью с московского трона.

Объективные условия были таковы. И война на Западе, как война на Востоке, не дала удовлетворений земельному голоду мелкого вассалитета и не оправдала вообще тех ожиданий, с которыми ее начали. Внешняя политика не сулила больше ни земли, ни денег, - то и другое приходилось отыскивать внутри государства. Но этим последним продолжало управлять боярство. Оно было правительством, реально державшим в руках дела: царь был лишь символом, величиной идеальной, от которой, практически, помещикам было ни тепло, ни холодно. Боярская публицистика охотно признавала, что "Богом вся свыше предано есть помазаннику царю и великому Богом избранному князю", но, "предав" царям всю власть, Господь "повелел" им "царство держати и власть имети с князи и с бояры". Церковная идеология, как мы видели в своем месте, в этом отношении освятила феодальную практику: церкви, как учреждению, нужно было сильное Московское государство, но вовсе не сильный московский государь. Напротив, длялмчного обуздания царской воли аскетическая мораль церкви давала новые средства: стоит прочитать у Грозного (в его "Переписке"), как тщательно был регламентирован весь царский обиход протопопом Сильвестром - "вся не по своей воле бяху - глаголю же до обуща (обуви) и спанья". "Таково убо тогда православия сияние!" - с горьким сарказмом вспоминал потом эти времена царь всего православного

христианства. Иван Васильевич на себе испытал, что быть простым, обыкновенным светским государем - вроде хотя бы Махмета - султана турецкого, - куда приятнее, нежели земным богом. И когда он писал: "Российское самодержавство изначала сами владеют всеми царствы, а не бояре и вельможи", - он, несмотря на якобы историческую ссылку, высказывал крупную новую мысль, может быть, и не ему лично принадлежавшую - глухие ссылки на Пересветова нередки в письмах Грозного, да неизвестно еще, представляют ли и сами письма продукт личного, а не коллективного творчества. Нет ничего несправедливее, как отрицать принципиальность Грозного в его борьбе с боярством и видеть в этой борьбе какое-то политическое топтание на одном месте. Был ли тут инициатором сам Иван Васильевич или нет - всего правдоподобнее, что нет, - но его опричнина была попыткой за полтораста лет до Петра основать личное самодержавие петровской монархии. Попытка была слишком преждевременна, и крушение ее было неизбежно: но кто на нее дерзнул, стояли, нельзя в этом сомневаться, выше своих современников. Дорога "воинства" шла через труп старого московского феодализма, и это делало "воинство" прогрессивным, независимо от того, какие мотивы им непосредственно руководили. Старые вотчины внутри государства были теперь единственным земельным фондом, на счет которого могло шириться средне-поместное землевладение; государева казна - единственным источником денежных капиталов. Но для того чтобы воспользоваться тем и другим, нужно было захватить в свои руки власть, а она была в руках враждебной группы, державшей ее не только со всей цепкостью вековой традиции, но и со всей силой нравственного авторитета. У Пересветова могло хватить дерзости заявить, что политика выше религии - "правда" выше "веры". Но его рядовые сторонники не решились бы этого даже подумать - не только высказать, а тем более провести в жизнь. Переворот 3 декабря 1564 года и был попыткой не то чтобы внести новое содержание в старые формы, а поставить новые формырядом со старыми, не трогая старых учреждений, сделать так, чтобы они служили лишь ширмою для новых людей, не имевших права в эти учреждения войти как настоящие хозяева. Петр был смелее, он просто посадил в боярскую думу своих чиновников да назвал ее сенатом, и все с этим примирились. Но ко времени Петра бояре были уже, в глазах всех, "зяблым, упавшим деревом". За полтораста лет раньше дерево уже начало терять свою листву, но корни его еще крепко сидели в земле и сразу их было не вырвать.

Отказывая опричнине в принципиальном значении, историки зато изображают ее появление в очень драматической форме. Как Грозный, необычно торжественным походом, вдруг внезапно уехал в Александровскую слободу (поясняется, обыкновенно, и где находится это таинственное, неожиданно всплывающее в русской истории место), как он оттуда начал обсыпаться грамотами с московским "народом", и какой эффект это произвело - все об этом читали, конечно, много раз, и повторять этот рассказ не приходится. На самом деле, как и все на свете, событие было гораздо будничнее. Александровская слобода давно была летней резиденцией Грозного - в летописи мы постоянно там его встречаем, в промежутках между военными походами и очень частыми разъездами по московским областям на богомолье и с хозяйственными целями. Внезапность отъезда в значительной степени ослабляется тем, что Иван Васильевич взял с собою всю свою ценную

движимость - всю "святость, иконы и кресты, златом и драгим камением украшенные", сосуды золотые и серебряные, весь свой гардероб и всю свою казну и мобилизировал всю свою гвардию - "дворян и детей боярских выбор из всех городов, которых прибрал государь быти с ним". Всех этих приготовлений нельзя было сделать ни в один, ни в два дня, тем более, что царские придворные тоже выбирались "всем домом": им приказано было "ехати с женами и с детьми". Двинувшись, Грозный никуда не исчезал на целый месяц, как, опять-таки, можно было бы подумать: москвичи отлично знали, что Николу Чудотворца (6 декабря) царь праздновал в Коломенском, в воскресенье, 17 числа, был в Тайнинском, а 21 приехал к Троице - встречать Рождество. К слову сказать, это был и обычный маршрут его поездок в Александровскую слободу, не считая заезда в Коломенское, объяснявшегося неожиданной в декабре оттепелью и разливом рек. А то, как быстро пошли дела в Москве - 3-го туда прибыл гонец с царской грамотой, 5-го же московское посольство было уже в слободе, - ясно показывает, что здесь этот месяц не прошел даром, и пока царь ездил, его сторонники тщательно подготовили тешащий современных историков драматический эффект. Если Грозный за этот месяц действительно поседел и постарел на двадцать лет, как рассказывают иностранцы, то, конечно, не от того, что он все время трепетал за успех своей неожиданной "выходки", а потому, что нелегко было рвать со всем прошлым человеку, выросшему и воспитавшемуся в феодальной среде. Петр родился уже в иной обстановке, с детства привык думать и действовать не по обычаю - Ивану приходилось все ломать на тридцать пятом году: было от чего поседеть. А что материальная сила в его руках, что внешний, физический, так сказать, успех переворота для царя и его новых советников обеспечен - это видели все настолько, что ни малейшей попытки сопротивляться со стороны советников старых мы не встречаем. И, конечно, не потому, чтобы они в холопстве своем не смели подумать о сопротивлении: бежать на службу к католическому королю от царя всех православных было несравненно большим моральным скачком, нежели попытаться повторить то, что делал всего за тридцать лет Андрей Иванович Старицкий, когда он поднимал на московское правительство новгородских помещиков. Но теперь боярам некого было бы поднять против своих врагов: помещики были с Александровской слободой, а московский посад был теперь с помещиками, а не с боярством. Гости, купцы и "все православное христианство града Москвы", в ответ на милостивую царскую грамоту, прочтенную на собрании высшего московского купечества, гостей, "чтобы они себе никоторого сум-нения не держали, гнева на них и опалы никоторые нет", единодушно ответили, что они "за государских лиходеев и изменников не стоят и сами их истребят". И в посольстве, отправившемся в слободу, рядом со владыками, игуменами и боярами, мы опять встречаем гостей, купцов и даже простых "черных людей", которым в государственном деле было, казалось бы, совсем не место. Московский посад головой выдал своих вчерашних союзников. На переговоры с ним, по всей вероятности, и понадобился будущим опричникам целый месяц, и его решение окончательно склонило чашу весов на сторону переворота. Чем было вызвано это решение, нетрудно понять из дальнейшего: торговый капитал сам был приобщен к опричнине, и это сулило такие выгоды, которых не могла уравновесить никакая протекция князей Шуйских. Вскоре после переворота мы встречаем купцов и

гостей в качестве официальных агентов московского правительства и в Константинополе, и в Антверпене, и в Англии - во всех "поморских государствах", куда они так стремились, и все они были снабжены не только всяческими охранными грамотами, но и "бологодетыо" из царской казны*. "В опричнину попали все главные (торговые) пути с большею частью городов, на них стоящих", - говорит проф. Платонов и тут же дает весьма убедительный перечень этих городов. "Недаром англичане, имевшие дело с северными областями, просили о том, чтобы и их ведали в опричнине; недаром и Строгановы потянулись туда же: торгово-промышленный капитал, конечно, нуждался в поддержке той администрации, которая ведала край и, как видно, не боялся тех ужасов, с которыми у нас связывается представление об опричнине"**. Еще бы бояться того, что при участии этого самого капитала было и создано!

** Александро-Невская летопись//Русская историческая библиотека, т. 3, с. 292.*
*** Очерки по истории Смуты, с. 149 - 150.*

Переворот 1564 года был произведен коалицией посадских и мелкого вассалитета, точно так же, как реформы были делом коалиции буржуазии и боярства. Этим объясняется, по всей вероятности, одна особенность читавшейся на Москве царской грамоты, не обращавшая на себя большого внимания до сих пор, но весьма интересная. Переворот был, по форме, актом самообороны царя от его крупных вассалов, которые "почали изменяти". Но об этих "изменных делах" весьма глухо упоминается лишь в конце. Обстоятельно же в грамоте развиваются три пункта. Во-первых, поведение бояр в малолетство Ивана Васильевича, "которые они измены делали и убытки государству его до его государского возрасту". Во-вторых, то, что бояре и воеводы "земли его государе-кие себе розымали" и, держали за собой поместья и вотчины великие, собрали себе незаконными путями великие богатства. Этот чисто пересветовский мотив имел в виду совершенно определенный факт, уже поведший к частичной конфискации вотчинных земель года за три до переворота. 15 января 1562 года Иван Васильевич "приговорил с бояры (не со "всеми бояры"!): которые вотчины за князьями Ярославскими, за Стародубскими, за Ростовскими, за Суздальскими, за Тверскими, за Оболенскими, за Белозерскими, за Воротынскими, за Мосальскими, за Трубецкими, за Одоевскими и за иными служилыми князьями вотчины старинные, и тем князьям вотчин своих не продавати л не меняти". Право распоряжения этих владельцев своими землями было низведено до минимума: они могли лишь завещать имения своим сыновьям. Если сыновей не было, вотчина шла на государя, который от себя уже делал все, что требовалось, - "устраивал его душу", т.е. наделял церковь землями на помин души умершего, выделял участок "на прожитие" его вдове, приданое его дочерям и т.д. Но этого мало: на государя же отбираются все вотчины этого разряда, проданные за пятнадцать или за двадцать - не менее, как за десять лет до издания указа, без всякого вознаграждения. Мотив такой чрезвычайной меры был тот, что по постановлениям еще времен Ивана III и Василия Ивановича, отца Грозного, княженецкие вотчины можно было продавать лишь с разрешения великого князя: с переменой владельца земли менялся вассал, и сюзерен по весьма распространенному не в одной России феодальному обычаю

должен был быть спрошен о его согласии. В малолетство Грозного, видимо, пренебрегали этой формальностью; избранная же рада, кажется, в числе прочего добилась и прямой ее отмены. Иначе невозможно понять обвинения Грозного по адресу Сильвестра, что тот "вотчины ветру подобно раздал неподобно" - "которым вотчинам еже несть потреба от вас даятися" - "и то деда нашего (Ивана III) уложения разрушил". Оттого за вотчины, купленные после 1552 года, полагалось вознаграждение, размер которого, впрочем, всецело зависел от благоусмотрения государя, вотчины же, проданные и купленные до господства "избранной рады", конфисковались безусловно. В 1562 году еще пытались действовать легально и шли на кое-какие уступки, но в прокламации, какой была государева грамота 1565 года, не было нужды стесняться такими тонкостями и легальность всякую давно решились отбросить. Вотчинные земли прямо приравнивались к государским, а самовольное распоряжение ими - к расхищению казенной собственности. Наконец, третий мотив грамоты (его мы тоже видели у Пересветова) отвращение бояр к активной внешней политике: то, что они "о всем православном христианстве не хотели радети" и от Крымского, и от Литовского, и от немцев не хотели христианства оборонять. Все, как мы видим, мотивы очень популярные среди широких масс, а читатели и слушатели прокламации, конечно, не стали разбираться, почему же это за грехи и ошибки бояр в дни его юности царь собрался наказать их только на сороковом году жизни? Для дворцового переворота, устраиваемого сверху, эти агитаторские приемы были бы, конечно, очень странны, но дело в том, что и в декабре-январе 1564/65 года, как и в 1547 году, как и в тридцатых годах, при Шуйских, на сцене опять были народные массы, а с ними приходилось говорить понятным для них языком.

Но содержение этой прокламации, как и всякой другой, вовсе не определяло текущей политики тех, кто ее выпустил. Когда между Грозным и приехавшей в слободу московской депутацией начались деловые переговоры, царем были выставлены требования, вполне отвечавшие причинам, непосредственно вызвавшим переворот и не имевшие ничего общего с воспоминаниями о днях его молодости. В этих требованиях приходится различать две стороны. Во-первых, Грозный настаивал на реализации обещания, данного от чистого сердца московским купечеством, и к которому, со страху, присоединились бояре и всякие приказные люди, оставшиеся в Москве: выдать ему головою его ворогов. "Своих изменников, которые измены ему государю делали и в чем ему государю были непослушны, на тех опалы своя класти, а иных казнити н животы их и статки имати". Во исполнение этого требования, в феврале того же года - переговоры происходили, как мы помним, в начале января - целый ряд бояр из старых княжеских родов были казнены, другие пострижены в монашество, третьи сосланы на житье в Казань с женами и детьми, причем имущество всех было конфисковано. Тут характерно, между прочим, как быстро "подрайская землица" обратилась в место ссылки, суррогат теперешней Сибири, тогда еще не завоеванной. Опалы и казни давали сразу в руки земельный фонд, вероятно, достаточный для вознаграждения, на первый случай, непосредственных участников coup d'etat. Для обеспечения же их денежным жалованьем царь и великий князь приговорил за подъем свой взять из Земского приказа сто тысяч рублей (около 5 миллионов на золото, по вычислению проф. Ключевского). Но переворот был лишь делом кружка

- преследовал же он интересы класса: всех помещиков нельзя было удовлетворить от нескольких опал и небольшой экспроприации из казенного сундука... Форма, придуманная для удовлетворения "воинства", была столь же старомодна, как ново было содержание произведенной перемены. В государстве царь не мог распоряжаться без своих бояр, сюзерен без своей курии, но на своем "домэне", в своем дворцовом хозяйстве, он был так же полновластен, как любой вотчинник у себя дома. Превратить полгосударства, и притом самую богатую его часть, в государев домэн - и получалась возможность распоряжаться огромной территорией, не спрашиваясь феодальной знати. Не нарушая постановления 1550 года, здесь можно было делать все, что угодно, помимо приговора не только "всех бояр", но хотя бы и одного боярина: на государев дворцовый обиход право боярской коллегии, конечно, не распространялось. И название для увеличенного до колоссальных размеров царского двора было выбрано сначала очень старое: государь потребовал "учинити ему на своем государстве себе опришнину". Так назывались имения, выделявшиеся в прежнее время княгиням-вдовам "на прожиток" до смерти. Впоследствии вошел в употребление более точный и более новый термин - двор. По своему устройству этот двор был копией старой государевой вотчины - до того точной, что один новейший исследователь даже усомнился, были ли у опричнины какие-либо свои учреждения или же лишь в старые учреждения были посажены, рядом со старыми приказными, новые люди для ведения опричных дел. Произведя настоящую революцию, творцы опричнины как будто нарочно старались, чтобы она не оставила никаких юридических следов, и нельзя не видеть в этом сознательной тенденции, вытекавшей из тех же побуждений, что и содержание разобранной нами выше царской прокламации. Народу нужен был виноватый, и его уверяли, что острие переворота направлено против отдельных, хотя бы и очень многочисленныхлмц: порядок же остается во всей неприкосновенности старый. Ибо нельзя же было одним росчерком пера уничтожить то, чему царь и его теперешние советники безропотно подчинялись не один десяток лет и от чего, морально, они, быть может, не могли освободиться даже и в эту минуту. Те оргии, которыми ознаменовалась опричнина и насчет которых единодушны и русские, и иностранные свидетели, едва ли можно объяснить только тем, что люди пересветовского склада были гораздо свободнее от аскетической морали, нежели консерваторы типа протопопа Сильвестра или "в некоторых нравах ангелам подобного" Алексея Адашева. Тут, несомненно, было не без стремления заглушить укоры совести, мучившей людей, посягнувших на то, что в их собственных глазах еще сохраняло нравственный авторитет. Оттого они и выдержали так хорошо иллюзию борьбы с лицами при полной неприкосновенности порядка, что обманули не только московскую толпу XVI века, но и некоторых новейших исследователей, в других случаях весьма проницательных.

Но, колоссально расширившись, государев двор не вобрал в себя, однако, всей страны, и земщина, ведавшая всем, что осталось за пределами опричнины, далеко не была простой декорацией. Территориальный состав опричнины всего лучше изучен профессором Платоновым, поэтому мы изобразим дело его словами. "Территория опричнины, - говорит этот ученый, - слагавшаяся постепенно, в 70-х годах XVI века составлена была из городов и волостей, лежавших в центральных и северных местностях государства - в Поморье, Замосковных и Заоцких городах, в

пятинах Обонежской и Бежецкой. Опираясь на севере на "великое море-окиан", опричные земли клином врезывались в земщину, разделяя ее надвое. На восток за земщиною оставались Пермские и Вятские города, Понизовье и Рязань; на запад - города порубежные: "от немецкой украйны" (Псковские и Новгородские), "от литовской украйны" (Великие Луки, Смоленск и другие) и города Северские. На юге эти две полосы "земщины" связывались украинными городами да "диким полем". Московским севером, Поморьем и двумя Новгородскими пятинами опричнина владела безраздельно, в центральных же областях ее земли перемешивались с земскими в такой чересполосице, которую нельзя не только объяснить, но и просто изобразить, но ей, однако, оказалось возможно дать общую характеристику... В опричном управлении, - говорит в другом месте г. Платонов, - собрались старые удельные земли"*. То, к чему закон 1562 года стремился исподволь и в легальных рамках, три года спустя было осуществлено сразу и революционным путем: наиболее ценная часть территории Московского государства вместе с крупнейшими торгово-промышленными центрами стала непосредственно уделом государя, где нестесняемые старым боярством и начали теперь распоряжаться люди "пересветовской партии". На долю старой власти осталось что похуже и победнее; любопытно, что как Казань стала теперь местом ссылки, так и вновь завоеванные земли на западе охотно уступались теперь "земским". Новгородские "дети боярские" из обонежской и бежецкой пятин, когда эти пятины были взяты в опричнину, получили поместья около Полоцка - на только что присоединенных и весьма ненадежных литовских землях.

** Очерки по истории Смуты, с. 151, ср. с. 145.*

Царский указ, даже в том коротком изложении, какое сохранилось нам в официальной московской летописи, - подлинный указ об опричнине до нас не дошел, как не дошла и большая часть официальных документов этой бурной поры, - говорит вполне внятно, в чью пользу и для какой ближайшей цели совершена была вся эта земельная перетасовка. "А учинити государю у себя в опришнине князей и дворян и детей боярских, дворовых и городовых, 1000толов, и поместья им падавати в тех городах с одново, которые городы поймал в опришнину", - говорит летопись. Новейшие историки усмотрели здесь что-то вроде учреждения корпуса жандармов, отряд дозорщиков внутренней крамолы и охранителей безопасности царя и царства. Но при всей соблазнительности этой аналогии ею не следует увлекаться. Задачей жандармов с самого начала был политический сыск, и только: материальную опору правительства составляли не они (их для этого было и слишком мало), а постоянная армия. Опричники представляли из себя нечто совсем другое. Отряд в тысячу человек детей боярских на деле, так как каждый являлся на службу с несколькими вооруженными холопами, был корпусом тысяч в десять-двенадцать человек. Ни у одного крупного землевладельца, даже из бывших удельных князей, не могло быть такой дружины - даже двое или трое вместе из самых крупных, вероятно, не набрали бы столько. А кроме этого конного отряда в опричнине была и пехота: "Да и стрельцов приговорил учинити себе особно", - говорит летописец. Для борьбы с "внутренним врагом" такой силы было бы более чем достаточно: великий князь московский был теперь единолично самым

крупным из московских феодалов. Опричная армия была логическим выводом из опричного двора государева, и, нужно прибавить, самая возможность образования этого двора обусловливалась существованием такой армии. Ибо новизной в этой части указа было не появление при царе "тысячи голов", а ее размещение на землях, бесцеремонно отобранных у других владельцев: "А вотчинников и помещиков, которым не быти в опришнине, велел (государь) из тех городов вывести". Тысячный же отряд существовал давно, еще с 1550 года, и в перевороте 3 декабря 1564 года он играл совершенно ту же роль, что парижский гарнизон в перевороте 2 декабря 1851 года. Эта царская гвардия, учрежденная, как мы помним, боярским правительством, как подачка верхам помещичьей массы, стала могучим орудием в борьбе помещичьего класса против самих бояр. Только ее близостью к царю и объясняется то, что стоявшие теперь около него "худородные" осмелились так дерзко поднять руку на своих вчерашних феодальных господ, и в необычном царском поезде эта "приборная" тысяча, двинувшаяся "за царем с людьми и с коньми, со всем служебным нарядом", была, конечно, самой внушительной частью. По всей вероятности, она вся, за некоторыми личными исключениями, и вошла в состав опричного корпуса, так что фактически этот последний ничего нового собою и не представлял.

И как до, так и после 1565 года, наряду с военно-полицейским она продолжала иметь и политическое значение: в нее входили "лучшие", т.е. наиболее влиятельные элементы местных дворянских обществ - "походные предводители уездного дворянства", как модернизирует их положение г. Ключевский. Как он же обстоятельно выяснил, они и в царской гвардии не теряли связи с уездными мирами: иначе говоря, они были политическими вождями помещичьего класса, и раздача им опричных земель не означала ничего другого, как то, что рядом со старым, боярско-вотчинным, государством, обрезанным больше чем наполовину, возникло новое, дворянско-помещичье.

Весьма ярким доказательством того, что во всем перевороте речь шла об установлении нового классового режима, для которого личная власть царя была лишь орудием, а вовсе не об освобождении лично Грозного от стеснявшей его боярской опеки, служит оригинальное собрание, происходившее в Москве летом следующего, 1566 года. 28 июня этого года царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич "говорил" с князем Владимиром Андреевичем, со своими "богомольцами", архиепископами, епископами и всем "освященным Собором", со всеми боярами и с приказными людьми, с князьями, с детьми боярскими и со служилыми людьми - "да и с гостьми, и с купцы, и со всеми торговыми людьми". Предметом разговора было перемирие, предлагавшееся польско-литовским правительством на условиях, которые в дипломатии носят название "uti possidetis": те города, что были заняты уже московскими войсками, оставались за Москвой, а часть Ливонии, откуда московские отряды были вытеснены неприятелем, отходила к Польше. Грозному предлагали, таким образом, отказаться от той цели, ради которой была затеяна война, - захвата всей Ливонии. В сущности был поставлен вопрос - стоит ли воевать дальше, и весьма характерно, что Грозный и его новое правительство не взяли решение этого вопроса на свою ответственность, а поставили его на суд всех тех, от имени кого они правили. Было бы, конечно, очень наивно представлять себе этот "Земский собор 1566 года", первый Собор,

существование которого исторически бесспорно*, как что-то хотя бы отдаленно похожее на современное народное представительство: самое плохое из последних все же, хотя бы в идее, говорит от имени народа, а феодальная Европа чужда была самого этого понятия. Средневековые собрания - и у нас, и на Западе - представляли собою не народ, а [...], Etats, Stande. С этой точки зрения в Соборе 1566 года важна выдающаяся роль двух чинов, политическое значение которых раньше едва ли открыто признавалось: мелкого вассалитета, дворянства, и буржуазии. Количественно помещики составляли даже большинство этого собрания. Ливонская война решена была нехотя и под давлением снизу боярами, а о том, продолжать эту войну, спрашивали теперь воинников да торговых людей. Целая пропасть отделяла 1557 год от 1566 года. Подробности прений на Соборе до нас не дошли, да вряд ли и были прения. Однодневный Собор был созван, конечно, не для того, чтобы узнать мнения собравшихся: помещиков и купцов собрали потому, что уже знали их мнения, и авторитетом их голосов надеялись подкрепить авторитет заявлений московской дипломатии. Собор, в сущности, был торжественной декорацией, а настоящие переговоры происходили, конечно, до Собора и, по всему судя, далеко не внушили правительству той уверенности, какой дышали торжественные речи на самом Соборе. Там было постановлено продолжать войну во что бы то ни стало, а на деле продолжались переговоры, которые и закончились через несколько лет перемирием на условиях, предлагавшихся поляками. Сюзерену Грозному нужно было формальное обещание его нового, широкого вассалитета - в случае, если будет война, "за государя с коня помереть", - а со стороны торговых людей вынуть последний грош из кармана, если понадобится. Это обещание Грозный и получил, и на своих речах служилые и торговые люди поцеловали крест. Использовать или не использовать это обещание во всей широте было уже дело правительства, которое при этом руководилось, конечно, общественным мнением тех, кто его поставил, но узнавало оно это мнение не на Соборе.

---

* *Долгое время в науке принято было считать его вторым, но теперь можно считать почти безусловно доказанной легендарность так называемого первого Собора 1550 года.*

Шестидесятыми годами заканчивается, собственно, та интенсивная эволюция классовых отношений, которая наполняет вторую треть XVI века. Взбунтовавшиеся против своих феодальных господ землевладельцы второй руки из крамольников, которых в 1537 году вешали по большим дорогам "не вместе и до Новагорода", стали в 1566 году господами положения, а вчерашних господ уже они казнили да вешали, как крамольников. Экономический переворот, крушение старого вотчинного землевладения, нашел себе политическое выражение в смене у власти одного общественного класса другим. О дальнейшей борьбе внутри самой опричнины (что она была, в том не может быть сомнения) мы ничего не знаем. Относительно этого периода царствования Грозного историк находится в таком же положении, как относительно императорского Рима: сколько-нибудь подробные рассказы мы имеем только из боярского лагеря, и нет ничего удивительного, что кроме ужасов опричнины мы ничего там не находим. Что режим помещичьего

управления был террористический, - в этом, конечно, не может быть сомнения. В данных обстоятельствах, перед лицом властных "изменников" и внешнего неприятеля, становившегося час от часу грознее, и в котором "изменники" легко находили себе опору, революционные правительства и более культурных эпох правили при помощи террора. А в нашем случае террор был в нравах эпохи. За двадцать лет до опричнины дворянский публицист так изображал расправу своего героя и любимца Махмет-салтана с неправедными судьями: "Царь им вины в том не учинил, только их велел живых одрати, да рек так; если они обростут телом опять, ино им вина отдается. И кожи их велел проделати, и велел бумаги набити и в судебнях велел железным гвоздием прибити, и написати велел на кожах их: без таковые грозы правды в царство не мочно ввести"*. Такова была теория. Губные учреждения дают нам практику, которая ей не уступала. Губной голова мог любого обывателя подвергнуть пытке не только по прямому доносу, но просто на основании дурных слухов о нем - по "язычной молвке". Простого подозрения, что данное лицо - ч"лихой человек", было достаточно, чтобы ему начали выворачивать суставы и ломать кости, рвать ему тело кнутом и жечь огнем. Это была общепринятая норма тогдашнего уголовного права: Грозный мог сослаться на нее, возражая Курбскому на его упреки в неслыханном мучительстве. Если изменников не казнить, то разбойников и воров тоже нельзя пытать - "то убо вся царствия не в строении и междоусобными браньми вся растлятся". Но тогдашнее уголовное право имело еще и другую особенность. Построенное, как и весь тогдашний общественный уклад, на групповом начале, оно допускало коллективную ответственность целой семьи и даже целой области за преступления отдельных лиц. Если жители данной "губы" на повальном обыске не умели или не хотели назвать, кто у них лихие люди, а потом лихие люди в округе сыскивались помимо них, лучших людей из местного населения били кнутом, а иногда подвергали и смертной казни. Эта форма круговой поруки объясняет нам самый трагический эпизод опричного террора - расправу с новгородцами в 1570 году. Что в основе этого мрачного дела лежал какой-то заговор, в котором приняли участие, с одной стороны, видные члены государева двора: "печатник" (государственный канцлер) Висковатов, "казначей" (министр финансов) Фуников, наиболее близкие лично к царю опричники Басманов-старший и князь Вяземский; с другой, высшее новгородское духовенство - в этом, кажется, не может быть сомнения. Мелькало опять и имя Владимира Андреевича Старицкого: возможно, впрочем, что этим именем просто пользовались при каждом подобном случае, как обвинением в роялизме в 1793 году во Франции. Населению было поставлено в вину, что оно не выдало изменников, укрыло лихих людей, что подавляющее большинство ничего не могло знать о заговоре, не меняло дела, - ведь и об обыкновенных, уголовных лихих людях откуда же было знать большинству населения? Что круговая порука была здесь больше предлогом, легко видеть, если присмотреться к тому, кто был главным объектом погрома. Хватали и били "на правеже" (неисправного должника в тогдашней Руси били палками, пока не отдаст долга) монастырских старцев, представителей крупнейшего капитала того времени, гостей и иных торговых людей; ограбили казну архиепископа и ризницу Софийского собора. Дело о заговоре явилось, таким образом, удобным поводом для экспроприации крупной новгородской буржуазии, что, конечно, было очень в интересах буржуазии

московской и новгородской церкви. Несмотря на всю грызню между боярскими публицистами и "вселукавыми мнихами иосифлянами", церковь, как феодальная сила, всегда была теснее связана с боярством, нежели с более демократическими слоями. В дни "избранной рады" между митрополитом Макарием и этой последней отношения были самые дружеские, а опричнина начала низведением с митрополии Афанасия и кончила ссылкою и убийством митрополита Филиппа, не перестававшего "печаловаться" за опальных бояр. Одним из последних актов политики Грозного была отмена церковного иммунитета ("тарханных грамот", в 1584 году), прямо мотивированная тем, что от церковных привилегий "воинственному чину оскудение приходит велие". Выступление опричнины против новгородской церкви в 1570 году, таким образом, более чем понятно.

** Ржига. И. С. Пересветов, с. 72 (из сказаний о Махмет-салтане).*

Экономические итоги XVI века

Торжество среднего землевладения; было ли это прогрессивным явлением - Победа перелога над пашней; падение сельскохозяйственной техники; юридическое объяснение этих явлений, его несостоятельность - Влияние внешней политики: ливонская война, потеря Нарвы, крымский набег 1571 года. Недостаточность этих причин для объяснения запустения: размеры последнего - Хищнический характер помещичьего хозяйства; хлебное барышничество; падение цены денег - Торговля крестьянами: "пожилое"; "боярское серебро"; что значило при этих условиях "прикрепление крестьян"? - Кризис помещичьего землевладения

К концу XVI столетия в старых уездах Московского государства среднее, поместное, землевладение решительно господствовало. Крупные вотчины сохранялись лишь как исключение. Мелкое землевладение тоже было окончательно поглощено поместным.

Типичным было владение от 100 до 350 четвертей "в поле" (от 150 до 525 десятин, по нашему теперешнему счету, при трехпольной системе) - со всеми признаками нового хозяйства: барской запашкой, денежным оброком и крестьянами, привязанными к земле неоплатным долгом. Как это ни странно на наш современный взгляд, в первой половине века то был экономически прогрессивный тип, мы это видели уже в начале прошлой главы. Его победа должна была бы обозначать крупный хозяйственный успех - окончательное торжество денежной системы над натуральной. На деле мы видим совсем иное. Натуральные повинности, кристаллизовавшиеся в сложное целое, известное нам под именем крепостного права, снова появляются в центре сцены и держатся на этот раз цепко и надолго. Вольнонаемный рабочий, снившийся дворянскому публицисту первой половины века и, местами, действительно заводившийся в более передовых имениях, исчезает на целых два столетия: Иван Семенович Пересветов находит себе продолжателей только в дворянских "манчестерцах" сороковых и пятидесятых годов прошлого века. Ожесточенная погоня за землей в

середине столетия, нашедшая себе такое яркое выражение в конфискациях опричнины, казалось, должна была бы показывать, что, по крайней мере, в центре государства большая часть доступных земель уже использована. Вовсе нет, однако: по писцовым книгам 1584 - 1586 годов в одиннадцати станах Московского уезда на 23 974 десятины пашни приходилось почти 120 тыс. десятин перелогу, земли запущенной и заброшенной, отчасти вновь поросшей лесом. Тогда как в первой половине века леса в центре были так основательно сведены, что иностранным путешественникам около Москвы попадались одни пни, а из лесных зверей им удалось видеть только зайцев, что очень дивило людей, привыкших считать Московию лесистой и обильной всяким зверем страной. Один очень авторитетный исследователь решается даже утверждать, что регресс был не только количественный, что техника земледелия падала в Московской Руси параллельно с торжеством среднего землевладения. "В большинстве названных (центральных) уездов, - говорит он, - с замечательной правильностью паровая зерновая система, господствовавшая в 60-х годах XVI века, сменяется к концу столетия переложной системой: исключение представляет, в сущности, только один Московский уезд, и то отчасти"*. Во имя экономического прогресса, раздавив феодального вотчинника, помещик очень быстро сам становится экономически отсталым типом: вот каким парадоксом заканчивается история русского народного хозяйства эпохи Грозного.

** Рожков Н. Сельское хозяйство Московской Руси XVI в., с. 66. (Большинство цифровых данных настоящего очерка заимствованы из этого же исследования.)*

В наличной исторической литературе мы не найдем разрешения этого парадокса. Кроме сейчас цитированного исследователя его никто, кажется, даже и не заметил. Его ответ также едва ли может нас удовлетворить: источник "вредного хозяйственного влияния поместной системы" этот автор видит в "юридической природе поместья", владения условного и потому ненадежного. Но условным было всякое владение в феодальном мире - всякое "держание" обусловливалось несением известного рода повинностей и могло быть отобрано в случае неисправности владельца. Если исходить из этого признака, вся феодальная Европа должна была бы представлять картину непрерывного экономического упадка, но такой картины мы нигде не замечаем, и в самой России хозяйственный прогресс начала XVI столетия возник в обстановке вполне феодальной. Поместья времен Ивана III или Василия Ивановича точно так же были условным владением, точно так же каждую минуту могли быть отобраны "на государя", как и поместья конца царствования Грозного. Почему же первые шли вперед, а вторые назад? Мы уже оставляем в стороне другой вопрос, который немало должен был бы смутить историка-материалиста: как это могло сложиться в стране право, якобы резко противоречащее экономическим интересам господствующего класса? Словом, единственный автор, от которого мы могли бы ждать "совета и поучения" в настоящем случае, нас покидает беспомощными. Весьма возможно, что его последователи в деле применения материалистического метода к данным русского прошлого будут счастливее. Но пока что приходится искать ответа на вопрос,

отправляясь от некоторых общих наблюдений, которые, при всей скудости нашего материала, все же сделать можно.

В числе объективных условий, к концу эпохи Грозного затормозивших развитие денежного хозяйства в России, а это общее условие давало окраску всем частностям, наиболее осязательным и заметным был ход внешней политики. Ливонская война, не нужно забывать этого, была войной из-за торговых путей, т.е., косвенно, из-за рынков. Будущее показало, что экономическая эволюция России в своем темпе, по крайней мере, на три четверти зависела от того, удастся ли нам завести прямые связи с наиболее прогрессивными странами Запада или нет. Современники это понимали и высказывались вполне отчетливо. Нарвский порт, оставшийся в русских руках и после первых неудач ливонской войны, весьма серьезно смущал наших конкурентов. "Московский государь ежедневно увеличивает свое могущество приобретением предметов, которые привозятся в Нарву, - озабоченно писал польский король Елизавете Английской, стараясь отговорить англичан от торговых сношений с Москвой, - ибо сюда привозятся не только товары, но и оружие, до сих пор ему неизвестное; привозят не только произведения художеств, но приезжают и сами художники, посредством которых он приобретает средства побеждать всех. Вашему Величеству небезызвестны силы этого врага и власть, какою он пользуется над своими подданными. До сих пор мы могли побеждать его только потому, что он был чужд образованности, не знал искусств. Но если нарвская навигация будет продолжаться, что будет ему неизвестно?" Понимали это и в Москве, и так как Нарвская гавань была лишь узенькой калиткой на Запад, старались приобрести широкие ворота, завладев одним из крупных портов Балтийского моря. Но двукратная попытка захватить Ревель (в 1570 и 1577 годах) привела только к войне со Швецией, в которой Московское государство потеряло и Нарву - да не только ее, но и русское ее предместье Ивангород: от Балтийского моря русские теперь были отрезаны наглухо. Наряду с этим главным проигрышем того, из-за чего только и стоило вести войну, изгнание войск Ивана Васильевича из занятых им в начале лифляндских городов имело больше моральное значение, хотя в позднейших исторических повествованиях о походах Батория говорится очень много, а о войне со шведами в двух словах. Появление польской армии под стенами Пскова, крупнейшего из оставшихся за Россией торговых центров на западной границе, только поставило точку на всей "ливонской авантюре". Последние годы жизни Грозный уже не думал о завоеваниях на Западе - он только оборонялся, и рад был, что не потерял своего. Литовские отряды сожгли Руссу и опустошили верховья Волги: вот-вот можно было ждать того, что придется оборонять от Батория самое Москву. А еще задолго до этого критического момента Центральная Россия и сам московский посад, уже испытали разгром, какого не заполнить было со времен Тохтамыша. Это было не очень рельефно выступающее в новейшей историографии, но вполне по заслугам оцененное современниками нашествие крымцев в 1571 году. Оно стояло в несомненной связи с ливонской войной - крымский хан был с самого начала союзником поляков, "и король учал беспрестанно к Девлет-Гирею царю гонцов посылати и подымати крымского царя на царевы и великого князя украйны" (московская летопись 1564 года). Менее ясна связь с внутренними русскими делами, но и она была: хана привели к Москве

четверо беглых детей боярских, действовавших едва ли не по поручению князя Мстиславского. По своей непосредственной разрушительности крымский набег далеко оставлял за собою все, что могли нажечь и награбить литовские партизаны. Весь московский посад татары выжгли дотла, и, как мы помним из рассказов Флетчера, семнадцать лет спустя он не был еще вполне восстановлен. Целый ряд других городов постигла та же участь. По тогдашним рассказам, в одной Москве с окрестностями погибли до 800 000 человек, в плен были уведены 150 тыс. Общая убыль населения должна была превышать миллион, а в царстве Ивана Васильевича едва ли было десять миллионов жителей. Притом опустошению подверглись старые и наиболее культурные области: недаром потом московские люди долго считали от татарского разорения, как в XIX веке долго считали от "двенадцатого года".

На счет татарского разоренья доброю долею приходится отнести то, почти внезапное, запустение, какое констатируют исследователи в центральных уездах, начиная именно с 70-х годов. "Начало семидесятых годов XVI века есть исходный хронологический пункт запустения большей части уездов московского центра", - говорит уже не раз цитированный нами историк сельского хозяйства Московской Руси. "Слабые зачатки отлива населения, наблюдавшиеся в некоторых из этих уездов в 50 - 60-х годах, превращаются теперь в интенсивное, чрезвычайно резко выраженное явление бегства крестьян из Центральной области"*. Быть может, стремлением уйти подальше от татар объясняется та передвижка населения из центра в малоплодородные области Северной Руси, которая наблюдается около этого времени. Города по вновь открытой англичанами в пятидесятых годах двинской торговой дороге на Архангельск, уже в предшествующем десятилетии начинают играть видную роль. Мы часто видим здесь царя, на его поездках в Кирилло-Белозерский монастырь, и он, видимо, смотрит на них не только как на станции в своих благочестивых походах: в Вологде он заложил "город камен" и специально ездил взглянуть потом, как его строят. По-видимому, там была не одна крепость, а и царский дворец, ибо государь ездил "досмотрети" не только "градского основания", но и "всякого своего царского на Вологде строения". Недаром и англичане выстроили себе здесь дом, "огромный, как замок". Около вновь возникающих городских центров страна и вообще оживлялась - естественно, что за торговыми и ремесленными людьми потянулись сюда и крестьяне. Но что сдвинуло их с насиженных мест? Размеры запустения показывают, что одного страха татар, как объяснения, недостаточно. В тех же станах Московского уезда, где мы отметили по книгам 1584 - 1586 годов, такой перевес перелога над пашней, на 673 '/2 деревни приходилось 2182 пустоши и лишь 3 починка: запустевшие деревни составляли 76% общего числа, а вновь возникавшие всего 0,1%. И это еще, кажется, было улучшение: в неполных (для меньшего числа станов) данных для того же уезда за предшествовавшие годы (1573 - 1578) можно насчитать в одном случае 93 %, в другом даже 96% пустошей. Не лучше было и в других центральных уездах: в Можайском, например, по отдельным имениям можно насчитать пустых деревень до 86%, в Переяславль-Залесском от 50 до 70%. Притом запустение коснулось и более северных, безопасных от татар, областей центра: из тверских дворцовых деревень князя Симеона Бекбулатовича (которого Грозный, для потехи, рядил в цари московские) в 1580 году половина была пуста. Между Ярославлем и

Москвой еще Ченслер в половине 50-х годов находил множество деревень, "замечательно переполненных народом". О такой же густой населенности этих мест говорит и другой англичанин - Рандольф, бывший здесь немного позже Ченслера, а в восьмидесятых годах их соотечественника Флетчера поражали здесь уже деревни пустые. Но крымцы не заходили далеко от Москвы на север: в набег 1571 года сам Иван Васильевич искал убежища от них не севернее Ростова. А затем страх перед ними должен бы был быть особенно силен в первые годы после разоренья - между тем, по словам цитированного нами выше автора, "бегство (крестьян из центра) не прекращается до самого конца века, как убедительно свидетельствует целый ряд фактов"**. Это и хронологическое, и географическое несовпадение "татарского разоренья" и района запустения снова заставляет нас искать иных, более могучих и менее случайных причин последнего. Одну из них мимоходом отмечает все тот же автор, доказывая вредное влияние "юридической природы поместья". "В источниках, - говорит он, - сохранились любопытные факты, иллюстрирующие насилия и грабежи помещиков, их стремление к скорой наживе и наносимый этим трудно исправимый вред хозяйственной ценности поместной земли". Он приводит, к сожалению, только один такой факт, но чрезвычайно выразительный. "В самом конце XVI века в селе Погорелицах, Владимирского уезда, жил "во крестьянех" некто Иван Сокуров. В 1599 году Погорелицы были пожалованы в поместье сыну боярскому Федору Соболеву. Этот последний, в отсутствие Сокурова, явился к нему на двор и произвел там полный разгром: забрал себе троих "старинных людей" хозяина дома, т.е. его холопов, увел лошадь, корову, быка, четырех овец, взял у жены Сокурова деньгами 1 рубль 13 алтын (= 35 р. золотом), увез к себе, сколько мог, ржи, овса, ячменя, конопли и "трои пчелы". Мало того, когда Сокуров вернулся, помещик присвоил себе и его двор"***. Картина такого выдворения крестьянина из его гнезда землевладельцем не составляет отнюдь русской особенности: в Германии около того же времени мы встречаем целый ряд подобных явлений - там для них и термин особый сложился - Bauernlegen. Условность поместного владения тут, конечно, ни при чем, но не трудно себе представить, как должны были подействовать на крестьянскую массу поступки тысяч таких Соболевых, сразу вторгшихся в нетронутые поместным землевладением земли. А это именно было, когда опричнина с ее земельной перетасовкой одновременно пустила под поместья целый ряд княженецких вотчин, с их традиционными феодальными порядками, с нетяжелыми, и притом очень устойчивыми, из поколения в поколение переходившими крестьянскими повинностями. Как из разворошенного муравейника муравьи, разбегалось население этих старых культурных гнезд, захваченных опричниной, - разбегалось куда глаза глядят, лишь бы спастись от новых порядков, начинавшихся так круто. Недаром максимум запустения Московского уезда совпадает с разгаром опричнины.

---

* *Рожков Н., цит. соч., с. 305.*
** *Рожков, ibid.*
*** *Ibid., с. 458.*

И опричнина, сама по себе, как известное "государственное мероприятие", тут тоже ни при чем, разумеется: как раз приведенный нами пример к опричнине и не относится - в 1599 году ее уже не было, и Соболев, вероятно, никогда в опричнине не служил. В 60 - 70-х годах лишь до необычайных размеров усилилось явление, общее для всего поместного землевладения. Хищническая эксплуатация имения, стремление выжать из него в возможно короткое время возможно больше денег так же характерны для наших помещиков XVI века, как и для всяких "предпринимателей" в раннюю пору денежного хозяйства. Один современный публицист, писавший немного позже Смуты и помнивший предшествующую эпоху по личным впечатлениям, дает нам необычайно выразительную общую картину той безудержной спекуляции, одним из маленьких образчиков которой был приведенный выше случай. По его словам, во время больших неурожаев при Борисе Годунове многие не только деньги, но всю свою движимость, до носильного платья включительно, пускали в оборот, "и собирали в житницы свои все семена всякого жита", наживая таким путем до тысячи процентов. В значительной степени этой же спекуляцией объяснялись и сами неурожаи - мы помним, что еще за двадцать лет перед тем Флетчер приписывал вздорожание хлебных цен барышничеству помещиков. Если верить нашему автору, то в разгар голода имелись большие запасы хлеба, так что впоследствии, когда междоусобная война действительно разорила страну, и посевы очень сократились, вся Россия питалась этими старыми залежами, которых не выпускали из рук хлебные спекулянты во время голода, чтобы поддержать цены. Судя по тому описанию годуновского общества, какое дает нам этот публицист, хлебное барышничество давало большие выгоды. По его словам, даже и провинциальное дворянство обилием золотой и серебряной посуды, лошадей на конюшне и челядинцев во дворе "подобилось первым вельможам и сродичам царевым", и не только дворянство, "но и от купцов сущие и от земледельцев". По роскошным нарядам их жен и дочерей и не узнать было, чьи они: так было на них много золота, серебра и всяких иных украшений - "вси бо боярствоваху" в это время*.

** См. "Сказание Авраамия Палицына" в первой редакции//Русская историческая библиотека, т. 13, с. 480 и др.*

Грабить своих крестьян, превращая в деньги их имущество, было при таком положении вещей, очевидно, выгоднее, нежели вести правильное хозяйство: вот что, а не какие-либо юридические нормы, толкало помещиков к хищнической эксплуатации их имений. Правильное хозяйство требовало затраты денежных капиталов, и притом все больших и больших с каждым годом, ибо цена денег падала поразительно быстро. По вычислениям Н. Рожкова, рубль начала XVI столетия равнялся, приблизительно, 94 рублям золотом, а рубль конца этого века только 24 - 25 золотым рублям: меньше чем за сто лет деньги упали в цене вчетверо. В Западной Европе за то же столетие они упали даже впятеро, но там была определенная внешняя причина - открытие Америки с ее золотыми и серебряными рудниками. Что эта причина, несомненно, оказала свое действие и у нас, показывает, как ошибочно мнение о полной изолированности Московского царства от остальной Европы. Выше, впрочем, приведено достаточно фактов,

свидетельствующих, как рано началась экономическая европеизация России. "Торжество сребролюбия", таким образом, имело под собою вполне объективное основание - дело было не просто в жадности помещиков. Другой причиной у нас было быстрое развитие денежного хозяйства, форсированное принудительной ликвидацией крупных феодальных имений с их "натуральными" порядками. На рынок была выброшена такая масса земли, что на нее цена упала почти в полтора раза. В первой половине века десятина земли стоила 0,3 рубля, во второй - 0,7 рубля, но в переводе на золотые деньги первая цифра составит 28 рублей, а вторая лишь 17*.

** Рожков, ibid., с. 216.*

Парадоксальный факт падения ценности земли в то самое время, как цены на хлеб росли год от году, может быть объяснен только тем, что в известный момент земли на рынке оказалось больше, чем покупателей на нее. Но при нормальных условиях равновесие между спросом на землю и предложением ее скоро восстановилось бы: ненормальное положение народного хозяйства в конце эпохи Грозного в том особенно и сказалось, что этого не произошло. Земля продолжала "лежать впусте" и долго после опричнины. К концу XVI века хищническое хозяйство, все стремившееся как можно скорее ликвидировать и перевести на деньги - и инвентарь, и постройки, и даже самих крестьян, как сейчас увидим, - столкнулось с собственным своим неизбежным результатом: землю некому стало обрабатывать. Распуганное новыми порядками крестьянство разбредалось из центра куда глаза глядят - и на далекий север, где хлеб родился только три раза в пять лет, и в степь, почти каждое лето регулярно посещавшуюся крымцами; всего больше, конечно, на Оку и Волгу, в места, уже в эти годы сравнительно безопасные. Одна летопись уже в середине царствования Грозного отметила отлив населения из Можайского и Волоколамского уездов "на Рязань, и в Мещеру, и в понизовые города, в Нижний-Новгород". Здесь всюду возникали новые поселки, в то самое время как центр пустел. Наблюдаемый нами кризис вовсе не был, таким образом, всероссийским. Это был, прежде всего, кризис помещичьего хозяйства, как первая половина века была свидетельницей кризиса хозяйства старых вотчин. Те погибли от того, что не умели приспособиться к условиям нового денежного хозяйства - эти переиспользовали его, сразу захотев взять максимум того, что оно могло дать. Падение цены денег подгоняло их на этом пути - того, на что можно было прилично прожить десять лет назад, было уже мало. Нужно было все больше выкачивать из хозяйства, достаточно уже разоренного. Нужно было вложить в него капитал: но где его достать? Нужно было закрепить уходившие неудержимо из имения рабочие руки: но как это сделать без капитала, без "серебра", которым закреплялись крестьяне? Перед этой двойной дилеммой стояло помещичье хозяйство накануне Смуты. К попыткам помещиков выйти из тупика, созданного их собственным хищничеством, сводится, в основе, и сама Смута.

Деньги можно было добыть при помощи спекуляции - азартной игры на хлеб и на людей. Что торговля крестьянами вовсе не дожидалась у нас официального установления крепостного права, об этом есть свидетельства уже от 1550-х годов. В одном из челобитий этого времени один помещик жалуется на другого в таких

выражениях: "Посылал я своих людей отказывати из-за него двух крестьянинов из одного двора на свою деревню, и он... отказ принял и пошлины пожилые взял; и я посылал по тех крестьян возити за себя, а тот тех крестьян из-за себя не выпустил и держит тех крестьян насильно". Пожилое формально было арендной платой за двор, занимавшийся крестьянином, но уже во второй половине XVI века эта формальность не имела никакого отношения к действительности, ибо годовая арендная плата за двор равнялась четвертой части стоимости самого двора. А так как платил пожилое фактически новый барин, к которому крестьяне переходили - мы это сейчас видели, - то платой за двор, в сущности, маскировалась плата за самого крестьянина. Вот отчего тогдашние документы и называют "пожилое" "пошлиной", а вывоз крестьянина без уплаты "пожилого" вывозом "беспошлинным". Если же за крестьянином было еще, сверх того, "боярское серебро", то фактическая разница между ними и барским холопом почти исчезала. "Отказ" со стороны крестьянина заменялся "отпуском" со стороны барина. Задолжавшие крестьяне могли быть предметом спекуляции, конечно, еще легче. Нужно, впрочем, сказать, что московские люди далеко не были такими поклонниками легальности, какими их считают некоторые новейшие исследователи, усматривающие в развитии института крестьянской крепости даже некоторые черты, напоминающие Римское право. Московское право все еще было феодальным правом, т.е., когда оно не опиралось на силу, оно ничего не значило. Помещик никогда не стеснялся тем - должен что-нибудь ему крестьянин на самом деле или нет, и таксы пожилого, установленные судебником, соблюдал лишь тот, кто хотел. До нас дошли документы, свидетельствующие, что когда барин не хотел отпускать крестьянина, он его "в железа ковал", а пожилого с него требовал не рубль, как закон указывал (рублей 50 золотом, в середине столетия), а пять и даже десять рублей (250 и 500 рублей). Вообще можно рассматривать, как правило, что без согласия-господина "отказати" крестьянина было "не мочно"*.

** Для приводимых фактов см.: М. Дьяконов. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси, с. 338 - 339 и др.*

"Боярское серебро" - долг крестьянина землевладельцу, явление столь хорошо знакомое нашему времени, что только старинная терминология могла из него сделать что-то необыкновенное, что нужно объяснять - в Московской Руси было, таким образом, не юридическим способом закабаления крестьян, а средством переманивания их у других помещиков или противоядием против крестьянского побега; минутная выгода могла соблазнить менее дальновидных и удержать от попыток искать счастья на стороне. Оттого и упразднение крестьянского "отказа" нужно рассматривать не как исходную точку крестьянской крепости - ею было общее феодальное бесправие, смягчавшееся в старых вотчинах обычаем, с нарушения которого начинали новые землевладельцы, - а как одну из сторон кризиса поместного землевладения. Из перекрестной путаницы исков о крестьянах, заваливавших тогдашние суды, не было иного выхода, как запретить "отказы" вовсе, укрепив крестьян за теми, на чьих землях они сидели в данный момент. Тогда прекратилось бы взаимное разорение помещиками друг друга, и деньгам, шедшим на борьбу из-за рабочих рук, можно было дать иное употребление. Но

если расходы на "отказывание" крестьян стали непосильны для помещиков, если и в этом вопросе для них понадобилось нечто вроде "сисахтии" - это служит новым указанием на то, что требование на -деньги со стороны помещиков далеко превышало приток их в помещичьи карманы. Чем больше пустели эти последние, тем больше приходилось помещику изворачиваться в попытках хозяйничать без денег. В этом отношении большой интерес представляет одна переходная ступенька к отмене крестьянского "отказа", которую мы находим в документе неофициальном (Судебнике Федора Ивановича), но заимствована она, конечно, из тогдашней практики "кабалы писати на крестьян вдвое". Требование уплаты за крестьянина двойного долга, конечно, должно было удержать отказчика. Но крестьянин сделался такой "редкой птицей", что владельцев побогаче не стесняло уже и это, и служилая масса добилась нового ограничения "отказа", которое мы и находим в известных указах 1601 - 1602 годов, первых документальных свидетелях крестьянской крепости. Этими указами ограничивалось количество "возимых" крестьян (не более двух) - и "возить" друг у друга могли лишь мелкие помещики: конкуренция крупного землевладения заранее исключалась. "Отказ" уже с этого времени был исключением: как правило, крестьяне сидели на землях тех, у кого застали их переписи 1590 - 1593 годов. Избавленный от денежных расходов на крестьян, помещик в то же время был избавлен и от расходов на государство - барская запашка в писцовых книгах 1592 - 1593 годов была исключена из оклада. Все паллиативы были пущены в ход, чтобы утолить денежный голод дворянства, но кризис развивался с неудержимой силой, и мучения голода становились все сильнее. Помещику мало было уже подачек из казны - ему нужна была вся казна. В дни опричнины он оставил власть боярству, взяв себе лишь самые жирные куски. Теперь он никому ничего не хотел оставлять - ему нужна была власть вся целиком.

Глава VII

Смута

Феодальная реакция, Годунов и дворянство

Возрождение феодализма; судьба старой знати; феодалы из опричнины: Богдан Вельский; Годунов; противоречия в его положении: "дворянский царь", покровительствующий "мужикам черным" и заключающий соглашения с боярами; личное влияние и семейное положение - Политика Бориса-правителя - Столкновение 1587 года, его социальная подоплека, его влияние на внешнюю политику - Союз с дворянством; роль "жалованья" - Смерть царевича Димитрия в литературе и историографии; отношение к факту Бориса Годунова; предосторожности после смерти Федора - Избрание Бориса на царство; роль Земского собора и народной массы в этом событии - Акт избрания и его особенности; крестоцеловальная запись - Разрыв Годунова с влиятельной верхушкой; попытки опереться на народную массу; борьба со злоупотреблениями администрации - Голод 1602 - 1604 годов и крушение демократической политики Бориса

Кризис помещичьего хозяйства, как и кризис хозяйства крупных вотчинников в начале века, должен был иметь свои политические последствия. Тогда этим политическим результатом экономической революции была опричнина - ликвидация господства феодальной знати в пользу средних землевладельцев. Результатом экономической реакции должно было быть, хотя бы частичное и временное, возрождение политического феодализма.

Прежде всего, старая знать далеко не была разгромлена Грозным столь полно, как бы хотел он и как кажется некоторым новейшим историкам. "Воздвигнуть из камней чад Авраама" на деле оказалось труднее, чем на бумаге. Уже один тот факт, что все окраины Московского царства, т.е. всю его военную оборону, пришлось оставить в руках "земщины", т.е. феодальной боярской думы, достаточно знаменателен. Что опричнина как учреждение не пережила Ивана Васильевича ни одним днем, знаменательно не менее, и уже почти не удивляемся, когда слышим, что Грозный "приказал" своих детей - одного малолетнего, Димитрия, другого слабоумного, Федора - трем представителям старинных боярских фамилий - Ивану Петровичу Шуйскому, Ивану Федоровичу Мстиславскому да Никите Романовичу Юрьеву. Правда, последний был в близком свойстве с династией, а двое первых принадлежали к самым покладистым родам старой знати, Шуйские даже сами служили в опричнине, но ни один из них не был ее созданием, и все они, по местническим счетам, стояли на самом верху феодального общества. Эта прочность иерархического положения старых семей только подчеркивалась политическими злоключениями их отдельных членов: старшие представители и Шуйских, и Мстиславских гибнут в ссылке, а в поход против крымцев, в 1591 году снова пришедших под самую Москву, главнокомандующим идет сын сосланного Мстиславского Федор Иванович. Шуйские - признанные смертельные враги Годуновых, а во главе рати, двинутой Борисом Годуновым против Лжедмитрия, мы находим именно князей Шуйских, и в том числе самого ненадежного из них, Василия Ивановича, будущего царя. А сменяют Шуйских на этом посту князья Голицыны. Первый исторически известный проект русской конституции (договор с Сигизмундом 4 февраля 1610 года) ставит во главе управления Россией боярскую думу, а после победы над сторонниками этой конституции садится на царский престол старый боярский род Романовых - Юрьевых. И при первом государе этого рода боярская дума, Бог весть в который раз, имеет случай заявить, что за службу жалует царь "деньгами да поместьем, но не отечеством". Трещавшее уже в 1555 году местничество дожило юридически до 1682 года, а фактически иной раз местничались между собою еще и члены петровских коллегий.

Но опричнина не только не добила старой знати - она создала новую. Выходцы из среднего дворянства, попав в приближенье к царю Ивану, очень скоро осваивались со своим новым положением и становились копией низвергнутого ими родовитого боярства. Типичным образчиком таких феодалов из опричнины был Богдан Яковлевич Вельский, "оружничий" Грозного, близкий к нему, впрочем, не по этой своей официальной должности, а по другим неофициальным и гораздо менее почетным функциям. В последние годы жизни Ивана Васильевича, он, если верить одному современнику, хорошо знавшему служебные отношения этого времени, был "первоближним и началосоветником", хотя не носил никакого думного звания, "сердце царя всегда о нем несытно горяще", и Грозный, что называется, глаз не

сводил со своего любимца. Державшееся на таком, чисто индивидуальном, основании положение не могло быть прочным; едва Иван закрыл глаза, как Вельский увидал себя не у дел. Он сделал попытку использовать фактически безгосударное положение: один царевич был в пеленках, другой идиот; от их имени должен кто-нибудь управлять - почему не быть этим "кем-нибудь" Вельскому? В противоположность регентству Шуйских, мы не видим за этим кандидатом на регентство никакой общественной силы. Вся его надежда была на дворцовые связи - он был близок с Нагими, братьями матери маленького Димитрия - да, вероятно, на свою вооруженную челядь, с которой позже он явился в Москву поддерживать свою кандидатуру уже на царский престол. По крайней мере, иначе трудно понять, как удалось ему захватить Кремль, когда из рассказа летописи видно, что ратная сила, дети боярские и стрельцы, была не на его стороне. Вмешательство этой ратной силы решило дело: увидя направленную против Кремля артиллерию, Вельский сдался, не без боя, однако, так как летопись говорит об убитых и раненых при этом случае, и не безусловно. Победившая сторона должна была ограничиться высылкой его из Москвы, сначала на воеводство в Нижний Новгород, потом, по-видимому, он жил в своих вотчинах, жил жизнью богатого феодала: "Переезжая от веси в весь, во обилии тамо и покое мнозе пребываше". Единственным мотивом такого относительно Вельского поведения со стороны правительства, круто расправлявшегося с Мстиславскими и Шуйскими, мог быть лишь страх. Бывший "оружничий" Ивана Васильевича лично как землевладелец был, очевидно, настолько сильным человеком, что достать его в его имениях было нелегким делом, и он в то же время не был настолько опасен, чтобы стоило рисковать из-за этого новой смутой. Надежды вернуться к власти он все время не терял, и едва умер Федор Иванович, Вельский появился опять в Москве "со многими людьми", добывая теперь уже прямо царский престол. Ему еще раз пришлось убедиться, что одного своего "двора" мало, чтобы стать политической силой; он опять остался за флагом, и мы снова видим его в почетной ссылке. Но он и теперь не унялся: не удалось стать царем, он готов был удовольствоваться и удельным княжеством. На южной окраине Московского государства, куда его послали ставить города на рубеже против крымцев, он вел себя полным хозяином; на свой счет содержал ратных людей щедрей, чем это могло делать московское правительство, строил города "по своему образцу", жил в них по-царски и величался, будто бы, что Борис Федорович Годунов царь на Москве, а он, Вельский, царь здесь. Здесь он был, конечно, еще опаснее, нежели во внутренней России - он был теперь ближайшим соседом крымцев, а мы помним, что в подозрительных сношениях с крымцами московскую феодальную оппозицию подозревали еще при Грозном, - в то же время его противник уже крепко держал власть в руках и мог не стесняться. Вельского схватили, "двор" его был распущен, имения конфискованы, а сам он, после позорного наказания, был "назначен" уже "в места дальние". Он снова появляется на сцене только при Лжедмитрии, но в большую политическую игру играть теперь он уже не решался.

Борису Годунову удалось покончить с крупнейшим из новых феодалов, созданных опричниной. Но, присмотревшись ближе к нему самому и его карьере, мы увидим те же знакомые нам черты крупного феодального сеньера. Что у этого феодала оказалась политическая голова, это было индивидуальным исключением,

не менявшим его объективного положения. Трагизм судьбы Бориса в том и заключался, что он был соткан из противоречий: разрешение этих противоречий закончилось катастрофой. За Годуновым в нашей исторической литературе прочно утвердилась репутация человека, отстаивавшего интересы "простого служилого люда, который служил с мелких вотчин и поместий", иначе говоря, это был "дворянский" царь, в противоположность "боярскому" царю, каким рисуется обыкновенно Василий Иванович Шуйский. Насколько верна традиционная характеристика этого последнего, мы увидим в своем месте. Что же касается первого, то сведение всей его политики, с начала и до конца, к отстаиванию дворянских интересов делает совершенной загадкой конец его царствования. Ведь именно дворянская масса и низвергла Годуновых, как мы скоро увидим, за что же она разрушила свое собственное орудие? За измену? Но в пользу какого же общественного класса, казалось бы, мог изменить Борис, преследовавший бояр не меньше Грозного и закрепостивший крестьян? С другой стороны, если в его истории мы, вне всякого спора, имеем ряд фактов, позволяющих говорить о его "дворянской" политике, мы имеем и ряд свидетельств довольно хорошо осведомленных современников-иностранцев, утверждающих в один голос, что "мужикам черным при Борисе было лучше, чем при всех прежних государях", и что за то они ему "прямили" и смотрели на него, как на Бога. И если бы спросить самих дворян под конец годуновского правления, они, пожалуй, назвали бы его крестьянским царем с такою же уверенностью, с какой современные историки объявляют его представителем помещичьего класса. А бояре далеко не все и не всегда были его врагами. С Романовыми у него было даже какое-то специальное соглашение, и едва ли не этому соглашению Борис больше всего был обязан царским престолом; с Шуйскими у него началось открытой схваткой, а под конец он доверял им, как мы видели, в самом важном для него и всей его семьи деле. Присматриваясь ко всему этому, мы видим, что "дворянский царь", "продолжатель опричнины", - может быть, и не совсем неверная, но все же очень суммарная характеристика для такой сложной фигуры, какой был этот "рабоцарь", безо всякого "отечества", забравшийся на самый верх московского боярства.

Борис начал, повторяем, как один из магнатов опричнины, как Вельский, стало быть, только на более почетной роли. Личное влияние и семейное положение - вот что было исходной точкой его карьеры. Второй человек по влиянию на Грозного в последние годы его жизни, - первым был Вельский, - шурин старшего царевича Федора, слабоумного, но "правоспособного", наиболее вероятного наследника Ивана Васильевича, Борис легальным путем достиг того, к чему его соперник стремился нелегально, стал своего рода удельным князем, или "принцем крови", если угодно. Иностранцы называют его "князем" (prince) и "правителем государства" (livetenant of the empire) уже через два года после смерти Грозного. Несколько лет позже это уже его официальный титул - московские дипломатические документы титулуют его "государевым шурином и правителем, слугою и конюшим боярином, и дворовым воеводой, и содержателем великих государств, царств Казанского и Астраханского, Борисом Федоровичем". Иностранцам объясняют, что "те великие государства Орды Астрахань и царство Казанское даны во обдержанъе царского величества шурину" и что этот последний "не образец никому" - выше всех служилых князей, царей и царевичей. Он

самостоятельно сносился с иностранными правительствами - с кесарем, с крымским ханом. Один литературный памятник, хорошо сохранивший то, что говорилось о Годунове в народных массах, приписывает царю Федору такие слова: "Аз вам глаголю всем, да не докучаете мне во всяком челобитье, идите обо всяком деле бить челом болшему боярину Борису Годунову - так бо царь государь и великий князь Феодор Иоаннович изволил называть его большим - аз убо указал все свое царство строить и всякую расправу ему чинить, и казнить по вине и миловать, а мне бы отнюдь ни о чем докуки не было"*, а сам Федор Иванович "прилежа к божественному писанию, во всенощных упражнялся пениях". Если бы понимать эти слова буквально, вышло бы, что Годунов фактически был царем задолго до своего избрания, что и утверждает цитируемый нами памятник, говорящий о Борисе: "Только окаянному имени царского нет, а та власть вся в его руках". На деле народная фантазия, как всегда, преувеличивала - Годунов не был совсем один на самом верху феодальной иерархии. Но преувеличивать было что - личное, помимо всякой делегации от какой-либо общественной силы, положение Бориса Федоровича было такое, что мы напрасно стали бы искать в московской истории другого примера, исключая разве митрополита Алексея в дни юности Дмитрия Донского. Все более хронологически близкие к Годунову временщики ни в какое сравнение не шли, и когда одному московскому дипломату по поводу Бориса напомнили Алексея Адашева, дипломат был совершенно прав, возразив на это: "Алексей был разумен, а тот не Алексеева верста!" Адашев держался силою своего ума и поддержкой того общественного класса, который его выдвинул, - у Годунова лично была в руках такая материальная сила, что судьбы Адашева он не боялся**.

** Сказание о царстве царя Феодора Иоанновича. - Русская историческая библиотека, т. 12, с. 762 - 763.*

*** Доходы Годуновых с их земель современники определяли в 94 тысячи рублей. Из одних своих вотчин они могли выставить целую армию.*

Если политика Бориса Федоровича с самого начала носит определенный классовый отпечаток, то лишь потому, что всякая политика вообще есть классовая политика, и иной быть не может. Очень соблазнительна мысль: выставить худородного "царского любимца", "вчерашнего раба и татарина", вождем худородного же мелкопоместного дворянства в борьбе с родовитым боярством, но такая комбинация была бы исторически неверна. Противники Годунова очень старались уколоть его, задним числом, уже после его смерти, тем, что он произошел "от младые чади", но при его жизни этому факту придавали едва ли больше значения, чем тому, что Борис "писанию божественному не навык", был человек богословски необразованный, о чем противная партия тоже вспоминала всегда с удовольствием. Происхождение ни в каком феодальном обществе не играет самостоятельной роли, и родовой спеси московского боярства не надо преувеличивать: терпела же "избранная рада" в своей среде людей, взятых "от гноища", и шли же князья-рюриковичи, да еще из самых старших по родословцу, служить в опричнину вместе с Васькой Грязным и Малютой Скуратовым. Мелкий вассалитет мы видим впервые за Борисом в схватке совсем не с боярством, а с

таким же магнатом опричнины Вельским: в 1584 году во главе толпы, собиравшейся бомбардировать Московский Кремль, были рязанские дети боярские, Кикины и Ляпуновы, будущие вожди дворянства во время Смуты. И помогали они не одному Годунову, а всем "боярам", т.е. вообще были за наличное правительство против отдельного захватчика. А первый яркий и определенный случай классовой борьбы мы находим три года спустя, и опять борьба дворянства с боярством, сама по себе, была тут ни при чем. Случай этот мы имеем в двух версиях: одна, несомненно, тенденциозная, другая знает внешнюю сторону дела, но не знает его подкладки. Но в одном дипломатическом документе московское правительство само проговорилось, что в 1587 году "в кремле-городе в осаде сидели и стражу крепкую поставили", и что сделано было это "от мужиков торговых", которые "заворовали", т.е. устроили мятеж. Этим достаточно подтверждается то, что тенденциозный рассказ о событиях передает относительно "всенародного собрания московских людей множества", которое собиралось Годунова "со всеми сродниками без милости побити камениём". Был антигоду невский бунт, устроенный московскими посадскими людьми, на стороне которых оказались не только Шуйские и другие "большие бояре", но и "премудрый грамматик Дионисий, митрополит московский и всея Руси". Вся эта обстановка дает знать, что дело шло никак не о более или менее случайных уличных волнениях, что подготовлялся государственный переворот, для которого были придуманы и юридическая форма, и политическая, по тогдашним понятиям, мотивировка. Мотивировка состояла в том, что годуновское владычество грозит, будто бы, самому существованию династии, у Федора нет детей, и виновата в этом царица Ирина Федоровна, сестра Годунова. И вот митрополит, "большие боляре" и "от вельмож царевы палаты и гости московские и все купецкие люди учинити совет и укрепились между собою рукописаньем - бить челом государю царю и великому князю Феодору Ивановичу вся Руси, чтобы ему государю все земли царской своей державы пожаловать, прияти бы ему второй брак, а царицу Ирину Феодоровну пожаловати, отпустити во иноческий чин; и зрак учинити ему царского ради чадородия". Делать из этого политического заговора ("совет" на древнерусском языке именно и обозначает то, что мы выражаем словом "заговор", говоря, например, о "заговоре декабристов") эпизод дворцовой борьбы внутри тесного круга московской придворной знати, может быть, и очень удобно с точки зрения художественного интереса, (читатели, вероятно, уже вспомнили сцену из "Царя Федора Иоанновича"), но исторически совершенно неправильно. Шуйским, конечно, и в голову не пришло бы рисковать головой в этом деле, не чувствуй они за собой "всенародного множества" - того самого, что за полвека сделало их отцов властными опекунами маленького Ивана Васильевича. Но соотношение сил на этот раз оказалось иное. После первого испуга отсидевшееся в Кремле годуновское правительство круто расправилось с заговорщиками: Дионисий был сведен с митрополичьего престола, Шуйские и ряд других бояр были сосланы, а шестеро московских гостей казнены. Нет никакого сомнения, что решила дело не слабая воля царя Федора, а те самые "дети боярские", о присутствии которых в Кремле проговаривается все тот же упоминавшийся нами дипломатический документ. Старая гвардия Грозного, его опричный "двор", поддержала на этот раз уже лично Годунова, который, кстати сказать, в качестве "дворового воеводы" (командира

гвардейского корпуса) был ее непосредственным начальником. В длинном ряду титулов Бориса Федоровича это звание, как видим, совсем не было пустым звуком. - Столкновение 1587 года было самым крупным событием московской социальной истории в промежутке между смертью Грозного и избранием Годунова на царство. Оно отметило собою фактическое разложение опричнины, юридически переставшей существовать со дня смерти Ивана IV. Опричнина была блоком городской буржуазии и среднего землевладения; без посадских переворот 3 декабря 1564 года, вероятно, не имел бы места. Раньше буржуазия дружила с боярством: оторвать ее от него и перевести на свою сторону было крупным успехом помещичьей партии. Теперь мы опять, как будто, встречаем комбинацию 1550 года - "купецких людей" вместе с "большими боярами". Как будто, - потому что инициатива теперь едва ли не принадлежала "купецким людям", а "большие бояре" действовали не как класс, а как группа отдельных семей: ведь и сам Горнов был "большим боярином", и с ним была целая боярская партия, много "прельщенных им от царские полаты боляр", вместе с дворянами. Смысл события не в возрождении феодально-буржуазной оппозиции, а в появлении буржуазии, как самостоятельной политической силы. В своих аристократических вождях московский посад разочаровался, вероятно, еще до опричнины: история с разводом Федора Ивановича унесла последние остатки их авторитета, если они еще были. Горькие слова московских купцов по адресу Шуйских: "Помирились вы (с Годуновым) нашими головами", были надгробной эпитафией боярско-посадского союза. Характерно, что семейные связи с Шуйскими остались; экономически эти владельцы промысловых вотчин были теснее связаны с буржуазными кругами, чем со своими титулованными собратьями. Когда буржуазии понадобился "свой царь", она стала искать его в рядах этой семьи. В 1587 году было еще далеко до этого критического момента. Пер-вое политическое выступление "купецких людей" так далеко не метило, но что это было политическое событие, а не дворцовая интрига, тотчас же дала почувствовать внешняя политика Бориса. Опыт ливонской войны сделал московское правительство очень миролюбивым, но в 1589 году московским послам, отправленным уже не в первый раз договариваться со шведами насчет обратной уступки занятых последними русских городов, было предписано говорить "по большим, высоким мерам" и требовать "в государеву сторону Нарву, Ивангород, Яму, Копоръе, Корелу без накладу, без денег". Это был вызов, и в январе следующего 1590 года к Нарве двинулось русское войско с самим царем Борисом Годуновым и Федором Никитичем Романовым. Московское правительство заявляло, что без Нарвы, т.е. без восстановления русской балтийской торговли, оно не помирится. Нарву, однако, взять не удалось, но в общем поход не был неудачен, и три других захваченных шведами города - Ям, Ивангород и Копорье - перешли обратно в русские руки. Вся эта цепь событий будет нам понятна, если мы припомним, что разрыв посадских с боярами и сближение их с "воинством" произошли именно на почве внешней политики, и что оттолкнуть буржуазию от помещиков всего скорее могла неудача ливонской войны. Теперь Годунов пробовал опять вести буржуазную политику, но осторожно и ненастойчиво: буржуазия не была главной фигурой на его шахматной доске.

Если этот крупный феодал желал удержаться у власти, ему не на кого было опереться, кроме "воинства": не его личное социальное положение определяло его

политику, а, наоборот, политика обусловливала его социальные симпатии. Случай отблагодарить своих союзников представился ему очень скоро. В 1591 году, как мы уже упоминали, крымцы опять появились под Москвой. Захват города им теперь совершенно не удался. Опыт предыдущего татарского набега был хорошо использован московскими воеводами, были выработаны новые способы борьбы со степной конницей, и они оказались очень целесообразными. Современники приписывали особенное значение "гуляй-городу" - подвижной деревянной крепости на колесах, изобретателем которой считали кн. М.И. Воротынского, хотя нечто очень похожее проектировалось уже давно в одном из "пересветовских" писаний. А в смысле собственно городской обороны Годуновым была очень усилена артиллерия; памятником русского литейного искусства именно этой поры осталась известная "Царь-пушка". Словом, крымцы нашли перед собой совсем не ту картину, что двадцать лет раньше, и ушли, не сделав даже попытки взять город. Но для отражения их была уже стянута громадная армия, поднято на ноги все служилое землевладение Центральной России и даже Новгорода и Пскова. Помещики прошлись, разумеется, недаром: за поход было выдано жалованье, для медлительного московского казначейства выдано чрезвычайно быстро, вопреки, по-видимому, обычаю его стали раздавать, не дождавшись конца кампании, когда войско еще стояло лагерем; и в усиленном размере, настолько усиленном, что сами служилые будто бы удивлялись и говорили, что в прежние времена даже родовитым людям за трудный поход и многие раны не давали того, что теперь получили рядовые дети боярские за войну, больше походившую на маневры, так как только московскому авангарду удалось увидеть крымцев, главные силы далеко отстали от них. Если мы припомним, какое значение имело государево денежное жалованье в помещичьем хозяйстве, мы поймем, что ничем лучше привязать к себе массу "воинников" Борис не мог. Недаром всякий ропот против годуновского управления после этого похода надолго стих, о чем мы имеем свидетельство авторов, весьма мало расположенных к Борису Федоровичу.

Располагая громадными личными средствами - и огромной котерией личных приверженцев, стало быть, - примирив с собою, хотя бы отчасти, начинавшую поднимать голову буржуазию" имея вполне на своей стороне весь мелкий вассалитет, всю вооруженную силу государства, Борис стоял так прочно, что большего, казалось бы, ему нечего было желать. Царь Федор, "иже от поста просиявший", был еще не стар и мог иметь детей: год спустя у него родилась дочь - царевна Федосья, умершая в 1594 году. При детях этих, родных племянниках Годунова, его положение регента оставалось бы, по всей вероятности, столь же прочным, как и при их отце. Было бы чрезвычайно странно, если бы в таком положении человек стал себя "усиливать" при помощи преступлений, крайне неловко совершенных и как будто нарочно придуманных, чтобы скомпрометировать репутацию Бориса Федоровича. Между тем подавляющее большинство историков принимает как достоверный рассказ о том, что именно в эти годы, с ведома, если не по прямому приказу Годунова, был убит младший сын Грозного царевич Димитрий - убит в тех видах, чтобы "расчистить Борису путь к престолу". Если бы нужна была специальная иллюстрация младенческого состояния у нас весьма важной дисциплины, именуемой "исторической критикой", и давления на нашу историческую науку обстоятельств и интересов, ничего общего

ни с какой наукой не имеющих, лучшей, нежели "дело об убийстве Димитрия-царевича", придумать было бы нельзя. Первое категорическое утверждение, что Борис - убийца Димитрия, мы находим в источнике самого поверхностного, анализа которого достаточно, чтобы не верить именно этим его показаниям. В 1606 году, сев на престол посредством государственного переворота, через труп Лжедмитрия, царь Василий Иванович Шуйский нашел необходимым дать юридическое и историческое оправдание своему поведению: доказать, что цареубийство было актом "необходимой самообороны", а что права на московский престол Шуйским принадлежали искони, и они только исключительно по скромности до времени их не предъявляли. С этой целью по городам рассылался целый сборник документов, в фальсифицированности которых никто, кажется, никогда не сомневался, и распространялся небольшой, в литературном отношении весьма удачно написанный исторический трактат, составляющий как бы "историческое введение" к этим документам. Из этих последних следовало, что "страдник, ведомый вор, богоотступник, еретик, рострига Гришка Богданов сын Отрепьев" хотел ни более ни менее как московских "бояр, и дворян, и приказных людей и гостей, и всяких лутчих людей побита, а Московское государство хотел до основания разорити, и крестьянскую веру попрати, и церкви разорити, а костелы Римские устроити". Ясное дело, что убить его было не только можно, но и должно. А введение должно было утвердить читателя в той мысли, что занять место по праву убитого еретика было некому, кроме князя Василия Ивановича Шуйского, "изначала прародителей своих боящегося Бога и держащего в сердце своем к Богу велию веру и к человекам нелицемерную правду". Если же все эти качества не доставили благочестивому князю престола раньше, то виновато в этом было гонение "от раба некоего, зовомого Бориса Годунова", который "уподобился древней змии иже прежде в рай прелсти Еву и прадеда нашего Адама и лиши их пищи райския наслажатися". Когда среди подобного текста вы читаете далее, что именно Борис подослал убийц к царевичу Димитрию, элементарная историческая добросовестность заставляет вас отнестись к рассказу с крайней степенью недоверия. Это последнее должно окончательно укрепиться в читателе, когда он видит, с одной стороны, что ни одной живой, конкретной подробности преступления наш превосходно осведомленный автор сообщить не умеет, ограничиваясь шаблонной картиной "убийства невинного отрока" вне времени и пространства, а с другой стороны, - что все остальные "независимые и самостоятельные русские писатели XVII века... неохотно и очень осторожно говорят об участии Бориса в умерщвлении царевича Димитрия"*.

---

* *Платонов, цит. соч., с. 212.*

К этой характеристике можно прибавить только одно весьма любопытное наблюдение: чем дальше от события 1591 года, тем больше подробностей о нем мы находим в литературе. Всем хорошо знакомый по учебникам детальный рассказ об убийстве, приводимый Соловьевым, читается в так называемом "Новом Летописце" - компилятивной истории Смутного времени, окончательная редакция которой не старше 1630 года. Сорок лет спустя после события знали о нем больше, чем мог собрать заинтересованный и пристрастный автор через пятнадцать лет!

Такое хорошо знаковое всякому историческому исследователю явление может иметь лишь одно объяснение: мы имеем перед собою типичный случай возникновения легенды. Народное воображение дополнило то, чего не хватало истории, постепенно, деталь за деталью, расцвечивая сухую схему первоначально без всяких доказательств брошенного обвинения. Кто знает отношения Годунова и Романовых, сидевших на престоле в те дни, когда впервые писалась история Смуты - об этих отношениях будет еще речь ниже, - тот не удивится, что воображению тогдашней публики был дан именно такой уклон. Но для всякого "независимого и самостоятельного" русского историка XIX века, казалось бы, ввиду всех этих фактов, обязательно отнестись с полным отрицанием к выдумке, пущенной в оборот памфлетом Шуйских, даже в том случае, если бы мы не имели современных событию документов, утверждающих противное. А такой документ есть: сохранилось подлинное дело об убийстве Димитрия - акт "обыска" (по-теперешнему "дознания"), произведенного по горячим следам в Угличе комиссией боярской думы, - ив этом деле рядом свидетельских показаний, в том числе дядей царевича Нагих, устанавливается, что он погиб в результате несчастного случая: накололся на нож, играя в "тычку". Следствие, правда, производил тот самый благочестивый князь Василий Иванович Шуйский, с публицистической деятельностью которого читатель познакомился выше: для очень большого скептика, можно согласиться, это дает основание подозревать и акт следствия. Но Шуйский на следствии был не один, во-первых, а затем, уж если подозревать официальные документы, к которым имел касательство Василий Иванович, то какого же доверия заслуживает его неофициальная публицистика?

Уже лет восемьдесят тому назад один историк, не состоявший на академической службе, но от этого не менее добросовестный, сделал из всех перечисленных фактов единственный возможный вывод: если не держаться на точке зрения абсолютного скептицизма, доверять больше нужно следственному делу, чем литературным памятникам. И он написал в своей книге, что Димитрий-царевич погиб в 1591 году в Угличе от несчастного случая. Но публике не пришлось прочесть такой ереси. Академическая наука твердо держала стражу, и один из ее представителей, едва ли не виднейший в то время, поспешил пресечь зло в корне: по его настоянию соответствующий лист еретической истории, уже отпечатанной, был выдран изо всех экземпляров и сожжен. Аргумент ученого, кажется, был так же прост, как и убедителен: если Димитрий не был мучеником, невинно пострадавшим от рук злодеев, то как же могли от него остаться чудотворные мощи? Из этого мы можем видеть, насколько проницателен был царь Василий Иванович, превративший младшего сына Грозного в угодника и чудотворца чуть не на другой день после своего восшествия на престол (Шуйский стал царем 18 мая, а мощи Димитрия были уже в Москве 3 июня). Принятая им мера оказалась достаточной, чтобы повлиять на "общественное мнение" не только начала XVII века, но и времен императора Николая Павловича.

Что касается "святоубийцы", Бориса Федоровича Годунова, то он, кажется, более всего страдал не от мучений совести из-за несовершенного им злодеяния, а от сомнений, на наш взгляд, довольно странных, хотя до последнего времени находились исследователи-одиночки, их разделявшие. Есть основания думать, что Борис сомневался: действительно ли Димитрий умер? Если личность слабоумного

Федора в его руках была сильным средством поддержания своей власти, то маленький царевич в руках противников Годунова мог стать, при случае, таким же средством против последнего. И средство это становилось тем опаснее, чем больше было ясно, что от Федора ждать детей уже нельзя и что Димитрий, будь он жив, является единственным представителем потомства Калиты. А слухи, что царевич жив и находится где-то за границей, может быть, в Польше, стали ходить по Москве еще до смерти Федора. Всего через месяц после этой смерти пограничный польский губернатор уже слышал о каких-то подметных письмах от имени Димитрия, появившихся в Смоленске. Только в этой связи можно понять те чрезвычайные меры, какие были приняты московским правительством, т.е. правительством Годунова, именно в эти дни. "По смерти царя немедленно закрыли границы государства, никого через них не впуская и не выпуская. Не только на больших дорогах, но и на тропинках поставили стражу, опасаясь, чтобы кто не вывез вестей из Московского государства в Литву и к немцам. Купцы польско-литовские и немецкие были задержаны в Москве и в пограничных городах, Смоленске, Пскове и других, с товарами и слугами, и весь этот люд получал даже из казны хлеб и сено. Официальные гонцы из соседних государств также содержались под стражей и по возможности скоро выпроваживались пограничными воеводами обратно за московскую границу. Гонцу оршанского старосты в Смоленске не дозволили даже самому довести до водопоя лошадь, а о том, чтобы купить что-либо на рынке, нечего было и думать". Одновременно с этими полицейскими мерами принимались и экстренные меры военной обороны, и притом как раз, опять-таки, на западной границе. "Смоленские стены поспешно достраивали, свозя на них различные строительные материалы тысячами возов. К двум бывшим в Смоленске воеводам присоединили еще четырех. Усиленный гарнизон Смоленска не только содержал караулы в самой крепости, но и высылал разъезды в ее окрестности. Во Пскове также соблюдали величайшую осторожность"*. Все это, конечно, никак не приходится объяснять желанием москвичей, чтобы избрание нового царя совершилось "втайне от посторонних глаз". Боялись, совершенно определенно, сношений кого-то, находившегося в Москве, с кем-то, кого подозревали за западным рубежом Московского царства, причем сношения эти, видимо, могли кончиться внезапным появлением чужеземных войск в русских пределах. Словом, в 1598 году готовились к тому, что действительно случилось в 1604-м. "Самозванец" вовсе не был черною точкой, вдруг явившейся на безоблачном небосклоне Борисова царствования: эту эффектную картину мы должны всецело оставить пушкинской трагедии. В действительной истории фигура Димитрия все время чувствовалась за кулисами, и Годунов нервно ждал, когда же наконец она выступит. В этом смысле ему, может быть, действительно мерещился покойный царевич, но только не в образе "кровавого мальчика", а, скорее всего, во главе польско-литовской рати, в том именно виде, каким он явился на Руси накануне смерти Бориса.

---

* *Платонов, цит. соч., с. 226 - 227.*

В связи с этими же опасениями становится понятна та необычайная обстановка, в какой происходило самое избрание Бориса Феодоровича на царство весной 1598

года. Этот любопытный эпизод в новейшей историографии прошел несколько стадий. Сначала историки чувствовали безусловное доверие к очень обстоятельному рассказу об этом событии, какой давался упоминавшимся нами выше памфлетом Шуйского: там можно все найти, что нам так знакомо с детства - и приставов, по команде которых народ начинал кланяться и вопить, и слюни, в качестве суррогата слез на сухих глазах, и штрафы с тех, кто не хотел идти к Новодевичьему монастырю молить Бориса на царство. Но так как в этом вопросе не было специальных оснований доверять именно Шуйскому, то благоразумие скоро взяло верх - стало совестно верить сплетням, и на первый план начал выдвигаться Земский собор, выбравший Бориса, причем и относительно Собора подчеркивалось, что в его составе "нельзя подметить никакого следа выборной агитации или какой-либо подтасовки членов". Проныра, хитростью забравшийся на царский престол, оказывался законно и правильно избранным на государство "представительным собранием", которое "признавалось законным выразителем общественных интересов и мнений". Нет никакого сомнения, что избрание Бориса было актом, юридически совершенно правильным; мы сейчас увидим, что оно было обставлено всякими юридическими формальностями даже с излишней, может быть, роскошью. Ни один царь ни прежде, ни после не старался так уверить своих подданных, что он имеет право царствовать. Но именно эта заботливая аргументация своих прав, которую мы можем проследить отчасти даже в процессе ее развития, подметить, как одни аргументы заменялись другими, которые казались убедительнее, - именно оно-то заставляет отнестись к происходившему с некоторой подозрительностью, независимо от каких бы то ни было современных памфлетов. Никто так не заботится об юридической безукоризненности своих поступков, как именно умные и опытные мошенники. А затем мы уже вышли из той стадии политического развития, когда "избирательная агитация" казалась чем-то "вроде подтасовки" общественного мнения. Всякий из нас теперь по личным переживаниям отлично знает, что никакого организованного массового действия без предварительной агитации невозможно себе представить, и если московский народ 21 февраля 1598 года "во след за патриархом" валом повалил к Новодевичъему монастырю, то, очевидно, кто-то этим делом руководил и его подготовил. Клевета на Бориса могла заключаться не в утверждении, что в пользу этой манифестации предварительно агитировали, а в инсинуациях, что она была осуществлена мерами полицейского свойства, через приставов. На этом именно и настаивает пасквиль, пущенный в оборот Шуйскими. Другие же авторы, вовсе не сочувствующие Борису, говорят только, что у последнего везде были "спомогатели", - по-нашему, избирательные агенты, - и "сильно-словесные рачители", которых мы теперь назвали бы агитаторами. Итак, "агитация" была, не было лишь "подтасовки". Ее и не могло быть: она была совершенно не нужна, ибо когда начались народные манифестации, решение Земского собора было уже установлено и освящено религиозным авторитетом - 18 февраля в Успенском соборе торжественно молили Господа Бога, чтобы он даровал православному христианству, по его прошению, государя царя Бориса Феодорови-ча. Крупный и мелкий вассалитет - на Соборе была, конечно, и боярская дума в полном составе - и церковь уже признали царем Бориса, когда народ отправлялся его молить. Годунову показалось мало тех общественных сил, которые обычно составляли

"политический корпус" Московского царства, - "чинов", представленных на Земском соборе: ему понадобилось участие в деле "всего многочисленного народного, христианства". И сколько мы знаем, это был первый царь, всколыхнувший себе на помощь народную массу, потому что "обращения к народу" Грозного фактически имели в виду высшие слои московского купечества. Это было необыкновенно важно для будущего, но это не менее важно и для характеристики положения Бориса в данный момент. Необычайно торжественный характер избрания должен был заранее преградить дорогу всяким "покусителям", которых, очевидно, ждали.

Та же тревога чувствуется и в самом акте избрания, дошедшем до нас в двух редакциях, и крестоцеловальной записи, по которой должно было присягать население новому царю, присягать, опять-таки, в необычайно торжественной обстановке в церквах во время службы. Противники Бориса находили в этом новый повод для жалоб: из-за шума, поднятого толпою присягавших, в Успенском соборе нельзя было даже пения божественного расслышать, так что набожные москвичи, желавшие помолиться, остались в этот день без обедни. Саму "утвержденную грамоту" Земского собора положили в раку митрополита Петра, принародно вскрытую по этому случаю, что, конечно, опять было истолковано кем следует как явное и непозволительное кощунство. По содержанию оба эти документа весьма любопытны, особенно соборное решение, дошедшее до нас не только в окончательном виде, но и в черновике. Последний поражает обилием доводов в пользу избрания Бориса; их так много, что они даже мешают друг другу, и в окончательной редакции нашли полезным посократить их число. Их перечень сам по себе интересен: перед нами вскрывается ряд напластований, из которых постепенно составилось русское право престолонаследия к концу XVI века. Древнейшим пластом была удельная традиция, в силу которой "государева вотчина", как и всякая другая, переходила по завещанию, но только в кругу данной семьи - не к чужеродцам. Грамота и отмечает, что Годунов "великого государя сродник", и рассказывает, будто бы еще Иван Васильевич назначил Бориса Федоровича своим наследником в случае смерти Федора. Но московский удел успел превратиться во всемирное православное царство: его престолом нельзя уже было распоряжаться как частным имением. По здравому смыслу ясно было, что определять, кто достоин быть царем всех православных, скорее всего, могла Православная Церковь: грамота и утверждает, что епископы от апостолов имеют власть "сшедшихся собором, поставляти своему отечеству пастыря и учителя и царя". Но в 1598 году и это оказывалось уже пройденной ступенью, и "челобитье всего многочисленного народного христианства" является решающим аргументом, решающим настолько, что под конец грамота из-за него забывает все другие. "Яко да не рекут нециии: отлучимся от них, понеже царя сами суть поставили; да не будет то, да не отлучаются ...аще кто речет, неразумен есть и проклят". И родство с династией, и завещание Грозного, и соборное определение церкви были забыты редактором документа; он помнил только, что Борис - выборный царь, что это новшество, и что к этому новшеству могут придраться, чтобы оспоривать права Годуновых на престол - Годуновых, ибо выбрана была, конечно, вся семья: на имя всей семьи, включая и "царевну Окси-нью", приносилась и присяга. В окончательном тексте "утвержденной грамоты" уже ничего не говорится о

завещании царя Ивана: это смелое утверждение было бы слишком трудно доказать, зато этот текст больше напирает на родство Годуновых с последним потомком Калиты через Ирину Федоровну, сестру Бориса и жену Федора Ивановича. О том, что были еще какие-нибудь лица, имеющие наследственные или какие-либо иные права на престол, грамота не говорит, но крестоцеловальная запись упоминает одно такое лицо, причем упоминание странно бросается в глаза своей неожиданностью. Мы помним, что Грозный когда-то, не то в шутку, не то ради соблюдения формальности, посадил над земщиной особого царя, крещеного татарского царевича Симеона Бекбулатовича. Теперь это был слепой старик, сам, вероятно, плохо помнивший, что он был когда-то "калифом на час". Тем не менее Борис нашел нужным потребовать от своих подданных, чтобы они царя Симеона на государство не хотели. Один новейший исследователь вывел из этого заключение, что бывший царь земщины был, будто бы, серьезным кандидатом на престол в известный момент избирательной кампании. На самом деле эта характерная подробность показывает лишь, как мнителен был новый царь, и как он принимал меры, чтобы, на грех, даже и палка не выстрелила. Борис, вероятно, охотнее бы упомянул на этом месте своих реальных противников - тоже родичей царей Ивана и Федора, да еще постарше Годуновых, детей Никиты Романовича Юрьева, да не то живого, не то мертвого Димитрия Углицкого. Но о последнем нельзя было говорить официально, ибо официально он был на том свете, а с первыми у Бориса было какое-то соглашение, скрепленное даже крестоцелованием. Сущность этого соглашения нам неизвестна, но характерно одно обстоятельство: романовская версия истории Смуты, нашедшая себе самое раннее выражение у одного неизвестного по имени автора, скомпилированного весьма известным Авраамием Палицыным, старается взвалить вину за нарушение договора на Бориса, тщательно скрывая при том от читателя, за что именно Годунов "изверг из чести" и сослал Никитичей. Довольно верный знак, что правота последних не могла быть доказана так бесспорно, как бы этому автору хотелось.

Итак, только что вступив на престол, Борис чувствовал себя уже на нем непрочно и старался найти как можно больше и юридических, и материальных опор для своей власти. Годуновское владычество переживало само себя: регент не встречал никаких серьезных преград своей власти, а едва он стал царем, под его ногами уже клокотала революция. По общепринятому взгляду, эту революцию подготовили бояре. Но в этот как раз период мы напрасно стали бы искать сплоченной боярской оппозиции: будь она, дело едва ли бы кончилось такой странной, для самого боярства рискованной и крайне неприятной авантюрой, как появление на московском престоле Лжедмитрия, которого привели в Москву украинские помещики в союзе с ворами-казаками да польскими искателями приключений. Присматриваясь к политике Бориса, мы легко видим, что разрыв его с командующими слоями начинался много ниже боярства. Если его политика до 1598 года, политика Годунова-правителя, еще была классовой, дворянской, хотя не столько по тесной связи с этим классом, сколько потому, что все другие классы были в данный момент не на его стороне, то политика царя Бориса начинает принимать характер совершенно своеобразный, столь же новый и неожиданный, как нов был в области государственного права выдвинутый тем же Борисом избирательный принцип.

За исключением памфлета, вылущенного царем Василием, все авторы, как сочувствующие Борису (их очень мало), так и сочувствующие его противникам (таких большинство), в один голос свидетельствуют о чрезвычайной, невиданной прежде в России заботливости этого государя о массе населения. Только что сейчас упомянутый нами сторонник дома Романовых без всяких оговорок утверждает, что царь Борис "о бедных и о нищих крепце промышляше и милость к таковым велика от него бысть" - и что он "таковых ради строений всенародных всем любезен бысть". Дьяк Иван Тимофеев крепко не любил "злоковарного и прелукавого властолюбца", но когда речь заходит об этой стороне Борисова правления, мы находим у этого желчного чиновника, тщательно собиравшего самые пахучие сплетни о шурине царя Федора, почти панегирик Годунову, написанный даже не без чувства, как будто автор обрадовался этому светлому оазису среди того моря грязи, какое он сам собрал на страницах своего "Временника". "Требующим даватель неоскуден, к мирови в мольбах о всякой вещи преклонитель кротостен... на обидящих молящимся, беспомощным и вдовицам отмститель скор... обидимым от рук сильных изыматель крепок... на всяко зло, сопротивное добру, искоренитель неумолим со властию..." Тимофеев сам становится в тупик: "Откуду се ему (Борису) доброе пребысть?" И колеблется между двумя объяснениями: "прикровенной лестью" и... влиянием царя Феодора. Для древнерусского человека, с подобострастием взиравшего на юродивых*, последнее объяснение не заключало в себе ничего комического, но нам приходится лишь зарегистрировать его ради его исторической характерности. Что же касается первого, то почему же Годунов льстил не тем, кто силен, а тем, кто слаб? А наиболее объективный из всех близких по времени к Борису историков, автор статей о Смуте в хронографе 1617 года, имеет на своей палитре для Годунова почти одни светлые краски: "Всем бо неоскудно даяние простираше... мнози от любодаровитые его длани в сытость напиташася... цветяся, аки финик, листвием добродетели". Если мы перейдем от этих общих оценок к отдельным конкретным пунктам годуновскои политики, мы найдем один, на котором сходится целый ряд писателей, и русских и иностранных: Борис жестоко преследовал взятки и взяточничество - "ко мздоиманию зело бысть ненавистен" - "зелных мздоприимству всему в конец умерщвление не пощаденно бяше". "Никто из судей или чиновников не смеет принимать никаких подарков от просителей, - писал побывавший у Годунова на службе французский авантюрист Маржерет, - ибо если обвинят судью или собственные слуги или подарившие (которые доносят нередко, обманувшись в надежде выиграть дело), или другие люди, то уличенный в лихоимстве теряет все свое имущество и, возвратив дары, подвергается правежу, для заплаты в пеню, по назначению государя, 500, 1000 или 2000 рублей, смотря по чину. Но виновного дьяка, не слишком любимого государем, наказывают всенародно кнутом, т.е. секут плетью, а не розгами, привязав к шее лихоимца кошелек серебра, мягкую рухлядь, жемчуг, даже соленую рыбу или другую вещь, взятую в подарок; потом отправляют наказанного в ссылку, с намерением прекратить беззаконие и на будущее время". "При всем том взятки не истребляются", - меланхолически прибавляет Маржерет, опять сходясь в этом с русским автором, сообщающим, что хотя Борис и очень ревностно старался искоренить такое "неблагоугодное дело", как злоупотребления администрации, "но не возможе отнюдь". Мы не станем этому удивляться: практически все

полицейские государства ломали себе шею на неразрешимой задаче - сочетать "правосудие" с полным бесправием подданных. Петру Великому везло на этом пути не больше, чем Годунову, но для конца XVI века самый идеал благоустроенного полицейского государства был уже шагом вперед.

** "Благоуродив бяшь от чрева матери своея" - так именно и определил Федора один из тогдашних историков.*

Мы слишком отрывочно знаем социальную и податную политику Бориса, чтобы составить себе сколько-нибудь полное представление о его проектах в этой области. Иностранцы приписывают ему весьма смелый, грандиозный по своему времени замысел: регулировать законодательным порядком повинности крестьян по отношению к землевладельцам. Есть известия, что он стремился перенести центр тяжести государственных доходов на косвенные налоги; осуждая его "злосмрадные прибытки", его противники выдвигают на первый план возвышение кабацкого откупа - "и инех откупов чрез меру много бысть". Это замечание любопытно, между прочим, потому, что вскрывает классовые отношения при Годунове. Мы знаем, что в Московской Руси было два способа сбора косвенных налогов: откупом и "на веру", и что последний, вопреки распространенному мнению, был выгодней для торгового капитала. Автор, которого мы сейчас цитировали, обнаруживает редкое понимание экономических отношений своего времени и, судя по другому своему произведению, был очень близок к посадским людям. Его неодобрение годуновской фискальной политики весит очень много: буржуазия и теперь не была на стороне Бориса, и московский посад не "в ужасе безмолвствовал", когда пали Годуновы, а просто отнесся к этому факту с полным равнодушием. Это была не его династия.

Она не была уже давно и дворянской. По отношению к помещикам Борис стоял перед задачей, прямо неразрешимой. С одной стороны, все продолжавшийся кризис требовал все большей и большей перекачки серебра из казенного сундука в карманы среднего землевладельца. Борис делал на этом пути что мог; по случаю своего избрания он устроил уже прямо фиктивный поход против крымского хана и роздал за него двойное жалованье. Но этому когда-нибудь должен был наступить конец: государство жило с того же разбредавшегося крестьянина, которого не могли привязать к своим землям помещики. Ограбить город в пользу дворян, как это случилось позже, в XVII веке, Борис не решался: после событий 1587 года, по крайней мере, невраждебный нейтралитет буржуазии казался необходимым. Оставалось пожертвовать на время дворянскими интересами и задержать разброд, создав для крестьян сносные условия существования в центре. Деятельно колонизуя тем временем окраины, правительство Годунова могло надеяться через несколько лет выйти из кризиса. Голод помещиков удовлетворялся пока что конфискациями имений Борисовых противников - "грабя дома и села бояр и вельмож". В этом случае Борис не мог, да и не хотел, вероятно, сойти с пути, завещанного опричниной. Красная нить, которая проходит через всю вторую половину XVI века, захватывает и царствование Годунова: оттого-то, взятое в самом общем очерке, с птичьего полета, оно и рисуется нам, как рисовалось современникам, продолжением царствования Грозного. Но индивидуальность

Бориса была не в том, что он был опричник. Конфискации не были для него универсальным средством развязать запутавшиеся аграрные отношения. При данных условиях они были лишь продолжением разгрома старых вотчин, но в один прекрасный день нечего было бы уже и громить, и катастрофа была бы неотвратима. Оставался вопрос, насколько можно было ее предотвратить уже в это время? Не опоздал ли Борис со своей политикой подъема крестьянского хозяйства? Ответить на это могла лишь история. Она ответила не в пользу Годунова. Голод 1602 - 1604 годов - сложный результат дворянских спекуляций с хлебом, запустения ближайших к столице областей и случайных атмосферных причин, дождей, от которых хлеб погибал, - поставил аграрный вопрос ребром. Для помещиков непосредственно он был страшно выгоден: параллельно с огромным подъемом хлебных цен*, чрезвычайно пали в цене рабочие руки; люди шли в рабство даром, за один хлеб; этих дешевых рабов их господа не удостаивались даже кормить круглый год: продержав их, пока кончатся полевые работы, их прогоняли на все четыре стороны потом, в полной уверенности, что весной нетрудно будет найти рабочих еще дешевле. Отношения между барином и крестьянином напоминали уже классическую пору крепостного права - XVIII век - до крепостных гаремов включительно. В дальнейшем голод должен был обострить и, действительно, обострил кризис, создав огромную "резервную армию" бродячего люда, готовый материал для антидворянского движения, и разогнав, куда глаза глядят, последних "старожильцев". Но о завтрашнем дне никто не думал. Решилось подумать о нем годуновское правительство, организовав продовольственную помощь голодающим. Предприятие оказалось выше технических средств тогдашней администрации; отпускавшейся правительством суммы хватало ровно на одну треть того, что в среднем было нужно человеку при установившихся хлебных ценах. Кроме того, помощь голодающим была сосредоточена в городах: там скоплялась масса нуждающегося люда, цены там вздувались еще больше, и голод еще более обострялся. Народной нужде Борис не помог, но симпатии помещиков утратил окончательно. Достаточно было любого ничтожного повода, чтобы социальное одиночество годуновского правительства из возможности стало для всех очевидным фактом. Повод скоро нашелся, и далеко не ничтожный: долгожданный Дмитрий явился, наконец, из Польши.

** Если верить хронографу, с 10 - 15 коп. за бочку (4 четверти) до 3 рублей за четверть, т.е. в 80 раз.*

Дворянское восстание

Кто выдвинул Лжедмитрия? - "Извет" старца Варлаама; другая русская версия; роль казаков и московской эмиграции; дело Романовых - "Северская Украина", характер ее населения; характер движения против Годунова. Поход Лжедмитрия к Москве - Дворянский заговор; Ляпунов и южные помещики; отношение к делу посадских; положение боярства в царствование Дмитрия; оргия земельных раздач и денежных наград - Сходство с опричниной; боярский заговор; брожение среди

буржуазии и его причины - Социальная и внешняя политика Дмитрия; раскол среди служилых - Переворот 17 мая 1606 года - Растерянность боярства на другой день после переворота; воцарение Шуйского как заговор в заговоре; его социальная подоплека; самооборона боярства; крестоцеловальная запись Шуйского - Финансовое положение царя Василия - Восстание южных помещиков; "возмущение холопов и крестьян" - Компромисс Шуйского с помещиками. Критическое положение царя Василия; видение "некоему мужу" - Вмешательство поляков и второй Дмитрий

Вопрос о том, кто был первым Лжедмитрием, когда-то занимал немаловажное место в русской исторической науке. Что эта последняя им уже не интересуется, служит одним из явных доказательств ее большей зрелости. "Для нашей цели нет ни малейшей необходимости останавливаться на вопросе о личности первого самозванца, - пишет один из последних, по времени, историков Смуты. - За кого бы ни считали мы его - за настоящего ли царевича, за Григория Отрепьева, или же за какое-либо третье лицо, - наш взгляд на характер народного движения, поднятого в его пользу, не может измениться: это движение вполне ясно само по себе"*.

** Платонов, цит. соч., с. 4 251.*

Прибавим только, что и этот автор продолжает называть Дмитрия "самозванцем", хотя еще Соловьев вполне убедительно доказал, что, во всяком случае, он не сам назвал себя царевичем, а другие создали для него эту роль, другие назвали его Дмитрием, а он этому поверил, точно так же, как уверовала в это впоследствии и народная масса. Поэтому пущенный в оборот Костомаровым термин "Названный Димитрий", гораздо лучше передает сущность дела, так что его мы и будем держаться. С этой оговоркой мнение новейшего историка Смуты приходится принять как окончательное, и вопрос "Кто был Дмитрий?" заменить вопросом: "Кто выдвинул Дмитрия?".

Древнейшую версию ответа на этот вопрос мы имеем в том же самом памфлете Шуйского, где Годунов, впервые в русской письменности, является убийцей настоящего сына Ивана Грозного. Уже одно это совпадение достаточно определяет цену этой версии, что не помешало ей стать господствующей в нашей исторической литературе и проникнуть во все учебники. Для большего правдоподобия рассказ этот облечен в форму показания "достоверного свидетеля", в форму "извета" некоего старца Варлаама, будто бы бежавшего за рубеж вместе с "Гришкой Отрепьевым" и долгое время сопровождавшего его в его странствованиях. Старец Варлаам был, действительно, лицом, по-своему осведомленным: в конце "извета" он очень прозрачно проговаривается относительно своей роли. Это был, несомненно, один из годуновских шпионов, присланных следить за Дмитрием, как только слухи о нем проникли в Москву. За свое усердие в этом направлении он попал в польскую тюрьму, но раньше успел собрать довольно много сведений о польских отношениях будущего претендента, что придает его рассказу фактичность и обстоятельность - они-то, очевидно, и подкупили позднейших историков. Редактор памфлета, обрабатывая эти "агентурные сведения" со своей точки зрения, не все вычистил оттуда, что было

можно: сохранил, например, указание на "прикосновенность к делу" бояр Шуйских, что было важно и полезно для годуновского просительства, командировавшего старца Варлаама на разведки, но для самих Шуйских было, конечно, лишнее. Несмотря на некоторую небрежность отделки, небрежность вполне понятную, так как памфлет был рассчитан на общее впечатление и на широкую публику, которая в этих мелочах не стала бы копаться, памфлетист Шуйских сумел дать "извету" тенденцию, вполне гармонирующую с общим тоном того произведения, куда он был вставлен. Дмитрий является здесь действительно "самозванцем": мысль объявить себя царевичем - его личная мысль, продукт его личной нравственной извращенности и "прелютой ереси", в которую он впал. А его главной опорой и первыми руководителями оказываются польские паны, цель которых ясна - разорить Московское государство и ввести в нем "езовицкую веру". "Извет старца Варлаама" увеличивал, таким образом, собой список документов, оправдывающих государственный переворот 17 мая 1606 года. Первоначальный текст донесения годуновского лазутчика давал, повторяем, иную картину; из него видны были давние московские связи Дмитрия, видно было то совершенно исключительное положение, какое занимал этот мальчик-монах (Дмитрий был пострижен в 14 лет) при дворе московского патриарха, возившего его с собою даже в государеву думу. Но и реставрировав подлинный "извет", устранив тенденцию, внесенную в него памфлетистом, что не так и легко, ибо мы не знаем, какие именно купюры были им сделаны, мы все же не получим, конечно, точного и правдивого рассказа о первых шагах будущего московского царя. С этой точки зрения становится очень любопытна другая русская версия, много более поздняя, тоже далеко не свободная от официального освещения дела, но передающая дело так, как оно рассказывалось в широких кругах московского общества, что не гарантирует, конечно, точности в подробностях, но зато устраняет одну, определенную тенденцию. Старец Варлаам в этой версии совершенно отсутствует, отсутствуют и приключения, якобы сопровождавшие совместное путешествие Варлаама и "царевича" из России, нет и "польской интриги". Все изображается гораздо проще и правдоподобнее. Дмитрий обращается к той среде, которая скорее всего могла заинтересоваться его судьбою, к русскому населению, жившему под литовским подданством, среди которого в те дни немало было и прямых московских эмигрантов. Донесение Варлаама по совершенно другому поводу называет целый ряд имен этих последних, соединяя их странным и неожиданным образом, с "мужиками посадскими киевлянами". Этот случайно невыкинутый памфлетистом Шуйских осколок первоначального извета находит себе полное объяснении в позднейшей версии: среди населения "матери городов русских", и туземного, и пришлого, из московских пределов, дело царевича Дмитрия Ивановича нашло себе первых прозелитов. Скоро Киев становится центром, куда стекается вся нелегальная Русь; около Дмитрия появляются агенты из Запорожья, депутация от донских казаков, и лишь когда он стоит уже во главе некоторой партии, им начинает интересоваться польское правительство. Последнее не было настолько наивно, чтобы пойматься на удочку громкого имени: лишь когда за носителем этого имени оно почувствовало действительную силу, сила эта вошла в расчеты польской дипломатии. В свою очередь, образование партии Дмитрия на русско-литовском рубеже не могло быть делом случайности: у нас есть и прямые

указания, что агитация в его пользу велась здесь давно, что уже в 1601 году здесь слышали о "царевиче". Копаясь в московском прошлом Дмитрия, насколько оно доступно нашим раскопкам, исследователи неизменно натыкаются, как на исходный пункт всяческой агитации, на семью Романовых - вторую московскую семью после Годуновых, связанную с последними некоторой "клятвою завещательною союза", но, в конце концов, разгромленную царем Борисом. Историю обвинения и ссылки Романовых теперь никто уже не рассматривает как простую клевету; что в основе дела лежал серьезный заговор, в этом, по-видимому, не может быть сомнения. И заговор этот некоторые новейшие историки склонны связывать именно с появлением царевича Дмитрия. По-видимому, годуновской полиции не удалось - или она не позаботилась - захватить всех участников дела: некоторые, считавшиеся, быть может, неважными и второстепенными, остались на свободе. Борис Федорович удовольствовался карой самых влиятельных и популярных из числа заговорщиков, рассчитывая, как это часто делает администрация в подобных случаях, терроризировать этим остальных. И, как это почти всегда бывает, расчет оказался неудачным. Революционных элементов было так много и они росли так быстро, что уцелевшим обломкам заговора оказалось нетрудно быстро слиться в новую организацию, захватить которою Годунову уже не удалось. Из подполья дело вышло на открытую сцену, и полицейские меры борьбы пришлось заменить военными. Но здесь все шансы оказались на стороне революции.

Движение против Годунова с самого начала приобрело харак^? тер военного восстания;) оценивая его успехи, это не нужно ни на минуту упускать из виду. Уже не раз цитированный нами романовский памфлетист, гораздо более умный и проницательный, чем "наемное перо" Шуйских, дает очень наглядное и толковое изображение тех общественных элементов, которые прежде всего другого должен был встретить на своем пути Лжедмитрий, двигаясь от Киева на Москву. Северская (Черниговская губерния) и Польская (пристенная) окраины были военной границей Московского государства: здесь не редкость было видеть, как пока одна половина населения жала или косила, другая стояла под ружьем, сторожа первую от внезапного набега крымцев, - явления, почти столь же обычного в этих краях, как хорошая гроза летом или хорошая метель зимой. Помещики из Центральной России смотрели на свое назначение в эти края, как на ссылку, и шли сюда с крайней неохотой. Чтобы колонизировать эти места, правительству приходилось прибегать к услугам настоящих ссыльных, и уже при Иване Васильевиче вошло в обычай заменять ссылкой в Северскую или Польскую окраину тяжкие уголовные наказания, даже смертную казнь. На новых местах всякого вновь появившегося человека стремились утилизировать, прежде всего, как боевой элемент: присланный из Москвы арестант тотчас "прибирался" в государеву службу, получал пищаль или коня и становился стрельцом или казаком. При Годунове к уголовному элементу ссылки прибавился политический: на окраину стали направлять "неблагонадежных" людей, недостаточно опасных, в глазах правительства, чтобы их казнить, и недостаточно знатных, чтобы удостоиться заточения в монастырь. Этот политический контингент рос с чрезвычайной быстротой - разгромы боярских семей, сначала Мстиславских и Шуйских, потом Романовых, Вельского и других, волна за волной посылали на окраину новых

невольных колонистов. Все, кто был так или иначе связан с опальными фамилиями, вся их "клиентела", попадали в разряд "неблагонадежных", а в первую голову - их "дворы", их вотчинные дружины, люди, "на конях играющие", т.е. военные по профессии. Упомянутый нами автор определяет число таких ссыльных, конечно, совершенно "на глаз", не претендуя на статистическую точность, в двадцать тысяч душ. Во всяком случае, из них одних можно было составить целую армию, тем более, что вооруженными они оставались, конечно, и на новых местах. Те, кто был прямо зачислен на государеву службу, представляли самую ненадежную часть Борисовых подданных: кто в службу не попал, примыкали к той колыхавшейся на обе стороны рубежа массе, которая служила московскому правительству, пока находила это для себя выгодным, и моментально превращалась в "иностранцев", как только эта выгода исчезала. Термин "казачество" прилагается историками, обыкновенно, именно к этой массе, которая отнюдь не была вовсе аморфной и совершенно неорганизованной: именно военная организация у нее была, и ее выборные "атаманы" умели держать в своих станицах дисциплину не хуже московских воевод и голов. Это опять была готовая военная сила, нисколько не худшая, чем насильно навербованные гарнизоны украинских крепостей. Провести раздельную черту между теми и другими в этих краях было бы, впрочем, неразрешимой задачей - вчерашний "вольный" казак сегодня становился казаком государевой службы, а завтра опять был "вольным". Так же трудно было бы отделить и в социальном отношении этот мелкий служилый люд, нередко сравнивавшийся с людьми из небольших поместий, от настоящих помещиков, "детей боярских", в этих краях сплошь мелкопоместных. В казачестве были, конечно, и совсем демократические элементы, беглые "люди боярские, крепостные и старинные", но не следует преувеличивать их влияния, как иногда делается. Идеологию казацкой массы вырабатывали не они. Когда эта масса стала политической силой, она выступила не с лозунгом свободы для крепостных, а с требованием поместий и вотчин, где, конечно, работали бы те же крепостные. Казак, как правило, мелкий помещик в зародыше, а мелкий помещик ни о чем, конечно, так не мечтал, как о том, чтобы стать крупным. Оттого казачество и служилая масса, "убогие воинники" Пересветова, так хорошо понимали друг друга, и в политических выступлениях Смуты мы так часто встречаем их вместе. И первый, и второй Дмитрии были одинаково и казацкими, и дворянскими царями. И только когда окончательно выяснилось, что на всех "поместий и вотчин" не хватит, и что новые пришедшие с "царевичами" служилые люди могут стать землевладельцами лишь за счет старых, только тогда "дворяне и дети боярские" стали давать "казакам" решительный отпор. Когда же конкуренты опять были оттеснены на окраину, вновь было восстановлено то неустойчивое равновесие, с которого начала Смута, и которое, по мере укрепления дворянской России, становилось все более и более надежным.

Появление казацких ополчений под знаменами Дмитрия было, таким образом, началом дворянского восстания, и недаром с первой же минуты претендент выступил с обещаниями "воинскому чину дать поместья и вотчины, и богатством наполнить". Упадок популярности Бориса именно среди дворянства, очевидно, не был тайной для русской эмиграции в Литве. Напротив, как раз на этом она и спекулировала, восстанавливая разрушенный романовский заговор. Будь Борис

Федорович в таких же отношениях к помещикам, как в год своего воцарения, поднимать против него мятеж было бы сплошным безумием. Но теперь году невская армия шла на инсургентов из-под палки и готова была воспользоваться всяким удобным случаем, чтобы уклониться от боя. Если поход Названого царевича не был сплошным триумфальным шествием, то это объясняется, с одной стороны, ошибками непосредственных руководителей дела, с другой - тем, что военные силы Бориса не исчерпывались его вассалитетом. Московские эмигранты не были свободны от у влечения Западом - католические симпатии самого Дмитрия составляют одну из сторон этого явления; они слишком низко ценили военные качества той силы, которая сама шла к ним в руки, порубежных служилых людей и казачества, - и слишком много ждали от нанятых ими польских отрядов. На деле последние не сыграли существенной роли, тогда как первые спасли все дело: сдача без боя в течение первых же недель похода целого ряда / украинских крепостей - Чернигова, Путивля, Рыльска, Севска, j Курска, Белгорода, Царева-Борисова - дала "царевичу" в руки I массу опорных пунктов, откуда Борисовы воеводы не могли eroj выбить даже в самые черные для Дмитрия дни войны, а блестящая/ защита Кром донским атаманом Корелой, в сущности, решила поход: московское войско здесь окончательно убедилось, что Годунову с "самозванцем" не справиться, а отсюда был один шаг до вывода, что служить Лжедмитрию выгоднее, чем царю Борису.

Присматриваясь далее к военным действиям, начавшимся осенью 1604 года, мы видим, что всякий раз, когда Дмитрий встречает серьезное сопротивление (так было под Новгородом-Северским, например), на сцене не поместная армия, а зачатки регулярной военной силы: московские стрельцы (позднейшая гвардейская пехота) да иноземные наемники. Это быстро оценил и сам Дмитрий, поспешивший взять Борисовых ландскнехтов себе на службу и всячески стремившийся заслужить симпатии стрелецкого войска, в чем он, отчасти, успел. Если бы не эти новые для московского войска элементы, агония Борисова царствования была бы еще кратковременнее. Но и так это была уже только агония. С первого момента открытого появления "царевича" годуновское правительство растерялось и не знало, что ему делать. Его военные мероприятия были крайне нерешительны и бестолковы: он сосредоточивал войска не там, где нужно, посылал войска меньше, чем было нужно, и ставил во главе его явно ненадежных, с годуновской точки зрения, предводителей - Мстиславских да Шуйских с Голицыными. В то же время оно усиленно старалось доказать всем, и прежде всех, кажется, самому себе, что "царевич Димитрий Иоаннович" не кто другой, как Гришка Отрепьев, как будто достаточно было назвать настоящее имя вождя антигодуновской революции, чтобы покончить с этой последней. Эта растерянность верхов очень хорошо чувствовалась низами, и уже до смерти Бориса правительственная армия начала разбредаться. К моменту его смерти (15 апреля 1605 года) в ней остались, рядом с немногочисленными регулярными отрядами, почти только самые ненадежные полки: местные северские служилые люди, еще не успевшие передаться претенденту.

В такой обстановке нетрудно было сложиться новому заговору. Социальный состав его памятники указывают настолько определенно, что споров здесь быть не может: на Годунова встали средние помещики, его главная опора в дни борьбы за

власть с его соперниками. Казацкое движение передалось теперь верхним слоям "воинников". Летопись называет даже определенно имена тех, кто был "в совете" на царя Бориса и его сына. То были дети боярские Рязани, Тулы, Каширы и Алексина, а среди них на первом месте - "Прокопий Ляпунов с братьею и со советники своими". Другие источники называют рядом с "заоцкими городами" и "детей боярских новгородских", но решающим было, конечно, присоединение к заговору поместного землевладения географически ближайших к театру войны областей. Теперь половина Московского царства фактически было в руках Дмитрия. Если бы другая половина так же решительно встала за царствовавшую династию, получилась бы междоусобная война в грандиозном масштабе. Что объективно это было возможно, показало царствование Шуйского. Но другая, не помещичья, половина Московского государства - это были города с экономически и социально тесно тянувшимся к буржуазии, черносошным - не крепостным - крестьянством, а буржуазия совсем не расположена была жертвовать собой для Годуновых. Отношения к ним Бориса навсегда остались "худым миром", который был лучше, конечно, "доброй ссоры", какая была в 1587 году, но от которого очень далеко было до преданности. Недаром "царевич" считал посадских на своей стороне, объясняя в своих грамотах, что гостям и торговым людям при Борисе в торговле и пошлинах вольности не было, и что треть животов их, "а мало и не все", иманы были годуновским правительством. В этом отношении обе политики Бориса - "дворянская" первых лет и "демократическая" последних - одна другой стоили: на что бы ни шла царская казна, на подачки помещикам или на "кормление голодающих", наполнять ее одинаково приходилось за счет торгового капитала. На спасение такого режима посадские не дали ни полушки денег и ни одного ратника. Столкновение дворянских заговорщиков, с Ляпуновым во главе, и оставшихся верными Борису отрядов стоявшей под Кромами армии было последним актом кампании 1605 года. Соотношение сил было таково и так велика была растерянность оставшейся у правительства рати, что рязанские дети боярские в союзе с казаками разогнали ее, почти не прибегая к оружию. Лжедмитрий, продолжавший еще "отсиживаться" в Путивле, совершенно неожиданно для себя получил (в начале мая 1605 года) известие, что ему не с кем больше воевать. Номинально командовавшие исчезнувшими теперь войсками и управлявшие страной бояре не имели другого выхода, как признать претендентами. Их политическая роль в эту минуту была столь же жалка, как и в расцвет опричнины: восставшее дворянство было фактическим хозяином государства, и бояре уже не как класс, а просто как толпа классических "придворных" могли использовать минуту лишь для того, чтобы выместить на семье Бориса то, что они вытерпели в свое время от "рабоцаря", худородных возводившего на благородных. Месть была так сладка, что один из самых благородных, кн. В.В. Голицын, не отказался от функции палача: на его глазах и под его руководством были удавлены вдова и сын Годунова. Но на долю боярства и тут выпала чисто исполнительная роль: организаторами свержения Годуновых были агенты "царевича", приехавшие из армии, а совершиться оно могло только благодаря дружественному нейтралитету московского посада, который не только пальцем не шевельнул на защиту "законного правительства", но и принял живое участие в грабеже годуновских "животов", вспоминая, как покойный царь отобрал "треть животов" у посадских.

Сходство порядков, водворившихся на Москве летом 1605 года, с опричниной Грозного не ограничивалось угнетенным положением боярства - оно шло дальше. Как и их отцы ровно сорок лет назад, приведшие в Москву Дмитрия помещики широко использовали свою победу: такой оргии земельных раздач и денежных наград Москва давно не видала, даже, пожалуй, и в те дни, когда Годунов особенно ухаживал за дворянством. По словам секретаря Дмитрия Бучинского, за первые шесть месяцев своего недолгого царствования названный сын Грозного роздал семь с половиною миллионов тогдашних рублей, по меньшей мере 100 миллионов рублей теперешних. Часть этих денег пошла в карманы казаков и польских жолнеров, но большая часть разошлось в виде жалованья русским служилым людям, все денежные оклады которых сплошь были увеличены ровно вдвое: "Кто имел 10 рублев жалованья, тому велел дати 20 рублев, а кто тысячу, тому две дано". Раздали, по-видимому, все, что можно было раздать: русские летописцы твердо запомнили, что "при сего царствии мерзостного Расстриги от многих лет собранные многочисленные царские сокровища Московского государства истощились". Цитируемый автор приписывает это, главным образом, жадности польских и литовских ратных людей, но другой современный историк не скрыл, что щедроты "Расстриги" изливались не только на иностранцев. Дмитрий, "хотя всю землю прельстити и будто тем всем людям милость показати и любим быти, велел все городы верстати поместными оклады и денежными оклады". Об этих верстаньях, экстренных земельных раздачах в параллель к удвоенному жалованью, в 1605 - 1606 годах, сохранилась такая масса документальных свидетельств, что мы знали бы о них даже и без летописцев, и у последних больше характерно это отождествление "всех городов", т.е. детей боярских, помещиков, всех городов, со "всею землею"; как в дни опричнины помещики опять были "всей землей", потому что все земли были в их руках. Огромные имения Годуновых на первых порах могли удовлетворить земельную жажду новых хозяев, но в перспективе виднелись меры и более общего характера; начали уже конфисковывать участки церковной земли, обращаясь в то же время к монастырским капиталам за пополнением быстро пустевших казенных сундуков. Когда мы слышим о "ересях" Лжедмитирия, это обстоятельство непременно надо принимать во внимание. И боярские конфискации грозили не ограничиться одними родственниками низвергнутой династии - падение Василия Ивановича Шуйского, в первые же дни нового царствования осужденного и сосланного не то за действительный заговор, не то просто за злостные сплетни насчет нового царя, предвещало и с этой стороны большое сходство с опричниной. Дмитрий Иванович решительно напоминал своего названого отца, и если боярского заговора еще не было в первые недели царствования, когда был сослан за него Шуйский, он должен был сложиться под влиянием простого инстинкта самосохранения очень скоро. Тем более, что положение боярства теперь было менее безвыходно, чем сорок лет назад. Тогда управы на Грозного можно было искать только в Литве, с большой порухой своему православию - теперь Православная Церковь изъявляла полную готовность идти рядом с боярами против "олатынившегося" царя, а главное - служилые имели тогда на своей стороне московский посад, и боярам, взятым и с фронта, и с тыла, податься было некуда. Теперь посадские очень скоро убедились, что от Дмитрия им не приходится ждать больше добра, чем от Годунова, и брожение в московском посаде становилось день

ото дня заметнее. Кое-какие намеки, разбросанные в летописях и документах, дают нам некоторую возможность проследить, как распространялось это брожение по различным слоям московской буржуазии. Мелкие торговцы, лавочники и ремесленники не были в числе недовольных Дмитрием. Серебро, попавшее в дворянские и казацкие карманы, быстро превращалось в потребительские ценности, и в московских рядах торговля шла на славу. Оттого, к великому огорчению благочестивых писателей, вроде знакомого нам романовского памфлетиста, здесь очень мало внимания обращали на "ереси" "самозванца". Волнение почувствовали здесь лишь тогда, когда необыкновенный наплыв поляков по случаю царской свадьбы (их, считая дворню, вооруженную и безоружную, набралось до 6000), в связи с пускавшимися заговорщиками нелепыми слухами, разбудил прямо шкурный страх: тогда в рядах перестали продавать приезжим порох и свинец. Гораздо раньше должно было проснуться беспокойство крупного капитала. Названого царя привели в Москву, между прочим, наиболее демократические элементы "воинников" - самые мелкие помещики русского юга и даже только кандидаты в помещики в лице казаков. Служилая мелкота еще при Грозном была в тисках денежного капитала, и уже царскому судебнику приходилось ограничивать право служилых людей продаваться в холопы: это могли делать только те, "кого государь от службы уволил". Кабаление служилых продолжалось и при Годунове: в это время очень многие богатые люди, начиная с самого царя, "многих человеки в неволю себе введше служити", и в числе этих невольников бывали и "избранные меченосцы, крепкие с оружием во бранех", притом владевшие "селами и виноградами". Распространение кабального холопства было, таким образом, фактом вовсе не безразличным для служилой массы - и для низших ее рядов фактом отнюдь нежелательным. Приговор боярской думы Дмитрия (от 7 января 1606 года), сильно стеснявший закабаление, делая его чисто личным, тогда как раньше кабалы часто писались на имя целой семьи, отца с сыном например, или дяди с племянником, не выходил, стало быть, за рамки дворянской политики нового царя, напоминая только, что за последним стояли не одни богатые помещики, вроде Ляпуновых, но и служилая мелкота. Недаром самые мелкие из мелких, казаки, с сияющими лицами расхаживали теперь по Москве, где в свое время не один из них изведал холопство, восхваляя дела своего "солнышка праведного", царя Димитрия Ивановича, Но тем, кто промышлял отдачей денег взаймы, такое направление правительственной политики не могло нравиться, и близкий к крупнобуржуазным кругам романовский памфлетист строго осуждает как "врагов-казаков", так и легкомысленных москвичей, которые их слушали.

Это, так сказать, уж не классовое, а слоевое направление новой политики, явно интересовавшейся низами служилой массы иногда, быть может, и не без ущерба ее верхам, не прошло даром для Дмитрия: если направленный против него переворот не встретил почти отпора в самой Москве, то тут не безразличен был тот факт, что подстоличное дворянство всего менее было взыскано царскими милостями. Названный сын Грозного был царем не только дворянским, но, еще ближе и теснее, царем определенной дворянской группы, детей боярских городов украинных и заоцких. Другой боярский приговор, 1 февраля 1606 года, даст возможность к социальному оттенку прибавить этот географический. Приговор лишил права помещиков, от которых в голодные годы разбрелись крестьяне, искать их и

требовать обратно: "Не умел он крестьянина своего кормить в голодные лета, а ныне его не пытай". Но московская эмиграция шла с севера на юг и от центра к окраинам: на счет запустелых подмосковных ширились, как грибы, возникавшие каждый год на черноземе имения южных, пристенных помещиков, бедные рабочими руками. Недаром именно на юге так популярно было имя Дмитрия - популярно долго после того, как его носитель был убит и сожжен, и прах его рассеян по ветру.

Низвергнуть Дмитрия вооруженной рукой казалось делом гораздо более трудным, чем одолеть брошенных своей армией Годуновых. Лжедмитрий был настоящим царем военных людей, и военная свита не покидала его ни на минуту. По городу он всегда "со многим воинством ездил, спереди и сзади его шли в бронях с протазанами и алебардами, и иным многим оружием", так что "страшно" было "всем видети множество оружий блещащихся". Бояре же и вельможи во время этих выездов царя находились далеко от него, на втором плане. И любили Дмитрия военные люди: когда заговор проник в Стрелецкую слободу, стрельцы своими руками перебили изменников; и в день катастрофы они кинули царя последние. Но и тут была своя обратная сторона. Военный человек по натуре, Дмитрий не мог усидеть на месте. Интересы южных помещиков, хронически терпевших от крымцев, тоже толкали к походу - и именно на юг; напуганные в прошлом крымскими набегами москвичи не без страха и не без укора царю рассказывали, как Дмитрий "дразнит" крымского хана, отправив ему будто бы шубу из свиных кож. В центре и на севере к далекому степному походу относились не так, как на юге. Между тем, этот последний день ото дня становился неизбежнее: Дмитрий деятельно мобили-зировал свою армию, устроил огромные магазины в Ельце, увел туда и большую часть московской артиллерии, опять к немалому страху москвичей, которым казалось, что царь "опустошил Москву и иные грады тою крепостию". Всеми этими страхами пользовались заговорщики, систематически пускавшие слухи, что царь "раздражает род Агарянский" недаром и недаром обнажает центр государства от военных сил: это-де все делается, чтобы "предать род христианский" и облегчить захват безоружной Москвы поляками. Эти толки находили себе благоприятную почву даже и в рядах служилого класса: поход на Крым еще раз географически сузил симпатии помещиков к Лжедмитрию. Белозерскому или новгородскому сыну боярскому совсем не улыбалась перспектива идти за тысячи верст драться за интересы его заокских собратий. Между тем, при продвижении войска в сторону степи около Москвы скоплялись именно северные полки, тогда как южные ждали царя на Польской окраине. 3000 новгородских детей боярских и оказались военной силой заговора - с присоединением "дворов" бояр-заговорщиков (есть известия, что Шуйские специально стянули на этот случай все силы из своих вотчин) и посадских, которых снабдили оружием те же бояре, - этого было довольно, чтобы справиться с немецкой стражей Дмитрия и даже, чтобы заставить поколебаться московских стрельцов. Во всяком случае, этого было довольно для нападения врасплох, а именно на это рассчитывали Шуйские с братией. В таком расчете им очень помогла самонадеянность Дмитрия, уверенного, что он "всех в руку свою объят, яко яйцо, и совершенно любим от многих". У этой самонадеянности были известные объективные основания - расчет названого царя не был только

свидетельством его легкомыслия; то был результат неверных политических ходов, политическая ошибка. История его воцарения должна была дать ему неправильное представление об удельном весе московского боярства, - он не забывал его приниженной и пассивной роли в те дни, отсутствия в его среде солидарности, так явно сказавшегося в деле Шуйского, кинутого всеми, едва его постигла царская опала. Ему казалось, что бояр вообще бояться нечего, а в то же время воспоминания его детства и ранней юности должны были дать ему столь же неверное представление о соотношении сил в кругу самого боярства. Выкормыш Романовых, Дмитрий легко привык к мысли, что во главе московской знати стоят именно они и что имея их на своей стороне, других опасаться нечего. С Романовыми он и старался поддержать хорошие отношения: сосланный и постриженный Годуновым Федор Никитич стал митрополитом Филаретом, единственный уцелевший из остальных братьев, Иван Никитич, - боярином. Несомненное участие и Романовых в заговоре против Дмитрия составляет одну из самых темных сторон этого дела. Это дает некоторое представление о силе оппозиционного настроения в самой Москве к концу царствования: даже те, кого названый царь ласкал, не решались остаться на его стороне. Что Федор Никитич и в мантии митрополита оставался боярином и не мог чувствовать особенной симпатии к "дворянскому" царю, да еще с явными "латинскими" склонностями, это тоже могло сыграть свою роль. Как бы то ни было, те, на чью "любовь" Дмитрий мог рассчитывать не без оснований, в действительности стояли в рядах его противников. К этому удару с тыла он совершенно не был приготовлен, и нельзя его за это винить.

Окончательный толчок делу дала уже прямая бестактность польских сторонников Дмитрия, которые на всем протяжении его недолгой истории гораздо больше доставляли ему хлопот, чем приносили пользы. Приведенные съехавшимися на свадьбу царя с Мариной Юрьевной польскими гостями жолнеры вели себя крайне бесчинно, а по количеству их было, как мы видели, столько, что слухи о польском захвате начинали как будто оправдываться. В связи со всем предшествующим это привело московскую толпу в такое нервное состояние, что заговорщики стали опасаться преждевременного взрыва. Возможно, что раньше предполагалось покончить с царем во время похода: теперь пришлось рискнуть на более опасное: добывать Дмитрия в его собственном дворце. Уверенность Лжедмитрия в своих ближайших слугах, несомненно, облегчила^это дело. Характерно, что бояре-заговорщики, ударив в набат в Рядах, на Ильинке, не решились двинуть посадских на Кремль, а направили их на поляков; непосредственно же для убийства "Расстриги" был отряжен небольшой, человек в 200, отряд специального состава, который был легко пропущен до самых царских покоев, потому что во главе его шло первое московское боярство; по имени летописи согласно называют князей Шуйских, Василия Ивановича, недавно возвращенного "Расстригой" Из ссылки, и его брата Дмитрия, но рядом с ними были и "иные многие бояре и вельможи". Позже на улицах Москвы мы встречаем и Мстиславского, и Голицыных, и Ивана Никитича Романова. Позднейшие сказания приписывают Василию Ивановичу Шуйскому самое непосредственное участие в убийстве; защищая его от Дмитрия, на последнего и накинулись, будто бы, "бояре и дворяне". Но памфлетист Шуйских, как и памфлетист Романовых, одинаково скользят по подробностям этой

трагической ночи: видимо, ни тем, ни другим удовольствия эти воспоминания не доставляли.

Казалось бы, что, идя на такое дело, которое неминуемо должно было кончиться опустением московского престола, заговорщики должны были заранее подумать, как эту пустоту заполнить. На деле, однако, этого не было - и целых двое суток Москва была без царя. В боярском кругу о кандидатуре молчали: это показывает, насколько жгучим был вопрос. Боялись поссориться на нем накануне дела и тем сорвать самый заговор. Уже это одно должно устранить представление об "аристократической камарилье", "боярском кружке", так распространенное в новейшей литературе. Камарилья могла бы спеться, а тут мы никакой согласованности мнений и действий не замечаем. Если у кого из заговорщиков был определенный план действий, то только у одного Василия Ивановича Шуйского, который и поспешил воспользоваться этим своим преимуществом. Пока остальные бояре растерянно толковали о том, что надо "совет сотворити... и общим советом избрати царя на Московское государство", что надо разослать грамоты о Земском соборе, как было в 1598 году, - толковали с единственной, очевидно, целью оттянуть дело, московский посад выкрикнул царем Шуйского. Что воцарение последнего было своего рода заговором в заговоре, полным сюрпризом для большинства членов воображаемой "камарильи", об этом совершенно согласно свидетельствуют и русские, и иностранные источники. Полуофициальная летопись Смуты, которую мы сейчас цитировали, рассказав о недоуменных толках бояр насчет Земского собора, продолжает: "Но нецыи от вельмож и от народа ускориша, без совета общего избраша царя от вельмож боярина князя Василия Ивановича Шуйского... избрания же его не токмо во градех, но и на Москве не все ведаху". Автор романовского памфлета совершенно согласно с этим передает дело: "малыми некими от царских палат излюблен бысть царем Василий Иванович Шуйский... никем же от вельмож не пререкован, не от прочего народа умолен". Этот последний автор, несомненно, тенденциозен в данном случае: в 1606 году Романовы были соперниками Шуйских, как в 1598-м Годуновых; но тенденция его состоит в том, что он отрицает участие народа в избрании Шуйского, а не в том, что он отрицает участие в этом деле бояр. Шуйский "воздвигся кроме воли всея земли" потому, что не все чины и не все города Московского государства посадили его на царство. Но "народ" при этом деле был, и о его социальном составе дает вполне определенное показание один иностранец, бывший свидетелем выборов. "Ему поднесли корону, - говорит о Шуйском Конрад Буссов, - одни только жители Москвы, верные соучастники в убиении Димитрия, купцы, сапожники, пирожники и немногие бояре". Шуйский был посадским царем, как Лжедмитрий был царем дворянским. В этом была новизна его положения. Дворянский царь был уже не один: таким был Грозный во вторую половину своего царствования, и Годунов - в первую. Но представитель буржуазии еще ни разу не сидел на московском престоле; этот класс впервые держал в руках верховную власть - оставался вопрос, удержит ли он ее, когда московский мятеж уляжется, и жизнь войдет в нормальную колею.

"Самовоцарение" Василия Ивановича в первую минуту совершенно ошеломило боярские круги - - тем более, что в числе "немногих бояр", посвященных в этот второй заговор, кроме родственников нового царя, по-видимому, были одни только

Романовы. Филарет Никитич был наречен патриархом, кажется, в то же время, как Шуйский царем: почему это соглашение не удержалось, и Филарет должен был идти искать патриаршества в Тушине, этот вопрос большого исторического интереса не представляет. Вследствие ли разрыва Шуйских с Романовыми или по какой другой причине, но растерянность боярства стала проходить довольно быстро: раз не приходилось делить мономаховой шапки, бояре опять стали такой же дружной стенкой, какой они шли убивать "Расстригу". Не удалось посадить своего царя, нужно было хотя бы обезопасить себя от чужого, и в этом отношении опиравшийся на купцов Шуйский, заранее можно было предсказать, должен был обнаружить меньшую силу сопротивления, нежели окруженный "воинниками" Дмитрий. Во время венчания Василия Ивановича в церкви разыгралась странная и на первый взгляд совершенно непонятная сцена. Нареченный царь начал вдруг говорить о том, что он хочет крест поцеловать за то, что не будет он никому мстить за претерпенное им при Борисе - и вообще ни над кем ничего "творити не будет без общего совета". Бояре же и прочие стали ему говорить, чтобы он этого не делал, и креста на том не целовал: "понеже никогда тако не сотворися, и дабы нового ничего не всчинал". Но Шуйский не послушался и поцеловал крест. При обычном взгляде на Шуйского как на боярского царя, тут ничего понять нельзя. Бояре давно уже хотели ограничить царскую власть, оградить себя от произвола сверху; новый царь берется целовать крест, что произвола не будет, - бояре его отговаривают. Но, внимательно вчитавшись в слова Шуйского, мы поймем, какую лазейку нашел для себя этот тонкий дипломат. "Общий совет" и вообще на тогдашнем языке и, в частности, в рассказе об избрании Шуйского у "Нового Летописца", которого мы цитируем, есть синоним Земского собора. Перед этим только что бояре апеллировали к этому учреждению против Шуйского: теперь он апеллирует к Собору против бояр, заявляя, что он согласен ограничить свою власть, но только "общим советом", а не боярской думой. Бояре тотчас же очень наивно и выдали себя, обнаружив, что сами они о Земском соборе толковали вовсе не серьезно, а лишь ради того, чтобы оттянуть время. Но и сам царь Василий хотел лишь попугать бояр, - на самом же деле созвать вассалитет Московского царства, где большинство, без сомнения, было на стороне убитого им Дмитрия, вовсе, конечно, не входило в его планы. И тотчас же в этой первой стычке обнаружилось, что бояре сильнее, потому что в официальной крестоцеловальной записи, разосланной по городам, царь обещался "всякого человека, не осудя истинным судом с бояры своими, смерти не предати". Вопреки мнению некоторых новейших историков, это был колоссальный успех боярства. Даже если бы Шуйский этим своим крестоцелованием лишь закрепил старинный московский обычай, это имело бы не меньшее значение, чем закрепление местнических обычаев при Грозном. Но мы вовсе не имеем уверенности, чтобы политические процессы со времен опричнины разбирались при участии боярской думы, "истинным судом": наоборот, есть все основания думать, что они разрешались в сыскном (а не судебном) порядке, образец которого давно был дан губными учреждениями. Бояре, которые "пыхаху и кричаху" на Романовых, во время их дела, были не судьи, а следователи, назначенные Борисом. Крестоцеловальная запись Шуйского восстановила судебные порядки там, где со времени опричнины господствовала административная расправа. Но "запись" шла дальше: она заключала в себе

ограничение и самой судебной репрессии. До сих пор последняя была коллективной: опала постигала весь род, и все вотчины опальной фамилии подвергались конфискации. В этом, как мы видели, и состоял экономический смысл опричной политики, массами переводившей вотчинные земли в руки "воинников". Теперь этим массовым конфискациям был положен конец: "вотчин, и дворов, и животов у братьи их (осужденных), и у жен, и у детей не отымати, будет которые с ними в мысли не были". Это установление индивидуальной ответственности вместо групповой - чрезвычайно важный факт с социологической точки зрения: но на этой стороне дела мы пока не будем останавливаться. Отметим только, что боярский характер "конституции" Шуйского особенно подчеркивается этим пунктом: от конфискаций родовых вотчин никто, кроме боярства, не страдал. Сами авторы "записи" почувствовали это, и так как реальной силой, на которую опиралось новое правительство, были не бояре, а московский посад, то "боярские" статьи конституции получили дополнение, не менее любопытное, чем они сами: "также у гостей и у торговых людей, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертныя вины, и после их у жен и у детей дворов и лавок и животов не отымати, будет с ними они в той вине невинны..."

Русская "хартия вольностей" ограждала, таким образом, интересы, с одной стороны, бояр, а с другой - гостей и торговых людей. Дворянства она не касалась, и в борьбе с тотчас же вновь вспыхнувшим дворянским мятежом казни и ссылка в административном порядке применялись на каждом шагу. Это было ограничение царской власти не в пользу "всей земли", а в пользу только двух классов, которые, вдобавок, в данную минуту не имели никаких положительных общих интересов. У них был общий враг: средние и мелкие служилые, через посредство царской казны эксплуатировавшие торговый люд и посредством царской власти экспроприировавшие боярство. Пока они не справились с общим врагом, их союз держался кое-как. Но когда этот враг поддался, и союзникам на освободившемся месте пришлось строить новое здание, тотчас же должно было обнаружиться, как чужды они друг другу. Экономическое родство оказалось сильнее временной политической комбинации, и, в конце концов, оба новых экономически класса, и посадские, и помещики, оказались вместе против представителя экономической реакции, против боярства. Четырехлетнее правление Шуйского было своего рода браком по расчету между торговым капиталом и боярской вотчиной, где обе стороны ненавидели и презирали друг друга, но разорвать союз не решались, пока не вынудил к этому внешний толчок.

Боярство разорвать союз не могло уже по той причине, что без помощи торгового капитала оно, в самом простом, материальном смысле этого слова, не могло управлять государством. Убитый Дмитрий приготовил тяжелую долю своим врагам: на другой день после своего воцарения новый царь увидел себя перед пустыми сундуками. "Царь бо, не имый сокровища многа и другое храбрых подобен есть орлу бесперому и не имеющему клюва и когтей: все царские сокровища истощил богомерзкий Расстрига, разбрасывая деньги; скудость и теснота пришла всем ратным людям", и не пошли ратные люди за царем Василием. Экстренные меры, которые пришлось принять этому последнему, чтобы выплачивать ставшим на его сторону служилым государево жалованье хотя бы в минимальном размере, показывали, в какой "тесноте" жил он сам: ревнителю

правоверия, только что одолевшему "поганого еретика", пришлось идти по стопам этого последнего, накладывая руку на монастырскую казну, и даже на монастырские ризницы: чтобы добыть денег, переливали в монету церковные сосуды, пожертвованные "по душе" прежними царями. Но всего этого было мало, и если правительство Шуйского продержалось четыре года, оно этим было обязано "торговым людям": без помощи городов поморских и понизовых, и ратными людьми и деньгами, оно не пережило бы первого восстания.

Это последнее, можно сказать, разумелось само собой после дня 17 мая. Северской окраине, приведшей в Москву Лжедмитрия, слишком дорого обошлась кратковременная реакция при Борисе, - после первой же случайной неудаче претендента, - чтобы она стала дожидаться расправы с ней со стороны победивших теперь "Расстригу" москвичей. По словам одного современника, "Севера" была уверена, что новый царь готовит ей участь, какую испытал Новгород при Иване Васильевиче. "Можно удивляться тому, как быстро и дружно встали южные города против царя Василия Шуйского. Как только узнали в Северщине и на Поле о смерти самозванца, так тотчас же отпали от Москвы Путивль и с ним другие северские города, Ливны и Елец, а за ними и все Поле до Кром включительно. Немногим позднее поднялись заоцкие, украинные и рязанские места. Движение распространилось и далее на восток от Рязани в область мордвы, на Цну и Мокшу, Суру и Свиягу. Оно даже передалось через Волгу на Вятку и Кам в пермские места. Восстала и отдаленная Астрахань. С другой стороны, замешательство произошло на западных окраинах государства, в тверских, псковских и новгородских местах"*. В октябре 1606 года, менее чем через шесть месяцев после воцарения Василия Ивановича, южные инсургенты стояли уже под самой Москвой. Только что цитированный нами автор совершенно правильно говорит, что "на окраине в 1606 году восстали против правительства Шуйского те же самые люди, которые раньше действовали против Годуновых". Но были и новые элементы - и он тут же дает характеристику южного движения этого года как "возмущения холопей и крестьян против господий своих". Так именно называется посвященная этому движению глава в знакомом нам "Новом Летописце". Компилятор этого последнего был особенно близок, по-видимому, к патриаршему двору, и даваемое им освещение южного бунта, несомненно, заимствовано из патриарших грамот того времени. Эти грамоты Гермогена (патриархом был тогда уже он) дошли до нас и в подлиннике (или, что для нас не составляет разницы, в официальном пересказе). Там действительно говорится, что "воры" (так на московском официальном языке выражалось то понятие, которое в новейших полицейских документах выражается словом "злоумышленники") в своих "проклятых листах" (по-нынешнему, прокламациях) "велят боярским холопям побивать своих бояр, и жены их и вотчины, и поместья им сулят, и шпыням и безыменникам ворам велят гостей и всех торговых людей побивати и животы их грабити, и призывают их воров к себе, и хотят им давати боярство и воеводство, и окольничество, и дьячество"**.

** Платонов, цит. соч., с. 318.*

*** Акты археологической и географической экспедиции, т. 2, с. 57 - 59.*

Но из этого текста видно, как неосторожно было бы утверждать, что "воры" ставили "целью народного движения не только политический, но и общественный переворот". Какой же был бы "общественный переворот" в том, что вотчины и поместья сторонников Шуйского перешли бы в руки их холопов, приставших к движению? Переменились бы владельцы вотчин, а внутренний строй этих последних остался бы, конечно, неприкосновенным. Эта неприкосновенность старого строя особенно ясна из другого посыла "воров": давать холопам боярство и воеводство, и окольничество. Вся московская иерархия предполагалась, значит, на своем месте - и когда "воры" прочно обосновались под Москвой, была воспроизведена в "воровской" столице, Тушине. Нет никакого сомнения, что мы имеем здесь дело с двойной демагогией. Во-первых, предводители восстания против Шуйского, поднимая на бояр крепостное население боярских вотчин, не стеснялись в обещаниях, надеясь, что исполнять их не придется, и что в случае надобности вооруженные помещики легко справятся с мужицким бунтом, если он перейдет границы для них полезного. А во-вторых, патриарх, возбуждая против "воров" городскую буржуазию и ту часть землевладельцев в Северной и Центральной России, которая еще колебалась, напирал как раз на. те стороны "воровской" программы, которая должна была быть особенно одиозна именно для этих классов. В результате и получилась картина чуть ли не социальной революции, которая для данной минуты была еще несколько преждевременной. Главную боевую силу армии инсургентов составляли все те же "рязанцы дворяне и дети боярские" во главе с Ляпуновыми и Сумбуловыми, которые склонили чашку весов на сторону Лжедмитрия в мае 1605 года. Когда Шуйскому удалось (в ноябре 1606 года) путем тяжелых, без сомнения, пожертвований переманить на свою сторону эту часть восставших, он сразу получил возможность перейти в наступление. А рядом с ними мы встречаем, конечно, казаков, следующим после Ляпунова и Сумбулова перебежчиком был "атаман казачий Истомка Пашков", который, с дружиной в четыреста человек, бил челом в службу Василию Ивановичу, рассчитав, очевидно, что таким путем ему и его товарищам легче стать помещиками, чем посредством бунта. Сам Истома Пашков, между прочим, был чрезвычайно типичным образчиком того промежуточного класса, который постоянно колебался между "вольным казаком" и "государевым сыном боярским": "казачий атаман" по летописи, по документам он значится служилым человеком, и даже не из очень мелкопоместных. Социальную сторону движения представляет собою бывший холоп Иван Исаевич Болотников, по имени которого и все восстание часто называют "болотниковским бунтом". Но как мало была еще дифференцирована эта сторона, видно из того, что и его бывший барин, князь Телятевский, был одним из предводителей той же самой "воровской" армии. Социальное движение только начиналось - разгар его был впереди.

Ближайшая судьба Прокопия Петровича Ляпунова служит хорошим образчиком и того, какими молитвами двигалось восстание, и того, какими средствами Шуйский с ним боролся. После своей измены делу инсургентов Ляпунов стал членом государевой думы ("думным дворянином") и вместе с его товарищем Сумбуловым был назначен воеводой в Рязань: иными словами, Рязань было отдана в руки той дворянской партии, которая стояла за Лжедмитрия и до, и после его смерти. Став хозяевами у себя дома, рязанцы согласились терпеть на Москве

Шуйского, и с этих пор мы видим их в числе лояльных верноподданных Василия Ивановича. О "победе" последнего можно было говорить, как видим, весьма относительно, даже и не считаясь с тем обстоятельством, что "прежепогибшая" Северская окраина осталась погибшей для Шуйского навсегда. Свидетельством его критического положения в первый же год царствования служит еще один образчик правительственной публицистики этих дней, составляющий хорошую параллель тому памфлету, с которым мы уже знакомы. Тот был выпущен летом 1606 года и, как мы помним, ограничивался фальсификацией естественных, на земле происходивших событий. Осенью в дело вовлечены были уже небесные силы: некий протопоп Терентий (перед этим служивший своим литературным талантом Лжедмитрию, а впоследствии поступивший на службу к польскому королю Сигизмунду) поведал московской публике о видении, явившемся "некоему мужу духовну", пожелавшему остаться неизвестным. Святой муж ночью, не то во сне, не то наяву, очутился в московском Успенском соборе - и там видел грозную сцену: самого Христа, в присутствии Богоматери, Иоанна Крестителя и всех апостолов и святых, которые имели точь-в-точь такой вид, как их рисуют на иконах, творившего суд над Москвой, ее царем, патриархом и народом. Приговор был суровый, и московский народ, "новый Израиль", за свои многочисленные грехи был бы совсем осужден на погибель, если бы не вмешательство Богоматери, умолившей Спасителя дать москвичам время покаяться. "Видение" по царскому повелению читали в Соборе, и не может, конечно, быть ни малейшего сомнения, что искусное и весьма гибкое перо московского протопопа работало здесь, как всегда, строго согласно с официальными указаниями. Положение Москвы в эти дни (середина октября 1606 года) было, действительно, таково, что иначе как сверхъестественным путем выбраться из него, казалось, не было возможности. "Окаянные, - пишет официальный публицист Шуйского, - умыслили около града обсести и все дороги отнять, чтобы ни из города, ни в город никого не пустить, чтобы никакой помощи городу никто не мог оказать ниоткуда: так и сделали. В городе же Москве на всех людях был страх и трепет великий: от начала города не было такой беды". "Видение", свидетельствовавшее, что сама Божия Матерь своими молитвами охраняет город, должно было поднять дух несчастных москвичей, которые теперь себе, в свою очередь, могли ждать того же, чего ждали себе от Москвы "Северяне" по воцарении Шуйского. Чтобы спастись от такой беды, можно было и не только что одного из "воровских" воевод в думу посадить... Даже и после того, как ополчение южных помещиков и казаков было расстроено изменами, а на подмогу царю Василию пришла, наконец, первая рать с севера, из поморских городов - двинские стрельцы, царские войска долго не могли добить остатков болотниковского ополчения. От Калуги воеводы Шуйского были отбиты, Тула, где потом засел Болотников, была взята тоже при помощи измены, после долгой и трудной осады, притом взята на капитуляцию: последние солдаты "воровской" армии, выдав своих вождей, целовали крест царю Василию. Вчерашние политические преступники сегодня опять сделались царя и великого князя служилыми людьми, и все на тех же "окраинах". Совершенно ясно было, что при первом поводе дело должно было начаться сызнова. А в ту минуту, когда сдавалась Тула, повод уже был налицо: капитуляция состоялась 10 октября, а уже с конца августа в Стародубе-Северском стоял "чудесно спасшийся" Дмитрий с

военной силой, гораздо более страшной для буржуазного царя, нежели болотниковские дружины, - десятью тысячами, приблизительно, регулярной польской конницы и пехоты, во главе с самыми опытными и талантливыми польскими кондотьерами - Рожинским и Лисовским. Прогулка в Москву с первым Дмитрием сыграла для людей этого типа роль разведки. Теперь они "знали дорогу" и видели, что московское правительство слабо, как никогда: странно было бы этим не воспользоваться. Весной 1608 года второй Дмитрий (личность которого уже совершенно никого не интересовала даже в его время) разбил наголову двинутые против него на юг московские ополчения, а летом этого года Москва опять была в том же положении, как в разгаре болотниковского бунта. "Божиим попущением за беззакония наша соодолеша врази православным христианом, и ничем не задержими, дошедши царствующего града Москвы, его же и, обседше вкруг, промышляху прияти", - меланхолически записал один современник, только что рассказавший о "содолениях" царя Василия. Осадное положение столицы - не внутреннее, а внешнее, - начинало становиться для этого царствования нормой.

"Лучшие" и "меньшие"

Последние два года царствования Шуйского. Отношение к царю Василию различных общественных классов - Тушино: роль поляков и движение общественных низов; крестьяне и холопы; посадское движение; псковская резолюция - Тушинские "верхи" и Сигизмунд - Договор 4 февраля 1610 года - Агония Шуйского и второго Дмитрия. Избрание Владислава. Бессилие польско-боярского правительства - Церковная оппозиция; действительные причины движения против Владислава - Идеология движения "Новая повесть"; легенда о Гермогене - Отдельные восстания посадских и служилых и их неудача (Московский бунт 17 марта 1611 года; ляпуновское ополчение и приговор 30 июня) - Союз буржуазии и помещиков. Нижегородское ополчение

Последние два года царствования Шуйского (с лета 1608 по 15 июля 1610 года, когда Василий Иванович был "сведен" с престола) на первый взгляд кажутся повторением событий 1605 - 1607 годов, - новым взрывом все той же междоусобицы в старой форме и под старыми лозунгами. На сцене опять Дмитрий, юридически тождественный с тем, что осенью 1604 года выступил против Годунова. На его стороне опять казачество, верное ему до конца, и массы мелкого служилого люда, провинциальные дворяне и дети боярские. Эта социальная почва "самозванщины" совершенно не зависит от местных условий: всюду и всегда мелкий вассалитет идет за Дмитрием, по самым разнообразным личным побуждениям и под самыми разнообразными предлогами. Подмосковные мелкие помещики присоединялись к тушинцам, осаждавшим Троицкую лавру, для того будто бы, чтобы те не ограбили их имений; а в Вятке городовой приказчик (комендант города) со стрельцами "на кабаке чашу пили за царя Димитрия" потому, что не хотели, чтобы из их краев уводили ратных людей в Москву. Даже выступив в составе "правительственных войск" против "воров", провинциальные помещики скоро оказывались с последними. Костромские и галицкие дети

боярские пришли под Ярославль драться с отрядами Лисовского, а потом хотели отбить для тушинцев царский "наряд" (артиллерию), - и немного позже мы их видим вместе с "лисовчиками", громящими Кострому. Зато посадские люди всегда показывали себя лояльными слугами Шуйского: когда победа, к весне 1609 года, стала было склоняться на сторону царя Василия, он сам приписывал этот успех вологжанам, белозерцам, устюжанам, каргопольцам, сольвычегодцам, тотмичам, важанам, двинянам, костромичам, галичанам, вятчанам "и иных разных городов старостам и посадским людям"*. И действительно, те стояли за него "не щадя живота": один Устюг Великий до весны 1609 года выслал на помощь московскому правительству пять "ратей", т.е. пять раз испытал рекрутский набор, и, не собрав шестой "рати" только потому, что некого было уже взять, стал нанимать на государеву службу "охочих вольных казаков". Особенное значение для Шуйского в эти годы имела Вологда, в качестве центра заграничной торговли временно сменившая осажденную Москву. Там "собрались все лучшие люди, московские гости с великими товары и со казною, и государева казна великая, соболи из Сибири и лисицы, и всякие меха", а с другой стороны, там же скопились и "английские немцы" с "дорогими товарами" и с "питием красным". И как в движении служилых людей за Дмитрия социальные мотивы решительно брали верх над местными интересами, так, с еще большей яркостью, сказалось это здесь: помогали Москве не только местные люди, вологжане, и съехавшиеся в Вологду московские купцы, но и иностранные гости. Английское купечество было тоже на стороне Шуйского.

** Платонов, цит. соч., с. 397.*

Всего меньше было на стороне этого "боярского" - по учебникам - царя именно бояр. К концу его правления, кроме личных родственников и свойственников Василия Ивановича, среди его сторонников едва ли можно найти хоть одного представителя феодальной знати. Раньше всех и дальше всех пошли Романовы с их кругом. Посланный с войском против второго Дмитрия Иван Никитич Романов оказался чрезвычайно близок к форменному заговору, имевшему целью повторить то, что произошло под Кро-мами в мае 1605 года. Заговор не удался, и за него были сосланы ближайшие родственники Романовых, из ссылки скоро попавшие в тушинский лагерь, где собралась понемногу вся романовская родня во главе со старшим в роде митрополитом Филаретом, который стал в Тушине патриархом. Эпизод этот считался впоследствии настолько соблазнительным, что в официальном житии патриарха Филарета о нем вовсе умолчали. Но показания современников на этот счет так многочисленны и единодушны, что относительно самого факта не может быть сомнения, хотя люди благочестивые и лояльные, по вполне понятным побуждениям, старались дать ему объяснение, благоприятное для Филарета Никитича. Первая, после Романовых и Шуйских, боярская семья, Голицыны, шла иным путем, но тоже числилась в рядах открытых недоброхотов царя Василия, и ее виднейший представитель, князь Василий Васильевич, стоял во главе восстания, низвергнувшего Шуйских. "Княжата" помельче, не смевшие рассчитывать на самостоятельную политическую роль, как Голицыны, не чурались и "воровского" двора, благо Романовы придали ему своим присутствием известную

респектабельность. Кн. Шаховской был у "вора" "слугою", кн. Звенигородский - дворецким, князья Трубецкие, Засекины и Барятинские сидели боярами в его думе. Одно шпионское донесение из Москвы в Польшу, от конца правления Шуйского, говорило, что "прямят" последнему только некоторые дьяки, а из бояр почти никто.

При таком составе царских думцев, с патриархом из Романовых, Тушино, казалось, немного отличалось от столицы первого Дмитрия. И, однако, присмотревшись ближе к той армии, которая следовала за вторым "самозванцем", мы замечаем в ней характерные отличия от дворянской рати, что привела первого Дмитрия в Москву. Первое из этих отличий, раньше других бросившееся в глаза и современникам, и позднейшим историкам^состоит в преобладающей роли, какую играли в Тушине поляки. Романовский памфлетист, писавший, по-видимому, в конце 1609 года, еще при Шуйском, значит, до попытки Сигизмунда захватить московский престол, до того момента, когда борьба приняла национальный оттенок, тем не менее очень много и с большим пафосом говорит об этом факте. По его словам, поляки, хотя их было и меньшинство, распоряжались русскими "изменниками", как своими подчиненными, и, посылая их первыми в бой, отбирали потом лучшую часть добычи себе. Повторяем, здесь не приходится видеть националистической тенденции - ей еще пока не было места; да и характеристика, которую наш автор дает полякам, в общем, скорее симпатичная: в противоположность русским тушинцам, они изображаются людьми, не лишенными известного рыцарства; они, например, не убивали пленных и не позволяли убивать своим русским товарищам, когда действовали в бою с ними вместе; тогда как, действуя одни, русские "воры" производили величайшие неистовства. И вот, в описании этих последних проглядывает другая, гораздо более любопытная черта тушинского движения: оно дает иную социальную физиономию, чем какой мы ждали бы от восстания служилых людей против посаженного в цари буржуазией боярина. Тушинские отряды с особенной любовью громят богатых и отнимают их имения. Где имения было слишком много и его было не увезти с собой: "не мощно взята множества ради домовных потреб", они истребляли его, кололи на мелкие куски, бросали в воду; "входы же и затворы всякие рассекающе, дабы никому же не жительствоватитам". Хорошо знакомая современному читателю картина разгрома помещичьей усадьбы весьма живо представляется нашим глазам, когда мы теперь читаем эти строки. А когда автор переходит к насилиям над людьми, нам на первом месте встречаются "мнози холопи, ругающеся госпожам своим" и убивающие своих господ. Мы не будем мучить читателя описанием неистовств холопской мести, у нашего автора не менее наглядным и выразительным, чем картина погрома помещичьей усадьбы: но в высшей степени характерно признание автора, что для мести были основания, что господа заслужили лютую ненависть своих рабов.

Картина, как богатые, "в скверне лихоимства живуще", заботятся о кабаках, "чтобы весь мир соблазните" и на деньги, добытые взятками и грабежами, "созидают церкви божий", и голоса бедняков не слушают, "в лицо и в перси их бита повелевают, и батогами, которые злее зла, кости им сокрушают, и во узы, и в темницы, и в смыки и в хомуты их присуждают": эта картина принадлежит к числу самых ярких не только в этом памфлете, но во всей литературе Смуты. Но если для объяснения тушинских неистовств приходилось припоминать все социальное зло,

какое накопилось в Московской Руси к началу XVII века, то очевидно, что для самого нашего автора дело было не в одной "бесов злейшей" злобе русских людей, приставших к тушинскому "царику". То восстание общественных низов против общественного верха, которого еще рано было искать в казацких движениях или в болотниковском бунте, теперь начинает действительно проявлять себя под покровом тушинских отрядов. И национальный состав последних был здесь не безразличен; бунтовавшие помещики все же оставались помещиками - и по отношению к крестьянским побегам и крестьянской крепости враг Шуйского был солидарен с его сторонником. Собравшись под Москву вместе с казаками в самую критическую минуту, летом 1611 года, дети боярские не позабудут, что беглых крестьян и людей надо "по сыску отдавать назад старым помещикам". Будь тушинская армия сплошь русско-помещичьей, романовскому памфлетисту не пришлось бы описывать тех сцен, которые мы выше видели. В ином положении находились наемные польские отряды: хотя и шляхетские по своему составу, они, не собираясь оставаться в стране, не были связаны общностью интересов с местными помещиками. Поддерживать московский общественный строй было бы слишком сложной и далекой для них задачей: и трудно было бы этому удивляться, когда мы знаем, что двести пятьдесят лет спустя гораздо более просвещенные русские дворяне, Самарины и Черкасские, находили же возможным опираться на польского крестьянина против польского помещика. Чего же было спрашивать в XVII веке с "вольных рыцарей" типа Лисовского или Рожинского? Все, что увеличивало "смуту", в самом непосредственном смысле этого слова, было им выгодно, так как делало все более влиятельным положение польской военной силы, единственной организованной силы среди этого хаоса. А добычу у взбунтовавшихся холопов легко было и отнять потом, ибо что же могли сделать полубезоружные погромщики против отлично вооруженной и вымуштрованной польской конницы? Эта связь двух фактов, - социального движения и паразитировавших в стране иноземных отрядов, - не могла не стать ясной людям, которые наблюдали дело вблизи и притом в такой подробности, в какой оно нам уже недоступно, особенно, когда эти люди в деле были непосредственно заинтересованы. Патриотизм русских помещиков, таким ярким пламенем вспыхнувший в 1611 - 1612 годах, появился не на пустом месте. Он был, как и всякий патриотизм, впрочем, особой формой классового самосохранения.

Мы увидим в своем месте, какие особые причины, после падения Шуйского, обострили это чувство и заставили помещиков, позабыв все их разногласия, сплошной массой двинуться на внедрившегося в страну иноземца. Но мы увидим также, что это движение, будь оно только дворянским, было заранее осуждено на неудачу. Помещичье восстание 1612 года победило, опираясь на торговый капитал. Какой интерес для этого последнего представляла борьба с польско-тушинской армией? Мы до сих пор принимали как факт, что посадские были на стороне Шуйского: но нельзя же объяснить этот факт только тем, что царь Василий был посажен на престол московской буржуазией. Она задолго до 1610 года могла убедиться, что избранный ею государь "несчастлив" и что из-за него "кровь христианская льется беспрестанно". Пора анализировать то понятие "буржуазии", которым мы до сих пор оперировали как само собою разумеющимся. К счастью, наши источники дают для этого достаточный материал. Стоявшие за царя Василия,

а позже против царя Владислава города, отрезанные часто от своего организационного центра в Москве, должны были вырабатывать свою организацию, и с этой целью поддерживали между собою деятельные сношения. Ряд документов, относящихся к их переписке между собою, до нас дошел. Самыми ранними из них являются "отписки" устюжан к вычегодцам от конца ноября 1608 года. Исходной точкой для переписки Устюга с Сольвычегодскою явились вести о занятии тушинцами Ростова и Вологды (временно даже эта столица Поморья подчинялась "вору"): событие это устюжане рассматривали как проявление Божьего "праведного гнева на всю Русскую землю", и уповали на то только, что по дальности расстояния до них гнев Божий, может быть, еще и не дойдет. Но и к ним уже прибыл тушинский агент, Никита Пушкин, так что географические аргументы им самим казались не особенно утешительными, и приходилось лелеять себя надеждами, что неизвестно еще, чья возьмет, - "не угадать, на чем совершится", да подбадривать себя совершенно уже нелепыми для той поры слухами, что кн. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский "Тушино погромил". Как бы то ни было, необходимость целовать "вору" крест казалась близкой, а это было крайне неприятно не столько само по себе, сколько по последствиям, обычно сопровождавшим это событие в других городах. Когда в Ярославле "чернь с князем Федором Барятинским крест целовала царевичу Димитрию Ивановичу", из Ярославля "лучшие люди, пометав домы свои, разбежалися". И здесь, в Устюге, во главе антитушинского движения мы находим тоже "лучших людей": роль главного оратора на сходке, решения которой передает первая из "отписок", взял на себя кабацкий откупщик Михалко. И обращалась устюжская буржуазия в Сольвычегодскую к своим социальным сверстникам "посадским и волостным лучшим людям", рекомендуя им, в свою очередь, поговорить "со Строгановыми".

Наиболее полную картину этой внутригородской социальной борьбы, представляющей полную параллель сельскому движению, описанному автором романовского памфлета, дает псковский летописец. Псков после Москвы и после разгрома Новгорода Иваном Васильевичем был, вероятно, крупнейшим экономическим центром России. Классовые отношения, в их тогдашней форме, были там наиболее развиты, и смена классов у власти выступает поэтому в летописи особенно отчетливо. Антагонизм "лучших" и "меньших" здесь наметился очень рано - и как раз в связи с признанием или непризнанием правительства Шуйского. Еще в дни болотниковского бунта последний в числе других городов запросил денежной помощи и у Пскова. Городское правительство, гости, готовы были дать деньги - не свои, разумеется, а собранные со всего Пскова. "Черные люди" очень неохотно подчинились платежу и послали в Москву своих выборных, на которых гости доносили как на крамольников и которые в Москве оказались в очень близких отношениях к псковским стрельцам, весьма скоро изменившим Шуйскому. Псковский воевода, боярин Шереметев, как почти все бояре того времени, враждебный царю Василию, играл двойную роль: официально он был на стороне "законной власти", правивших Псковом представителей торгового класса, "гостей", а под рукою помогал тушинским агентам. Но пока "меньшие" были безоружны, дальше "крамольных речей" они не шли. Делу дало быстрый ход появление в Пскове изменивших московскому правительству стрельцов, а в окрестностях города - тушинских отрядов. Мелкие служилые, которыми

наполнены были псковские пригороды - пограничные крепости - поцеловали крест Дмитрию Ивановичу. А в самом городе набравшиеся теперь смелости "народи" "похваташа лутчих людей и гостей и пометаша их в темницу". Это было в августе 1608 года. Вслед за гостями попал в тюрьму и игравший двойную игру воевода. "Меньшие" со стрельцами оказались хозяевами города. Но у псковской демократии не было уверенности в своей полной победе: ей казалось, что "лучшие" и в тюрьме устраивали против нее заговоры, и 1 сентября во Пскове разыгрались сцены, живо напоминающие читателю "сентябрьские убийства" Великой французской революции. Когда по городу разнесся слух, что из Новгорода идут "немцы", нанятые будто бы Шуйским, толпа псковичей бросилась "на начальников градских и на нарочитых града мужей, иже бяху в темницу всажени". Их вытащили из тюрьмы и "нужною смертию умориша": одних посажали на кол, другим отрубили головы, третьих подвергли телесному наказанию, и у всех конфисковали имение. Бывшего воеводу, Шереметева, удавили в тюрьме. Вся расправа производилась от имени царя Дмитрия. Но конфискация не остановилась на имуществе казненных: демократическое начальство захватило в пользу города казну владыки и монастырей и подвергло гостей такому же принудительному побору в пользу тушинского правительства, какому они раньше подвергали "черных людей" в пользу царя Василия. И демократический террор не остановился на сентябрьских убийствах. Во Пскове вскоре случился большой пожар, причем взрывом порохового погреба разрушило кремль. "Псковичи же народ, чернь и стрельцы... рекоша сице: "бояре и гости город зажгоша" и начата в самый пожар камением гонити их, они же побегоша из града: и наутрие собравси, начата влачити нарочитых дворян и гостей, мучити и казнити, и в темницу сажати". Но мелкие служилые скоро'оказались плохими союзниками городского мещанства, и псковские "аристократы" сумели воспользоваться этим, восстановив "черных людей" против стрельцов. Последние были прогнаны из города, и народная партия лишилась вооруженной силы: в результате, на короткое время город опять перешел в руки гостей; началась лютая реакция - "начальников сонмища" иных "казни предаша", а других и просто "побита". Но торжество богатого купечества было непродолжительно. Оно, во-первых, чересчур быстро обнаружило свою истинную политическую физиономию, предложив целовать крест Шуйскому. А затем "прежереченнии самоначальницы", уцелевшие от казней вожди псковской демократии, нашли себе опору в массе "поселян" - псковских смердах, которые нам уже встречались на страницах этой истории. Толпы крестьян появились на улицах Пскова, и при их содействии реакционное правительство было свергнуто. Более двухсот представителей псковской знати, "дворян и гостей", а вместе с ними "чернцов и попов", оказались опять в тюрьме, а имение их было конфисковано. Рать, посланная Шуйским на помощь "белым людям" Пскова, пришла слишком поздно: в городе уже опять были стрельцы и тушинские казачьи отряды, и царский воевода, князь Владимир Долгорукий, постояв некоторое время под городом, ушел обратно. Псковичи же, готовясь к дальнейшей войне, принаняли себе польские отряды: в Пскове появились "лисовчики" Псковскую демократию не приходится, однако, обвинять за это в недостатке патриотизма, ибо сторона Шуйского призвала к себе на помощь шведов. Но и это ей не помогло: сначала Лисовский, потом "ложный царь и вор батюшка" с казаками* отстаивали город до 1613 года, и только

общерусский успех "лутчих людей" склонил чашу весов на их сторону и в Пскове. Вожди народной партии опять были переарестованы и на этот раз отправлены в Москву, где уже окончательно торжествовал "порядок".

** С легкой руки первого Дмитрия казаки стали изготовлять "царевичей", можно сказать, фабричным способом: имелись царевичи Август, Лаврентий, два Петра, Федор, Клементий, Савелий, Симеон, Василий, Ерошка, Гаврилка, Мартынка и т.д.*

Внутри самого Тушина оказывалось, таким образом, классовое противоречие, грозившее неизбежной гибелью делу второго Дмитрия. Начатое средними землевладельцами восстание принимало, действительно, физиономию "холопьего бунта". Оттого, в противоположность первому Дмитрию, который опирался, главным образом, на служилую массу, второй держался, под конец, почти исключительно польскими наемниками да казачеством. Но казаки всегда были готовы стать на сторону помещиков, - надели их только землей или "государевым жалованьем". Служилые верхи тушинской массы должны были скоро понять, что главную опасность представляют поляки. В то же время они представляли и главную боевую силу Тушина. Перед патриархом Филаретом и другими именитыми тушинцами, с одной стороны, помещиками, детьми боярскими, тянувшимся ко второму Дмитрию - с другой, встал, таким образом, вопрос: как обезвредить поляков, не лишившись их бесценной в военном отношении помощи? Довольно естественно было в таком положении апеллировать от хозяйничавшего в России "рыцарства" к его собственному, польскому, правительству. Правда, в среде польских солдат Тушина было немало эмигрантов, людей и с польской точки зрения нелегальных: к таким принадлежал, между прочим, знаменитый Лисовский. Их, конечно, нельзя было заставить повиноваться польским властям, но можно было привлечь на сторону "порядка" - именно надеждой легализации. Другим, не порвавшим связей с родиной, польский король мог и прямо приказать бросить "хлопов" и помогать помещикам. Было только ясно одно: что даром король Сигизмунд в московскую смуту не вмешается, что его нужно чем-нибудь заинтересовать: сделать дело русских помещиков его делом. В такой обстановке возникает в начале 1609 года в тушинском лагере кандидатура на московский престол королевича Владислава. Став отцом московского царя, Сигизмунд, конечно, получал сильнейшее побуждение восстановить порядок в Московском государстве.

Мысль о польском кандидате на московский престол была отнюдь не новой. Еще в дни первого Дмитрия, пока Шуйский с московскими посадскими вел дело в свою пользу, для бояр желанным царем был именно Владислав: на этот счет их агент в Кракове и вел переговоры, которые переворотом 17 мая были оборваны без всяких результатов. В 1608 году, когда окончательно выяснилась неустойчивость Шуйского на престоле, дело опять всплыло, и заговорили об этом опять бояре. Достаточно вспомнить положение "можновладства" в польско-литовском государстве, чтобы понять, почему симпатии боярства направлялись в эту сторону. Недаром и в Тушине о польском кандидате вспомнили, прежде всего, Филарет с его окружающими. Но бояре в эти дни были уже настолько малой политической силой, что им одним было бы совершенно невозможно сделать государем кого они

хотели. Реакция помещичьей массы против тушинского "царика", становившегося, помимо своей воли и ведома, но в силу неотвратимого хода вещей, холопским царем, оказала им неожиданную поддержку: дворянству тоже был нужен новый царь, а "своего кандидата у него не было. Одинаковое у обеих руководящих групп Тушина, боярской оппозиции Шуйскому и провинциального дворянства, желание обезвредить польское "рыцарство" очень быстро привело к тому, что два старых противника, которым, казалось, теперь было нечего делить, столковались очень быстро. И уже в январе 1610 года перед Сигизмундом появилось посольство, представлявшее обе группы и поставившее вопрос о Владиславе на совершенно деловую почву: верхи тушинской армии отказывались от своего сомнительного царя и обязывались употребить все усилия, чтобы посадить на Московское государство польского королевича.

У польского короля был уж в это время специальный повод вмешаться в московские дела, и именно против Шуйского, то есть, по существу дела, за Тушино, хотя, конечно, и не за "вора". Польская регулярная конница на службе последнего заставила царя Василия, лишенного, вдобавок, поддержки большинства своих служилых, искать равносильного ей противника на стороне. Ему не к кому было обратиться, кроме шведов. 28 февраля 1609 года был подписан в Выборге договор оборонительного и наступательного союза между королем Карлом IX и царем Василием: неизбежным последствием этого договора была война Московского государства с Польшей, которая тогда была в войне со Швецией. С точки зрения правительства Шуйского, это было вполне резонно: поляки все равно поддерживали Тушино, неофициально война все равно была, а королевское войско было немногим страшнее таких партизанов, как Рожинский или Лисовский. Это сейчас же и оправдалось: даже к осени этого года королю Сигизмунду удалось набрать не более 5000 пехоты и 12 000 конницы, причем последняя была хуже тушинских дружин. С этими силами король подступил к Смоленску, крупному коммерческому центру (в нем считали до 70 000 жителей), державшему, конечно, сторону Шуйского. Под Смоленском, осада которого велась очень вяло и неудачно, застали Сигизмунда и тушинские послы.

Договор, заключенный ими с Сигизмундом (он подписан как частное соглашение под Смоленском 4 февраля 1610 года, а 17 августа того же года, принятый правившими Москвой боярами, он стал официальным документом), пользуется громкой известностью в нашей литературе как первый "проект русской конституции". Собственно, первым документом, содержавшим в себе формальное ограничение царской власти, была запись Шуйского; но та заключала в себе только отрицательные постановления, определяла, чего царь не должен делать, тогда как договор 1610 года пытается определить, как должен царь управлять. При ближайшем рассмотрении, однако, этот документ совсем не оправдывает своей громкой репутации. Прежде всего, никакого "проекта" здесь нет, и авторы, наоборот, принимают все меры к тому, чтобы их не приняли за прожектеров, предлагающих что-то новое. Все должно делаться "по-прежнему" - специально оговорено, чтобы "прежних обычаев и чинов, которые были в Московском государстве, не переменять" При такой постановке дела весь договор является не программой на будущее, а ретроспективным обзором московского политического

обычая, с явной попыткой восстановить во всей неприкосновенности не только то, что было до Смуты, но и то, что было до опричнины.

Как это было в дни "избранной Рады", вся политическая власть предполагается сосредоточенной в руках бояр: царь ничего не должен делать, не поговори с ними. "А все то, - заключает договор, - делати государю с приговором и советом бояр и всяких думных людей; а без думы и без приговору таких дел не совершати". Реципируя содержание крестоцеловальной записи Шуйского, договор особенно подчеркивает участие бояр в суде ("а кто винен будет... того по вине его казните, осудивши наперед с бояры и с думными людьми..."). С нашей точки зрения, особенно важной представляется зависимость от бояр бюджета: "доходы государские... сверх прежних обычаев, не поговоря с бояры, ни в не прибавливати". Но и тут не было, конечно, ничего нового - налоги и раньше входили в компетенцию боярской думы. Единственной новизной договора, новизной не очень смелой, но очень характерной, является упоминание о Земском соборе как необходимом участнике законодательства: "На Москве и по городам суду быти и совершатися по прежнему обычаю, по Судебнику Российского государства; а будет похотят в чем пополнити для укрепленья судов, и Государю на то поволити с думою бояр и всея земли, чтобы было все праведно". До опричнины законодательная власть осуществлялась царем с боярами: теперь ею делились и с дворянами, составлявшими подавляющее большинство "совета всея земли". Так учитывал договор 1610 года политические перемены, происшедшие за шестьдесят лет, с издания царского Судебника: учет очень скромный, если вспомнить, что с тех пор дворянство посадило двух царей на московский престол, а теперь приходилось ссаживать третьего, главным образом из-за того, что помещики его "не любят... и служити ему не хотят". Под пером московского боярства политический обычай Московского государства делал "духу времени" уступки лишь в самых гомеопатических дозах. Особенно, если принять во внимание, что инициатива созыва Земского собора всецело оставалась в руках боярства - не к кому отнести "похотят", кроме тех, которые судят, т.е. бояр, и что состав этой всевершащей коллегии пытались закрепить так же прочно, как это было сделано в пятидесятых годах XVI века. "Московских княженецких и боярских родов приезжими иноземцами в отечестве и чести не теснити и не понижати", - говорил окончательный текст договора. В первоначальной редакции это обещание было смягчено прибавкой: "людей меньшего стана" повышать сообразно с личными заслугами. Отпадение этой оговорки в официальном тексте чрезвычайно характерно, как это уже отмечено в литературе: то, что провозглашалось еще опричниками Грозного, что государь "яко Бог и малого великим чинит", московские бояре отказывались признать и через тридцать лет после смерти Ивана Васильевича. Этой юридической неприкосновенности "великих станов" соответствовало, конечно, гарантирование их экономического базиса: Владислав обязывался "родительских вотчин ни у кого не отнимати". Ограничительные постановления в этом смысле грамоты Шуйского распространялись и на нового государя.

"Боярское правление", которого историки напрасно искали при царе Василии, должно было начаться именно теперь: ничто так не дает никакого убедительного доказательства растерянности помещичьей массы перед восстанием деревенских

низов, как политическая часть договора 1610 года. Правнуки Пересветова соглашались теперь всю власть отдать "ленивым богатинам", лишь бы удержать свое социальное положение. Последнее и гарантировалось договором, так сказать, с обеих сторон, и сверху, и снизу. Сверху шел к помещику денежный капитал, которым жило его хозяйство, снизу он старался прикрепить к этому хозяйству рабочие руки. Бояре, становясь московским правительством, формально обещали от лица царя Владислава "жалованье давати из четверти по всякий год, по прежнему обычаю". Гарантировалась, таким образом, лишь традиционная норма жалованья, не принимая, стало быть, в расчет падения цены денег. Изменение этой нормы допускалось, но инициатива его опять-таки должна была идти от бояр: "А будет что кому прибавлено... не по их достоинству, или... убавлено без вины... о том государю советовати с бояры и с думными людьми". Бояре совсем не желали, чтобы государь делал из жалованья средство для усиления своей популярности, как это было при Годунове и Лжедмитрии. Относительно рабочих рук приходилось принимать особые меры предосторожности - теперь в конкуренцию могли бы оказаться вовлеченными и землевладельцы соседней Литвы. Оттого договор и определял: "Торговым и пашенным крестьянам в Литву с Руси и с Литвы на Русь выходу не быти". "Так же и на Руси промеж себя крестьянам выходу не быти", а крепостным людям свободы не давать, прибавлял первоначальный текст неофициального соглашения. Очень любопытно это опасение эмансипаторской политики со стороны нового царя: помещики как будто вспомнили, как что-то подобное затевал когда-то Годунов. Но самое запрещение "выхода" опять лишь реципировало законодательство Шуйского: указом от 9 марта 1607 года было уже постановлено: "которые крестьяне от сего числа перед сим за 15 лет в книгах 101 (1593) году положены, и тем быть за теми, за кем писаны". Только тогда это была мера, направленная в первую голову против "украинных помещиков", которые Шуйскому "служите не хотели", и к которым в голодные годы сошла масса крестьянства из центральных уездов: потому и разрешалось прежним господам искать ушедших и возвращать к себе. Теперь эта оговорка, направленная специально против политически враждебных царю Василию элементов дворянства, естественно отпадала, и оставалось только общее правило его указа: "не принимай чужого".

Если среднее землевладение оказалось в договоре на втором плане, то само собою разумеется, что о буржуазии договор заботился еще меньше, и, кроме свободной торговли с Польшей и Лихвой на прежних основаниях, не нашли даже нужным что-либо оговаривать. И это опять было естественно: положение помещиков было трудное, положение московского посада, а он был ближе всех на глазах, и по нему ценили буржуазию вообще, было прямо безвыходное. В течение 1609 года тушинские отряды перехватили дорогу на Рязань, и Москва сидела без хлеба; попытка царя Василия установить максимум хлебных цен ни к чему не привело; этим только лишний раз воспользовалась спекуляция, и, в связи с "хлебной дороговью", "чернь" волновалась, очень определенно высказываясь за тушинского "царика". Настолько определенно, что с этими симпатиями московской "черни" должно было считаться польское правительство: оно очень хотело бы устранить совсем крайне для него теперь неудобную фигуру второго Дмитрия, но убить его не решалось, опасаясь, что, это восстановит против поляков массу

московского населения. Псковские сцены могли разыграться и в Москве каждый день, и "лучшим людям" столичного посада не приходилось ни быть особенно разборчивыми в выборе союзников, ни ставить этим последним каких-нибудь условий.

Есть основание думать, что, заключая договор с Сигизмундом, бояре и служилые люди думали сразу избавиться от обоих царей - и московского, которого теперь вяло поддерживал московский посад, и подмосковного, от которого отказались теперь верхи его рати. Но и с тем и с другим пришлось подождать. "Вор" успел проникнуть в замыслы своих советников и бежал из Тушина (в первой половине января); само по себе это было бы еще ничего, но с ним ушли все казацкие отряды. Если служилые были в договоре на втором плане, а посадские на последнем, то отношение его к казакам было вовсе странное: самое существование их ставилось в зависимость от решения бояр и думных людей; те должны были решить, будут ли казаки впредь надобны или нет. Это было, правда, вполне согласно со стариной и пошлиной, которые охраняло соглашение 4 февраля: по обычаю, казакам не было места в московском общественном порядке. Но тут устарелость боярских взглядов была наказана немедленно и самым чувствительным образом. Обделенные польско-боярским соглашением, казаки тем более должны были дорожить оставшимся в их руках символом царской власти и всею силою решили поддержать "вора". От него отпали только польские отряды, но он остался все же в военном отношении величиною, которую не приходилось игнорировать. Шуйский же такой величиной неожиданно сделался. Во второй половине февраля в Москве совсем налажено было его низложение: дворяне, с некогда лояльными рязанцами во главе, При активной поддержке кн. В.В. Голицына, собрали на царя Василия "сонмище" и едва не завладели Кремлем. Но московский посад не видел большой разницы между Василием Ивановичем и этими его врагами - в ответ на их призывы он не шевельнулся. Покричав и побезобразничав, дворянская толпа ушла в Тушино. Шуйский в этом деле обнаружил, по летописи, большую твердость, на которую повлиял, конечно, и нейтралитет московского посада, но еще больше тот факт, что выборгский договор со шведами начал, наконец, давать свои плоды. Наемные шведские отряды, под начальством царского племянника Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, очистили от тушинцев северные пути к Москве и стояли в это время уже в Александровской слободе. 12 марта Скопин был уже в городе, а за несколько дней перед этим Рожинский поджег тушинский лагерь и отступил со своими поляками на северо-запад, сближаясь с королевскими войсками, оперировавшими против Смоленска. Царь Василий в первый раз после сдачи Болотникова в Туле, после двухлетнего промежутка, наполненного неудачами, оказался опять победителем на поле битвы.

При наличном положении вещей это могла быть лишь отсрочка. Шведская армия, как и всякая европейская армия этого времени, была наемным войском, навербованным из авантюристов всех стран, служивших лишь до тех пор, пока им исправно платили жалованье. Но именно это условие выполнять Шуйскому было труднее всего. Поморская буржуазия еще платила, пока близка была тушинская опасность и вместе с нею опасность демократического восстания. По мере того как Скопин очищал север, ее щедрость ослабевала, и к лету 1610 года царь Василий опять уподобился "орлу бесперу". В первой же битве с войсками короля

Сигизмунда, под Клушином, 24 июня, не получавшие жалованья "немцы" Шуйского без дальнейших околичностей перешли к противнику, и война царя Василия с Польшей была этим закончена, а Вместе с тем фактически кончилось и его царствование. Современники, разумеется, приписывали такой неожиданный, после недавнего торжества, оборот дела личным переменам: тому, что во главе московской армии стоял теперь не популярный Скопин, за два месяца до того умерший, будто бы "отравленный" Шуйским, а никем не любимый брат царя Василия, Дмитрий Иванович. Что бездарный московский воевода имел дело с одним из талантливейших польских генералов, гетманом Жолкевским, это, конечно, не могло, до известной степени, не отразиться на ходе боя. Но измены "немцев" рано или поздно, раз не было денег, никакая талантливость не предотвратила бы: выиграв эту битву, москвичи не смогли бы дать другой, и получилась бы лишь новая отсрочка, меряющаяся уже не месяцами, а неделями. Так что князь Михаил Скопин умер, по всей вероятности, от тифа, весьма вовремя для своей военной славы.

После Клушинской битвы восстановилось, со стратегической точки зрения, то соотношение сил, какое было до падения Тушина. Под Москвой стояла организованная военная сила в лице поляков, а против нее был Шуйский, ослабленный более, нежели когда бы то ни было, лишенный и шведской подмоги, и поддержки уже всех служилых людей, так как даже и рязанцы с Ляпуновым были теперь против него. Московские люди могли теперь тем меньше медлить, что и "вор" тоже стоял в поле, и этот факт продолжал волновать московских "черных людей". Польское войско было единственной гарантией порядка, если бы оно согласилось взять на себя эти функции, но оно согласилось на это лишь под вполне определенным условием: признания москвичами договора 4 февраля. "Универсалы" гетмана Жолкевского непрестанно напоминали об этом московской публике; какое значение имели эти "универсалы" в низвержении Шуйского, видно из того, что их аргументация (из-за царя Василия "беспрестанно льется христианская кровь") дословно воспроизведена официальными грамотами о свержении с престола Василия Ивановича. Только страх перед союзом московского простонародья с войсками второго Дмитрия заставлял правящие круги до поры до времени играть комедию и официально изображать поляков врагами даже неделю-другую после того, как Шуйский был "сведен" и пострижен. Надо было дать Жолкевскому подойти под самую Москву и поставить московское население перед дилеммою: или драться с поляками (для чего не было ни средств, ни сил), или впустить их в город. В то же время нужно было сколько-нибудь прилично подготовить избрание Владислава, так как тушинские послы ни от кого не имели официального полномочия договариваться о судьбах московского престола. После новейших изысканий едва ли может быть сомнение, что выборы Владислава предполагалось обставить столь же торжественно, как впоследствии избрание Михаила Федоровича Романова, и как раньше были обставлены выборы Годунова: предполагалось созвать все чины Московского государства и закрепить дело решением Земского собора, но на это не хватило времени. Пришлось ограничиться собранием представителей собственно от московских чинов, из которых и был импровизирован Земский собор сокращенного состава, что было, впрочем, в тогдашних обычаях и что не считалось незаконным даже при выборах царя: Петр и

Иван Алексеевичи впоследствии были признаны именно таким сокращенным Собором. Присяга остальных городов служила в этих случаях молчаливым признанием московского решения, и это условие было соблюдено: "так же и всею землею Российскою целовали крест Господень, что Владислав Жигимонтовичу служити прямо во всем", - говорит летописец. В традиционном названии последующего периода "междуцарствие" не без благочестивого обмана: на самом деле с 17 августа 1610 года на Москве царем сидел Владислав, не с меньшим правом, во всяком случае, нежели его предшественник, Василий Иванович Шуйский.

Царь Владислав был еще в большей степени только символом царской власти, чем некоторые его предшественники: по малолетству своему он и не приезжал в Москву. Но это, конечно, нисколько не мешало московскому правительству действовать от его имени, почти ни с чьей стороны не встречая противодействий: почти ни с чьей потому, что затруднения, как и можно было ожидать, сейчас же встретились со стороны церкви. Положение церкви в этот момент особенно любопытно для нас, привыкших думать, что православию московские люди были необыкновенно преданы, и что религия была для них выше всего на свете. На самом деле, церковь в Московском государстве весьма тесно была связана с судьбой других феодальных сил. Несмотря на антагонизм крупного землевладения и монастырей, всего ближе была она к боярству, и разгром последнего Грозным чрезвычайно заметно понизил самостоятельное значение церкви. Патриархи конца XVI - начала XVII века были политическим орудием в руках светской власти и сменялись вместе с царями. Годуновский патриарх Иов уступил место греку Игнатию, когда власть захватил Лжедмитрий, а когда он был убит Шуйским, патриархом стал Гермоген. Роль этого последнего, человека, по отзывам современников, недалекого и несамостоятельного, легко поддававшегося чужому влиянию, была при Шуйском довольно жалкая. Духовенство его не любило за грубость и жестокость к подчиненным, а светские люди не питали уважения к патриарху, который всегда был покорным слугой Шуйского и готов был покрывать авторитетом церкви всякие дела царя Василия. Дворяне, устроившие "сонмище" на царя Василия в субботу масляной недели 1610 года, когда Гермоген вышел их усовещевать, "ругахуся ему всячески" - пинали его сзади, бросали ему в лицо грязью, хватали его за грудки и трясли. Довольно естественно, что и при составлении договора с Сигизмундом желания Гермогена не спрашивали, вероятно, считая, что церковь достаточно представлена в лице патриарха тушинского, Филарета Никитича. Но когда договор вошел в официальную стадию, московский патриарх не мог о нем не высказаться - и высказался отрицательно. Весьма возможно, что Гермоген был и в этом случае лишь ширмою, именно для некоторых больших московских бояр, вроде князя В.В. Голицына, который сам не прочь был воссесть на царский престол и для которого, стало быть, Владислав был лишь печальной необходимостью. Предлог вставить палку в колесо кандидатуры, инициаторами которой были Романовы, сейчас же нашелся. Царь всего православного христианства должен был быть, разумеется, православным, но Владислав родился католиком и был крещен по католическому обряду. Что за это обстоятельство не запнулись тушинские послы, ведшие переговоры с Сигизмундом, это, повторяю, чрезвычайно характерно: пересветовский афоризм,

что "правда выше веры", политика должна идти впереди религии, как видно, стал ходячей истиной в московских служилых кругах начала XVII века. В договоре ограничились обещанием, что новый царь не будет "христианской православной веры греческого закона ничем рушити и бесчестити" и обязуется "иных никаких вер не вводити". Но присоединится ли он сам, открыто и торжественно, к Православной Церкви, для чего, по тогдашним понятиям, необходимо было второе крещение, по православному обряду, об этом текст договора молчал, а гетман Жолкевский на предложенный ему вопрос ответил уклончиво: что он от короля на этот счет "науки не имеет". С нашими понятиями о древнерусском православии трудно себе представить, как это православные присягали государю, который сам православным еще не был; но такой факт, несомненно, имел место в 1610 году, и его одного совершенно достаточно для ответа тем, кто хотел бы выставить религиозные побуждения господствующими в поведении людей того времени. Протест патриарха не задержал избрания и имел лишь то последствие, что решено было отправить еще раз к Сигизмунду торжественное посольство: бить ему челом, чтобы он позволил сыну креститься по обряду Православной Церкви. Гетман Жолкевский, который был не только хорошим генералом, но и ловким дипломатом, великолепно сумел использовать это обстоятельство на благо польской политики. В посольство, едущее хлопотать о таком важном деле, надо было, конечно, назначить самых почетных людей в государстве; и вот "великими послами" под Смоленск отправились главы самых влиятельных боярских фамилий: превратившийся из патриарха снова в митрополита Филарет Никитич Романов и князь Василий Васильевич Голицын. Последнему было предложено организовать и самое посольство, куда, конечно, попали теперь преданные ему люди, единственный сколько-нибудь серьезный по тому времени соперник Владислава уводил, таким образом, с собою из Москвы всю свою партию. А о первом сам гетман признавался потом в своих записках, что его хотели иметь "как бы в виде залога", как отца другого возможного претендента: кандидатура Михаила Федоровича Романова уже тогда "носилась в воздухе". Поездка этих влиятельных людей в польский лагерь была чрезвычайно выгодна для Сигизмунда, как видим, с точки же зрения русских интересов она была праздным препровождением времени, даже и не считаясь с тем фактом, что от крещения Владислава Московскому государству нельзя было ожидать больших выгод. Ибо в совете польского короля давно, еще с февраля, было решено смотреть на кандидатуру королевича как на промежуточную ступень: раз она была пройдена, следовало, не мешкая, стремиться к окончательной и уже серьезной, не для показу, цели всей кампании - соединению Московского государства с Речью Посполитой на таких же условиях, на каких за сорок лет была присоединена к Польше Литва. Тогда вся Восточная Европа превращалась в одну огромную державу с Польшей во главе и под одним скипетром, разумеется: Сигизмунд должен был стать царем московским точно так же, как он был королем польским и великим князем литовским. Отправляя "великих послов", Жолкевский отлично знал об этом плане: можно представить себе, как он смеялся в душе, видя хлопоты москвичей о православии совершенно безразличного для Москвы польского мальчика.

Современная Смуте историография, особенно те произведения, что шли из романовского лагеря, страшно раздула задним числом значение "великого

посольства". Выходило так, что от "твердости" послов зависела чуть ли не вся судьба Московского государства: каких только стараний ни употребляли Сигизмунд и его советники, чтобы поколебать "великих послов", и все напрасно! Но один из членов посольства, троицкий келарь Авраамий Палицын, при всем своем православии и при всей своей утрированной лояльности, не мог не признаться, что посольство ничего не сделало - "бездельно бысть". Ему и нечего было делать, как сидеть в почетном польском плену: юридически Владислав давно был признан русским царем, и все ему присягнули, а фактически половина его царства находилась уже в состоянии открытого восстания против нового царя по причинам, не имевшим ничего общего с православной верой. Кандидатура Владислава была принята правящими кругами русского общества под одним условием и с одной надеждой, что польские войска восстановят "порядок" в Московском государства, подавят социальный бунт низов и дадут возможность помещику исправно получать царское жалованье и хозяйничать в своем имении, а купцу мирно торговать, как во дни Бориса Федоровича, которого когда-то не умели ценить. Прочность польского царя на московском престоле всецело зависела от того, будет ли это условие выполнено. И очень скоро обнаружилось, что правительство Сигизмунда не только не умеет удовлетворить этой основной потребности имущих классов московского общества, но что оно и его агенты в Москве являются новым ферментом разложения. Никогда еще анархия не достигала таких размеров, как в первые месяцы царствования Владислава, и притом формы этой анархии были особенно опасны как для буржуазии, так и для средних землевладельцев.

Прежде всего, в Москве льстили себя надеждой, что стоит Сигизмунду приказать - и тушинский "царик", так вредно действовавший на московских "черных людей" и на барских холопов, исчезнет, как дым. Исчезло, однако, Тушино, а второй Дмитрий остался. Он засел в Калуге со своими казаками, которые грабили и опустошали тем больше, чем меньше оставалось у них надежды стать самим помещиками. Как и следовало ожидать, даже исчезновение "вора" не положило этому конца: второй Дмитрий был убит, случайно или нет - для истории это имеет весьма мало значения, но у вдовы первого Дмитрия, Марины Юрьевны, которая была официально женой и второго, оказался сын - и казаки начали приводить к присяге на его имя всех, кто только оказывался в пределах досягаемости "воровских" отрядов. Патриарх Гермоген усиленно внушал своей пастве, что "Маринкин сын" "проклят от святого собору и от нас", но на казаков патриаршее слово имело, конечно, еще меньше влияния, чем на купцов и помещиков. Тушино, материально разрушенное, в виде символа грозило увековечиться на Русской земле. Польские партизаны точно так же весьма мало смущались тем фактом, что на московском престоле номинально сидел теперь польский королевич: "лисовчики" продолжали грабить так же, как и раньше, только перенеся театр своих действий подальше от Москвы, чтобы не иметь неприятности сталкиваться на поле битвы со своими соотечественниками. К каким последствиям приводило такое положение вещей, например, в области обмена, можно видеть по одному образчику: в июне 1611 года казанцы жаловались пермичам, что у них, в Казани, "денег в сборе нет", потому что "с Верху и с Низу ни из которых городов больших соляных и никаких судов не было". Вся волжская торговля встала, даже таким

предметом первой необходимости, как соль, не торговали и, конечно, не польскому генералу, сидевшему в Кремле с небольшим отрядом, было помочь этому горю волжан. Но и в самой Москве было не лучше. Хроническая опасность тушинской крамолы привела к тому, что в Москве установилось хроническое осадное положение. Часть кремлевских ворот была заперта, у других постоянно дежурила вооруженная стража, зорко осматривавшая каждого входящего. Польские патрули постоянно объезжали улицы, с некоторых сняли даже полицейские рогатки, чтобы они не стесняли действия польских войск в случае надобности. Ночью всякое движение вовсе прекращалось. Вдобавок, как ни добросовестно старались поддержать дисциплину в своих отрядах польские офицеры, дисциплина наемного войска тех времен не могла быть высока. Польские жолнеры брали в рядах все, что им понравится, и хотя платили, но не то, что желал получить купец, а то, что казалось "справедливым" самим жолнерам, а при малейшем возражении сабля вылетала из ножен, и это оканчивало спор. Результат был тот, что уже через два месяца после вступления в Москву поляков "в торгу гости и торговые люди в рядах от литовских людей после стола (за прилавком) не сидели": если понимать буквально это сообщение одной из городских отписок, можно бы подумать, что в Москве всякая торговля к этому времени вовсе прекратилась. В действительности хозяева, вероятно, только спешили запирать лавки возможно скорее и вылезали на свет Божий, лишь когда по близости не было видно "рыцарства". Но и этого было достаточно, чтобы с сожалением вспомнить времена даже не Годунова, а Шуйского.

Всего хуже доставалось от польского господства его инициаторам - помещикам и боярству. Нельзя себе представить горшего разочарования, чем какое должны были испытать авторы договора 1610 года, так старательно обеспечившие в нем неприкосновенность старых обычаев. Боярское правительство (так называемая семибоярщина) фактически продолжалось не больше двух месяцев. К концу этого периода дума, номинально державшая в руках все, в действительности превратилось в нечто вроде совещательного совета при польском коменданте Москвы. Оттого, что этот последний, Александр Гонсевский, сам стал, милостью нового царя, боярином, старым боярам было, конечно, мало утешения. "К боярам в думу ты ходил, - описывали эти последние его поведение ему самому в глаза, - только, пришедши, сядешь, а возле себя посадишь своих советников: Михаилу Салтыкова, князя Василья Масальского, Федьку Андронова, Ивана Граматина с товарищи, а нам и не слыхать, что ты со своими советниками говоришь и переговариваешь; и что велишь по которой челобитной сделать, так и сделают, а подписывают челобитные твои же советники".. . Особенно поперек горла родословным людям должна была стать думная роль Федора Андронова, богатого московского гостя, ставшего думным дворянином еще в Тушине, а при Владиславе сделавшегося одним из первых людей в думе. Исключительной доверенности, какой пользовался этот "торговый мужик" у короля Сигизмунда, не могли переварить даже его ближайшие товарищи из служилой среды. "Со Мстиславского с товарищами и с нас дела посняты, - жаловался польскому канцлеру Сапеге сейчас упоминавшийся Михаил Глебович Салтыков (когда-то стоявший во главе посольства, которое заключило с Сигизмундом договор 4 февраля), а на таком правительство и вера положена". Как ренегата своего класса, служившего

дворянскому царю против купеческого, Андронова ненавидели даже его собратья, посадские люди. И автор одного памфлета тех дней, вышедший из посадской среды или, по крайней мере, к ней обращавшийся, не находит слов на русском языке, чтобы выразить свое презрение к казначею царя Владислава, прибегает к греческим. "За бесчисленные грехи наши чем нас Господь ни смиряет, и каких казней ни посылает, и кому нами владети ни повелевает! - восклицает он. - Сами видите, кто той есть, нееси человек и неведомо кто: ни от царских родов, ни от боярских чинов, ни от избранных ратных голов; сказывают, - от смердовских рабов". А пока этот "неведомо кто" распоряжался, старейшие, по родословцу, члены думы, князья Голицын (брат "великого посла") и Воротынский, сидели "за приставами" - под домашним арестом, как люди подозрительные для нового режима. Такого прежнего обычая не было видано со времен опричнины!

Но опричнина имела под собою определенную социальную почву - она держалась на союзе буржуазии и помещиков. Как должна была относиться к правительству царя Владислава первая, мы уже видели. А что значил польский режим для вторых - об этом рассказывают члены самого этого правительства. "Надобно воспрепятствовать, милостивый пан, - писал тому же Сапеге Федор Андронов, - чтобы не раздавали без толку поместий, а то и его милость пан гетман дает, и Иван Салтыков также дает листы на поместья; а прежде бывало в одном месте давали, кому государь прикажет". А Михаил Салтыков, жалуясь на того же Андронова, писал: "Московские люди крайне скорбят, что королевская милость и жалованье изменились, и многие люди разными притеснениями и разореньем оскорблены". И он указывал на бестолковую раздачу поместий и находил, что такой земельной перетасовки не было даже в дни опричнины: "Царь Иван Васильевич природный был", да и тот так не делал, - писал Салтыков, намекая на то, что новому царю не мешало бы быть поосторожнее "природного". Недаром, когда восставшие служилые люди соберутся к Москве, они потребуют прежде всего другого, чтобы раздача поместий производилась по прежнему обычаю, как было "при прежних российских прирожденных государях", и чтобы поместья, данные кому бы то ни было на имя короля или королевича, были отобраны так же, как и те, которые сидевшие в Москве бояре "разняли по себе". Помещики хлопотали, чтобы им, вдобавок к земельной доле, жалованье аккуратно выдавалось из четверти по всякий год, а на деле вышло, что и земельную дачу нельзя было считать своей, ибо ее каждую минуту могла отнять данная где-то за тысячу верст королевская грамота.

Уже к поздней осени 1610 года вполне определилось, что советников царя Владислава скоро постигнет участь, какую испытали Годуновы в 1605 году: что они станут социально одинокими: не найдут ни одного общественного класса, который бы захотел их поддерживать. Горсть польских жолнеров в Москве - вот все, на что они могли рассчитывать. Когда Шуйский боролся со своими первыми бунтами, он был гораздо сильнее: за него была Москва, да еще все северные поморские и поволжские города. Правительство Владислава, судя по всему, должно было быть гораздо недолговечнее правительства царя Василия. Но из этого не следовало, чтобы его существование не имело никакого влияния на ход событий в те дни. Напротив, отрицательно оно сыграло огромную роль. Задев интересы всех правящих классов и не имея на своей стороне даже народной массы, на которую

когда-то хотел опереться Годунов, оно дало повод столковаться тем, кто враждовал во все предшествующее время Смуты. А своим иноверным и иноземным происхождением оно создавало почву для национально-религиозной идеологии, под покровом которой движение могло организоваться как ни разу раньше. Классовое самосохранение стало национальным самосохранением - в этом смысл событий 1611 - 1612 годов.

Одним из самых ранних и самых интересных образчиков этой идеологии является "подметное письмо", по нашему - прокламация, - появившееся в Москве в конце ноября или начале декабря 1610 года. В литературном отношении оно стоит очень высоко, напоминая произведение того сочувствующего Романовым публициста, который был использован Авраамием Палицыным в его "Истории в память сущим предыдущим родам", и на которого мы неоднократно ссылались раньше. Весьма возможно даже, что этот публицист и автор нашего подметного письма (которому кто-то дал впоследствии неловкое заглавие "Новая повесть о преславном Российском царстве", хотя никакой "повести" здесь нет) одно и то же лицо: и тот, и другой были близки к буржуазии, и тот, и другой при очень большом благочестии никогда не прибегают к сверхъестественным мотивам для объяснения событий, что так обычно вообще в литературе Смуты. Есть и одно внешнее сходство: оба не чуждаются мерной рифмованной прозы, так хорошо подходящей к стилю тогдашнего подметного письма, которое должно было читаться не отдельными прохожими, - между ними нашлось бы слишком мало грамотных, а каким-нибудь грамотеем вслух целой кучке народа. Если бы удалось доказать тождество двух авторов, мы имели бы чрезвычайно любопытное совпадение: первый призыв к восстанию против Владислава шел бы тогда из романовских кругов, откуда должен был выйти и преемник Владиславу. То, что о Романовых нет ни звука в самом письме, не говорит против этого: не нужно забывать, что в эти дни Филарет Никитич, один из "великих послов", был как бы заложником у поляков, и всякий подобный намек мог ему стоить очень дорого. Как бы то ни было, призывая к восстанию против польского королевича, автор ни словом не обмолвился насчет того, кого следует посадить на его место. Хотя вопрос этот, конечно, напрашивался сам собою. Центральная фигура в его изображении - Гермоген, и, как один из первых образчиков "легенды о Гермогене", памфлет не менее любопытен. Автор признается, что от патриарха прямого призыва к восстанию нельзя ждать: "Сами ведаете, его это дело, что тако ему поведевати на кровь дерзнути?" Но он всем своим изложением дает понять, что Гермоген - душа сопротивления полякам: "Стоит один противу всех их... аки исполин муж без оружия и без ополчения воинского". Когда это не произвело достаточного впечатления, пришлось сделать дальнейший шаг: появились грамоты Гермогена, по признанию самих распространителей исходившие, однако же, не непосредственно от него, так как у патриарха "писати некому, дьяки и подьячие и всякие дворовые люди пойманы". Так понемногу создавалась легендарная фигура, украшающая страницы новейших повествований о Смуте и, кажется, имевшая чрезвычайно мало общего с реальным Гермогеном. Для движения "лучших" людей нужен был символ, каким для "меньших" давно стал "Димитрий Иванович", противопоставить патриарха, строгого хранителя православия, царю, который "не хочет креститься", было, несомненно, очень понятным для широких масс мотивом. Но для московской

буржуазии, из которой, вероятно, вышел и к которой, во всяком случае, обращался наш автор, очень характерно, что она могла и подняться над такими простонародными мотивами. С некоторых страниц "Новой повести" на нас смотрит почти античный патриотизм. Автор хвалит смольнян, продолжавших сопротивляться Сигизмунду, за то, что они "хотят славно умрети, нежели бесчестно и горько жиги". Грозящее запустение "такого великого царства" трогает его, несомненно, больше, чем ожидаемая поруха православной веры, и в лозунге, который он бросает в посадские массы, этой вере отведена всего лишь одна треть: "Постоим вкупе за православную веру... и за свое отечество и за достояние, еже нам Господь дал". А повторяя этот лозунг еще раз, он ставил царство даже прежде веры. Да и мотив восстания для него не столько то, что Владислав не православный, сколько то, что Владислава вообще ждать нечего: сущность письма в том и состоит, что автор раскрывает московской публике секрет польского заговора - аннексировать Московское царство. Как аргументом автор очень ловко пользуется неспособностью поляков установить порядок в стране: если бы Сигизмунд действительно прочил царство своему сыну, допустил ли бы он такое разорение? "Не только сыну не прочит, но и сам здесь жить не хочет", а будут править москвичами такие люди, как Федор Андронов: вышеприведенные отзывы о нем взяты именно из "Новой повести".

Ее буржуазный автор несколько поторопился, призывая к восстанию москвичей: последствия показали, что городское движение и не могло концентрироваться в Москве, единственном городе, где чисто военный перевес безусловно был на стороне поляков. Московские "баррикады" 17 марта 1611 года кончились полной неудачей: поляки выжгли город почти дотла и заставили уцелевшее население вновь присягнуть Владиславу. Нижний Новгород стал во главе движения не только потому, что волжские торговцы были заинтересованы в восстановлении порядка более, нежели кто-нибудь другой, а еще и по той простой причине, что на Волге не было никаких польских войск, и помешать движению на первых его шагах было некому. Удивляться приходится не тому, что посадско-дворянское движение справилось при таких условиях с поляками - горстка жолнеров в Кремле так же мало могла подавить всероссийское восстание, как мало была она способна поддерживать порядок во всей России, а тому, что этому движению понадобилось так много времени, почти полтора года, чтобы сорганизоваться. Объяснять это чисто техническими особенностями того времени, отсутствием не только железных, но и вообще каких бы то ни было приличных дорог, кроме речных путей, едва ли можно: правда, события такого рода мерились тогда не неделями, как теперь, а месяцами, но все же первая армия инсургентов, ляпуновское ополчение, стояла уже перед Москвой в апреле 1611 года, тогда как первые призывы к восстанию раздались в декабре предшествовавшего. Причин медленности приходится искать в другой области, и их видели уже современники: автор "Новой повести" видел "горшее всего" в том, что "разделение в земле нашей учинися". Две половины "лучших" людей, городская и деревенская, посадские и помещики, только что четыре года вели отчаянную борьбу между собою, и нелегко им было столковаться теперь для общих действий. Когда такие общие действия налаживались в царствование Шуйского, о них толковали как о редкости и ими гордились. "Вы смущаетесь для того, - писала поморская рать жителям городка

Романова в 1609 году, - будто дворян и детей боярских черные люди побивают и домы их разоряют: а здесь, господа, черные люди дворян и детей боярских чтят и позору им никоторого нет". Но романовцы могли бы ответить "черным людям" (здесь этим именем обозначались, конечно, не низы городского населения в противоположность верхам, а податное население вообще, в противоположность служилому - буржуазия в противоположность дворянству), что в Поморье дворян-то, почитай, и нет никаких, а вот попробовали бы они ужиться в искони дворянской Центральной России. Здесь отношения были таковы, что когда началось восстание дворянства, началось под руководством самой энергичной части последнего, рязанцев, то Прокопий Ляпунов и его товарищи скорее рассчитывали найти себе союзников среди казаков и даже среди наиболее демократических элементов тушинской армии, нежели среди горожан. "А которые боярские люди крепостные и старинные, и те бы шли безо всякого сумления и боязни, - писал Ляпунов в Казань даже в июне 1611 года, - всем им воля и жалованье будет, как и иным казакам".

"Зигзаг", который описало восстание против Владислава, временная неудача этого восстания и временное разложение инсу-рекционной армии в июле 1611 года и объясняется прежде всего этой причиной. Первоначальный состав восставших намечается в февральской грамоте Ляпунова в Нижний: то были рязанцы "с калужскими, с тульскими, и с Михайловскими, и всех северных и украинных городов со всякими людьми". Такому ополчению не удалось взять в свое время, в 1606 году, даже Москвы, защищавшейся Шуйским почти одними двинскими стрельцами, а теперь в Кремле были регулярные европейские войска. Города Ляпунову сочувствовали, но подмоги пока не слали. Казаки являлись технически необходимым союзником - и неуменье оценить этот факт погубило Ляпунова. Казачество не было сознательным классовым врагом помещиков, оно это доказывало много раз за время Смуты; но оно хотело, чтобы на него смотрели как на ровню, а рязанский воевода с его товарищами никак не хотел признать казаков ровней дворянам. Обращаясь к казакам и даже к боярским холопам с демагогическими воззваниями (можно думать, что Ляпунову это приходилось делать не в первый раз, и что болотниковские листы рассылались не без ведома дворянских вождей ополчения, шедшего на царя Василия), помещики, когда дело дошло до конституирова-ния взаимных отношений восставшей против Владислава массы, стали едва ли не на ту же точку зрения, как бояре в договоре 1610 года. В знаменитом "приговоре" ляпуновского ополчения под Москвою (30 июня 1611 года) дворяне даже земельную дачу и денежное жалованье обеспечивали не всем казакам, а только тем, которые давно служат Московскому государству. В администрацию же этим младшим братьям служилых людей доступ был начисто закрыт: "А с приставства из городов, и из дворцовых сел и из черных волостей атаманов и казаков свести, - постановлял приговор, - а посылати по городам и в волости для кормов дворян до рых, а с ними цлярассылки, детей боярских, и казаков, и стрельцов". Для ляпуновских помещиков казак по-прежнему был "приборным" служилым человеком, который больше всего годился в вестовые при "добром дворянине". А с низами тушинской армии, которых приманивал к себе тот же Ляпунов, приговор поступал еще проще: "боярских крестьян и людей" он предписывал по сыску отдавать назад старым помещикам.

Еще недавно, борясь с традиционным представлением о государстве как некоей мистической силе, создавшей Московскую Русь со всеми ее общественными классами, приходилось ссылаться на приговор 30 июня как на доказательство, что и у нас, как всюду, общество строило государство, а не наоборот. Действительно, приговор является весьма любопытной попыткой восставших собственными средствами воссоздать те органы московской администрации, которые в данный момент были захвачены партией Владислава: дворец, большой приход и "четверти" - Московское министерство финансов; разряд - Военное министерство; поместный приказ, верставший дворянство землями - об этом верстанье говорится с мелочными подробностями, удивившими одного новейшего исследователя, но вовсе не удивительными в данном случае; наконец приказы разбойный и земский - Министерства полиции и юстиции. Но для современного читателя приговор во всяком случае интереснее, как отражение классовых тенденций, которым служили "прямые" люди Московского государства, восставшие против "кривых", служивших Владиславу, нежели как доказательство самодеятельности московского общества XVII века. Эту последнюю едва ли кому нужно теперь доказывать.

За слишком резкое проявление этих классовых тенденций вождь дворянского ополчения поплатился лично. Когда казаки, видя, что их отодвигают на задний план, "заворовали", начали волноваться, а им на это ответили строгими дисциплинарными мерами, до "сажания в воду" включительно, - последовал взрыв, и Ляпунов был убит на казацкой сходке. Дворянское движение после этого временно потеряло центр - и правительство Владислава смогло продержаться еще около года. Но поражение помещиков имело свою выгодную для них сторону: посадские окончательно перестали их бояться, и города начинают теперь прямо нанимать на свою службу детей боярских, становясь этим на место первого и второго Дмитрия.

Современники событий, по свежим следам, так описывали положение дел, сложившееся под Москвой непосредственно после смерти Ляпунова: "Старые заводчики великому злу, атаманы и казаки, которые служили в Тушине лжеименитому царю... Прокофья Ляпунова убили и учали совершати вся злая по своему казацкому обычаю". Читатель, привыкший к традиционному изображению казачества, ждет здесь описания покушений на московскую государственность: но служилый автор грамоты (она шла не от кого другого, как от знаменитого князя Пожарского) ничего не знал о казацком анархизме. Для него "вся злая" заключалась в том, во-первых, что казаки "дворянам и детям боярским смертные позоры учинили"; а во-вторых, и главным образом, в том, что "начальник" казаков, атаман Заруцкой, "многие грады и дворцовые села, и черные волости, и монастырские вотчины себе поймал и советником своим, дворянам и детям боярским, и атаманом и казаком роздал". Антигосударственность казаков выразилась в том, что они сами взяли то, в чем им отказало дворянское ополчение, - самовольно учинились помещиками. От этого городам пока было бы еще ни тепло, ни холодно; но казаки, став хозяевами положения, оказались опасны и верхним слоям посадских, как скоро их победа над дворянством стала давать политические последствия. У Заруцкого был свой кандидат на царство - сын тушинского "царика", пугало всех "лучших людей" в последние годы своего существования. Казаки были неопасны, пока они стояли под Москвой, но казацкий

царь, наследник тушинского холопского царя, был непосредственной угрозой. Страх перед ней заставлял буржуазию поддерживать казною и людьми Шуйского; страх перед ней заставил города теперь собрать свою армию, благо после захвата земель и казны казацкими атаманами служилые люди остались и без жалованья, и с перспективой лишиться своих имений. Как только по поволжским городам прошла весть б катастрофе с Ляпуновым, они тотчас же решили "быти всем в совете и соединеньи": а "будет казаки учнут выбирати на Московское государство государя по своему изволению, одни, не сослався со всею землею, и нам того государя на государство не хотети". Материальным базисом этого союза поволжских городов, к которым скоро пристали поморские, была казна, собранная Нижним Новгородом, конечно, не по индивидуальной инициативе Минина, а просто потому, что союз городов без военной силы был пустым звуком, а военную силу нельзя было получить без денег. Этот наем дворянского ополчения буржуазией и рассказан, со всем реализмом, как современными грамотами, так и летописцем, и он, как авторы грамот, не видел в этом простом житейском факте ничего соблазнительного. В грамоте Пожарского к вычегодцам (цитированной выше) так описывается деятельность нижегородцев: "В Нижнем Новгороде гости и все земские посадские люди, ревнуя по Бозе, по православной христианской вере, не пощадя своего имения, дворян и детей боярских смольян и иных многих городов сподобили неоскудным денежным жалованьем... А которые, господа, деньги были в Нижнем в сборе всяких доходов и те деньги розданы дворянам и детям боярским и всяким ратным людям: и ныне... изо всех городов... приезжают всякие люди, а бьют челом всей земле о денежном жалованье, а даты им нечего. И вам, господа... что есте у Соли Вычегодской в сборе прислати к нам в Ярославль, ратным людям на жалованье". "Всюду же сие промчеся собрание, - рассказывает "Новый летописец", - и от многих градов привезоша многую казну в Нижний, и от градов ратные начаша съезжатися: первые приехаша коломничи, та ж рязанцы, последи же из градов украинских многие люди, и казаки, и стрельцы, тли, которые сидели в Москве при царе Василии, и всем дадеся жалованье: и бысть там тогда во всех людях тишина". Ратные люди предлагали свои руки, посадские их покупали на собранные деньги: нельзя лучше перевести "патриотическое одушевление" на язык материалистической истории, чем это сделали простые и наивные русские люди начала XVII века.

В нашу задачу не входит описание тех военных операций, которые поздней осенью 1612 года привели собранную посадскими помещичью армию в Московский Кремль. Несомненно, что удачный исход второй кампании, прежде всего другого, определился ее солидным финансовым базисом. Взявшись платить всяким ратным людям, буржуазия делала это, как следует смолянам, например давали "первой статье по 50 рублев, а другой по 45 рублев, третьей по 40 рублев, а меньше 30 Рублев не было". Для сравнения стоит отметить, что "городовые" (провинциальные) дети боярские времен Годунова получали не больше 6 рублей и даже "выборные" (гвардейцы) не больше 15 рублей жалованья: то, что давали теперь рядовым служилым, в старые годы получало только гвардейское офицерство. Но не следует думать, что города собирали нужные для этого суммы исключительно от добровольных щедрот. Правившая городами крупная буржуазия наполняла кассу собранного ею ополчения таким же путем, как некогда казну

Шуйского - путем принудительной раскладки. По отношению к богатым капиталистам это бывал обыкновенно принудительный заем: таким путем добывали, например, нижегородцы деньги от Строгановых и их агентов. Городскую мелкоту просто облагали новыми налогами, взыскивая их, как всегда собирались в Московском государстве налоги, без послабления, "с Божией помощью и страх на ленивых налагая". Недоимщик мог и в кабалу попасть, быть отданным в услужение по "житейской записи", с уплатой за его службу денег вперед не ему, а городской казне. И это, как справедливо указывает новейший историк Смуты, вовсе не служит доказательством личной жестокости Кузьмы Минина и его товарищей. То была особенность социального строя, того строя, победой которого кончилась Смута.

Глава VIII

Дворянская Россия

Ликвидация аграрного кризиса

Непосредственные результаты Смуты. Крестьянское разорение - Новые черты крестьянской крепости - Признаки улучшения со второго десятилетия XVII века; уменьшение перелога, внутренняя колонизация - Экономическая реставрация: натуральные оброки; сокращение барщины - Рост крестьянской запашки; исчезновение бобыльных дворов; рост населения в центральных уездах - Реставрация вотчинного землевладения, новые латифундии

Действительное прекращение Смуты далеко не совпадает с официальным концом Смутного времени. Михаил Федорович Романов давно был на престоле, а гражданская война продолжалась, как продолжалась и внешняя война, вызванная, в конечном счете, той же Смутой. По наблюдениям одного новейшего исследователя, максимум разорения приходится даже именно на те годы, когда национальный и политический кризис Смутного времени окончился, и в Москве давно водворилось законное правительство. Крайней гранью разрухи для этого исследователя является 1616-й, если даже не 1620 год; лишь позже этой последней даты можно говорить о сколько-нибудь заметном и прочном улучшении. Почти пятнадцать лет междоусобицы не могли бы пройти даром даже для страны, хозяйство которой раньше было во вполне удовлетворительном состоянии. Подбитую аграрным кризисом XVI века Московскую Русь Смута, казалось, должна была бы довести до полного уничтожения. Если уже в конце предыдущего столетия центральные области государства давали картину значительного запустения, то в 10 - 20-х годах XVII века посланные "смотреть" землю "писцы" и "дозорщики" находили местами почти совершенную пустыню. По словам цитированного нами выше автора, в вотчинах Троицкого монастыря, разбросанных в 20 "замосковных" уездах - и потому характеризующих более или менее общее состояние края, - "размеры пашни в 1616 году уменьшаются, сравнительно с данными 1592 - 1594 годов, более чем в 20 раз; число крестьян, населяющих

Троицкие вотчины, убывает более чем в 7 раз". В ряде имений Московского, Зубцовского и Клинского уездов, историю которых мы можем проследить даже к концу 20-х годов, перелог, т.е. земля, брошенная и запустевшая, составлял не менее 80%, поднимаясь иногда до 95%, а земля, оставшаяся под обработкой, не превышала 18,7% всей площади, спускаясь иногда до 5,2%. На юге, в нынешней Калужской, например, губернии, дело было нисколько не лучше: в имении, где в 1592 - 1593 годах был 161 крестьянский двор, в 1614 году оставалось всего 10 дворов. По Московскому уезду в среднем можно констатировать убыль пашни, по крайней мере, на одну треть, сравнительно с разгаром кризиса, предшествовавшего Смуте*.

** Данные заимствованы из исследования Ю. Готье (Замосковский край в XVII веке. М., 1906), столь же ценного для эпохи после Смуты, как работа Н.А. Рожкова для предшествующего столетия.*

Всматриваясь в детали этого деревенского разорения, мы скоро, однако, получаем возможность несколько дифференцировать наши представления об экономических итогах Смуты. Разорились почти все, но одни более, другие менее. Смута действовала как бы по принципу: "имущему дается, а у неимущего отнимется". Она повалила тех, кто уже слабо стоял на ногах в эпоху Грозного и, после кратковременного испытания, еще больше укрепила тех, кто уже тогда был силен. Благодаря Смуте и ее последствиям должно было окончательно исчезнуть самостоятельное крестьянство везде, где были помещики. Первое явление, которое бросается в глаза изучающему русскую деревню второго-третьего десятилетий XVII века - это громадный рост "бобыльских" дворов на счет дворов крестьянских. Если взять за образчик имения того же Троицкого монастыря, - образчик очень удобный, как мы видели, - получаются такие сравнительные цифры: по Дмитровскому уезду в троицких вотчинах по переписям конца XVI века значилось 40 бобыльских дворов на 917 крестьянских; переписи 20-х годов следующего столетия дают 207 дворов бобылей на 220 дворов, занятых крестьянами. В первом случае бобыльские дворы составляют 4,1%, во втором - 48,4%. Для Углицкого уезда соответствующие цифры будут 2,6 и 56,6%. В Белевском уезде на 708 крестьянских дворов писцовые 1628 - 1629 годов насчитывают 987 бобыльских, в Углицком на 1186 крестьянских бобыльских приходится 1074: всюду бобыли из ничтожного меньшинства превращаются в группу, по крайней мере, равночисленную настоящему крестьянству*. Что же такое представляли из себя эти "бобыли"? Основываясь на том, что с бобыльского двора брали вдвое меньше податей, чем с крестьянского, Беляев когда-то определил их как крестьян, сидевших на половинной выти. Сейчас цитированный нами ученый доказал, что в большинстве случаев у бобылей пашни вовсе не было. Основываясь на том, что в этой группе часто встречаются сельские ремесленники, он склонен отнести их всех к этой категории: но как можно себе представить, чтобы в разоренной стране почти половина населения занята была обрабатывающей промышленностью? Где бы она находила себе рынок для сбыта своих произведений? А приняв, что это был пролетариат, уже лишенный собственных орудий производства (предположение для XVII века еще более невероятное), где находил он себе заработок при полном

отсутствии крупной промышленности? Тексты, приводимые тем же автором, дают вполне определенную картину, не заставляя прибегать ни к каким малоправдоподобным гипотезам. Вот, например, выписка из "дозорных книг" 1612 года на вотчины того же Троицкого монастыря. "Дер. Кочюгова... двор бобыльский Васьки Антипьева, а был крестьянин, да обмолодал от войны да от податей, сказали пашни не пашет, лежит впусте, а было за ним пашни 3 чети". "Деревня Слобода Хотинова... двор бобыльский Первушки Кирилова, а был де крестьянин и от войны обмолодал, и пашня его пуста, а было за ним пашни две чети с осминою". В "дозорной книге" 1616 года на вотчины Чудова монастыря, в Костромском уезде, в погосте Шунге, перечислено шесть бобыльских дворов, "а до литовского разоренья те бобыли пашенные крестьяне, а от литовского разоренья они оскудали, пашни не пашут, жеребей их пашни лежит впусте". О других бобылях, живущих в монастырских деревнях, сказано, что они "от литовского разоренья оскудали, ходят по миру, кормятся Христовым именем". "Безместные бобыли", "увечные, бродящие бобыли" - эпитеты, на каждом шагу встречающиеся в писцовых книгах. Бобыль, как правило, не ремесленник и не пролетарий в нашем смысле этого слова: это пролетарий в смысле слова античном, - не работник, открепленный от орудий своего труда, а крестьянин, открепленный от земли, потому что ему нечем стало ее обрабатывать. Человек, изувеченный на войне, или человек, у которого военные люди свели последнюю лошадь либо сожгли двор со всем именьем, одинаково попадали в эту категорию.

** Дьяконов М. Очерки по истории сельского населения Московского государства, с. 224 - 225.*

Но открепленного от земли крестьянина зато легко было прикрепить к помещику. Крепостное право быстро растет у нас на развалинах, созданных Смутой, точно так же, как в Германии росло оно на развалинах, созданных Тридцатилетней войной. Мы уже не раз отмечали выше, что прогресс крепостного права означал у нас не столько лишение каких-нибудь прав крестьянина - в феодальном обществе он всегда был больше объектом, чем субъектом прав, - сколько прекращение той разорительной для землевладельцев игры в крестьян, которая была так же характерна для предшествующей эпохи. И в эту предшествующую эпоху крестьянин нередко был вещью, которую можно было продавать, покупать и менять, как меняли, продавали и покупали холопов. В 1598 году старец Гурий из Голутвина монастыря в Коломне, искавший у помещика Пятова Григорьева монастырских крестьян и уставший тягаться, "не дожидаясь сказки по судному списку, помирился полюбовно": "Взял я, - пишет старец, - у Пятова в дом Богоявления Господня в Голутвин монастырь в вотчину крестьян - Романа Степанова, да Тимофея Лукина с братом, да Данила Михайлова с женами и с детьми, и со всем животом и статком, Данила Михайлова разделя с его зятем с Федкою Степановым животы их по половинам, с женою и с детьми. А Пятому Григорьеву яз старец Гурий по сыску поступился крестьян Данила Тарасова, да Федора Степанова с женами и детьми, и со всеми животы и статей..."* Если мы сравним этот документ самого конца XVI века с документом 1632 года, где "поместный есаул" Афанасий Семенович Белкин свидетельствует, что он

"поступился в дом Живоначалъныя Троицы Алаторского Сергнева монастыря... вотчинного своего крестьянина Гришку Федосеева с женою его Овдотьею, Семеновой дочерью, да 3 детьми", - мы только при помощи очень сильного юридического микроскопа сможем найти здесь какую-нибудь разницу. И поскольку нас интересуют не детали московского права, а эволюция хозяйства Московского государства, мы можем считать оба факта социологически тождественными. И в конце XVI и в 1-й половине XVII века крестьянин, уже закрепленный тем или иным путем за своим помещиком, был собственностью последнего. Менялись только, во-первых, способы закрепления: в связи с экономическими результатами Смуты тут интересно отметить, что ссуда, раньше бывшая очень распространенным средством привязать крестьянина к имению, теперь приобретает исключительное значение. "На официальном языке с половины XVII века термин ссудная запись совершенно вытесняет старое наименование крестьянской записи порядною"**. Раньше ссуда была экономической необходимостью всякого благоустроенного хозяйства. В 1598 году власти Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде жаловались патриарху Иову: "Монастырь де их скуден, и впредь им монастыря и монастырских сел строити нечем, и ссуды крестьянам новоприходцам, и служкам и деловым людям жалованья давати нечем". Теперь ссуда становится юридической необходимостью для всякого, садящегося на землю крестьянина, - без ссуды нельзя порядиться в крестьяне. Уложение знает, что крестьяне дают "по себе ссудные и поручные записи". Многочисленные новоуказные статьи говорят только о ссудных записях на крестьян. Старый термин "порядная запись" становится провинциализмом, удержавшимся замечательным образом в экономически наиболее развитых местностях: в псковских записных крестьянских книгах его можно встретить и в самом конце XVII века. Всюду в других местах крестьянин, после Смуты, фактически не мог поставить своего хозяйства без ссуды; не нуждавшиеся в ссуде были исключением, и московское право с этим исключением не считалось. А затем, что несравненно важнее и не менее характерно, - из собственности движимой крестьянин все более обнаруживает тенденцию превратиться в недвижимую. Мы можем наблюдать этот любопытный процесс с двух сторон - частной и официальной, если так можно выразиться. Во-первых, непременным условием нового типа крестьянских порядных, после Смуты, является не только ссуда, а еще обязательство: жить за данным помещиком "неподвижно", "прочно", и "безвыходно". "А где нас помещик Петр Татьянин с сею жилецкою записью сыщет, а мы по ней во крестьянстве за Петра крепки во всяком государеве суде", - говорит одна запись 1629 года. "А из Софийской вотчины нам никуда не выйти, - обязуются новгородские крестьяне в 1619 году, - и впредь жити за митрополитом в Софийской вотчине неподвижно". Крестьянский "выход", об упразднении которого так хлопотали помещики во время Смуты, хлопотали и перед Шуйским, и перед Владиславом, оказался очень живучим, и его приходилось вытравлять теперь частными соглашениями, вынуждая крестьян отказываться от права уйти (т.е. быть вывезенными другим помещиком), как вынуждали их принять ссуду. Но это не значило, конечно, что официальные хлопоты прекратились. Еще междоусобная война не кончилась, "законное правительство" едва успело усесться на Москве, а Троицкая лавра уже разыскивала своих беглых по всем городам за все время

Смуты - "и свозщики во все города для того были посланы". По обширности монастырских вотчин операция приняла такие размеры, что для санкционирования ее понадобился боярский приговор (10 марта 1615 года), который признал за троицкими властями право вывозить своих крестьян обратно за 11 лет и стремился только оградить интересы помещиков, у которых троицкие старцы собирались отнимать их старинных крестьян, живших за теми помещиками "лет двадцать и больше". Одиннадцатилетняя давность, казалось бы, была достаточна: давности более 15 лет вообще тогдашнее право не знало, а позже мы довольствовались 10-летней. Но землевладельцы стремились сделать крестьян более неподвижными, чем сама земля, и первая половина XVII века наполнена челобитными дворян и детей боярских, хлопотавших, чтобы им позволили разыскивать своих крестьян сверх урочных лет, если не без всяких урочных лет вовсе. В 1641 году 10-летняя давность в исках о беглых крестьянах, раньше составлявшая привилегию некоторых землевладельцев, вроде Троицкого монастыря или государева дворца, была распространена на всех помещиков: а в 1649 году Уложение царя Алексея установило "отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людям без урочных лет". Любопытно, что и после этого, казалось бы, совершенно ясного, закона землевладельцы продолжали требовать от крестьян личного обещания "ни за кого иного не сойти". Не давший такого обещания крестьянин не считался и не считал себя крепким. В 1690 году, чуть не через полстолетия после Уложения, один крестьянин рассказывал, как помещик, у которого он жил "годы с три", "начал на него Ефимка просить письменных крепостей, чтобы ему жить за ним во крестьянстве, и он де, не дав ему на себя крепостей, с той деревни сшел..."***. Свободный крестьянин не был, таким образом, юридически немыслим в России даже в начале царствования Петра; но фактически это было настолько редкое исключение, что московское право, грубое и суммарное, регистрировавшее массовые факты, не считалось с этим явлением, как не признавало оно крестьянина, способного завести свое хозяйство без барской ссуды. Уцелевший местами "вольный" крестьянин нисколько не стеснялся, однако же, тем, что закон его игнорировал, и продолжал при царе Алексее "торговаться" со своим барином так же, как делал он это при Грозном. Всего двумя годами раньше Уложения один новгородский помещик, Иван Федорович Панов, дал на себя своему крестьянину Ивашку Петрову такую запись: "Мне... его Ивашку не изгонить, и никому его не продать и не променитъ, и в заставу (в залог) не заложить и никакова дурна над ним не учинить, и держать ево мне Ивану во крестьянах, как протчие дворяне крестьян у себя держат". В случае неисполнения Пановым этих условий "ему Ивашку волно и прочь отойти на все четыре стороны"****. Собственность, договаривающаяся с собственником насчет условий, под которыми она разрешает последнему собою владеть, есть, конечно, нечто, противоречащее всякой юридической логике: но московские люди не думали ломать своей жизни в угоду какой-бы то ни было логике и устраивались в каждом отдельном случае так, как им было удобнее.

** Дьяконов. Акты, т. 2, с. 33.*

*** Дьяконов. Очерки, с. 125.*

**** Дьяконов. Очерки, с. 108; см. другие примеры на с. 106 - 109.*

**** *Дьяконов. Акты, т, 1, с. 40.*

Иммобилизация крестьянства, обычно определяемая как "окончательное установление крепостного права" (хотя, мы это сейчас видели, именно правовая сторона дела являлась наименее законченной), была одной из крупнейших новостей русской экономической жизни в послесмутную эпоху. На ее примере мы можем хорошо видеть, как Смута действовала. Она не вносила и не могла, конечно, внести никакой экономической перемены. Первый шаг к закреплению крестьянина в данном имении и за данным помещиком сделан был, даже если и не считать "пожилого" времени судебников - известным законом 24 ноября 1597 года, установившим пятилетнюю давность для сыска беглых крестьян. Почвой был аграрный кризис и запустение Центральной России. Смута лишь довела оба эти явления до крайних возможных пределов - и дала повод извлечь из них все возможные последствия. С прекращением разрухи, однако же, влияние этой причины должно было бы, казалось, идти в убывающей прогрессии. Употребляя ходячее выражение, Московское государство оправлялось от Смуты довольно быстро. В момент наибольшего упадка (1614 - 1616 годы) в знакомых нам троицких вотчинах замосковных уездов пашня составляла 1,8% всей площади, а перелог 98,2%. Но уже по переписям третьего и четвертого десятилетий того же века первая цифра поднимается до 22,7%, а вторая спускается до 77,3%. В письме 20-х годов "есть указания на колонизаторскую деятельность землевладельцев: большой боярин кн. Ю. Я. Сулешов, купив обширную вотчину в Серебожском стану Переяславского уезда, заводит в ней новое хозяйство - ставит ново двор вотчинников и целых 5 починков сразу". Находятся и такие землевладельцы, которые заранее готовят дворы для будущих крестьян-колонистов: в вотчине дьяка Г. Ларионова, села Слезнева, Повельс-кого стана, Дмитровского уезда, в конце 20-х годов стояли три пустых двора, "поставлены вновь". К 40-м годам эта "внутренняя колонизация" сделала уже большие успехи: в Переяславском, например, уезде в 1646 году "появился целый ряд новых селений, ранее (во время переписей 20-х годов) не существовавших". В них было: 20 дворов помещиков и вотчинников, 2 монастырских, 16 дворов задворных людей, 21 двор монастырских детенышей, 143 двора крестьянских с мужским населением в 439 человек, 301 двор бобыльский с населением в 709 человек; было вновь распахано около 2300 десятин земли. Словом, "короткий экономический кризис, вызванный Смутой, прошел так же быстро, как и налетел"*. Но намеченное нами явление иммобилизации крестьянства ничуть не исчезло и даже не ослабело, а, наоборот, закрепилось на весь XVII век. Очевидно, Смута лишь помогла обнаружиться чему-то, корни чего лежали глубже того слоя, который мог быть размыт междоусобицей. Острый момент аграрного кризиса прошел одновременно с этой последней. Но экономический расцвет времен молодости Грозного не повторился. Осталось хронически угнетенное состояние, к которому помещичье хозяйство приспособилось мало-помалу, и с которого начался новый подъем, но уже гораздо позже, не ранее конца XVII столетия. Первые три четверти этого века носят в этой области определенно выраженный реакционный или, если угодно, реставрационный характер. Последний термин лучше подходит, ибо суть дела заключалась именно в реставрации, в возобновлении старого, в оживлении и

укреплении таких экономических черт, которые, веком раньше, казались отжившими или, по крайней мере, слабеющими. Наглухо прикрепленные к имениям крестьяне XVII века, вероятно, уже напомнили читателю "старожильцев" прежних боярских вотчин, из поколения в поколение сидевших на одной и той же деревне, пока их не разворошила опричнина. Но за этим сходным признаком идут и другие. Натуральный оброк, казавшийся вымирающим явлением за сто лет раньше, как нельзя стал более обычен в имениях середины XVII века. Боярин Н.И. Романов получал со своих вотчин в году выти по барану, по полета свиного мяса, известное количество домашней птицы и по 30 фунтов коровьего масла. Баранами и птицей собирал свои доходы с подмосковной вотчины и боярин Лопухин. Крестьяне дворцовых сел Переяславского уезда тоже уплачивали повинности баранами, поярками, овчиной, сырами и маслом**. Особенно интересна эта живучесть натуральных повинностей в дворцовых вотчинах: мы помним, что в XVI веке первые опыты рационального хозяйства, с обширной и правильной барской запашкой, встретились нам именно на дворцовых землях. В XVII веке барская запашка здесь постепенно сокращается. В дворцовом селе Клушине еще в 1630-х годах было 250 десятин "государевой пашни", а в 70-х мы находим ее причисленной к тяглым крестьянским жеребьям. В знакомом нам Переяславском уезде, в одном дворцовом имении "государева десятинная пашня" с 546 десятин уменьшилась на протяжении 40 лет до 249 десятин, а в другом полностью была сдана на оброк крестьянам. В конце концов барская запашка удержалась только в подмосковных дворцовых вотчинах, где она не столько имела промысловый характер, сколько обслуживала непосредственные потребности многолюдного царского двора. В других местах она заменилась оброком, но не натуральным, однако же, а либо денежным, либо "посопным хлебом". Мы сейчас увидим значение этого факта, а пока заметим, что указанное явление не было особенностью дворцовых именно вотчин, а было общим для всех крупных имений этой поры. "Все отдельные примеры, знакомящие нас с хозяйственными порядками нынешних Владимирской, Костромской и отчасти Ярославской губерний в XVII столетии, ставят нас лицом к лицу с хозяйством оброчным. Так, обширная и интересная корреспонденция, которую вел боярин князь Никита Иванович Одоевский со своей галицкой вотчиной, волостью Нейской, убеждает нас, что хозяйство этой огромной вотчины было исключительно оброчным. Крупные вотчины Суздальского уезда, села Мыть и Мугреево, когда-то принадлежавшие князю Д.М. Пожарскому, а в конце столетия находившиеся во владении князей Долгоруковых, состояли в 1700 году при новых владельцах на оброке"***. Если бы даже это отсутствие сельскохозяйственного предпринимательства было уделом только крупного землевладения, и то мы имели бы пример большой экономической косности - переживания в XVII веке аграрного типа, хорошо знакомого первой половине XVI столетия. Но кажется, что и средние хозяйства, с такой головокружительной быстротой переходившие на новые рельсы во дни Грозного, сто лет спустя не только не продвинулись вперед, а даже подались назад. По крайней мере, в единственном известном нам примере, относящемся к Костромскому уезду, барская пашня с 90% с лишком в 20-х годах упала к 1684 - 1686 годам до 16%. Иные отношения были на юге, где помещик пахал на себя большую часть земли; но это был совсем особенный помещик, располагавший, в

среднем, одним крестьянским и одним бобыльским дворами (Белгородский и Путивльский уезды), в лучшем для себя случае тремя такими дворами (Воронежский уезд), а иногда и ни одним (уезд Оскольский), На всем огромном пространстве этих четырех уездов**** исследователь нашел в сущности, не считая монастырей, только одного помещика в настоящем смысле этого слова, у которого было три двора людских, 11 крестьянских и 5 бобыльских, а земли около 750 десятин, по нашему теперешнему счету. Притом "помещичий" характер южнорусского землевладения в XVII веке шел не на прибыль, а на убыль. "С течением времени число крестьян и бобылей в Белгородском и Оскольском уездах уменьшалось и абсолютно, и относительно, и бывшие помещики превращались в однодворцев". В одном из станов Белгородского уезда в 1626 году было 146 крестьянских и бобыльских дворов, в 1646 году - 130, а в 1678 осталось всего 121. В другом стане того же уезда, для тех же годов, мы знаем также цифры: 255, 141 и 60. То же явление замечаем мы и в Воронежском уезде. По переписным книгам 1646 года в нем было 2060 дворов крестьянских и бобыльских, а в 1678 году таких дворов в уезде было 1089, т.е., другими словами, число крестьянских и бобыльских дворов уменьшилось здесь почти на 50%. На самом деле число бобыльских дворов вотчинников и помещиков уменьшилось в гораздо большей степени, так как в очень многих новых поселениях уезда бобыли жили на "государевой земле". Если не гипнотизировать себя делением московских людей на "служилых" и "тяглых" - делением чисто политическим и к экономике не имеющим никакого отношения, - то ничто не мешает нам отождествить помещиков южной окраины Московского государства, с экономической точки зрения, с крестьянами. Это почти и говорит цитируемый нами ученый, утверждающий, что здесь "господствующим типом хозяйства было мелкое, напоминающее современное крестьянское, с той только существенной разницей, что мелкий землевладелец XVII века был обеспечен землею в избытке, по крайней мере, в первой половине столетия"*****. Нужно заметить, что этой разницей не думало себя гипнотизировать и московское правительство. В 1648 году в село Бел-Колодезь и проселки и деревни, тянувшие к нему, была прислана грамота, которой крестьянам объявлялось, что впредь им за помещиками быть не ведено, а велено быть в драгунской службе, причем они были освобождены от платежа земских и стрелецких денег и других сборов. Они обязывались иметь по пищали, рогатине и топору, а владение землею в том размере, в каком они владели до переименования их в драгунскую службу, было оставлено в прежнем виде******. Так легко, одним росчерком пера, можно было превратить тяглых людей в служилых, - во всей неприкосновенности сохраняя их экономическую организацию.

** Готье, цит. соч., passim.*

*** Ibid., с. 455*

**** Готъе, цит. соч., с. 515.*

***** Они занимали восточную часть Черниговской губернии, всю южную часть Курской, почти всю Воронежскую и юго-западную часть Тамбовской губернии, почти всю Харьковскую и северо-восточную часть Полтавской.*

****** Миклашевский. К истории хозяйственного быта Московского государства, с. 210 и др.*

****** *Миклашевский, с. 180.*

Нам остается обобщить то наблюдение, на которое навели нас микроскопические "помещики" украинных уездов. "Господствующим", т.е. экономически господствующим, по всей России XVII века было мелкое землевладение крестьянского типа, пережившее кризис, который погубил помещика-предпринимателя. Брошенная последним барская запашка не оставалась свободной - она находила себе съемщика в лице крестьянина. Мы это видели на примере дворцовых имений, но так же поступали и монастыри, и частные землевладельцы. Крестьянский надел рос с неуклонной правильностью все время, пока боярская пашня, в лучшем случае, стояла на одном месте. В конце XVI века, в разгар кризиса, крестьянская пашня в Средней России не превышала 2,6 десятины на двор; в первой половине XVII века она дошла уже до 6 десятин на двор, а во второй, местами, до 9 с лишком*. Автор, у которого мы находим эти цифры, видит противовес этому явлению в том, что количество запашки на душу мужского пола не увеличилось за это время, а, кроме дворцовых вотчин, даже слегка упало. Он усматривает здесь "новое понижение крестьянского хозяйства", упуская из виду один факт, что на двух с половиною десятинах земли хозяйничать вовсе нельзя, а на шести, а тем более девяти - уже можно. Рост крестьянского двора, который было бы очень близоруко объяснять одними финансовыми влияниями (с 1630 года в Московском государстве подать брали уже не с количества распаханной земли, а с количества дворов), находит свое место в общей картине экономической реставрации XVII века. "Большой двор" удельной поры, близкий потомок "печища" и "дворища" древнейшей эпохи, недаром возрождается параллельно с упадком поместья и, как мы сейчас увидим, с возрождением вотчины. Он потому и понадобился теперь, что был наиболее устойчивой экономической организацией натурального хозяйства, к которому Московская Русь была теперь ближе, нежели за сто лет перед тем. И эта большая устойчивость вела, конечно, не к "понижению уровня крестьянского хозяйства". Самым характерным показателем того, в каком направлении шла эволюция, служит постепенное исчезновение бобыльских дворов рядом с поразительным, местами, ростом числа дворов крестьянских. Тот же автор собрал, по писцовым книгам, такие данные (берем из них лишь некоторые, для примера): в Бежецком уезде в 1620-х годах крестьянских дворов насчитывалось (по 5 прослеженным автором имениям) 155, и в них 158 душ мужского пола; по книгам 80-х годов дворов было 175, а душ в них 5797, тогда как бобыльских дворов в первом случае было 218, а во втором лишь 75, число же бобылей в них за шестьдесят лет упало с 227 до 197. В 18 имениях Дмитровского уезда за тот же период число крестьянских дворов увеличилось со 125 до 611, а число бобыльских уменьшилось с 85 до 17. В 13 имениях Ростовского уезда вместо 166 крестьянских дворов мы находим 694, а вместо 86 дворов бобыльских только 32. В Переяславском уезде в 1620-х годах было на 54 крестьянских двора 79 бобыльских, а в 1680-х первых было 338, а вторых только 5. В общем, по всем 115 исследованным нашим автором имениям число крестьянских дворов увеличилось в 2V, раза, а население их почти в пять раз: раньше во дворе было менее 2 душ, теперь почти 5 с половиною. Число же бобыльских дворов упало вдвое, а население их осталось без перемены. Другим признаком направления, в каком шло

развитие, служит соотношение пашни и перелога по книгам 80-х годов. В противоположность тому, что мы видели в начале века или даже в конце предыдущего, в момент наибольшего напряжения кризиса, теперь пашня решительно преобладала. Наш автор приводит ряд имений Шуйского, Юрьевопольского, Костромского и Коломенского уездов, где-либо распахана вся земля, за исключением луговой и сенокосной и перелогу нет вовсе, либо он сведен к ничтожной пропорции 6 - 7% всей площади. В среднем пашня относится к перелогу, как 2 к 1, в то время как в 20-х годах столетия отношение равнялось 1 к 5. Не только раны, нанесенные Смутой, были залечены, но и кризис поместного землевладения можно признать к этому времени ликвидированным; только выигравшими от ликвидации оказались не те, кто потерял сто лет назад. Хищнические формы денежного поместного хозяйства, разорявшие и помещика, и крестьянина, замерли надолго - увидеть их вновь, но уже совсем в иной экономической обстановке, суждено было веку Екатерины. Зато крестьянин, порабощенный, как в удельное время, вернулся, до известной степени, и к удельному благополучию, - благополучию сытого раба, правда. Что он, однако, был в минимальной степени удовлетворен своим положением, показывает быстрота, с какой росло в XVII веке население пустевшей при Федоре Ивановиче Центральной России. От 20-х до 40-х годов оно увеличилось, по различным уездам, от 2,3 до 6,3 раза: к 80-м же годам местами было в 7'/2 раз больше населения, чем тотчас после Смуты. Средний коэффициент увеличения, во всяком случае, не менее 5. В конце 20-х годов сельское население Замосковья можно определить цифрою от 400 до 500 тысяч душ обоего пола - крестьян, бобылей и холопов; в конце 70-х - соответствующие категории дают от 2 до 2 1/2 миллионов**. Заметим, что это была пора довольно интенсивной колонизации как Южной Украины, так Поволжья и Сибири. Можно ли говорить о "понижении хозяйственного уровня" в стране, население которой, в условиях полунатурального хозяйства, так "плодилось и множилось"?

** Готъе, цит. соч., с. 513.*
*** Готье. цит. соч., с. 269 и "поправка" в конце книги.*

Нам остается проследить еще одну сторону этой регрессивной эволюции - уже не экономическую, а социально-юридическую. Торжество помещиков в 1612 году должно бы, казалось, закончить процесс, начатый опричниной, и закрепить его результаты - превратить всю обрабатываемую землю в поместную. На первый взгляд так оно и было. Не успела смолкнуть канонада под Московским Кремлем, как дворцовые и "черные", крестьянские земли массами стали переходить в дворянские руки: до весны 1613 года было уже роздано не меньше 45 000 десятин земли дворцовой и до 14 000 десятин земли "черной" - роздано преимущественно вождям помещичьей рати, ее генералитету и офицерству. Несколько позже дошла очередь до рядовых; около 1627 года имело место "верстанье новиков всех городов", раздача поместий дворянской молодежи, в службу поспевшей, но еще землею не наделенной и потому сидевшей на шее у старших родственников. Материалом для этого большого верстанья и для многих других мелких, происходивших в промежутки, послужили опять дворцовые и "черные" земли, а

отчасти и земли, конфискованные у других владельцев; только теперь конфисковали уже не "княженецкие" вотчины - их почти и не оставалось, - а земли, данные побитыми политическими противниками тех, кто торжествовал в 1612 году: тушинским "вором", а в особенности "королем и королевичем", т.е. польско-боярским правительством 1610 - 1611 годов. Более жалостливое отношение к тушинским грамотам, сравнительно с королевскими, чрезвычайно характерно: правительство царя Михаила не могло забыть, что и Тушино когда-то было "дворянским гнездом", из которого вылетели Романовы. Оттого "воровские дачи" и не отбирались с такою неуклонностью, как дачи "королевские". Общая цифра розданных мелкими участками земель, конечно, далеко превышала то, что крупными кусками расхватали "пришедшие в первый час" немедленно после победы. Раздавались целые волости, иногда по 300 поместных участков сразу, в одном известном случае количество розданной в одном месте пашни доходило до 4500 десятин, в другом даже до 7500. Сколько-нибудь точного итога подведено быть не может - нам не все случаи верстанья известны, но общую сумму пришлось бы считать сотнями тысяч, если не миллионами десятин. Интересно, однако же, не это само собою разумеющееся последствие дворянской победы, интересен более другой факт эта розданная помещикам земля поколением позже оказалась владеемой не на поместном, а на вотчинном праве. Это явление достаточно намечается уже в 20-х годах. В это время в одном из станов Дмитровского уезда можно было насчитать 6 старинных вотчин и 10 выслуженных, пожалованных за две московские осады, при царе Василии и при Михаиле Федоровиче, "в королевичев приход", когда стоял под Москвой королевич Владислав. В отдельных станах Звенигородского, Коломенского и Ростовского уездов соотношение "старинных" (наследственных) и выслуженных вотчин было такое же. В Углицком уезде из 114 вотчин 59, т.е. опять-таки большинство, появились в первой четверти XVIII столетия. В Московском уезде вотчинные земли составляли почти 2/3 всех имений, поместные - немного более одной трети. В одном уезде, Лужском, вотчинное землевладение впервые появляется в эту эпоху. При этом в вотчину имели тенденцию превращаться лучшие поместные земли. Уже в 20-х, опять-таки годах, т.е. еще задолго до подъема конца столетия, отношение пашни и перелога на вотчинных землях гораздо выгоднее, чем на поместных: иногда в вотчинах относительно в десять раз больше пашни паханой, нежели в поместьях соответствующего уезда. Что, конечно, не значит, как думает тот автор, у которого мы заимствовали эти статистические данные, будто вотчинное хозяйство было устойчивее поместного: экономически оба типа ничем друг от друга не отличались, при одинаковых размерах. Даже юридически отличие не было так велико, как привыкли думать мы, следуя историкам русского права, с большою легкостью переносившим в феодальную Русь нормы современных буржуазных отношений. Поместья почти всегда передавались по наследству и переходили из рук в руки даже через специальные запреты. Правительство, например, очень старалось изолировать поместные участки, дававшиеся служилым иностранцам, число их все увеличивалось в XVII веке, тем не менее по документам можно насчитать целый ряд несомненно русских людей, владевших ино-земцевскими поместьями*. Все, чего удавалось более или менее достигнуть, - это, чтобы "земли из службы не выходили". Но, во-первых, служить обязаны были и вотчинники, после Грозного

"не служить никому" было уже нельзя. А, во-вторых, провести и этот принцип на практике было нелегким делом. Помещик, как и всякий православный человек, стремился "устроить свою душу" - обеспечить молитвы церкви за него после его смерти и, как всякий землевладелец, достигал этого, жертвуя тому или другому монастырю часть своих земель. Бывало это и в XVI веке, а в XVII столетии сделалось обиходным явлением, несмотря, опять-таки, на ряд форменных запретов, и целый ряд поместных участков сливался таким путем с монастырскими вотчинами. Втолковать московскому человеку разницу между "собственностью" и "владением" было далеко не легким делом, в особенности, когда право собственности на каждом шагу нарушалось не только верховной властью, как это было при всякой опале времен Грозного или Годунова, но и любым сильным феодалом**. "То, чем я владею, мое, покуда не отняли" - такое, юридически неправильное, но психологически совершенно понятное представление существовало у каждого древнерусского землевладельца, был ли он вотчинник или помещик. И разницу между вотчиной и поместьем мы поймем легче всего, беря их не со стороны обязательств, лежавших на том и на другом типе землевладения по отношению к государству, а со стороны хозяйственного интереса владельцев. С этой точки зрения мы легко поймем, почему излюбленным типом второй половины XVI века было поместье, а следующего века - вотчина. В период лихорадочной, хищнической эксплуатации захваченной земли ее стремились использовать возможно скорее, чтобы затем бросить и приняться эксплуатировать новую. И когда отношения снова приняли средневековую устойчивость, естественно было появиться тенденции закрепления за собой и своей семьей занятой земли: и не менее естественно, что раньше всего эта тенденция обнаружилась по отношению к более ценным имениям. В поместье брали теперь то, что не жалко было бросать. Мало-помалу, однако же, закреплять за собою имение стало такою же привычкой землевладельца, как и закреплять крестьянина в этом имении, и тогда "поместный элемент" в московском, и особенно подмосковном, землевладении "стал очень близок к исчезновению". В Боровском, например, уезде в 1629 - 1630 годах поместные земли составляли 2/5; всех земель, а вотчинные - 3/4 а в 1678 году первые давали лишь одну четверть всех имений, а вторые - 3/4. В Московском уезде в 1624 - 1625 годах поместные земли составляли еще 35,4%, а в 1646-м всего 4,4%***.

** Готье, цит. соч., с. 309, примеч. 5.*

*** Примеры см. в гл. II настоящей книги.*

**** Сводку данных для 15 уездов см. в цит. соч. Готье, с. 387 и др.*

Юридическая реставрация была бы для нас совершенной загадкой, не знай мы, на какой экономической почве она выросла. Возрождению старого типа хозяйства, с натуральным оброком и слабо развитой барской запашкой, отвечало возрождение и старого поземельного права. Естественно, что должен был возродиться и старый тип владения. "Старинная" боярская вотчина XVI века была, как правило, латифундией, сменившее ее поместье было образчиком среднего землевладения. В XVIII веке мы опять встречаем латифундии, и возрождение их всецело падает на первые царствования новой династии. Уже на другой день Смуты началась

настоящая оргия крупных земельных раздач, своего рода реставрация того, что уничтожила когда-то опричнина. В 1619 - 1620 годы был роздан целый Галицкий уезд, т.е. все его "черные" занятые свободным еще крестьянством земли. Лишь в редких случаях то была поместная раздача мелкими участками; гораздо чаще мы встречаем целую волость, отданную одному лицу, с более или менее "историческим" именем. Тут мы находим и боярина Шеина (смоленского коменданта времени Сигизмундовой осады), и боярина Шереметева, и Ивана Никитича Романова, и князей Мстиславского, Буйносова-Ростовского и Ромодановского. Галицкий уезд, конечно, только пример. Массу таких же случаев мы встречаем и в других местах и раньше 1620 года, и позже; большая часть, почти 60 тысяч десятин, розданных в первые месяцы царствования Михаила Федоровича, пошла под крупные вотчины, а в 20-х и в 30-х годах можно найти ряд случаев, когда по царскому пожалованию в одни руки за один раз попадало по 300 дворов, крестьян по полторы тысячи десятин земли. В результате, "черных" земель в Замосковье к концу XVII столетия не осталось вовсе, а дворцовых было роздано в несколько приемов от полутора до двух миллионов десятин. И чем ближе мы к концу эпохи, тем грандиознее становится размах процесса. Уже при Федоре Алексеевиче (1676 - 1682) крупные раздачи составляют большую половину всех пожалованных за это недолгое царствование земель. С 1682 по 1700 год роздано в вотчину "16 120 дворов и более 167 000 десятин пахотной земли, не считая сенокосов и лесов, придававшихся иногда в огромном количестве к жалуемым вотчинам". Между пожалованными первое место занимает царская родня того времени: Апраксины, Милославские, Салтыковы, Нарышкины, Лопухины. В одни руки сразу попадали иногда, как это было в 1683 - 1684 годах с Нарышкиными, до 2 1/2 тысячи дворов и до 14 000 десятин земли. Но это было ничто сравнительно с теми латифундиями, которые стали возникать при Петре, когда Меншиков единолично получил более трех волостей с 20 000 десятин. Всего за 11 лет царствования Петра (1700 - 1711) было роздано из одних дворцовых земель около 340 000 десятин пахотной земли и 27 500 дворов крестьян против 167 000 десятин и 16 000 дворов, превратившихся в латифундии в течение предшествующего 18-летнего периода. Так, дворянство окончательно усаживалось на места боярства, выделив из своей среды и новую феодальную знать, подготовляя расцвет "нового феодализма" XVIII века.

Политическая реставрация

"Злоупотребления" XVII века и их обычное объяснение - Разложение местного самоуправления и его причины - Классовая борьба в городах - Судьба губных учреждений - Возрождение кормлений - Иммунитеты - Феодальные черты московского центрального управления; государев двор, дума и приказы - Земские соборы - Новая феодальная знать и торговый капитализм - Устройство центральной администрации в XVII веке - Архаические черты; местничество - Значение близости к царю - Приказы - Приказ тайных дел - Земский собор - Происхождение Земского собора из феодальных отношений - Экономические причины его упадка - Земские соборы и политическая реставрация XVII века -

Архаические черты московских Земских соборов: состав представительства - Неопределенность их компетенции - Земский собор как выражение экстренного запроса; вытекающая отсюда непопулярность Земского собора

Возрождению старых экономических форм должно было отвечать воскресение старого политического режима. Все учебники переполнены описаниями "злоупотреблений" московской администрации XVII века. Обычно они рисуются как продукт свободной "злой воли" тогдашнего чиновничества. Иногда к этому присоединяются еще фразы о "некультурности" современников царя Алексея, и объяснение считается исчерпанным, если историк напомнит своему читателю об упадке "земского начала" в те времена и замене его "началом приказным". "Бюрократия" в глазах среднего русского интеллигента так недавно еще была столь универсальным объяснением всяческого общественного зла, что углубляться далее в причины вещей было совершенно излишней роскошью.

Для упрощения вопроса полезно с первых же шагов расквитаться с предрассудком о "приказном начале". Если понимать под торжеством этого последнего замену общественного самоуправления бюрократическим самоуправством, историческая действительность не дает для такого объяснения никаких опорных пунктов. Все те "органы общественной самодеятельности", которые были созданы XVI веком, остались и в XVII столетии, вплоть до эпохи Петра, под теми же именами, а слегка костюмированные - и много позже. От того, что земский староста стал называться бургомистром, земский целовальник - ратманом, а земская изба - магистратом, читатель согласится, большой перемены быть не могло. Губные власти также дожили до Петра, и то, что при нем вместо губного головы мы находим ландрата или комиссара, не более резко меняло сущность дела. Если же под развитием приказного начала понимать образование профессиональной группы чиновников - в XVII веке почти исключительно финансистов или дипломатов, юристы к ним присоединились гораздо позже, - то такая дифференциация шла на счет феодального режима, а никак не на счет "самоуправления" вообще. Феодальная Россия, как и феодальная Европа, знала только одно разделение правительственных функций: духовную и светскую власть. Представители той и другой, каждый в своей сфере, делали все, что теперь выполняется самыми разнообразными профессионалами: и судили, и подати собирали, и дипломатическими сношениями заведывали., и войсками командовали*. Усложнение правительственного механизма, параллельно экономическому развитию, повело к выделению в руки особых специалистов, отчасти буржуазного происхождения, трех первых из перечисленных функций, и за феодальной знатью осталось, ближайшим образом, лишь военное начальство. Это и было "образованием бюрократии" как у нас, так и на Западе, одинаково. Факт, о котором могут сожалеть лишь представители исторического романтизма, вздыхающие об утраченной гармонии средневекового быта. Современному читателю, буржуазному или небуржуазному, нет ни малейшего основания присоединяться к этим вздохам. Соотношение общественных сил не могло измениться от того, что способ действия этих сил стал сложнее: характер режима определяла его классовая физиономия, а не то, осуществлялся ли он людьми штатскими или военными.

* *Представители духовной власти у нас осуществляли эту последнюю функцию чаще косвенно, через посредство своих бояр; лишь на долю настоятелей некоторых монастырей - Троицкого или Соловецкого - выпадали иногда обязанности военных комендантов.*

Но и возникновение "приказного строя", в этом последнем, единственно правильном понимании слова, вовсе не составляет характерной черты государства первых Романовых. Громадное влияние профессиональных чиновников, дьяков отмечалось еще современниками Ивана Васильевича Грозного. В следующее царствование дьяки Щелкаловы иностранцам казались порою олицетворением московского правительства, а по словам одного русского современника, одному из Щелкаловых немало был обязан своим возвышением и Борис Годунов - взгляд, к которому присоединяются и новейшие историки*. В Смутное время бывший дьяк из купцов Федор Андронов одно время, как мы видели, правил Московским государством. XVII век дает больше аналогичных примеров количественно, но столь ярких - ни одного. Дьяки царей Михаила и Алексея были куда скромнее этих вершителей судеб Московского царства. Отмечающееся обыкновенно обстоятельство, что при этих государях дьячества не чураются дворяне, прежде гнушавшиеся "худым чином" (самой известной дворянской фамилией, составившей себе карьеру на чиновничьих должностях, были Лопухины), можно наблюдать опять с более раннего времени: еще Сигизмунду в 1610 году московские дворяне бивали челом о назначении их дьяками. А приводимые Котошихиным образчики власти бюрократических учреждений, вроде Приказа тайных дел, отчасти намечают первые шаги дальнейшей эволюции, с которою нам придется детальнее знакомиться, изучая так называемую петровскую реформу, - отчасти же являются просто преувеличением дьяческой власти, естественным под пером автора-подьячего. В общем, центральное управление Московского государства не делает заметных успехов в этом направлении до самого начала следующего столетия, когда сразу, в немного лет, рушится вся система старой центральной администрации - и дума, и приказы. Главное же новообразование в области местного управления, воеводская власть, носит все признаки типичнейшего феодального учреждения - воевода и войсками командует, и судит, и подати собирает. Отобрание у него этой последней функции является, опять-таки, одним из признаков дальнейшего поступательного движения в самом конце изучаемой эпохи.

* *Платонов, цит. соч., с. 119.*

От простого и легкого способа объяснения злоупотреблений властью бюрократии приходится, таким образом, отказаться. А так как объяснение от "злой воли" может удовлетворить в наше время лишь детей (и то не из очень бойких), насчет же "культурности", как противоядия "злоупотреблениям", мы имеем столь блестящие отрицательные примеры, как современные Соединенные Штаты и современная Франция, то остается применить к Московскому государству тот метод, какой мы применили бы к этим последним, и искать не злоупотреблений, а образчиков

классового режима. Став на этот путь, мы, прежде всего, тотчас же увидим, что между "общественной самодеятельностью" и "злоупотреблениями" никакого прирожденного антагонизма не было, что первая, как она тогда существовала, была, напротив, весьма подходящей питательной средой для последних. Классической страной земских учреждений в XVII, как и XVI веке, были Поморье и Поволжье. Поморские и Понизовые города были средоточием московской буржуазии, в противоположность городам южным, представлявшим собою военно-аграрные центры, за стенами которых местное земледельческое население отсиживалось от неприятеля, и откуда командующие элементы этого населения правили окружающей страной. На севере было иначе. Слабое развитие крупного землевладения на малоплодородной, непригодной для сельскохозяйственного предпринимательства почве привело к тому, что здесь в больших размерах до самого XVIII века сохранилось юридически свободное крестьянство, экономически закрепощавшееся не помещиками, а городскими капиталистами. Здесь возникло настоящее буржуазное землевладение, с которым дворянское правительство XVII века, привыкшее видеть землю исключительно в руках военных людей, не знало что делать, и то отбирало деревни "купленные и закладные" у "гостей" гостиной сотни и торговых и всяких чинов людей, то возвращало их обратно*. Каких размеров достигала дифференциация посадского населения в XVII столетии, покажут два-три примера. В Усолье во второй четверти этого столетия встречались купцы, дворы которых ценились от 500 до 1000 рублей, в переводе на теперешние деньги это дало бы от 5 до 10 тысяч рублей, но нужно принять во внимание, что строительные материалы на тогдашнем лесистом севере стоили буквально гроши, так что стоимость построек, сравнительно с движимостью, была совсем не та, что теперь. Не тысяча, а даже 300 рублей составляли настоящий, и крупный притом, капитал для тогдашнего купца: в столице Сибири, в Тобольске, крупнее капиталов тогда и не было. Человек, у которого один дом со всем обзаведеньем стоил до тысячи рублей, был бы для начала XX века "стотысячником", а Усолье не Бог весть какой крупный центр. Устюжна Железопольская была еще меньше, а там за бесчестье "молодшего" человека брали только рубль, а за бесчестье "торгового" пять рублей; верхи городского общества были крупнее низов ровно впятеро. В Нижнем Новгороде существовали четыре категории посадского населения, высшую из которых составляли "лучшие люди" - оптовые торговцы и судохозяева, а низшую - "худые люди" и обитатели Кунавинской олободы, имевшие, однако, свои дворы; бездомные бобыли сюда не входили. Мы видели, какую заметную страницу в истории Смуты составила борьба этих "лучших" и "меньших" людей в тогдашнем городе. Смута кончилась победой "лучших", и органы земского самоуправления и на посаде, и в тянувшемся к нему уезде перешли в их руки. Наиболее скромные из них воспользовались этим лишь для того, чтобы не "тянуть тягла" вместе с массою посадского населения, т.е. свалить на нее главную тяжесть государевых податей. Так, в Сольвычегодске в 1620-х годах был "земский целовальник" - по позднейшему, член уездной земской управы, который числился, вместе с некоторыми другими, в "отписных сошках", в общую городскую раскладку не входил и за городскую мелкоту не отвечал. Не потому, конечно, чтоб он и его товарищи были люди бедные, наоборот, это были местные воротилы, владевшие не только дворами на посаде, но и соляными варницами, лавками,

амбарами, а в уезде "полянками" и "пожнями". Другой земский целовальник Тотомского уезда обнаружил уже большую агрессивность: он вместе с другими "сильными людьми", захватил целый ряд пустошей и пустых крестьянских жеребьев, но податей за них не платил вовсе, предоставляя это делать крестьянам, по круговой поруке. Когда крестьяне вздумали на него жаловаться, земский целовальник им сейчас же напомнил, что ведь и самый сбор податей в его же руках: он начал жалобщиков ставить на правеж "в лишних податях и в мирских поборах" - "и бил их без милости". Присланный для разбора жалобы из Тотьмы приказный человек оказался на стороне "сильных людей" и настолько явно и беззастенчиво притом, что приехавший из Москвы пристав должен был посадить его в тюрьму, но сделал ли что-нибудь сам пристав, нам неизвестно, и, во всяком случае, после его отъезда дела, наверное, пошли по-старому. О каком-либо контроле со стороны "меньших" по отношению к "лучшим", разумеется, и речи быть не могло. В Вологде не только "молодшие", но и "средние" люди не могли добиться, чтобы им позволили "считать" земских старост; "лучшие" предпочитали обделывать все дела в своем кругу, причем место контроля занимало, по-видимому, дружеское и полюбовное распределение доходов. В Хлынове дело было еще проще: там староста с целовальниками просто "расписывали" между собою собранные с мира деньги, продолжая неукоснительно править их с плательщиков. От этого многие, как посадские, так и волостные люди, "охудали и обдолжали велики долгами, и пометав дворы свои, разбрелись врознь". "Обдолжанию" много содействовали тот же староста с целовальниками, занимавшиеся, в числе прочего, и ростовщичеством. Запустение Хлынова обратило на себя внимание в Москве, и посадским людям разрешено было выбрать счетчиков для производства ревизии хлыновского земского управления. Оставался, однако, вопрос, кто при установившихся в Хлынове порядках мог попасть в счетчики, и какие практические результаты могла дать такая ревизия.

** Лаппо-Данилевский. Организация прямого обложения в Московском государстве, с. 157. (Процесс образования сельской буржуазии нами прослежен в главе III "Феодализм в Древней Руси" в виде примера.)*

Но одним финансовым иммунитетом правившие земством капиталисты вовсе не собирались ограничиваться, и хозяйничанье их не кончалось на государевых податях и мирских сборах. Земские власти не только собирали налоги, но и судили. В большинстве случаев рука руку мыла - дело и здесь не выходило из тесного дружеского кружка. Но случалось ссориться и "сильным людям", и тогда повторялась по отношению к суду та же история, которую мы уже имели случай наблюдать по отношению к податям: сами судя других, местные богатеи судиться в земском суде не хотели, исхлопатывая себе особую подсудность. От 1627 года до нас дошла такая челобитная земского целовальника Устюжны Железопольской: "Взял государь, устюжский посадский человек Аксентий Первого сын Папышев твою государеву грамоту из Устюжской чети, что искати ему, Оксентью, на устюжских на посадских людях по кабалам перед воеводою на Устюжне, а по твоему государеву указу на Устюжне перед земскими судьями не ищет и сам посадским людям перед земскими судьями отвечать не хочет". Целовальники от

лица всего посада хлопотали об упразднении такого иммунитета для Аксентия Папышева. До нас дошла и челобитная этого последнего; из нее мы узнаем, что он сам был земским судейкой и даже председателем ("головщиком") местного земского суда и, по-видимому, сначала домогался, чтобы его дела "по кабалам и по записям" вершились тем самым присутствием, где он председательствовал. Взять на одного из своих сограждан кабалу, предъявить ее ко взысканию в качестве истца и присудить себе следуемое в качестве судьи - это была, конечно, наиболее удобная процедура в мире. Но то ли она оказалась слишком упрощенной даже для юридической совести товарищей Папышева, то ли он с ними в чем-то не сошелся - последнее правдоподобнее, - только другие земские судейки на это не согласились под тем предлогом, что он себе никакой управы в земском суде найти не может, и, не будучи в состоянии по кабалам ни взять, ни платить, дипломатично прибавлял он, от того рискует "вконец погибнуть и государевой подати отбыть"; устюжский излюбленный человек и добивался, чтобы его ростовщические процессы вел государев воевода. В Москве решили дело скорее в его пользу; кабальные дела Папышева остались за воеводой, и лишь по другим процессам он возвратился в подсудность земского суда. Посадским же людям оставалось, по-видимому, только отводить душу "неподобною лаею". Об этом можно заключить из другого устюжского документа той поры, челобитной того же Папышева, уже как судьи^ о том, как ему решать некоторые не вполне для него и его товарищей ясные судебные казусы. Из нее мы видим, что это был очень ревностный судья и для своего времени тонкий юрист. В числе смущавших Папышева казусов были дела о бесчестьи. "И некоторым, государь, посадским людям можно платить бесчестье, и они, государь, бесчестье деньгами платить не хотят, а говорят: "Бейте де нас по государеву указу батогами", а надеются на то, что мы выбраны, сироты твои и доводчики, на год за службу "и бить де нас батогами гораздо не смеют", а впредь грозят продажами. И иные, государь, надеючись на свое безделье, нарочитым посадским людям говорят: "Как де мы ни обесчестим, и нам де ведь батоги лише пробьют, а и батоги де нас горазда бить не смеют, а будет де нас учнут горазно бить батоги, и мы де после на судьях и на доводчиках ищем"". В Москве и на этот раз поддержали устюженских капиталистов и на челобитной Папышева положили резолюцию: "...А за бесчестье били бы батоги, не боясь никого".

То положение вещей, какое существовало до Смуты, а во время ее вызвало целый ряд известных нам городских взрывов и сделало тушинского "вора" царем всех угнетенных и обиженных, продолжало господствовать в русских городах и после окончания Смутного времени. Естественно, что и социальная борьба времени Смуты то там, то сям должна была вспыхивать, и то, что она не принимала уже тех острых форм, как в те дни на фоне общерусской междоусобицы, не лишает ее ни социального смысла, ни интереса. В 70-х годах XVII века Устюжский уезд был совсем в полону у городских капиталистов Устюга Великого. В своей челобитной уездные люди очень картинно изображают тогдашнее положение вещей. "Крестьяне у них, посадских людей, во всем были порабощены и посадские земские старосты по своему богатству гордостию своею крестьян теснили и вменяли себе в место рабов, и могутьством своим и великими пожитками у нашей братьи у скудных крестьян покупали себе в Устюжском уезде лутчие деревни и начали быть во многих волостях владельцами, и оттого мы, крестьяне в их

насильстве оскудали и от той скудости крестьяне в их деревнях работают на них вместо.рабов их". Но и здесь, наконец, наступил момент, когда "сильные люди" раскололись и притом, по-видимому, более серьезно, чем когда бы то ни было в подобных случаях. Таможенный староста, сам, конечно, крупный торговец, воспользовавшись совершенно своеобразным предлогом - проездом голландского посланника (не забудем, что в те дни Северная Двина была дорогой в Западную Европу), - собрал сходку и на ней произвел своего рода муниципальную революцию. Собравшиеся крестьяне выбрали своего особого "всеуездного-земского старосту" и "учинили особую, наемную, новозатейную волостную избу, кроме общей старинной посадской земской избы". Знаменательной особенностью устюжского конфликта было то, что местный воевода стал на сторону бунтовщиков. Мы не знаем его побуждений, но в Москве дело было выиграно ходоками волостных людей только потому, что они не жалели денег, раздавая по сто рублей в один день московским подьячим: что за устюжским крестьянством стояла оппозиция местных капиталистов - это доказывается, как видим, не только личностью вождя восстания, что, само по себе, могло еще быть и случайностью. Перекупив с помощью этой купеческой оппозиции Москву на свою сторону, усиожские уездные люди даже подчинили себе посад, получив право штрафовать "лучших людей", если они не захотят "платить с крестьянами в ряд" и не вложатся в общий оклад.

Нужно, впрочем, заметить, что симпатии московского начальства к "меньшим" людям на посаде и в деревне не всегда возникали на почве личной корысти тех или других начальников. В дни Смуты крупная посадская буржуазия и помещики, правда, были союзниками. Но едва прошли эти дни и улеглась общая гроза, исчезла опасность поддерживаемого Тушиным бунта "меньших", старый антагонизм скоро проснулся, и коренное противоречие интересов этих двух элементов относительно государевой казны, помещика как получателя, буржуа как плательщика, должно было чувствоваться все сильнее и сильнее. На знаменитом Азовском соборе 1642 года гости и гостиной, и суконной сотни торговые люди рекомендовали возложить военные тягости на служилых людей, "за которыми твое государево жалованье, вотчины многие и поместья есть; а мы холопы твои, гостишки и гостиныя, и суконныя сотни торговые людишки городовые и питаемся на городех от своих промыслишков, а поместий и вотчин за нами нет никаких, а службы твои государевы служим на Москве и в иных городех по вся годы беспрестанно, и от тех твоих государевых беспрестанных служб и от пятинныя деньги, что мы, холопы твои, давали тебе, государю, в Смоленскую службу, ратным и всяким служилым людям на подмогу, многие люди оскудели и обнищали до конца". Дворяне же и дети боярские разных городов говорили: "А с твоих государевых гостей и со всяких торговых людей, которые торгуют большими торгами, и со всяких черных своих государевых людей, вели, государь, с их торгов и промыслов взять денег в свою государеву казну, ратным людям на жалованье, сколько тебе, государю, Бог известит, по их торгам и промыслам и прожиткам, и тут объявится той казны пред тобою государем много". Мы знаем уже, что "нищали до конца" не все разряды посадского населения одинаково. Когда мы читаем, что на Белоозере в 1618 году посадские люди стояли сразу на трех правежах - на одном у воеводы "за недоимочные хлебные и кабацкие деньги", "да те же посадские люди стоят на

другом правеже у сборщика, присланного для взыскания земских денег; да они же стоят на третьем правеже у сына боярского, сбирающего запросные деньги", "и с правежов и достальные посадские люди разбредаются и бегают с женами и детьми", - мы понимаем, что это написано не о московских оптовых торговцах, товарищи которых в провинции сами таким же путей "правили" со своих меньших братьев. Но что от победы, одержанной сообща верхними слоями посада и средними землевладельцами, последнее выиграло очень много, а первые довольно мало, показывает хотя бы тот факт, что площадь дворянского землевладения выросла после Смуты во много раз, а купеческие капиталы за первую половину века увеличились гораздо менее. В 1649 году в Москве гостей и людей гостиной и суконной сотни было почти в полтора раза менее, чем при Федоре Ивановиче, причем лишь меньшинство их (из 116 человек суконной сотни только 42) допускались к "верным" службам, остальные не представляли в глазах дворянского правительства достаточного обеспечения, потому что капиталы их были слишком уж незначительны. И виноват в этом явлении был не столько общий экономический застой, чувствовавшийся в городе в гораздо меньшей степени, чем в деревне (те же плачущиеся на свою бедность гости 1642 года наивно проговариваются, что сумма косвенных налогов, а стало быть, и торговых оборотов, возросла за царствование Михаила Федоровича в десять раз), сколько то интенсивное доение торгового капитала, каким занимались овладевшие властью помещики. О пятинных деньгах (сбор в 20% с капитала на военные надобности) на соборе 1642 года говорили не одни гости, но и, вероятно, с большим правом, старосты и сотские черных сотен и слобод - представители мелких торговцев и ремесленников. Всякий рубль, шевелившийся в кармане московского буржуа, был на счету у помещичьего правительства, и последнее пользовалось всяким удобным случаем, чтобы подойти к этому рублю поближе. Жалобы "меньших" на притеснения со стороны городских богатеев представляли именно такой случай. Когда в 1663 году нижегородскому воеводе было приказано "беречь, чтобы в Нижнем Новгороде посадские земские старосты и целовальники и денежные сборщики, и мужики богатые и горланы мелким людям обид и насильств, и продажи ни в чем не чинили, и лишних денег с мирских людей, сверх государевых податей, не сбирали, и ни в чем мирскими деньгами не корыстовались, тем бы мирских людей не убытчили", то тут же сейчас и было прибавлено: "а в какие будет государевы подати с мирских людей, что денег собрать понадобится, и в тех государевы подати земские старосты и целовальники и денежные сборщики с мирских людей денег собирали с его Александрова (воеводы) и дьяка Фирса ведома, по тягу и по развытке, в которые государевы доходы сколько с них доведется взять...". Под предлогом охраны обиженной городской мелкоты городская касса попадала в крепкие руки воеводы.

Но главной ареной борьбы двух командующих классов московского общества были не земские, а губные учреждения. Мы знаем, что эта форма "общественной самодеятельности" с самого начала носила классовый характер: губной голова или староста всегда был из дворян или детей боярских. Но, во-первых, выбирали его, хотя из одного определенного класса, все классы общества, кроме крепостного крестьянства. А во-вторых, он действовал не один, а с целовальниками, присяжными, которые всегда были не дворяне: губной голова - дворянин - был

лишь председателем этой действительно всесословной комиссии. Его права были, как мы видели в свое время, очень обширны, но окончательное решение он не мог произнести один, и если оно чересчур задевало интересы не дворян, он рисковал наткнуться на сопротивление своих демократических товарищей. В Центральной России, исконной помещичьей стране, эти ограничения власти губного старосты могли быть, и, вероятно, были пустой формальностью. Но на севере, где буржуазия была сильна и крепка, даже в XVII веке ей иногда удавалось низвергать неудачных для нее губных голов и ставить на их место своих кандидатов. В Устюжне Железопольской в 1640-х годах два раза дворянский кандидат в губные старосты должен был уступить место кандидату посадских, хотя и взятому, само собою разумеется, тоже из служилых людей. Два раза дворяне и дети боярские потом снова брали верх, но в третий раз конфликт разрешился тем, что посадские получили право выбрать себе особого старосту, который заведывал бы одним посадом, без уезда. При таких условиях тот факт, что выбора одних дворян и детей боярских все чаще и чаще считалось достаточно - и мнения посадских уже не спрашивали, приобретает особенное значение. Иногда же посадские хоть и участвовали в выборах, но их голоса как бы не считались, так как всегда оказывался предлог найти их кандидата "неспособным" к отправлению губной должности. Еще более любопытна эволюция губной коллегии. В XVI .веке - товарищ губного старосты, в XVII столетии целовальник является уже его подчиненным: староста приводит его к присяге, староста объявляет ему приказы, пришедшие из Москвы, которые писались на имя одного старосты. В 1669 году целовальники были вовсе упразднены, вернее сказать, они превратились в тюремных сторожей, так как "тюремные целовальники", сторожившие арестованных, сохранились до конца века. Но эта должность была давно никому не интересна, и местами уже в 20-х годах посадские люди "потюремных денег Не давали и в тюрьму ничем не тянули". Что очень удивляло дворян, которые, находили, что хотя губное дело и есть их специально дворянское дело, но нести расходы и по этому делу, как по содержанию всего дворянского государства вообще, должны тяглые люди. Но для этих последних губной староста давно был не "органом общественной самодеятельности", а орудием классового гнета, и они заботились, разумеется, не о том, чтобы губные учреждения хорошо обслуживались (кто станет заботиться о доброкачественности цепи, которою его сковывают?), а о том, как бы от них избавиться. Уже в самом начале, рассматриваемого периода, в 1614 году, щуяне так писали о своем губном старосте Поснике Калачеве: "И учал, Государь, тот Посник на нас посадских людишек похвалятиси поклепом и подметем и наученным язычной молвкою, и учал, Государь, нам угрожати всякими похвальбами, а велит нам к себе носити корм всегда, хлеб, и мясо, и рыбу, и питье, мед и вино, и учал, Государь, у нас заставаючи, к себе на. двор животину всякую бить, и учал, Государь, нам посадским людишкам чинити насильство и налоги великие; и многие, Государь, посадские люди от его, Посника, насильства разбрелися, и посадские дворы от него, Посника, запустели, а мы, сироты твои государевы, того Посника в губные старосты не выбирали и выбору нашего на нем нет". Это не какой-нибудь исключительный случай злоупотреблений - каждый раз, как староста бывает выбран одними служилыми людьми, он посадским людям "чинит налоги и

насильства многие", и те начинают опасаться "в больших налогах и в обиде вконец погибнуть". Им начинает, наконец, казаться, что приказный человек, по крайней мере, выбранный не непосредственно их ворогами - местными помещиками, все же будет лучше. И каждый раз центральное дворянское правительство утилизирует этот взрыв отчаяния посадских, чтобы лишить их и последней доли самостоятельности: местный воевода получал предписание смотреть, чтобы на посадских людей и уездных крестьян "в язычной молвке губной староста клепать не велел и для своей корысти тесноты и продажи и убытков не чинил; если же учинится язычная молвка на посадских людей и на уездных крестьян, и про ту молвку воеводе и дьяку велеть сыскивать до прямо вправду, и указ чинить по государеву указу и по Уложению, а о больших делах, или о которых в Уложении не написано, писать к государю в Москву".

Само собою разумеется, что надежды посадских на беспристрастие приказных людей, присланных из Москвы, оказывались весьма наивными. Это испытали на себе, например, те же устюженцы, у которых раньше их спора с дворянами из-за губного старосты распоряжался один приказный человек Вахрамей Батюшков. "И он де Вахрамей, - били челом устюженцы, - на них посадских людях емлет свои кормы немерные, и людские и конские и деныциков на двор к себе емлет же по вся дни не по государеву указу, а им де посадским людем чинит налоги и продажи великие, и торговых людей с товаром из города не отпущает и в тюрьму сажает напрасно для своей бездельной корысти; да и иных де городов торговых людей, которые на Устюжну приезжают для торгу со всякими товары, в тюрьму сажает лее". Недаром устюженцы так хлопотали потом о губном старосте! А шуяне, которые променяли своих губных голов на воевод, в шестидесятых годах так характеризовали одного из этих последних, по-видимому, не худшего, нежели его предшественники: "Бьет нас (воевода)... без сыску и без вины, и сажает в тюрьму для своей корысти; и, внимая из тюрьмы, бьет батогами до полусмерти без дела и без вины. И в прошлом во 172 году убил он, воевода, заперши у себя на дворе, таможенного ларешного целовальника Володь-ку Селиванова до полусмерти и таможенному сбору учинил поруху большую. Многих приезжих торговых людей, соленых и рыбных промышленников... убытчал и разорил, и в тюрьму сажал; и многих приезжих торговых людей разогнал и торги разбил, и твой Великого Государя таможенный сбор остановил; а нас, сирот твоих, выборных людей, вконец погубил своею великою теснотою и налогою и продажей, и убийством"... Два приведенных примера - стереотипны. Их можно бы привести сколько угодно. Но второй из них сам по себе интересен тем, что в нем очень отчетливо выступает тот общественный класс, который страдал от воеводских насилий: это не те мелкие люди, которые били челом на свои земские власти, это уже сами власти - земские старосты да богатые купцы, рыбные и соляные промышленники. От дворянской администрации страдала вся буржуазия - верхи ее, как во дни юности Грозного, даже больше, чем низы, потому что с верхов больше можно было взять. А в том, чтобы взять, чтобы получить от своей власти непосредственную материальную выгоду, для воевод и приказных людей и заключалась суть всего дела. Не один Вахрамей Батюшков брал "кормы немерные": приказчик Сумерской волости (около Новгорода, на юг от озера Ильмень) Дмитрий Мякинин шел гораздо дальше: его агенты ходили по дворам крестьян и по клетям и забирали там "насильством

платки и иное, что попадет". "Да он же Дмитрий звал их (сумерских крестьян) к себе на пир, и которые крестьяне у него на пиру были, и он с них поклонное взяв, сажал в тюрьму, и они из тюрьмы у него выкупались, а давали рубля по два и больше, а которые у него на пиру не были для того, что люди недостаточные, поклонного дать нечего, и он по тех посылал с приставы людей своих и правил на них поклонного с человека по два алтына по две деньги, и по гривне и больше". В Сибири, без ведома московского начальства, приказные люди и воеводы устраивали свои, особенные от государевых, таможни и брали на них особые пошлины, параллельно государевым по определенному тарифу - около 4% с рубля.

Когда на наши глаза попадается приказный человек, который начинает свою административную деятельность с того, что берет с управляемых "въезжее", а потом совсем, как "волостель" доброго старого времени, времени даже не Ивана Грозного, а Ивана III, начинает тащить с этих управляемых всяческие натуральные "кормы": рожь, ячмень, пшеницу, телят, баранов, масло, яйца, рыбу, овес, сено, - нас это уже совершенно не удивляет. Читатель давно уже узнал знакомую картину "кормленщицкого" управления. В возрождении кормлений мы и имеем сущность той административной реставрации, отдельными проявлениями которой были рассказанные нами случаи губного и воеводского произвола.

После той резкой критики кормлений, которую мы читали у Пересветова, после того, что мы знаем о годуновской администрации, пытавшейся осуществить идеал полицейского государства на практике, феодальные порядки XVII века не приходится рассматривать как простое переживание. Для этого новые "кормления" были и чересчур универсальным явлением. К тому, что "общественная совесть" в лице дворянской публицистики времен Грозного резко осудила, дворяне XVII века относились с величайшим благодушием, как к делу совершенно нормальному. На должности "общественного" характера - например, губные - смотрели и не в виде "злоупотребления", а совершенно официально, точно так же, как и на все другие. В той же устюженской переписке есть один любопытный документ, который стоит привести целиком, так хорошо он воспроизводит точку зрения на вопрос середины XVII века. "Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всея Русии бьет челом холоп твой Бежецкого верху малопомесной и пустомесной Микитка Акинфеев сын Маслов. Служил я, холоп твой, отцу твоему государеву блаженные памяти государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу веса Русии 20 лет, и был я, холоп твой, на вашей государевой службе под Смоленском с приходу и до отходу, в осаде сидел и всякую осадную нужу и голод терпел: "И ныне я, холоп твой, был на твоей государеве службе с твоим государевым боярином и воеводой с Василем Петровичем Шереметевым, да с Ондреем Львовичем Плещеевым в Курске и в Карпове, Сторожеве, всякое твое государево дело земляное и городовое делал с своею братею и пожалованными вряд; а как я, холоп твой, вам государей и почел служить и работать, и неть на меня не бывало, всегда на твою государеву службу поспеваю и стою до отпуску без съезду. Милосердный государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии, пожалуй меня, холопа своего, за мой службишка и за мое Смоленска осадное сиденья и за нынешнее нужное терпенья, - вели, государь, меня отпустить на Устюжну Железополскую к своему государеву делу. А служу я, холоп твой, тебе государю по выбору. Царь государь, смилуйся, пожалу!" Не нужно думать, чтобы в Устюжне была в это время "вакансия": ничуть

не бывало, там в это время сидел губным старостой по выбору местного населения кандидат посадских Иван Отрепьев. Но московское правительство нимало этим не постеснялось и распорядилось "губные дела на Иванове место Отрепьева ведать ему же, Миките (Маслову); а почему ему Миките губные дела ведать, о том указал государь послать память в Разбойной приказ". Только жалоба устюженцев, сопровождавшаяся, конечно, добрым подарком московским подьячим, что Никита Маслов "им налоги и обиды чинит большие не по делу", привела к известному уже нам "восстановлению справедливости". И такая замена местного "излюбленного человека" излюбленным человеком московских приказов вовсе не была каким-нибудь исключением - это опять стереотипный случай. За два года до Микиты Маслова совершенно так же мотивировал свою просьбу о назначении в Клин Яков Артемьевич Бибиков. "Скитаюсь я, холоп твой, меж двор, помираю голодной смертью, - писал он, - милосердый государь, пожалуй меня, холопа твоего, - вели, государь, мне быти у своего государева дела в Клине приказным человечишкой, а был, государь, в Клине губной староста Федор Кривцовской, и тот Федор обнищал". Почему нищета Кривцовского лишила его места, а такая же нищета Бибикова давала ему право на это место, челобитчик не объяснял, но у него было особое средство разжалобить государя, и оно подействовало. "Государь указал, - помечено на челобитной, - будет нет губного старосты, велеть быть приказным человеком, и будет слеп". Губной староста, как мы знаем, должен был преследовать воров и разбойников, и добрые историки русского права не шутя были уверены, что московское правительство голову теряло, как ему справиться с разбойниками. А оно с самым великолепным спокойствием назначало на губную должность человека слепого, и именно потому, что он был слеп. И это опять было общее правило: в 1661 году было запрещено назначать воеводами и приказными людьми дворян и детей боярских не раненых, не увечных, здоровых; "кормление" ведь - награда за службу, нечто вроде пенсии, чего же ее давать здоровому, годному еще к "полковой службе" человеку? Если Яков Бибиков, несмотря на свою слепоту, не сделался грозою клинских разбойников (губные дела все же остались за Федором Кривцовским, а Бибикову было поручено лишь финансовое управление), то исключительно по собственной неловкости: он дал взятку в "Устюжскую четверть", а губные старосты ведались Разбойным приказом., этот последний и отстоял свои права. В самом начале рассматриваемого периода, тотчас после Смуты, в Москве еще как будто вспоминали иногда годуновские традиции. В воеводских наказах 20-х годов воеводам строго предписывалось: "Никаким людям для своей корысти обид никаких и налогов не делати, и хлеба на себя пахати и молотити, и сена косити, и лошадем корму не имати, и вина курити, и дров сечь и всякого изделия делати не велеть, и с посаду и с уезду кормов и питья и за корм и за питье денег не имати и тесноты никоторыя людям не делата, чтобы на них в обидах и ни в каких насильствах челобитчиков государю не было". А в 70-х годах, упраздняя где-нибудь приказную должность, уже без церемонии облагали жителей оброком за "воеводские доходы", как в первой половине XVI века за "наместничий корм". И едва ли только анекдотом является тот известный случай, рассказанный Татищевым, когда царь Алексей искал для разжалобившего его дворянина город с "доходом" в шестьсот рублей, а нашел только в четыреста. А уже, наверное, не

анекдот рассказ того же Татищева, что все города были в приказах расценены по известному тарифу, и кто сколько платил, тот такой город и получал.

"Кормленъя" и при Иване Грозном едва ли наследовались, ибо давались обыкновенно на один - три года, чтобы по очереди все служилые люди могли покормиться. Исключение представляли только "княжата", сидевшие великокняжскими наместниками на своих бывших уделах. В XVII веке потомков удельного княжья встречается очень много - их плодовитость одолела-таки "губительную" политику Грозного, но они ничем уже не выделяются из рядов московского вассалитета и стоят нередко даже на его нижних ступеньках, как это было с известным историком Смуты кн. Катыревым-Ростовским, который так и "закоснел" дворянином московским, и умер, не попав в думу, или с князьями Долгоруким и Прозоровским, в 1670 году не владевшими уже ни пядью вотчинной земли. Для наследственности новых кормлений почвы, таким образом, было еще меньше, чем в XVI веке, и нет ничего удивительного, что воеводы подобно наместникам и волостелям эпохи Грозного, менялись каждые два-три года. Тем интереснее немногие, уже действительно исключительные, случаи, когда устанавливалась наследственность и в XVII веке: они еще раз подчеркивают направление эволюции. Один известный нам случай относится к верным должностям: во Пскове "у соли" был посадский человек Сергей Сидоров сын Огородник. "И та твоя государева соль была за тем целовальником Сергеем многие лета, а по смерти его досталась та соль его Сергееву сыну Филипу, и та соль и за тем Филипом была много ж время, и по смерти того Филипа досталась та ж соль его сыну Прокофью Филипову". Другой случай имел место уже в самом конце рассматриваемого периода, собственно уже в эпоху Петра, но тем он характернее. В 1699 году в Нерчинске умер воевода Самойло Николев и воеводой на его место, по челобитью нерчинских детей боярских, служилых и жилецких людей, был сделан его сын. То, что этот последний был малолетний, не остановило московское правительство, и оно согласилось на передачу воеводской должности по наследству, обусловив ее лишь тем не менее характерным, чем все остальное, условием, чтобы за малолетним воеводой присматривал дядя его воевода Иркутский.

Если прибавить ко всему этому, что в своих вотчинах и поместьях каждый землевладелец был судьею для своих крестьян по всем делам, кроме "губных" (главным образом, разбоя), и что по всем делам, даже и по губным, ему принадлежало право предварительного следствия, как оно тогда понималось, т.е., включая сюда и пытку, нам придется дополнить картину "господства частного права" лишь одним штрихом: в XVII веке, как и в предыдущем, продолжали существовать иммунитеты - особая подсудность для особых разрядов лиц и учреждений. Как легко получалась самая мелкая из таких привилегий, освобождение от подсудности ближайшему местному суду, мы уже видели выше. Можно было добиться и большего: подчинения, в судебном отношении, исключительно центральным учреждениям. Такой привилегией пользовалось потомство Кузьмы Минина, но она давалась и совсем незнаменитым людям: в 1654 году, например, вечную и потомственную несудимую грамоту получили посадские люди города Гороховца Иван Кикин и Афанасий Струнников; их, употребляя удельную терминологию, судил "сам князь великий или кому он укажет".

Подобным иммунитетом пользовались все гости и люди гостиной сотни - их судил только царь или государев казначей (министр финансов). Как это ни странно, но привилегия часто могла быть, в известном смысле, прогрессивной чертой, как это мы увидим впоследствии, точно так же, как и специальная подсудность иностранцев, судившихся в Посольском приказе. Наибольших размеров достигал, конечно, иммунитет церковных учреждений. Протопоп московского Успенского собора судил церковных людей и принадлежавших собору крестьян во всех делах, не исключая губных, и обязывался докладывать государю только, если сам не мог решить дела. Редкий монастырь не умел выпросить себе той же привилегии. В 1667 году она была обобщена Церковным собором, постановившим, что по правилам церковные люди, считая в том числе и многочисленное крестьянство, сидевшее на церковных землях, подсудны только суду церкви. Образчиком феодальной анархии наверху служит то обстоятельство, что после этого общего постановления продолжали существовать жалованные грамоты, и там, где их не было, церковные люди подпадали под общую судимость. А что происходило там, где они были, об этом рассказывает нам, между прочим, такое челобитье посадских людей Старой Руссы на монахов Иверского монастыря, добившихся иммунитета уже в последнем десятилетии XVII века. Рассказавши о разных, слишком обыкновенных в те времена вещах: о том, как "старцы" своих крестьян на суд не дают, отчего вотчина их сделалась притоном воров и разбойников, и тому подобное, рушане продолжают: "Да они же Иверского монастыря старцы, которые бывают в Старой Руссе, наделся на мочь свою и на несудимые грамоты, ездят по посадам многолюдством, и нас сирот ваших посадских людей бьют и увечат своею управою, а иных и ножами режут, и от того бою и увечья, и ножевого резанья иные померли; а иных из нас, посадских людей, денною и нощною порою хватают по улицам и водят к себе на монастырской двор, и в чепь сажают, и держат в чепи не малое время и потому ж бьют и мучают, занапрасно и безвинно... Да они ж Иверского монастыря старцы, многолюдством в Старорусском уезде ездят по вашей великих государей по дворцовой волости, и жилые деревни с божиим милосердием со святыми иконами и со крестьянскими животы жгут, и крестьян разоряют и бьют, и увечат, и из пищалей по крестьянам стреляют и всякое озорничество и поругательство чинят, чтобы им Иверского монастыря старцам и досталными вашими великих государей дворцовыми деревнями и всякими угодьи в Старорусском уезде мочью своею завладеть; и в городе в Старой Руссе по посадам, также и в той вашей великих государей дворцовой волости, ездя по дворам, непригожие дела творят... А для челобитья порознь о таком их Иверского монастыря старцев о многом насильстве и о завладении наших тяглых земель и всяких заводов и об их самовольстве и озорничестве и об нашем от них затеснении и разорении и о больших налогах и о многой обиде ехать нам к Москве невозможно, потому что они Иверского монастыря старцы люди мочные"*.

---

* *Для большинства вышеприведенных фактов см.: Лаппо-Данилевский, цит. соч.; Чичерин. Областные учреждения в России в XVII веке; сборник документов "Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государства", - под ред. А.И. Яковлева (М., 1909).*

Областные учреждения были главной ареной классовой борьбы. Центральная администрация была гораздо более однородна в классовом отношении - буржуазия проникала в центральные учреждения очень редко, и то потеряв свою непосредственно классовую физиономию. Кузьма Минин, как раньше Федор Андронов, должен был превратиться в "служилого", чтобы заседать в царском совете, и из посадского земского старосты стал "думным дворянином". Но число таких anoblis было ничтожно в Московском государстве XVII века, гораздо ничтожнее, чем, например, во Франции в эту же эпоху*. Демократию московской государевой думы составляли "худородные" помещики да дьяки - два элемента, которые в это время, как мы видели, весьма склонны были перемешиваться. В период петровского подъема волна этой демократии сразу смыла последние остатки старой знати, и в боярских списках последних лет думы запестрели имена людей, не только что не носивших думных чинов, как знаменитый Ромодановский, и в думе оставшийся только стольником, а и просто "людей", вроде не менее знаменитого "прибыльщика" Алексея Курбатова, бывшего холопа Шереметева. Великая разруха Московского государства в начале века подготовила издалека такой его конец, но он пришел, скорее, слишком поздно, чем слишком рано. Местничество недаром дожило до 1682 года, и при первых двух царях новой династии состав центральных учреждений носил более архаический характер, чем можно было ожидать. Влияние старого боярства как социальной группы на дела было ничтожно уже в 1610 году, а еще в 1668 году она давала почти половину всего состава думы (28 из 62 бояр, окольничих и думных дворян) и, как свидетельствует Котошихин, исключительно потому, что "великой породе" все еще отдавалось преимущество перед "ученостью" и личными заслугами. Прочность старых предрассудков, может быть, еще выразительнее выступает в том, что говорит тот же Котошихин по поводу иерархического положения царских родственников. "А которые бояре царю свойственники по царице, и они в думе и у царя за столом не бывают, потому что им под иными боярами сидеть стыдно, а выше не уметь, что породою не высоки": из дальнейшего видно, что и в товарищи к таким "не высоким породою" царским свойственникам нельзя было посадить мало-мальски родовитого человека. Не только милость царя, но и родство с царем не могли прибавить человеку "отечества", зато не только царская милость, а и простая географическая близость к источнику власти давали ему действительное влияние на дела. Антиномия феодального общества, где король не мог посадить маркиза ниже графа, но где и граф, и маркиз одинаково низко кланялись королевскому камердинеру, целиком воспроизводилась московским придворным обществом времен царя Алексея. По рассказу Котошихина, всего выше в фактической, а не в показной, для параду, иерархии московских чинов стояли постельничий и спальники. Первый постилал царю постель и спал с ним в одном покое, и в то же время хранил у себя печать "для скорых и тайных" царских дел, т.е. стоял ближе всех к тому внедумскому законодательству путем "именных указов", которому суждено было вытеснить устаревшую механику боярской думы. А вторые одевали и обували царя утром, раздевали и разували его вечером и за то попадали в самые первые ряды царских думцев. Пожалованные в бояре или в окольничие (сообразно с их "отечеством" - это строго соблюдалось!), они носили звание "ближних", или "комнатных", бояр и окольничих, имели громадную привилегию

беспрепятственного входа в царский кабинет ("комнату"), куда другие думцы могли попадать только, когда их позовут, и инсценировали думское заседание в тех случаях, когда царю была нужна санкция думы, а делиться своею мыслью со всеми ее членами он не хотел. "А как царю лучится о чем мыслити тайно, - пишет тот же Котошихин, - и в той думе бывают те бояре и окольничие и ближние, которые пожалованы из спальников, или которым приказано бывает приходити; а иные бояре и окольничие, и думные люди в тое палату в думу и ни для каких-нибудь дел не ходят".

---

* *"Гости", добиравшиеся до думных чинов, встречались, однако, не только в бурные дни первой четверти XVII века, а и в более спокойное позднейшее время. Такими были, например, Кирилловы (см.: Боярская Дума, изд. 3-е, с. 397).*

Феодальным отношениям и порядкам соответствовали и феодальные учреждения. Нам до сих пор не приходилось касаться механизма московского центрального управления именно потому, что вотчина потомков Калиты ничем существенно не отличалась в способе своего управления от других вотчин, кроме только той разницы, какую могли внести размеры этого совсем необычайного "имения". Недаром название московского министерства, Приказа, происходит от одного корня с нашим - приказчик. Министры московского царя по происхождению и характеру своей власти ничем и не отличались от приказчиков любой частной вотчины. И это не единственный образчик выразительности московской административной терминологии: в конце XVI века департаменты тогдашнего министерства финансов, "Большого прихода", назывались, очень характерно, по именам дьяков, которые ими заведовали, - "четверть Дружины Петелина", "четверть Андрея Щелкалова", "четверть Василия Щелкалова". Позже эти четверти получили географические названия - мы встречаем Устюжскую, Владимирскую, Галицкую четь, но характер личного "приказа" остался за их дальнейшими подразделениями, повытьями, до конца XVII века; еще в 1683 году мы встречаем повытье Ивана Волкова, повытье Максима Алексеева, повытье Василия Протопопова. При этом и между четями и между повытьями города и уезды были разбросаны в самом причудливом беспорядке: так, в повытье Василия Протопопова ведались и далекие Тотьма с Чарондой, и Бежецкий верх, в нынешней Тверской губернии и подмосковные Клин, Вязьма, Руза и Звенигород. В Галицкой чети, кроме Галича, состояли Кашира, Коломна, Белев и Кашин. Называть такое деление территориальным можно, как видим, только с большой оговоркой: ни одно из этих министерств или департаментов не ведало определенной сплошной территории, зато не было ни одного вовсе без территорией. Даже в Посольском приказе, ведомстве иностранных дел - по нашему, было несколько городов, и притом вовсе не пограничных, а таких, от которых целый год скачи, ни до какого иностранного государства не доскачешь, вроде Елатьмы или Касимова. В списке московских приказов времен царя Алексея и даже позднее учреждения государственного характера и различные отделы частного царского хозяйства перепутываются не менее пестро, чем города в тогдашнем министерстве финансов, причем те и другие функции сплошь и рядом осуществляются одним и тем же учреждением. Был Приказ "Большой казны", около 1680 года стянувший к себе

приблизительно половину всех государственных доходов, - настоящее министерство финансов, но его отнюдь не следует смешивать с Приказом "Казенным", который заведовал царским гардеробом, а в то же время ведал и некоторыми торговыми посадскими людьми. Приказ "Золотого и серебряного дела", собственно, занимался царской посудой, золотой и серебряной, но еще при Петре в его же компетенцию входили и некоторые кавалерийские полки иноземного строя - драгуны, рейтары и копейщики. Иногда эта комбинация различных функций в одном и том же учреждении ставит историка государственного права перед настоящей загадкой. Почему, например, Конюшенный приказ заведовал сбором с бань? Ответ может быть только один: когда-то поручили оба эти дела одному и тому же приказчику, потому ли что это был ловкий человек, который мог со многим сразу управиться, или потому, что хотели увеличить доходы царского конюшего, персоны очень важной в Московском государстве, как и соответствующий ему "коннетабль" в средневековом французском королевстве. Для интересующей нас политической реставрации характерно, что эта черта - смешение государева хозяйства и государственного управления - одинаково свойственна как старым приказам, унаследованным государством Романовых от времени еще досмутного, так и центральным учреждениям, возникавшим вновь в XVII веке. Как типичный образчик нарождающегося бюрократического строя, приводят обыкновенно Приказ тайных дел, возникший при царе Алексее. Тайна этого приказа, собственно, заключалась в том, что туда "бояре и думные люди не ходили и дел не ведали". Но зато сам приказ ведал и думных людей: сидевшие в нем чиновники, "подьячие", посылались вместе с думными людьми, назначенными в посольства, в полковые воеводы и т. д. "И те подьячие над послами и над воеводами надсматривают и царю, приехав, сказывают; и которые послы или воеводы, ведая в делах неисправленье свое, страшатся царского гнева, - и они тех подьячих дарят и почитают выше их меры, чтоб они, будучи при царе, их послов выхваляли, а худым не поносили. А устроен тот приказ при нынешнем царе (Алексее) для того, чтоб его царская мысль и дела исполнялися все по его хотению, а бояре бы и думные люди о том ни о чем не ведали". Мы уже говорили, что власть подьячих Тайного приказа Котошихин, по всей вероятности, преувеличил: однако самая идея поставить думных людей под контроль недумных была, несомненно, новой идеей, что нисколько не мешало новому приказу заведовать, между прочим, и царской соколиной охотой. Но наиболее типичным пережитком феодальной администрации XVII века был Приказ Большого дворца: (Ведомство царского двора. По новой терминологии), он до самого конца столетия оставался крупнейшим финансовым учреждением государства после "Большой казны" и собирал целый ряд чисто государственных налогов, прямых и косвенных: таможенные и кабацкие деньги, стрелецкую подать, ямские и полоняничные; а рядом с этим он же собирал и оброк с дворцовых сел и волостей.

В ряду "переживаний" феодализма, которыми наполнено Московское государство XVII века, нельзя обойти одного, резюмирующего все остальные. Речь идет об учреждении, получившем громкую и не совсем заслуженную, хотя вполне понятную, известность в новейшее время - о Земском соборе. В наши дни совершенно утратилась та острота, которая отличала вопрос о Земских соборах

Древней Руси до революции 1905 года. Сейчас едва ли кому придет охота волноваться по поводу того, было ли это нечто вроде конституционных собраний Западной Европы или же это был далекий прообраз чиновничьих комиссий дней Александра III, была ли это Палата народных представителей или же "Совещание правительства со своими собственными агентами". Ни та, ни другая модернизации московского "Совета всей земли" теперь, вероятно, не нашла бы защитников. Историки правильно угадывали, что это было нечто своеобразное, не укладывающееся в шаблоны новейшего буржуазного государственного права, но они напрасно видели в Земских соборах своеобразие национальное. То была особенность, свойственная не какой-нибудь стране, а всем странам в известную эпоху. И местной особенностью русских собраний этого рода было разве то, что у нас они, притом в самой грубой, рудиментарной форме, дожили до такой стадии социального развития, на которой в Западной Европе мы их или не встречаем вовсе, или же они принимают там более современную форму. Всякий средневековый государь действовал постоянно с совета своих крупных вассалов, духовных и светских, а в более важных случаях - с совета всех вассалов, которые приглашались, конечно, не поголовно, а в лице наиболее влиятельных и авторитетных из них. В Московском великом княжестве нам известно, по крайней мере, одно такое собрание,, предшествовавшее походу Ивана III на Новгород в 1471 году: Иван Васильевич совещался тогда не только с епископами, князьями, боярами и воеводами, но со "всеми воями". Под последними, как совершенно справедливо догадываются историки, нельзя разуметь никого другого, кроме мелкого вассалитета - "детей боярских". Новостью, которая отличала первый Земский собор в настоящем смысле (знакомый нам Собор 1566 года) от этого собрания, было, пожалуй, только участие в нем представителей буржуазии, гостей и купцов. Само собою разумеется, что нормы "народного представительства", равно как и термины "совещательный" или "решающий голос", к подобного рода "думе" сюзерена со своими вассалами совершенно неприложимы. Вассалы не народ, даже в том суженном смысле, какой имеет слово "народ" и "народный представитель" в странах, где нет всеобщего избирательного права. Это, действительно, "орудия" сюзерена, т.е. нечто такое, без чего последний лишен всякой возможности действовать; тут нельзя говорить о "решающем" или "не решающем" голосе. Современная государственная власть физически вполне может действовать без согласия народного представительства: все ее действия станут от этого неправомерными, но их материальный эффект в подобных случаях бывает даже сильнее нормального, ибо силою обыкновенно стараются восполнить недостаток права. Средневековый государь вовсе не обязан был слушаться своих вассалов. Юридически его волеизъявления было вполне достаточно, чтобы сделанный им шаг был законным. Но он был лишен физической возможности предпринять нечто такое, чего не пожелали бы исполнить его вассалы. Всякий человек вправе связать себе ноги, но, связав себе ноги, нельзя двигаться, почему ни один человек в здравом уме и не попробует осуществлять такое свое непререкаемое право. Читатель догадывается, когда должен был наступить конец средневековым "государственным чинам - это должно было случиться в ту минуту, когда сюзерен перестал зависеть от натуральных повинностей своих вассалов, когда он получил в руки силу, позволявшую ему покупать услуги, вместо того,

чтобы их выпрашивать. Вот отчего окончательное торжество денежного хозяйства было всегда критическим моментом для прав и вольностей феодального дворянства. Реальная власть переходит тогда в те же руки, в чьих были деньги, в руки торговой буржуазии, а ей средневековые чины с их преобладанием поземельного дворянства вовсе не были нужны и интересны. Только там, где землевладение сделалось буржуазным, или где буржуазия не имела никакого значения, средневековые учреждения сохранились, принимая новую форму: первый случай имел место в Англии, второй в Польше. В России и во Франции дело шло иным, можно бы сказать, более нормальным путем: и там и тут рост торгового капитала и его влияния на дела совпадает с ростом абсолютной монархии и упадком тех форм политической свободы, которые были тесно связаны с натуральным хозяйством.

Оживление Земских соборов в первой половине XVII века было, таким образом, чрезвычайно тесно связано с той экономической и политической реставрацией, которой отмечена эта эпоха. В то время как предыдущее столетие знает только два, самое большее - четыре собора (если принимать существование Собора 1549 года и считать собором то, что происходило в Москве в. 1584 году, при воцарении Федора Ивановича) на протяжении полувека, за сорок лет, с 1612 по 1653 год, нам известно десять соборов, причем не будет ничего удивительного, если со временем станут известны еще новые, и в течение 9 лет, с 1613 по 1622 год, Собор функционировал ежегодно. Но это материальное усиление учреждения не сопровождалось его эволюцией от первобытных форм к более современным. Первый - и, по-видимому, единственный - этап этой эволюции относится к концу предыдущего века. На Соборе 1598 года, выбиравшем на царство Бориса Федоровича Годунова, кроме обычных крупных и мелких служилых и посадских людей, попавших туда по их служебному положению, как выражаются обыкновенно наши историки (правильнее было бы сказать по их общественному влиянию, потому что все эти "головы" и "выборные" попали на командирские места именно по той причине, что они принадлежали к сливкам местного помещичьего общества, и в еще большей степени то же верно относительно представителей буржуазии, "гостей"), кроме этих членов "по положению", были и настоящие "представители", если не "народа", то хотя бы одного дворянства. Их было на 267 членов Собора около 40 человек, по подсчету проф. Ключевского. Но даже и в позднейших случаях это представительство не сомкнулось в классовые группы, подобные отдельным Etats средневековой Западной Европы. На Соборе 1642 года, известном нам лучше всех других, вотируют отдельно семь служилых групп, кроме бояр: 1) стольники, 2) дворяне московские, 5) головы и сотники московских стрельцов, 4) "володимирцы- дворяне и дети боярские, которые на Москве", 5) дворяне и дети боярские Нижнего Новгорода, и муромцы, и лушане, "которые здесь на Москве", 6) дворяне и дети боярские разных городов: Суздаль, Юрьев Польский, Переславль Залесск.ий, Белая Кострома, Смоленск, Галич, Арзамас, Великий Новгород, Ржев, Зубцов, Торопец, Ростов, пошехонцы, новоторжцы, Гороховец, 7) дворяне и дети боярские разных других городов: мещеряне, коломничи, рязанцы, туляне и проч. То же было и с "третьим сословием": гости, гостиной и суконной сотни торговые люди совещались и голосовали отдельно от сотских и старост черных сотен и слобод. Представительство "четвертого сословия", крестьянства, отличалось еще более

случайным характером. Крестьянство не слилось с "третьим чином", как во Франции, и не выделялось в особую корпорацию, как в Скандинавских государствах. Но оно не было и систематически устранено, как на Польском сейме. Крестьяне, разумеется, не крепостные, за которых отвечали их господа, а "черные" или дворцовые, появляются на соборах, но необычайно спорадически. На Соборе 1682 года были выборные от дворцовых сел, которых раньше мы никогда не встречаем. А выборные от черного крестьянства должны были участвовать в Соборе 1613 года - факт, который долго оспаривался, оспаривается иногда и до сих пор, но который может быть подтвержден документально. Сохранилась грамота, приглашающая угличан прислать "уездных крестьян десять человек", чтобы им, вместе с выборными от посада, "вольно было во всех угличан всяких людей место о государственном и о земском деле говорить без всякого страхования". Подписей крестьянских уполномоченных на избирательной грамоте Михаила Федоровича, однако же, нет; значит ли это, что крестьянские выборные почему-либо на Собор не попали или же они сплошь были безграмотные (подписи дворян, игуменов и протопопов "во. всех уездных людей место" довольно часты в грамоте), сказать трудно. Как не умело организоваться представительство от отдельных социальных групп, так не умело выработаться и самое понятие "представительство". Вообще говоря, на соборах XVII века присутствуют уполномоченные от различных разрядов населения. Можно бы думать, что воля этого последнего определяла, кто пойдет в Москву говорить от его имени. Но кое-какие образчики будничной практики соборных выборов заставляют очень в этом сомневаться. В Ельце, в 1648 году, по государевой грамоте велено было выбрать из детей боярских двух человек: но они были выбраны на деле не местной дворянской корпорацией, а воеводою. Елецкие помещики били за это на воеводу челом, но, странным образом, не за то, что он узурпировал их права, а за то, что он выбрал людей плохих, "ушников", занимавшихся доносами на свою братию. Выходит, что если бы воеводский выбор был удачнее и добросовестнее, то ельчане с ним и не стали бы спорить. На Соборе 1642 года среди довольно многочисленных и довольно пестрых групп служилых людей мы находил неожиданно двух отдельных дворян Никиту Беклемишева да Тимофея Желябужского. Их мнение стоит в одной линии с другими, но они никого не представляли, кроме самих себя. Таким образом, представительство по общественному полномочию и представительство по личному праву, разделившиеся в Англии еще в XIII веке, у нас не различались и в середине XVII столетия.

Столь же неопределенна была и компетенция соборов, если подходить к ним с нашей точки зрения. С одной стороны, начиная с Бориса Годунова (а может быть, и с Федора Ивановича) до Петра, все русские цари были выборные, и выбирал их Собор. Признание царя "всей землей" считалось капитальнейшим условием законности царской власти с точки зрения русского государственного права XVII столетия. Восстания против Шуйского тем и мотивировались, что он "поставлен царем" "без ведома всея земли". Невозможность организовать Всеземские выборы с самого начала была крупным минусом в кандидатуре Владислава. При избрании Михаила Федоровича старались соблюсти все необходимые условия возможно полнее, и в его избирательной грамоте писалось, что "все православные хрестьяне всего Московского государства от мала и до велика и до сущих младенец, яко

едиными усты вопияху и взываху, глаголюще: что быти на... всех государствах Российского царствия... блаженныя памяти царя Федора Ивановича сродичу, благоцветущия отрасли от благочестивого корени родившусю Михаилу Федоровичу Романову-Юрьеву". Как известно, избирательная грамота подписывалась еще и долго спустя после Собора, так как старались собрать возможно более подписей: все вассалы, без исключения, должны были признать нового сюзерена, чтобы никто не мог последнего упрекнуть, как упрекали Шуйского, что он "самовенечник". Казалось бы, в руках Земского собора была "верховная учредительная власть": чего же больше? И однако же, с одной стороны, московские люди XVII века такой своей прерогативой очень мало дорожат. В 1636 году галицкий воевода Щетинин из сил выбивался, чтобы организовать выборы в Земский собор по Галицкому уезду, но, как ни старался, более двадцати помещиков набрать не мог, и выборных от этих двадцати пришлось послать за весь уезд. К составу "Верховного учредительного собрания" (правда, что в 1636 году царя выбирать не приходилось) население относилось со злостным, можно сказать, индифферентизмом: большинство галицких дворян и детей боярских, пишет воевода, "выбору не дают, ослушаютца". С другой стороны, московское правительство нисколько не стеснялось игнорировать требования "народных представителей". На Собор 1648 - 1649 годов, утвердивший "Уложение", выборные привезли много челобитных. Иные из них были уважены, другие же правившие страной бояре объявили "прихотями", и никто не думал принимать их во внимание. Но и то, и другое станет нам довольно хорошо понятно, если мы вспомним, что сюзерен не был обязан спрашиваться своих вассалов во всех случаях жизни. Там, где его требования не выходили за круг обычного, он мог их предъявлять категорически - и его нельзя было ослушаться: раз признав государя, его вассалитет тем самым однажды навсегда обязывался исполнять все его нормальные распоряжения. Речь о согласии вассалов заходила только тогда, когда требования выходили из нормы, носили чрезвычайный характер. Тут приходилось уже не требовать, а просить, и иногда слезно. Когда в 1634 году истощенной казне Михаила Федоровича понадобились средства для борьбы с Польшей, и торговый капитал был обложен экстренным сбором, "пятой деньгой" (20%-ной податью), а помещики должны были согласиться на нечто вроде принудительного займа ("запросные деньги"), то царская речь на Соборе выражалась так: "А то ваше нынешнее прямое даяние приятно будет самому Содетелю Богу. А государь царь и великий князь Михаиле Феодорович всея Русии то ваше вспоможенье учинит памятно и николи не забыто, и вперед учнет жаловать своим государским жалованьем во всяких мерах". Земский собор всегда был синонимом экстренного запроса: при таком его характере ему мудрено было сделаться популярным.

Впервые опубликовано: Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен до смутного времени, М., 1896-1899.